

Н О В Ы Й М И Р

Н О В Ы Й М И Р

0130-7673

4



1979



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 4

Апрель, 1979 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
СТЕПАН ШИПАЧЕВ — Опять весна, стихи	3
АЛЕКСАНДР РЕКЕМЧУК — Нежный возраст, роман	5
НИКОЛАЙ ПЕРОВСКИЙ — Уборка, стихи	76
НИКОЛАЙ ЗАДОРНОВ — Хэда, роман	79
НИНА МАКАРОВА — Короткие рассказы	112
ДЕНИС ГЛОВЕР — Бессмертный Ленин, стихи. Перевел с английского Александр Големба	119
ДЖОН СТЕЙНБЕК — Заблудившийся автобус, роман. Продолжение. Пере- вел с английского В. Гольцшев	125
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
АЛЕКСАНДР БЛОК И ЕГО НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА. Публикация, вступи- тельная статья и комментарии В. П. Енишерлова	146
ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ — Звезда умрет — сиянье мчатся... Публикация Марии Берггольд	167
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
Л. ЛЕВИН — Жестокий расцвет	170
В МИРЕ НАУКИ	
И. ЗАБЕЛИН — Помпей гениального ума. «Размышления натуралиста» В. И. Вернадского и современная наука	192
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
ВСЕВОЛОД ОВЧИННИКОВ — Корни дуба. Впечатления и размышления об Англии и англичанах	211
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
А. КОГАН — Воспоминания взрывчатая зона. Из наблюдений над фронто- вой поэзией	250

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»

Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	258
Шараф Рашидов. Трудовой подвиг в белую ночь.— Л. Лавдинский. Цена истины.— Ирина Вивокурова. «...лицу под видимостью — душу».	
<i>Политика и наука</i>	274
Феодосий Видрашку. Поэма о Челнах.— П. Черкасав. Конец двуглавого орла.— Дмитрий Жуков. Из глубины тысячелетий.	
КОРОТКО О КНИГАХ: Е. Полякова. — Сим. Дрейден. Спектакли. Роли. Судьбы (Театральные очерки и портреты). ♦ В. Парыгин. — Г. Бровман. Труд, герой, литература. Очерки и размышления о русской советской художественной прозе. ♦ С. Овчинникова. — Алексей Файко. Записки старого театральщика. ♦ Ю. Смелков. — Ю. Айхенвальд. Остужев. ♦ Василий Субботин. — Вацлав Михальский. Печка. Повесть. Вацлав Михальский. Короткие рассказы. ♦ В. Френкель. — А. С. Компанец. Симметрия в микро- и макромире. ♦ И. Подольская. — Вл. Орлов. Гамаюн. Жизнь Александра Блока	282
КНИЖНЫЕ НОВИЧКИ	288

СТЕПАН ЩИПАЧЕВ



ОПЯТЬ ВЕСНА

Чтоб не сутулили мне плечи
лета немалые мои,
мне в тальниках примолкших речек
поют про звезды соловьи;

дома, и к сроку и до срока
стряхнувшие лесов заслон,
чуть темноватой синью окон
роднят со мною небосклон.

Чтоб света, неба больше стало
в любом краю, в любом окне,
опять весна с водою талой
идет по утренней стране.

Она моих коснулась окон
еще не очень-то пока,
но гулкостью ее высокой
заслушалась моя строка.

Недолог день.
Пусть память кружит,
пусть кружат где-то поезда —
перед крыльцом в весенней луже
стоит полночная звезда.

СТРОИТЕЛИ

К дому дом, и каждый мечен сроком:
может, год которым, может, два,
а иные, вижу, синью окон
небосклон ощупали едва.

Для парней высоты всех профессий
по плечу. И все ж одной верны,
той, с которой краны в поднебесье
словно руки крепкие страны.

Кто-то первый промелькнул на лифте
вверх и вниз почти что невесом.
В пятнах не цемента, так олифы
парусиновый комбинезон.

Где-то калька на столе свежа.
В мыслях корпусами вырастая,
вновь крепит расчеты чертежа
логарифмом строчка золотая.

ЗАБОТЫ

Не спится.
Вдруг вспомнишь не то, так другое.
Ворочаюсь долго.
Заныло в груди.
Всех дум не примял на подушке щекою.
Велят: поброди.

Ты рядом, за стенкой.
Я дверь открыл.
Стою у постели твоей.
Притих.
Витают незримые шелесты крыл
предутренних снов твоих.

Забрезжило, кажется. Все в полумгле.
Бессонная птица чирикнула где-то.
Часы у тебя на столе
роняют секунды. Я слышу и это.

Распахнуты створки.
Дышать тебе
легко залетевшими ветерками.
Нетрудно и заробеть
рассвету, заваленному облаками.

Пожалуй, не враз из-за края земли
сумеет и солнце пробиться лучами.
Заботы твои не ушли:
попрятались
за вещами.

Они не замедлят
и с тою же ношей
вернутся к тебе.
Тишина.
Весь листьями запорошен
сентябрь у окна.

Заботы,
они не вмещаются в сны.
Мы знаем с тобой и про это:
их много и у страны,
у ее пятилеток.



АЛЕКСАНДР РЕКЕМЧУК



НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ

Роман

СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ

1

Огдаленный гул сотрясал стены. Опять бомбили. До недавних пор они прилетали только ночью, всегда в одно и то же время — хоть часы проверяй. Мы с мамой Галей спускались в бомбоубежище, холодный бетонный подвал, и сидели там в темноте вместе с другими жильцами большого нашего дома, сидели, прислушиваясь к резкой пальбе зениток и гулким взрывам бомб. Ганс вместе с другими мужчинами дежурил на крыше, тушил термитки песком.

Но теперь бомбежки не прекращались и днем. Воздушные тревоги, отбой смешались, перепутались, никто на них не обращал внимания.

Да и некогда нам было сейчас отсиживаться в подвале.

Мы собирались в дорогу.

Прознав об этом, захала попрощаться тетя Оксана, жена дяди Гриши, вместе с пацанком Петей — родня с заречной Сомовки. Они оставались.

— Значит, уезжаете... — печально сказала тетя Оксана. — А может, зря? Может, и не возьмут немцы Харькова? Где они еще — далеко ведь.

— Далеко. Я тоже думаю, что не возьмут, — согласилась мама Галя. — Должны же их остановить... Но завод эвакуируют, вот и придется уезжать. Под бомбами много не поработаешь,

— Это верно. У нас от Сомовки близко кроватный завод, так они его день и ночь крошат, окаянные. А зачем? Дались им эти кровати...

Я прислушивался к разговору. И впрямь очень странно: фашисты бомбят какой-то кроватный завод. А наш пока не трогают. Неужели они надеются взять его добычей, знаменитый Тракторный? Ну, это черта с два. Ганс сказал, что вывезут в тыл все до последнего болта. Ничего не достанется немцам, если они возьмут Харьков. Но неужели они возьмут Харьков?..

— Мы бы тоже, конечно, уехали от греха да от страха подальше... — Тетя Оксана горестно сморкнулась в платок. — Но дом бросать жалко: не казенный, свой. А насчет нас самих, если придут... Гриша мой беспартийный, Лизка тоже. Петенька мальчик маленький. А уж я-то и вовсе никому не нужна.

— Вы, тетя Оксана, извините, только времени у меня в обрез. Буду при вас собираться. — В голосе мамы Гали слышалось некоторое

раздражение.— И ты, Санька, иди к себе, возьми что надо, но самое необходимое, слышишь?

Я поплелся в свою комнату, пацанок Петя за мной.

Самое необходимое. Я взял инструменты — молоток, плоскогубцы, клещи, ножовку, ведь без этих вещей обойтись человеку нигде и никак невозможно, без этого человек как без рук. Взял футбольный мяч — воздух, конечно, из него выпустил, чтобы не занимать лишнего места, зато прихватил насос. Взял книгу самую любимую и самую нужную — «Ваши крылья», про то, как стать летчиком. Еще портфель с учебниками — вот уж действительно бремя...

Больше я решил ничего с собой не брать. Через месяц-другой, а то и раньше Красная Армия погонит фашистов, война закончится, мы вернемся обратно в Харьков, нечего таскать взад-вперед лишнее барахло.

А если все-таки немцы возьмут Харьков? Если они войдут в город и начнут рыскать тут по пустым квартирам?

Я задумался. Мне пришла в голову одна хитрая мысль.

У меня сохранилась с первомайской демонстрации красная звезда с серпом и молотом — картон, оклеенный кумачом, на древке. Я отломил древко, залез на стул и приколотил эту звезду к стене над книжной полкой. Потом сбегал в комнату Ганса и принес оттуда собрание сочинений Маркса и Энгельса, благо они были у нас на немецком языке, — принес и расставил эти книги на полке том к тому.

— Зачем? — спросил Петя, с большим интересом следивший за моими действиями.

— Понимаешь, если немцы возьмут Харьков...

— Да не возьмут они!

— Конечно, не возьмут. Но если... — Я решил раскрыть ему свой план, он был хорошим пацаном. — Понимаешь, если вдруг они возьмут... если залезут сюда, в квартиру... ну, солдаты их, обманутые, понимаешь? А тут им прямо на полке — на немецком языке. Ведь они никогда не читали, фашисты сожгли эти книги. А тут можно прочесть. Пускай прочтут и другим расскажут — пускай они повернут оружие, понимаешь?

Пацанок Петя улыбнулся восхищенно:

— Это ты здорово придумал! Конечно, пускай прочтут... Только им все равно не взять Харькова.

Дверь приоткрылась, заглянула тетя Оксана.

— Петечка, идем, сынок. Попрощайся с Саней.. А вы скорей обратно возвращайтесь, Санечка. До свиданья.

Я вспомнил, как впервые мы наведались на заречную Сомовку. Это было давно, очень давно. Когда в нашей комнате на Черноголовской улице, где я жил вдвоем с мамой Галей — как раз на двоих было места в этой тесной комнатенке, — вдруг появился третий человек. Совершенно незнакомый и ненужный мне человек, которого звали Ганс Мюллер.

Мама Галя терпеливо объясняла мне, что он коммунист, политэмигрант, что он инженер, конструктор с того же завода, где она работала чертежницей. Но меня все это на первых порах интересовало гораздо меньше, чем само непонятное и удручающее событие: в дом, где нам так хорошо было вдвоем, пришел третий человек и явно не собирался уходить, чемоданчик свой приволок, выставил к зеркальцу над умывальником кисточку для бритья.

Хотя они до сих пор оставались не расписанными в загсе — у него еще не было советского паспорта, — мама Галя все же сочла нужным представить своего мужа родным и близким приличия ради.

А родных и близких у нее было негусто. Отца ее, солдата, убили еще в мировую войну где-то в Галиции. Мать умерла от гриппа-испанки в девятнадцатом году. И вышло, что единственным родственником мамы Гали оказался дядя Гриша с заречной Сомовки, Григорий Макарович Горбатенко. Он был даже не родным ее дядей, а двоюродным, но ближе все равно никого из родственников не нашлось.

Мама Галя сказала мне и Гансу, что мы отправляемся на Сомовку.

Ганс нацепил буржуйский галстук-бабочку, а мама Галя надела свое выходное канареечное платье с перламутровыми пуговицами, у нее еще было и другое платье, для работы.

Мы двинулись пешком вниз по Черноглазовской.

По дороге этот Ганс долго и занудно выпытывал у мамы Гали, к кому же именно мы идем, уточнял степень родства: по-видимому, он придавал этому вопросу очень важное значение и, может быть, у них, у иностранцев, на этот счет имеются какие-то особые правила.

— Ну дядя, понимаешь? Двоюродный дядя,— объясняла мама Галя.— И жена его и дети. В общем, родня... Седьмая вода на киселе.

— А, так! Теперь я понимаю,— успокоился Ганс.

Дошло наконец до него.

Сомовская улица была застроена одноэтажными домами, но не деревенскими, а городскими. Долгие ряды окон перемежались заборами и калитками. Почти над всеми крышами громоздились воркотливые голубятни.

В такой вот приземистой многооконной хате и проживал дядя Гриша со своей семьей. У него была жена Оксана. Была у него взрослая дочка Лиза. И сын Петя, пацанок вроде меня. Между прочим, пацанок доводился мне троюродным дядей — ошалеешь от этих родственных головоломок.

Дядя Гриша работал истопником в горсовете — близко к властям. Взрослая дочь Лиза работала машинисткой там же, но хвастала не этим, а тем, что была смазливой дивчиной: высокая, статная, с пухлыми губами, с выщипанными согласно моде бровями-дужками и нахальными зелеными глазами. Даже я, мальчишка, догадался, что глаза у нее нахальные; а мама Галя, кажется, поняла это сразу, едва мы вошли в дом, и вся насторожилась, посуровела — ведь при ней здесь же был ее нерасписанный муж.

Тетя Оксана нигде не работала, вела домашнее хозяйство.

А пацанок Петя, как и я, уже ходил в школу.

С ним, конечно, мы без труда нашли общий язык.

— Ты кем будешь? — спросил я.

— Летчиком,— уверенно ответил он.

— И я летчиком! — обрадовался я такому совпадению. Хотя никакого совпадения, в общем-то, не было, потому что мы тогда все намеревались стать летчиками.

Ну а я просто бредил авиацией, мечтал о небе. И пусть я еще ни разу не садился в самолет, не отрывался от земли — ощущение полета жило во мне. Вот как некоторые запросто летают во сне, так я летал наяву, скользя ладонями по восходящим токам воздуха, грудью ломая плотный встречный ветер...

Год назад, когда я учился в нулевке (в первый класс брали с восьмью), шел я по нашей Черноглазовской улице, так круто падавшей вниз, что мало кто из шоферов отваживался проехать по ней на автомашине. Я не шел, а бежал, и опять мне казалось, что вот сейчас на крутизне земля ускользнет из-под моих ног и я вспарю, взлечу. Но вместо этого вдруг остановился как вкопанный. Над окраинными, нижними, кособокими домишками раздался нарастающий гул. Ско-

рей даже не гул, а страшный грохот, от которого вот-вот проломятся крыши. Из-за этих крыш выплыл гигантский самолет. Целый летающий город. Шесть пропеллерных дисков сверкали на солнце у передней кромки крыльев и еще два кружились над фюзеляжем. Восьмимоторный. На его металлических крыльях отчетливо читались буквы: «Максим Горький». Это был знаменитый, самый большой в мире аэроплан. Это был агитсамолет, который летал из города в город и над городами, агитируя за развитие авиации,— и вот он прилетел к нам в Харьков и я увидел его своими глазами. Вскоре, правда, он разбился под Москвой и все летчики, все пассажиры погибли. Но это меня не надолго смутило и других, я думаю, тоже.

— Ты на аэродроме когда-нибудь был? — спросил я пацанка Петю.

— Нет...

И здесь преимущество оказалось на моей стороне. Прошлым летом в день авиации мама Галя возила меня на загородный аэродром. Там собралась тьма-тьмущая народу, я никогда не видал, чтобы сразу столько. И все стояли, запрокинув головы, рты разинув. В небе кувыркались самолеты — они делали мертвые петли и бочки, ввинчивались штопором в высь и таким же штопором падали едва не до самой земли, и те, кто смотрел, поневоле втягивали головы в плечи...

А потом пролетели над полем грузные четырехмоторные махины и из них будто горох посыпались черные точки. Из черных точек вырвались тонкие язычки — и полохнули, раскрылись, надулись купола парашютов всех цветов радуги. Их было великое множество, мне даже представилось вдруг, что там, в небе, сейчас людей больше, чем на этом запруженном зрителями просторном аэродроме.

Парашютисты медленно опускались, и уже можно было различить, как висят под куполами человечки, все одинаковые, в одинаковых комбинезонах, и ноги их одинаково поджаты в коленках, и руки одинаково держатся за стропы — все одинаковые, будто неживые куклы, и только парашюты над ними разных цветов. Лишь когда они один за другим достигали земли, делалось ясно, что это не куклы, а живые люди: они приземлялись по-разному, по-разному касались травы — кто ногами, а кто мягким местом — и по-разному удерживали рвущиеся из рук, трепещущие, постепенно вянущие парашюты.

Это был замечательный праздник, день авиации, на который вошла меня мама Галя.

— А хочешь, я покажу тебе голубей? — спросил мой троюродный дядя пацанок Петя.

— Покажи,— заинтересовался я.

И мы полезли на чердак, на крышу, к голубятне.

Но это было уже после того, как в доме Горбатенков нас, дорогих гостей, попотчевали знатным обедом.

Тетя Оксана выставила вкусные домашние блюда, а дядя Гриша залил из большого графина втраненные стопки.

— Ну,— сказал дядя Гриша,— давайте за вас, за тебя, Галинка, и за твоего супруга, извиняюсь, я еще не запомнил, как по имени-батюшке... За ваше счастье!

Они чокнулись.

И тогда Ганс, очень тронутый этими добрыми словами и таким душевным приемом, ответил прочувствованно:

— За ваш здорофье!.. За родня, за седьмая вода на киселе!

Дядя Гриша поперхнулся. Тетя Оксана вытаращила глаза. Мама Галя густо покраснела. А взрослая дочка Лиза откинулась к спинке

стула и захохотала в полный голос — голос у нее был такой же нахальный, как и глаза.

— Ой, не могу!.. — колыхалась она от смеха. — Вот это да! Ну и остряк тебе попался, Галка, веселый мужчина, люблю веселых мужчин! Подари — возьму. Ха-ха-ха!..

— Цыц! — оборвал ее по-отцовски строго дядя Гриша.

А тетя Оксана пожурила с материнской добротой:

— Лизка, ну как тебе не стыдно? Человек ведь по-русски еле балакает, мало ли что сморозит... Да уймись же ты, слышишь, сиамская кобыла!

При этом тетя Оксана смотрела на дочку хотя и с укоризной, но и с явным восхищением.

Все-таки она, ее дочка Лиза, была очень смазливой дивчиной.

Я же для себя заметил, что, оказывается, на свете, кроме сиамских кошек, которых я уже видел — такие ушастые, с шалыми глазами, как у этой Лизы, — существуют еще и сиамские кобылы, но мне пока не довелось их видеть. В нашем харьковском зоопарке вроде не было.

А дядя Гриша, чтобы замять это застольное происшествие, налил еще по стопке и завел с Гансом разговор о высокой политике.

— Я, конечно, извиняюсь, — сказал он, — но человек я прямой и люблю напрямую. И вот я хочу вас спросить, дорогой товарищ, по всей прямоте, не обижайтесь: как же вы всё там прокакали, в своей Германии, и как же вы это могли допустить такое, что власть забрал Гитлер, нехай бы он сдох, а?

— Пардон... — заволновался и протестующе замахал руками Ганс Мюллер.

— Нет, минуточку! Я еще не закончил. Я человек прямой и скажу напрямую, — слегка нахмурился хозяин, потому что уловил возражение. — Ведь у вас там и коммунистическая партия имелась, в Германии, и товарищ Тельман — известный вождь, и еще в восемнадцатом году у вас там, в Германии, зачиналась революция. И мы тут на вас, прямо скажу, очень надеялись, а вы всё прокакали!

— Гри-иша... — попыталась унять теперь уже своего мужа тетя Оксана, поведя взглядом в мою сторону и в сторону пацанка Пети, ведь мы тоже сидели за этим взрослым столом и поедали домашние вкусные блюда.

— А он вовсе не из Германии, — не вынеся такой очевидной несправедливости, заступился я за Ганса.

— Цыц, помолчи — не дорос еще! — прикрикнул на меня дядя Гриша.

— Нет, правда, — вмешалась в разговор молчавшая до сих пор мама Галя. — Ведь он не из Германии, а из Австрии. Понимаете, он австриец, почему же он должен отвечать за других?

И тогда Ганс Мюллер, мягко улыбнувшись, подтвердил:

— Я не из Дойчланд, я из Австрия... Но вы отшень прав: мы в Австрия тоже... как вы это сказаль? Да, про-ка-кали... Мы все должен отвечать за то, что в Германии — Гитлер!

Я не первый раз замечал, что если Ганс Мюллер разговаривал с кем-нибудь о высокой политике, то у него это выходило по-русски куда более складно, чем когда он говорил о самом простом: ну, насчет погоды, насчет семейных дел и о прочей неважной чепухе. А насчет политики у него получалось.

— Вот-вот! — обрадовался дядя Гриша тому, что больше никто ему не перечит и, стало быть, он полностью прав. — Как же вы это могли допустить: ведь и коммунистическая партия была на свободе, и товарищ Тельман был на своем месте, и все шло как полагается, револю-

дионным путем... А теперь товарищ Тельман сидит в тюрьме, и все наши люди сидят там по тюрьмам, по концлагерям, кроме, извиняюсь, вас, которых теперь полный Харьков!..

Он, дядя Гриша, оказывается, тоже неплохо разбирался в политике, во всех ее тонкостях, хотя до сих пор не мог взять в толк, что Германия — это одно, а Австрия — совсем другое. Наверное, он дотошно читал газеты или же слушал последние известия из Москвы, которые передавала радиостанция имени Коминтерна, самая главная радиостанция в стране. А может, он был в курсе политических дел и событий потому, что работал близко к властям, истопником в горсовете.

Ганс теперь сидел за столом, виновато понурясь, вертя в пальцах пустую граненую стопку.

— Да, мы все допускаль некоторый ошибки...— проговорил он тихо.— Мы допускаль сектантство... А социаль-демократише бонзы предаваль нас!

— Ой да ну вас! — прикрыв ладонью зевок, вдруг нарушила эту серьезную беседу взрослая дочь Лиза.— Сидят люди за столом, пьют и кушают, а про что у них, спрашивается, разговор? Про каких-то там гитлеров. Будто старухи на завалинке, деды будто... Ну вы, папая, и правду сказать — не первой свежести, а вот молодой человек, которого Галина привела,— ведь молодой совсем, хлопец еще. Вам сколько лет? — нахально спросила она Ганса.

— Я иметь... двадцать пять ярэ альт.

— Хлопец и есть!.. Давайте лучше споем, как у добрых людей водится под такое. Хотите, спою?

— Самая плохая песня лучше хорошей драки,— сказал дядя Гриша.

— Зачем же плохая? Лизка у нас хорошо поет, с детских лет певунья,— одобрила ее намерение тетя Оксана.

Ганс вежливо закивал.

Мама Галя промолчала.

Я и Петька уминали за обе щеки пирог с капустой.

Лизка сняла со стены гитару с пышным розовым бантом на шейке, перебрала струны, подвинтила слева, подвинтила справа, откинулась, задумалась, опустила ресницы. И запела:

Пропала надия, розбылося сэрце,
Заплакалы очи мой-и...

Это была украинская песня. В нашем городе Харькове проживало очень разнообразное население: и украинцы, и русские, и евреи, и армяне, а теперь вот, если верить словам дяди Гриши, тут оказалось полно всяческих приезжих немцев. Между собой, в обиходе, они предпочитали разговаривать на собственных своих родных языках или же на смеси украинского с русским, что и было особенным харьковским говором. Но уж если в нашем городе Харькове затевали, запевали песню за домашним праздничным столом, то обязательно и непременно украинскую грустную песню. И песня, которую пела сейчас Лизка Горбатенко, была очень грустной.

А то дэсь далэко
С другымы жартуе...

Хоть плачь.

Я заметил, как тетя Оксана, слушая дочкино пение, отерла слезу. И глаза дяди Гриши увлажнились. И в глазах Ганса Мюллера появилась печаль, пусть он даже и не понял ни единого словечка в этой ук-

раинской песне. И даже строгие глаза мамы Гали вдруг оттаяли, по-добрели.

Лишь глаза самой певуны Лизки — ее зеленые нахальные глаза, из хитрости прикрытые ресницами (я мог бы побожиться, что из хитрости), — оставались совершенно спокойными, даже веселыми, покуда она пела эту грустную, слезливую песню. Мне так и казалось, что вот сейчас, сейчас она вдруг расхохочется и выдаст какой-нибудь неожиданный номер.

Мои подозрения оправдались.

Лизка шлепнула ладонью по струнам, чтобы они замолкли, поднялась и, не выпуская гитару из рук, пошла вдоль стола, медленно и картинно выставляя ноги, будто танцевала. Снова затренькали струны под ее пальцами, и она снова запела, но уже другую песню, и уже другим голосом, и уже по-русски:

Нужны наряды мне для та-анцев,
Мне нужен шелк и крепдешин,
Мне нужен муж из иностранцев,
На первый случай хоть оди-ин...

Все так и обмерли.

Эта песня была из кинокартины «Веселые ребята», ее Утесов пел, сидя на дереве, эту песню, а слова были такие: «Как много девушек хороших, как много ласковых имен...» Ее распевали везде и всюду.

И вдруг — мелодия та же самая, а слова совсем другие, нахальные, злые, с подковыркой. Вряд ли их, эти слова, сочинила сама взрослая дочка Лиза. Скорей их придумал кто-то другой (тогда была такая мода — переиначивать слова полюбившихся всем песен на босяцкий лад), а Лизка их где-то услышала, запомнила и вот решила преподнести гостям сюрприз.

Но сюрприз ее никому не понравился.

— Цыц! — сердито воскликнул дядя Гриша, первым оправившись от обалдения. — И чтобы я никогда ничего подобного...

— Лизка, бесстыдница, сямская ты кобыла! — прикрыла ладонями щеки тетя Оксана. — Да разве ж можно...

Мама Галя встала с места и пошла к окну — взглянуть, как там на улице, не поздно ли, не пора ли домой.

И только Ганс Мюллер продолжал улыбаться как ни в чем не бывало. То ли он ничегошеньки не понял из этой нахальной песни, то ли ему показалось, что в этом нет ничего предосудительного — когда выходят замуж за иностранцев, то ли у них там, за границей, просто не принято, когда они ходят друг к другу в гости, лаяться за столом, обижаться либо показывать вид, что обижены. Кто их знает, как там у них.

А тетя Оксана вдруг обратила внимание на нас с Петькой — она заметила, что мы с ним доели все, что нам было положено в тарелки, и сказала:

— Петенька, сынок, а ты показывал Санечке своих голубей, голубятню свою? Покажи, покажи... Ступайте.

Вот тогда-то мы и полезли с ним на чердак, на крышу. И там я ему поведал про день авиации. Там-то и выяснилось, что мы с ним непременно будем летчиками.

Уже, наверное, за полночь мы добрели от заречной Сомовки до наших краев, до Черноглазовской. Это были последние метры пути, но преодолевая их было всего труднее, потому что Черноглазовская улица имела отчаянную крутизну и одно дело съезжать по ней на лыжах или на санках, а совсем другое — подниматься по ней пешком,

когда скользко, когда ночь-заполночь, когда столько до этого пройдено.

Мама Галя шла впереди, загородившись поднятым воротником пальто, — вот так, молча, она и прошла весь путь от Сомовки до Черноголазовской.

Ганс плелся за нею, чуть пошатываясь, оскальзываясь то и дело. Наверное, они с дядей Гришей выпили еще по паре рюмок, покуда согласовывали, что им предпринять насчет Германии и как разделаться с проклятым Гитлером.

Я замыкал шествие. И всю дорогу слышал, как Ганс Мюллер прямо бубнил одно и то же:

— Галечка, я отшень верны тшеловек!.. Ты еще будешь узнавать: я отшень верны тшеловек!..

А весной мы покидали нашу старую квартиру, наш старый дом. Нам дали другую, в другом доме, близ завода, где работали мама Галя и Ганс.

Утром заводской грузовик подкатил к подъезду, шофер с грохотом распахнул борта кузова, и в пятнадцать минут Ганс на пару с этим шофером выволокли на улицу все наше добро. Не так уж много добра у нас было, а в кузов едва вместились. Мебель, ящики, узлы взгромоздились выше кабины. Все это опутали толстой веревкой. Затянули крюки.

Мама Галя устроилась в кабине. Мы с Гансом залезли на самую верхотуру и важно расселись там, как господа.

Машина тронулась.

Почти во всех окнах занавески приоткинулись, за ними маячили любопытные лица, а некоторые лица высунулись наружу из форточек: обитатели дома, соседи, глядели, как мы уезжаем.

Смотрел нам вслед старый дворник Никифор, опершись на черенок фанерной лопаты, такой же широкой, как его борода. Поговаривали, что Никифор служил здесь дворником еще при царе — стало быть, не раз приходилось ему наблюдать это дело: приезжают — уезжают. Но мне показалось, что он смотрел нам вслед даже с некоторой печалью, хотя я имел прямое отношение к ораве дворовых мальчишек, доводивших порой Никифора «до белого колена».

А сама эта орава бежала за машиной — мои приятели, кореши, пацаны: Яшка Овсюк, Гошка Карпенко, «четыреглазый» Марик и все остальные. Они орали что-то не разбери-поймешь, прыгали, изображали бурное веселье и вообще выдрючивались как могли, но я видел по их физиономиям, что это показное веселье, грустное веселье расставания. Наверное, им было жалко, что я уезжаю...

Сперва грузовик промчался по Пушкинской улице, я увидел в сквере Пушкина, который обидчиво повернулся спиной к Гоголю. Потом машина вынеслась на площадь Тевелева, и справа мелькнул, ослепил, как неожиданный первый снег, белый фасад Дворца пионеров с шестеркой трубящих горнистов. Прежде, до революции, в этом дворце помещалось Дворянское собрание. То есть туда имели доступ одни лишь дворяне — они там устраивали свои дворянские собрания. И тогда, конечно, не было на балконе этих гипсовых пионеров с горнами. Но теперь они были, а самих дворян не было. Я мечтал, что вот уже скоро надену красный галстук с металлическим зажимом и тогда получу право ходить в этот дворец, а меня, вот несчастье, увозят на грузовике неизвестно куда.

Мы круто развернулись у гостиницы «Интурист», неприступной и мрачной, как средневековый замок с угловой дозорной башней, и въехали на проспект Сталина (его лишь недавно назвали так, и многие

харьковчане продолжали именовать его по привычке Старомосковской улицей). Вот деревянный мост через речку Харьков. Эти еще недалекие от центра места были мне хорошо знакомы.

Но за этим мостом, за этой речкой начиналась вовсе незнакомая земля.

Встали частоколом заводские трубы, дружно коптящие небо. Громоздкие кирпичные цехи с горбатыми крышами и непроницаемыми от сажи окнами.

— ХЭМЗ,— объяснил Ганс. И даже перевел: — Электромеханический завод...

Вот уж не хватало, чтобы какой-то немец переводил мне на русский язык, что такое ХЭМЗ. Я и без него знал, что это значит, слышал про этот завод.

— ХПЗ, паровозостроительны,— продолжил он свой интересный рассказ, когда мы проезжали мимо другого завода.

Эти заводы были очень старые, наверное, их построили еще при капитализме — они имели хотя и внушительный, но неприглядный, темный вид.

Однако на том все и кончилось — кончился город. Лишь кое-где попадались кособокие хаты. По жирной грязищи бродили скучные псы да замызганные куры. А с другой стороны дороги — ряды дощатых приземистых барачков — все на одно лицо, и это лицо было тоже унылым, скучным.

А потом и того не стало. Шоссе летело прямо по изрытому полю, где в оврагах и яминах копилась талая вода. Вокруг было безлюдно и пусто. Только наш грузовик басовито ревел, набирая скорость. И ныли в вышине провода электропередачи.

Я уж совсем отчаялся, подумал: так оно и есть, вон в какую чужественную глушь увозят меня из обжитых человеческих мест; может быть, просто обманули, сказали, что на новую квартиру, а увозят насовсем из города Харькова в другой, неизвестный город, куда мне никак не хочется, в какой-нибудь жуткий Змиев или Волчанск.

И тогда за поворотом будто из-под земли выросли заводские корпуса.

Я еще никогда в жизни не видел ничего более могучего и величественного. Этот завод даже не был похож на завод. Ни дымных труб, ни тягучих заборов, ни изъеденного кирпича, ни ржавого железа. Только бетон — легкий, как перышко. И стекло — ясное, как небо.

Он проплыл мимо глаз сказочным видением — ХТЗ, Харьковский тракторный. Единственный завод изо всех мною виденных, который — я знал это — был моложе меня самого.

Машина свернула.

И мы уже мчались по улице заводского городка.

Улица тоже была необычной. Дома на ней были расставлены не шеренгой, а уступами, торцами к проезду, как зубья пилы. Они сияли широкими окнами. Они развесили балконы на все четыре стороны. Они выглядели так же задорно и юно, как топольки на обочинах дороги с набрякшими крупными почками — вот-вот взорвутся зеленью.

Все вокруг было напоено влажным весенним духом.

Я раскрыл рот, глотнул этого духа и рассмеялся: мне вдруг сделалось очень весело. Очень радостно.

Мог ли я думать тогда, что услышу здесь другие взрывы, что война надвинется так близко? Что придется покидать и эту нашу новую квартиру, покидать Харьков?

Небогатый свой скарб я понес в комнату, где мама Галя укладывалась в дорогу.

Она стояла на коленях перед большим фанерным ящиком. Вся она была какая-то потерянная, оглушенная, сосредоточенно потирала виски, будто решала сложную, невероятной сложности задачу.

Вот она опять склонилась над ящиком, принялась выбрасывать от туда вещи: туго скатанный коврик, связку обуви, старую шкатулку... Поднялась, метнулась на кухню, принесла вместо этого мясорубку, утюг, кастрюлю. Ну да, как же без этого? Ведь без мясорубки даже обыкновенных котлет не изжарить, сухарей не смолоть. А без утюга? Так, что ли, и ходить измятыми, будто корова жевала да выплюнула?.. Совершенно невозможно жить без этих вещей.

Я протянул ей свои причиндалы. Она посмотрела на них, потом на меня — с укоризной.

— Нельзя, Санька, нельзя... Только семьдесят пять килограммов можно, по двадцать пять на человека, нас трое. — Она опять потеряла виски, добавила: — А если Ганса возьмут на фронт...

Ее рассеянный взгляд скользнул по связке обуви, лежащей на полу, скользнул и задержался. Она вдруг отвязала от этой связки пару совсем крохотных ботинок, подняла, показала мне:

— Это твои... самые первые.

И, поколебавшись мгновение, положила ботинки в ящик.

Я возмущенно фыркнул. Вот уж и впрямь — крайняя нужда.

— А если Ганса возьмут на фронт, — повторила мама Галя, — то на двоих. Пятьдесят килограммов.

Лязгнула входная дверь.

Ганс? Да.

Не сказав ни слова, он пересек комнату, направился к окну и замер у этого окна, перечеркнутого наискосок полосками бумаги. По его спине было видно, что он зол и подавлен. Обиженная такая спина.

Мама Галя подошла к нему сзади, тронула рукой плечо:

— Ну что?

Он обернулся резко, сбросил с плеча ее руку.

— Мне отказали.

Мама Галя вздохнула сочувственно. Но, как мне почудилось, и облегченно.

Это повторялось всякий раз, когда Ганс возвращался из военкомата. А ходил он туда чуть ли не каждый день. И каждый день я боялся этого — что ему опять откажут.

Честно говоря, еще я боялся, когда он уходил в город, что его невзначай где-нибудь на улице остановят и загребут как немецкого шпиона — ведь все-таки он еще говорил с акцентом. А шпионов на улицах ловили, некоторых по ошибке, но некоторых вправду: в городе появились шпионы, подрывники.

— Не злись, — попросила мама Галя. — Ну не всем же идти на фронт, ведь кто-то должен работать для фронта! Если тебя бронируют, значит, это необходимо. Значит, твоя профессия...

— Моя профессия — бить фашистов! — раздраженно и четко сказал Ганс. — Думаю, что дело не в профессии, а в том, что меня зовут Ганс Мюллер.

Заметив на полу фанерный ящик, он решительно шагнул к нему.

— Что это такое? — спросил он, вытаскивая за ручку мясорубку. Швырнул ее на пол. — А это? — Он держал утюг. — Зачем это? — Утюг с лета ковырнул паркет. — Для кой черт вся эта ерунда? — гневаясь он, вытряхивая из ящика одну необходимую вещь за другой. — Всякая чепуха...

Теперь он держал в руке пару крохотных ботинок, держал за шнурки, будто котенка за шкурку.

— Я же сказал: семьдесят пять килограммов. На трех человек. И ни грамма больше!..

Ботинки плюхнулись обратно в ящик.

А ведь я не разговаривал с ним — не хотел, и все — целый месяц после того, как он появился тогда в нашей комнате, в нашем доме на Черноглазовской, этот совершенно незнакомый и ненужный мне человек.

Я впервые заговорил с ним в солнечный зимний день, когда мы возвращались из лесопарка, дожидались трамвая на глухой остановке у просеки, прислонив к ногам облепленные снегом лыжи.

Перед нами и позади нас стеной стоял заснеженный лес. На еловых лапах громоздились пласты снега, под их тяжестью хвоя поникла, и время от времени белые хлопья с шорохом обрушивались.

Все окрест было расчерчено следами лыж. И две пары трамвайных рельсов, уходящих к горизонту, тоже казались накатанными до блеска прямыми лыжнями.

Ганс скромно помалкивал. Будто ничего не произошло. Будто не он сейчас прыгал с трамплина. Будто не ему хлопали в ладоши, не ему предназначались восторги зрителей.

Я, конечно же, понимал, что прыгал он сегодня не из спортивного интереса, не ради восхищения окружающих. А прыгал он для меня. Чтобы подлизаться ко мне. Чтобы завоевать мое уважение. Но вместе с тем я не мог не отдавать себе отчета, что он избрал не самый легкий путь для этой цели. Ведь прыгнуть с такого высоченного трамплина, где можно и руки-ноги обломать и голову свернуть, это что-нибудь да значит. Это не конфетку подарить.

— А не страшно? — не утерпев, спросил я.

И это были первые слова, с которыми я обратился к человеку за целый месяц, что он жил с нами под одной крышей.

— Нет, — вполне чистосердечно, не красуясь передо мной, ответил Ганс. — Я много прыгал... Там.

Должно быть, он имел в виду свою Австрию.

Вдали, очень далеко, там, где в одну нить сходились рельсы, появился трамвай. Он двигался прямо на нас, и поэтому боков его не было видно, а виднелась лишь его головная будка, остекленная сверху, а понизу выкрашенная алым, и он был похож на крутолобого бычка, бредущего своей дорогой.

— Один раз... было страшно, — вспомнив о чем-то, продолжил Ганс. — Когда мы, шуцбундовцы... уходили в Чехословакия. На лыжи, через границ... Был ночь, и это... как сказать? Фью-у-у-у...

Он засвистел, подбрав губу. Рукой закружил в воздухе.

— Буран? — подсказал я.

— Зихер! Бу-ран... — повторил Ганс. — Мы ничего не видеть... а сзади нас стрелял жандармы... Абер... но они.. они тоже ничего не видеть... пуф-пуф — не попалять...

Он рассмеялся.

Но я не стал ему подхихикивать. Я спросил строго:

— А зачем же вы удирали? Почему вы удирали от них, от жандармов? Надо было сражаться, а не удирать!

— Мы... цуэрст... сначала мы не хотели удирать... Мы, шуцбундовцы, делаем большой восстание. Мы держать в свои руки все рабочие кварталы ин Вена. Но они... правительство, хаймвер, фашисты... они бросать против нас броневиков, пулеметов... они бить артиллери прямо на дома, где жить рабочи, где мы иметь оборона. А у нас... мы почти не иметь оружие, нур... только голый руки...

Он стащил вязаную перчатку и показал мне свою голую руку.

Ногти на пальцах были надтреснуты — ведь до того, как стать заводским конструктором, он долго работал у станка и ни за что не хотел идти в инженеры: «Я хотеть быть рабочи класс!»

Подошел трамвай. Мы сели в задний вагон. Лыжи прислонили к барьеру трамвайной площадки, а сами примостились на крайней скамье, что расположена не поперек, а вдоль вагона.

Мимо окон замельтешили еловые ветки, отягощенные снегом. — Значит, побили они вас, фашисты? — спросил я его напрямик.

Он кивнул:

— Побили.

Да, напрасно. Зря они дали себя побить. Надо было крепче драться!

Ганс как будто догадался, о чем я думаю, и стал оправдываться:

— Социаль-демократише бонзы... они предавал нас! — Он возмущенно махнул рукой. — Швайнерай!

Ну уж этого я не разумел. «Бонзы... Швайнерай...» Я ведь не знал австрийского языка. Не понимал иностранной руготни.

Я тогда еще маленький был.

2

— Ты расскажешь нам, Игорь, о полезных ископаемых Восточно-Европейской равнины. Рассказывай.

В глазах Натальи Витальевны, нашей географички, была спокойная уверенность: она ведь знала, что Игорь Пиотровский расскажет все как надо. Не то что Ленька Голованов, только что схлопотавший кол.

Игорь взял указку. Он был собран и серьезен, как подобает отличнику.

— В недрах черноземных степей скрыто много полезных ископаемых, — сообщил он, обведя кружок на карте. — Вот здесь расположена Курская магнитная аномалия, богатое месторождение железных руд, — пояснил он. — Его открыли советские ученые, — подчеркнул Игорь, — они обратили внимание на то, что в этих местах стрелка компаса отклоняется — это на нее влияют скрытые массы железа...

— Так, совершенно верно, — одобрительно кивнула Наталья Витальевна.

Что верно, то верно. Все как надо. Как написано в учебнике, по которому чешет наизусть Игорь Пиотровский.

Учебник лежит передо мной на парте. На обложке напечатано: «1940 г.».

Но сейчас не сороковой год, а сорок второй. Новых учебников, понятно, из-за войны не выпускают, и приходится учиться по старым. Вот он, Игорь, и отвечает по старому учебнику о Курской магнитной аномалии. А Наталья Витальевна согласно кивает. Как будто ни ей, ни ему не известно, что в Курске немцы. Что никакие там не полезные ископаемые, а самые что ни на есть фашисты. Что с прошлой осени они засели в Курске.

— На всю страну славится месторождение железных руд у Кривого Рога, — продолжает как ни в чем не бывало Игорь Пиотровский. — Его эксплуатация особенно удобна тем, что вблизи расположены угольные шахты Донбасса...

А в Кривом Роге фашисты. И в Донбассе фашисты. С прошлой осени.

Я оглянулся беспомощно. Да неужели никто, кроме меня, об этом не знает? Неужели у всех вдруг отшибло память? Или всех, будто гип-

нозом, заморозил дотошный рассказ Игоря, киванье Натальи Витальевны, этот старый учебник географии?

Нет, не всех. Ленка Голованов сидит за своей самой задней партией, на «камчатке», хмурый, бодливо наклонив стриженое темя. Он то небось понимает. Может быть, именно по этой причине он и не сказал ничего вразумительного, когда его вызвали к доске, к карте. Просто врать не хотел. Какой уж там Донбасс, какая магнитная аномалия! Немцы там, вот кто. А ему за это еще и кол выставили...

Таня Якимова. Татьяна. Танька.

С нею мы единственные в этом шестом «б», окончившие пятый класс в Харькове. Остальные либо местные ребята, либо тоже эвакуированные, но из других городов, не из Харькова. Из Харькова никого больше нет, жалко.

Мы тут с нею единственные.

И ей бы сейчас заметить мое смятение, мое беспокойство — неужели все обо всем позабыли? — и хотя бы взглянуть в мою сторону, глазами ответить: нет, мол, Санька, я помню, я помню наш Харьков, а теперь там тоже немцы, с прошлой осени; я помню своего папу, он погиб — уехал на фронт и сразу же погиб; я все помню, Санька.

Однако Татьяна сейчас смотрела не на меня.

Она очень пристально, загородив ладонями щеки, смотрела на Игоря Пиотровского. Слушала, как он там, у карты, пересказывает из учебника географии старые рассказы про полезные ископаемые Восточно-Европейской равнины. Вот ее брови тревожно сдвинулись: Игорь, сбившись на полуслове, вдруг закашлял надсадно. С ним это часто случалось, такой неожиданный кашель. Но он тотчас откашлялся, отер платком губы, снова заговорил. И Танькины брови успокоенно разошлись.

Между прочим, я уже не впервые ловил невзначай этот пристальный, загороженный ладонями взгляд Татьяны, устремленный на Игоря Пиотровского. Даже когда он не отвечал у доски, а сидел за своей партией справа от нее, через ряд.

Не стану скрывать: меня это несколько задевало. Ведь Игорь был не из Харькова.

Он приехал сюда из Ленинграда. Его вывезли оттуда на самолете, когда замкнулось кольцо блокады. Помог отец, подводник, капитан первого ранга, который служил на Северном флоте. Отец добился, чтобы жену и сына отправили на Большую землю, чтобы он мог не волноваться, уходя в море; но с тех пор, вот уже сколько времени, от него самого не было ни письма, ни строчки. Мы знали об этом, Игорь часто говорил об отце. Он его любил и возвеличивал. Ну еще бы: капитан первого ранга, подводник! А вот разговоров о ленинградской блокаде Игорь избегал, когда мы его расспрашивали, — может быть, потому, что он недолго пробыл в кольце. Оттуда он и привез этот кашель, надрывавший порой его грудь.

Но он не выглядел слабым. Он был плечист и строен, до войны занимался гимнастикой. У него были гладкие волосы, раскинутые на четкий пробор.

Однажды я нечаянно услышал, как Игоря обсуждали в раздевалке среди навешанных пальто две девчонки. «Этот новенький, из Ленинграда, — он красивый мальчик, правда?» — сказала одна. «Не знаю, — сказала другая. — Я видела его маму. Она очень красивая. А он просто похож на нее». Но эти две девчонки, судя по голосам, были другие. Не Танька.

Меж тем указка продолжала блуждать по карте, испещренной синими реками, рыжими взгорьями и зелеными равнинами. Легко так и быстро, скользя, одолевала она расстояния.

Да и вправду ли эти расстояния так уж велики?

Я представил себе наш путь от Харькова досюда. Эшелон был в пути пять дней. Засели в голове названия станций: Изюм, Красный Лиман, Дебальцево... Раньше я их слыхом не слыхал. На одной из них добрая старушка, подойдя к вагону, уверяла, что к ночи нас тут непременно разбомбят, но мы уехали до ночи. На другой, заглянув в станционную лавку, я обнаружил, что там продают пшеничный концентрат в пакетиках, закупил его на целый трояк, который сунула мне в карман мама Галя на случай, если я отстану от поезда, и она похвалила меня за эту покупку. Приближаясь к третьей, я впервые в жизни увидел шахты — черные курганы, повитые сизым дымком.

Не слышал я про эти станции, про эти маленькие города и позже, когда их сдавали немцам. Эти названия не упоминались в сводках. В сводках были другие названия, оглушавшие будто обухом: Киев, Харьков, Курск...

И я думал не о той доброй старушке, которая подходила к нашему вагону в Изюме, остерегала насчет бомбежек, а думал я о пацанке Пете, о моем троюродном дяде Пете Горбатенке, оставшемся в Харькове. Как же он там, под немцами? Что с ним?

Но в последние дни я воспрянул духом, проникся ожиданием. Услышал по радио, прочел в газете: Красная Армия начала наступление на изюм-барвенковском направлении. А это значит — под Харьковом, это значит — на Харьков. На Харьков!

Вот будет здорово, когда наши возьмут Харьков! Быстро соберем свои эвакуационные манатки — и домой. И завод вернется на прежнее место, в Харьков.

Помню, перед самым Новым годом посередине урока неожиданно раздался звонок.

— В зал, всем в зал! — распахнув дверь, объявил запыхавшийся пионервожатый.

В школьном зале на стене висела карта, размалеванная наспех. Красный кружок — Москва. От этого кружка пронзительным колючим веером устремились в стороны красные стрелы. И черные ощерившиеся дужки пятились от этих стрел.

— Ребята! Только что получено сообщение. «В последний час... — прочла Наталья Витальевна, которая была в нашей школе партийным секретарем. — Разгром немецко-фашистских войск под Москвой...»

Мы вскочили с мест и так заорали от радости, что едва слышали остальное:

— «...освобождены от врага Елец, Рогачево, Солнечногорск, Волоколамск, Клин...»

А ведь и эти маленькие города не были знакомы большинству из нас.

Нет, я напрасно злюсь на старый учебник географии. Зря оглядываюсь в недоумении. Это очень хорошо, что Игорь Пиотровский рассказывает о Донбассе, о Курской магнитной аномалии, о Восточно-Европейской равнине так, будто ему невдомек, что там сейчас фашисты, и будто по уговору молчит шестой «б». И права Наталья Витальевна, которая согласно кивает, не перебивает.

— Вот здесь, ниже, — сказал Игорь, — находится...

— Стоп, — перебила Наталья Витальевна и строго нахмурилась. — Сколько раз я должна напоминать, что в географии не существует таких понятий — выше, ниже, левее, правее? Есть понятия: северней, южней, восточней, западней... Разве ты забыл об этом, Игорь?

— Я не забыл, просто... — Наш отличник смущенно отвернулся.

— В каких случаях мы имеем право употреблять в географии слова «ниже», «выше»? — продолжала допытываться Наталья Витальевна.

Игорь с готовностью протянул указку к синей речной излучине меж зеленых низин:

— Наш город Сталинград расположен по течению Волги ниже Саратова...

Тяжелый выбух ударил в уши. Оконные стекла задребезжали, вдавливаясь внутрь. С потолка просеялась штукатурка.

— Спокойно, всем оставаться на местах! — Наталья Витальевна явственно побледнела. — Воздушной тревоги не было...

Но мы бросились к двери, волоча портфели и сумки.

Потому что это был не первый случай, когда сначала рвались бомбы, а уж потом взывали сирены.

И не было случая, чтобы кто-нибудь возвратился в класс после отбоя.

Ближайшую воронку мы обнаружили у шоссе на дороге, раскопанной Бекетовку, наш рабочий поселок. Заглянули — ничего себе ямка.

— Полутонную кинули, — определил Игорь.

— Опять в Сталгрэс целились, — сказал Ленька Голованов.

Справа от нас, там, куда убегало шоссе, виднелась электростанция. Она была похожа на военный корабль из серой брони, на крейсер «Аврора», только на «Авроре» три высоченные трубы, а на Сталгрэс их шесть. Шеститрубный корабль, распутивший дымы по ветру.

Ленька съехал на заду в воронку, мы за ним.

Он же первым заметил нору — вроде ящеричного хода, — расковырял ногтями, вытаскивая острозубый рваный кусок металла. Мы склонились над его ладонью, потрогали зазубренные края осколка — вроде теплый еще.

— Тут буквы какие-то. Иля-цифры... — сказал Ленька. — Не разбираю.

— Дай-ка попробую, — предложил я.

— А чего их разбирать — фашистские! — Ленька отшвырнул прочь осколок.

— Дело в том... Понимаете, у нас в Харькове упала фашистская бомба и не взорвалась. Саперы развинтили, а в ней песок и еще записка: «Чем можем, тем поможем». Это, наверное, рабочие там, у них...

— Ты сам видел? — сощурился Ленька Голованов.

— Что?

— Ну записку эту?

— Нет, — признался я. — Но в Харькове говорили.

— Мура! — зло и решительно отозвался Игорь Пиотровский. —

Про эту бомбу и про эту записку в каждом городе рассказывают. У нас в Ленинграде тоже сперва рассказывали, а после перестали... Потому что взрываются они, бомбы! Взрываются. И эта, как видишь, взорвалась. Хорошо мимо. А если бы в Сталгрэс попала — заводы остановились бы... — Он замолк, слатывая подступающий кашель, отдыпался и добавил: — Что-то обнаглели они, немцы. Вдруг среди дня — бомбежка. Почему?

Но тут и я и Ленька могли поспорить с Игорем Пиотровским. Ведь он приехал сюда, в Бекетовку, уже зимой, когда шла к концу вторая четверть. А я жил здесь с осени. Ленька Голованов, он и вовсе местный, бекетовский, тут родился.

Первые бомбы на Сталинград упали еще прошлой осенью, в октябре. И упали они именно на Бекетовку. Среди бела дня. Мы сидели как ни в чем не бывало на уроке, и вот в точности как сегодня, внезапно, без всякой воздушной тревоги — взрыв, взрыв, взрыв. Одна бомба упала прямо на станцию, а там люди дожидались пригородного

поезда. Вторая разорвалась на рынке, а на рынке всегда полно народу. Третья угодила в фабрику-кухню. Четвертая грохнулась возле этого самого шоссе.

Тогда все поняли, что немцы хотели разбомбить Сталгрэс, но промахнулись. В электростанцию они так и не попали. Однако в тот день поубивало многих и многих поранило.

Потом всю зиму на отчаянной высоте появлялись разведчики. По ним стреляли зенитки, в безоблачном синем студеном небе вспухали комки разрывов, но, похоже, они не доставали той высоты. За ними гонялись истребители, над самым городом протаранили немца, но этого я не видел, читал в газете.

В пасмурный день, когда облака нависли над самой землей, на них вдруг, как в бачке с проявителем, обозначились черные летящие тени: сухопарые двухмоторные «Мессершмитты-110» поднырнули под сырую заволочь и пошли над Бекетовкой почти на бреющем, так что были видны кресты на крыльях и головы летчиков в кабинах.

Два «мессера» опять круто взмыли, а третий врезался в Лысую гору — то ли самолет был подбит, то ли из-за тумана, сослепу.

И меня вдруг осенила счастливая мысль, злая надежда, что этот летчик, который сейчас, на моих глазах воткнулся в землю, что он, может быть, и есть тот самый наглый и чванный тип со свастикой на рукаве, тот летчик-молодчик, который пыжился на церемонной свадебной фотографии, присланной в Харьков из Вены, рядом с родной сестрой Ганса Мюллера, и Ганс тогда отправил их обоих в сортирную раковину, — мне даже показалось, что я узнал эту чванную морду за плексигласовым фонарем «мессершмитта», хоть и в шлеме, и если я сейчас быстро добежу до Лысой горы, то смогу полюбоваться, как он там валяется в обломках, с размозженным черепком, а руки-ноги расшвыряло взрывом по отдельности — во зрелище!..

Но Лысую гору, когда я добежал, уже оцепили бойцы НКВД и никого не подпускали.

Так и не смог я убедиться, что он, — жалко.

Из ночи в ночь, иногда и днём объявляли воздушную тревогу.

Совсем недавно, в конце апреля, когда стоял снег и зазеленела свежая травка, я возвращался из школы, на полпути к дому взвыли заводские сирены, пришлось лезть в ближайшую щель, а там... Нет, об этом вспоминать неохота.

Последние недели, когда Красная Армия начала наступление на Харьков, немцы вроде забыли про Сталинград. Стало тихо, никаких тревог.

И вот опять сегодня эта свежая глубокая воронка, в которой мы сидим.

Наверху послышался гул моторов. Но это не самолеты — автомашины.

Мы выкарабкались из ямы.

По шоссе двигалась колонна грузовиков. В кузовах плотно сидели красноармейцы, скатки-шинели через плечо, а в руках винтовки. К замыкающей машине была прицеплена маленькая пушка на резиновых шинах, подпрыгивавшая на колдобинах.

— Противотанковая, — сказал Ленька Голованов. И добавил, дрогнув губами: — Батя из такой стрелял..

Ленькин отец погиб в сорок первом.

— Наверное, прямо на фронт едут, — предположил Игорь.

— Что ты! — возразил я. — До фронта далеко, очень далеко. Они на учения едут или с учения.

В поселке неподалеку отсюда был широкий плац, где обучали новобранцев. Они там маршировали строем и в одиночку, кололи шты-

ками соломенные чучела, кидали гранаты, ползали по-пластунски.

— Нет, это не на учения,— сказал Ленька, провожая пристальным взглядом последний грузовик и прыгающую пушку.

— Ребята,— озаботился Игорь,— нам же еще в госпиталь сегодня. И уроков задали до черта.

— Уро-ки, уроки...— Ленька Голованов в досаде поскреб затылок.— Тут война, а они уроки задают.

Госпиталь разместился в большом школьном здании, поднявшемся над Бекетовкой. Если бы это здание не отвели под госпиталь, то нам, школярам, не пришлось бы таскаться что ни день за километры, в дальнюю школу, к Никитинской церкви. Туда-сюда целый час. Если б не было войны, то мы тут бы, рядышком, и учились. Но если б не было войны, я бы и не очутился в Бекетовке, жил бы себе в своем Харькове, благодать. Если бы да кабы...

Но когда война, самые большие школьные здания отводят под госпитали. Даже в финскую войну в Харькове позакрывали соседние школы, ребят со всей округи втиснули в нашу, и мы там сидели человек по шестьдесят в одном классе, душновато. А ведь то была малая война.

Из госпиталя возвращались вчетвером: Игорь, Ленька, Таня Якимова и я. Мы все жили рядом, между шоссеиной дорогой и железной дорогой, между рынком и баней, близ бекетовской платформы.

Кроме Леньки Голованова, который тут родился и вырос, в своем родном доме, все мы жили у хозяев по эвакуационным ордерам.

Когда приходил очередной эшелон, в эвакупункте выдавали ордер: вам туда-то, а вам сюда-то, а вам вон аж куда, ничего, люди покажут... Но война быстро научила нехитрым уловкам. Хозяева сами стоваривались на станции с эвакуированными, нет, не насчет платы — в плате ли дело, — а насчет взаимного удобства: хозяевам — чтобы семья поменьше и без крикливых грудняков, а жильцам — чтобы в доме почище и, главное, к работе ближе. И чтобы взаимная симпатия, сердечный лад. Эвакупункт охотно разрешал.

— Ну, покедова,— буркнул Ленька.

— Привет,— сказал Игорь.

— До свиданья,— улыбнулась Танька.

Они жили на улице Шекспира, которой мы как раз достигли. Пиотровские жили у Головановых, а Якимовы — соседний двор, соседний дом.

Я посмотрел им вслед и, загрузив, потопал на свою Каланчевскую улицу, она была невдали. Вон главная примета: черный треугольник крыши на фоне сумеречного неба, среди дремучих акаций — Якушин дом. Самый большой, самый добротный, самый нарядный. Крыльцо под изогнутым сводом, узорчатый дымник над трубой. Мы, правда, жили не у самого Якуши, а рядом — наш дом был невзрачней, неприметней, труба пониже и дым пожиже, оттого и примета: возле дома Якуши.

Загрустил же я вот по какой причине.

Считалось, что мы проживаем в городе Сталинграде. А на самом деле мы проживали в поселке Бекетовка. Это был удивительный город — Сталинград. Он растянулся на полста верст и весь состоял из заводов, подступивших к берегу Волги, а при этих заводах имелись рабочие поселки вроде нашего: бесчисленные улицы, улочки и переулочки, застроенные деревянными домишками, домишки огорожены заборами, а за этими заборами растут акации и лают сердитые псы, когда идешь мимо. Были, конечно, и каменные дома — например, возле бекетовской платформы стояли настоящие солидные четырехэтажные

дома и там же был Дворец культуры, где мы смотрели кино, там находились и разные учреждения. Но эти каменные дома казались островками в бескрайнем море низких дощатых крыш и ветвистых, кустистых дворов. Глубокие балки — овраги, поросшие камышом, — отделяли один поселок от другого, и все эти поселки лепились к склонам безлесых покатых холмов: Сарепта, Бекетовка, Отрада, Хохлы, Ельшанка...

А где-то был настоящий город Сталинград. Хотя считалось, что мы проживаем именно в Сталинграде.

Вот этот настоящий Сталинград я и мечтал увидеть.

Правда, я был там однажды, но так его и не увидел.

Минувшей зимой мама Галя решила съездить со мной в Сталинград в коммерческий магазин «Гастроном», где давали продукты без карточек — просто намного дороже, чем по карточкам. Ехать туда надо было ночью, чтобы с ночи занять очередь, выстоять сколько надо, купить что можно и вернуться домой в Бекетовку и еще успеть — ей на завод, мне в школу.

Меня она брала с собой, чтобы занять две очереди и купить что положено не в одни руки, а в двое рук.

Мы поехали.

Была непроглядная стылая декабрьская ночь. Пригородный, а точнее городской, поезд, который называли «пчелкой», тащился часа полтора. Он останавливался у невидимых во тьме платформ, и, когда двери открывались, клубы морозного пара заполняли вагон. Он прогремывал на стыках, я дышал в заиндевевое стекло, оттирая варежкой глазок, — в глазке была тьма.

Тьмой был окутан и вокзал, где мы сошли с поезда, главный городской вокзал. Густая тьма царила и на площади неподалеку от вокзала, а это была главная площадь города — площадь Павших борцов. Впотьмах мы разыскали нужный магазин и стали в густую темную очередь. Я все оглядывался, пытаюсь хоть что-нибудь различить во тьме. Я скорей угадал, чем увидел громадные темные здания, обступившие площадь со всех сторон, и понял, что это очень большой и внушительный город. Но тут начали запускать в магазин.

В магазине ничего не оказалось, кроме слипшихся окаменелых конфет-подушечек (куски нарубали секачом) и раскрошенного в порошок печенья (его загребали совком), мы купили того и другого и заспешили обратно.

А ночь не уходила, тьма была такой же густой, непроницаемой. До поезда оставалось еще несколько минут, и я лишь одно успел разглядеть поподробней на привокзальной площади, хотя и было совсем темно.

На этой площади был диковинный фонтан.

Шестеро мальчишек и девчонок, взявшись за руки, кружились в хороводе вокруг лежащего, свернувшегося кольцом крокодила. Они замерли в своем разудалом и веселом кружении, улыбки их замерли, и пионерские галстуки замерли, отлетев на ветру. Так они и застыли на крутом морозе, припорошенные снегом, эти ребята.

Замер и крокодил. Пасть его была разинута зло и хищно. Не знаю, может быть, летом, когда фонтан работал, из этой разинутой пасти была искрящаяся струя воды — и тогда, может быть, крокодил выглядел более мирным, более добрым, хорошим сказочным крокодилом, лучшим другом детей. Может быть... Но сейчас его оскаленная пасть и выпученные глаза ничего хорошего не предвещали. И этот подобранный, как у спящей собаки, хвост в колючих бугорках тоже не предвещал ничего доброго: вот сейчас он, крокодил, вмиг развернется,

щелкнет хвостом и ухватит за пятку ближайшего мальчишку, ближайшую девчонку, вопьется зубами, клацнет, хрястнет, потянет, заглотает...

Однако ничуть не проявляя испуга, мальчишки и девчонки в пионерских галстуках, взявшись за руки, кружились в стремительном хороводе вокруг этого страшилища, взяли его в кольцо, и, похоже, сам крокодил, грозя ощеренной пастью, уже норовил как-нибудь проскользнуть между их ног, улизнуть из кольца, дать деру отсюда, из этой окаянной стужи, от этих чумовых ребятишек, ну их.

— Санька, да ведь мы опоздаем! — окликнула меня издали мама Галя.

Я побежал за нею следом, все оглядываясь на этот странный замерзший фонтан, постепенно тонущий во мраке.

И обратно «пчелка» тащилась часа полтора. Опять в заиндевелом окошке ничего не было видно, кроме густой темноты. А когда чуть-чуть рассвело и я продышал на стекле зрячую дырку — в дырке той я увидел избяные крыши Бекетовки, мы как раз подъезжали к станции.

А ведь я мечтал посмотреть Сталинград.

В доме было пусто.

Мама Галя и Ганс возвращались с завода в ночь-полночь. Там работали теперь не посменно, не по часам, а кто сколько выдержит. Иногда целые сутки выдерживали. Потом ехали домой отсыпаться — и снова.

Хозяева, дядя Вася и тетя Клава, тоже были на заводе, только на другом.

Я заглянул в остывшую печь, приподнял крышки кастрюль — пусто. Но в малом чугушке оказалась на донце пара холодных картофелин, сваренных в мундире, как говаривали до войны. Я ободрал кожуру, потыкал в соль, сжевал мигом. Еще сильнее захотелось есть, однако ничего не нашлось. А хлеб выкупать только завтра утром, перед школой.

Сколько времени? Расписные ходики с чугунной гирей показывали ровно девять по-местному. Ага, надо включить репродуктор — последние известия.

— ...В течение двадцать восьмого мая, — вещал диктор Левитан, — на изюм-барвенковском направлении наши войска отражали ожесточенные атаки танков и пехоты противника...

Значит, еще сопротивляются, гады, хотят остановить наше наступление.

— ...На остальных участках фронта ничего существенного не произошло...

Остальные участки фронта меня интересовали меньше. Ведь сейчас главное — Харьков.

— ...За двадцать седьмое мая уничтожено двадцать восемь немецких самолетов, наши потери — восемнадцать самолетов...

В глубине дома я уловил мерный приглушенный стук. Это в конурке дедушки Санджи. Стало быть, дом не совсем пуст, дед Санджи дома. Так ведь он почти и не выходил из своей конурки, что у самых сестер. Очень старый дедушка. Но я любил потолковать с ним о том о сем. И он любил.

Вот уроки, правда. Ничего, успеется.

Дед сидел на табуретке. Перед ним на полу стояла железная прямая ступа, а в руках он держал железный пест чуть покорооче лома, которым колют на улице лед.

Завидев меня, он перестал стучать, обрадовался, что есть повод

передохнуть. Заулыбался, узкие его глаза еще больше сузились, в щелки. Дедушка Санджи был калмык. Тетя Клава, его родная дочка, была слегка калмыковатая, с глазами чуть раскосыми — покойная мать ее была донской казачкой, я видел фотографию. А дед Санджи был чистый калмык, но он с молодых лет осел в Бекетовке и рассказывал мне иногда о своей степной Калмыкии, будто она находилась где-то за тридевять земель, а Калмыкия была совсем рядом, впритык к Сталинградской области, ниже, то есть южнее.

— Добрый вечер, дедушка Санджи.

— Здравствуй, тезка, здравствуй,— все улыбался старик.

Он и взаправду считал, что мы с ним тезки: Санька и Санджи.

— Садись, тезка... Ну что там слышать по радио?

— Отражаем атаки под Харьковом,— пересказал я.— Сопротивляются они пока.

— Сопротивляются еще?

— Да... Зато сорок восемь самолетов мы сбили.

Тут я, конечно, приврал маленько. Набавил двадцать. Но приврал я вполне сознательно: чтобы порадовать дедушку Санджи, чтобы поднять его настроение, боевой дух.

— Сорок восемь? Это порядочно, хорошо,— обрадовался дед.

И опять ухватился за свой железный пест. Бух, бух в ступу. Вот так.

— Дедушка Санджи, а что это вы делаете? — поинтересовался я.

Дед согнулся, закричал, вынул из ступы сыпучую горсть:

— Держи-ка.

В моей ладони оказались крохотные темно-коричневые зернышки. Среди них было и несколько желтых зерен, вроде бы только что вылупившихся, оголенных. Но остальные прятались в плотный и блестящий коричневый панцирь.

— Что это?

— Просо. Дикое просо,— объяснил дед.— Оно в степу растет.

— А зачем оно?

— Как это — зачем? Надо его перелущить. А когда перелущишь просо — будет тебе пшено. А из пшена мы с тобой кашу заварим.— Дедушка Санджи хитро подмигнул.— Небось любишь пшеничную кашу?

Я сглотнул голодную слюну: сразу вспомнил вкус той горячей пшеничной каши, которую мама Галя сварила из брикетов, которые по счастливому случаю купил я в лавке на станции Красный Лиман, однако брикеты давно кончились и я только помнил вкус той замечательной пшеничной каши.

— Люблю,— сказал я.— А как?

— А вот так.— Дед окунул железный пест в железную ступу: бух, бух.— Вот так его надо — долбить и долбить... Не желаешь попробовать?

— Желаю,— охотно согласился я.

Мне очень хотелось попробовать пшеничной каши.

Дедушка Санджи уступил мне место на табуретке, сам пересел на топчан, застланный пестрым лоскутным одеялом.

Я поднял тяжелый пест и обрушил его в сыпучее месиво: бух, бух, бух, бух...

— Вот так,— кивнул дед.— Долбить и долбить. И станет пшено.

Мне понравилась эта работа. Пест уходит в мягкое, будто в воду, только не с плеском, а с шорохом. Он не доставал дна ступы, а как бы увязал, оттого и удары получались глухими, подспудными, тайными. Бух, бух...

— Значит, говоришь, отражаем атаки? — переспросил дедушка Санджи.

— Да. Под Харьковом.

— Однако ты мне сказывал третьего дня, будто наступаем? А?

Я говорил, что наступаем. Потому что по радио вот уже сколько дней говорили, что наступаем на изюм-барвенковском направлении. А это как раз под Харьковом.

Железный пест с шорохом уходил в мягкое. Но он становился все тяжелее и тяжелее, этот пест. Ничего, повоюем. Конечно, с голодухи, без настоящего ужина трудновато стучать железным пестом. Дóлбить и дóлбить. Зато впереди меня ждет исходящая паром рассыпчатая пшенная каша.

Ах черт, я совсем забыл про уроки. А на завтра математичка нам задала кучу закозыристых примеров, только представишь — в глазах рябит... Уже не успеть. Но и это не беда: сдую на перемене у Игоря Пиотровского. Ведь на то он и отличник, должен показывать пример — что там у него получилось в ответе.

Бух, бух.

Я для проверки — может быть, готово уже — зацепил из ступы жменью проса. Рассмотрел: мелкие зернышки были по-прежнему сплошь в блестящей коричневой кожуре, а желтых, вылуценных, если и прибавилось, то совсем мало, воробью на почин. Очень странно. Ведь я уже минут пятнадцать орудовал пестом.

— Что, устал? — спросил сочувственно дедушка Санджи.

— Нет, я не устал, но... это еще долго нужно?

— Ась?

— Сколько еще надо вот так дóлбить?

— А-а... Долго, Санька, долго. Покуда все не передолбишь. Покуда из него пшено не получится, из проса...

За окном вдруг взвыли заводские гудки. И репродуктор в соседней комнате (было слышно отсюда) заголосил тревожно, истошно.

— Ну вот, опять пожаловали... — Дед нахмурился. — Видать, еще не всех сбили.

Недобро знакомый слуху прерывистый занудный вой тяжелых «юнкеров» проник в это голошенье сирен. Он надвигался, он был уже почти над самой нашей крышей.

— Дедушка Санджи, пошли в бомбоубежище, — сказал я. — В щель.

— В щель?

Он поднялся с топчана, оттер меня с табуретки, уселся, взял железный пест в морщинистые свои, темные, со вздутыми жилами руки.

— Что я, таракан, по щелям прятаться? — заворчал он. — И не пойду... Я уж старик. А ты еще молодой. Ты иди, иди, Санька.

Зенитки надрывались где-то рядом — звон давил уши. Краткие вспышки разрывов прокалывали тьму. Лучи прожекторов обшаривали небо, и там все гуще, все плотней лепились друг к другу круглые облачка. Похоже, зенитки пытались перегородить небо частоколом разрывов.

Все это было мне видно из щели, потому что я укрылся у самого лаза, на нижней земляной ступеньке.

Такие щели было приказано вырыть всем хозяевам с подмогой жильцов, но не во дворе, а на улице, чтоб и случайным прохожим было где спрятаться, если вдруг застигнет воздушная тревога. Земляная щель глубиной два метра, сверху доски и земляной накат, уже поросший бурьяном.

Конечно, если бомба угодит прямоком в это нехитрое сооружение, тут же, в этой щели, тебе и могилка. Но если бомба взорвется в стороне, даже поблизости, можно выбраться живым. И еще земляной накат

спасал от зенитных осколков: они железным градом съпались с неба, и, ей-богу, было бы очень обидно расстаться с жизнью от своего же советского осколка, который шмякнет тебя невзначай по макушке...

Здесь, у лаза, на ступеньке, голова была надежно укрыта, однако глазам было видно, что происходит наверху.

Ага, вот луч прожектора зацепил в темном небе серебристый крестик — ухватил его и повел, так что кажется, будто самолет неподвижен. Тотчас же к нему сбежались и другие лучи, держат на свету не отпуская. И теперь уже зенитки бьют прямо по цели. Ну...

Крестик заваливается в сторону, за ним тянется дымная струйка, тоже серебристая в свете прожектора. Ниже, ниже, все ближе к затемненной земле. Бдительный луч сопровождает паденье. Ухнуло — далеко.

Завтра его присчитают к другим, которых сбили за эти сутки.

Жалко, что дедушка Санджи этого не видел.

Но тут я опять вспомнил, как совсем недавно, в конце апреля, возвращался из школы и на полпути вдруг завывли сирены, пришлось сунуться в ближайшую щель, а там... Нет, неохота вспоминать об этом. В другой раз.

Нудное гуденье чужих моторов опять послышалось вверху. Истошно залопотали зенитки. Нарастающий свист заставил прижаться к стене.

Рвануло так, что я ощутил плечом, как двинулась земля.

Бомба, близко. На станцию?..

А где сейчас мои?

3

Ганс читал «Сталинградскую правду».

Газетная бумага была желтоватой и толстой, как страницы книги, залежавшейся пару веков. Но газета была сегодняшняя, свежая, только что сунули в почтовый ящик у калитки, просто на такой вот неважной бумаге печатали сейчас газеты.

Он читал ее сосредоточенно и хмуро и вроде бы не заметил даже, как я сел к столу, как придвинул к себе кружку с горячим чаем и шумно отхлебнул из нее.

Лицо его тоже было желтоватым, похожим на эту ветхую сегодняшнюю газету, невыспавшимся. Однако чисто выбритым.

Я покосился сбоку на газетный лист. Что же он там обнаружил такое интересное и важное, что не может оторвать неподвижного взгляда от нескольких строк и ничего не замечает вокруг? А там всего-то и написано: «...на изюм-барвенковском направлении наши войска отражали... На остальных участках фронта ничего существенного...»

Но это я еще вчера слышал по радио. Ничего существенного.

— Ну что там? — спросила мама Галя. Должно быть, ее тоже удивило столь продолжительное чтение.

Ганс отложил газету. Ладонями притронулся к горячей кружке, отвел ладони, приложил снова и больше не отнимал. Глаза его теперь были устремлены на железный ободок кружки.

— Там что-то случилось, — произнес он глухо. — Под Харьковом.

Я снова взглянул на газету, на вчерашнюю сводку: «...отражали... ничего существенного...» Что же он вычитал из этих строк?

— Там случилось, я думаю... очень тяжелое, — повторил Ганс. Он отогнул рукав пиджака, посмотрел на часы, встал. — Пора, Галя.

Мне тоже было пора.

У калитки, где мы по утрам расходились в разные стороны — им к станции, мне в школу, — мама Галя придержала меня за плечо. Сказала негромко:

— Санька, я не знаю, о чем он. Не знаю. Может быть, он слишком устал... Но ты сам видишь: опять начались бомбежки. Пожалуйста, будь осторожней.

В ту далекую пору, когда Ганс вернулся домой после долгой отлучки, уже никто не искал в газетах рубрику «На фронтах Испании». Да ее и не стало. А до этого каждый, купив газету, первым делом распахивал ее и на третьей странице отыскивал эту бессменную рубрику.

Поутру на улицах люди толпились у газетных витрин, и было нетрудно заметить, что все глаза, все очки устремлены к одному: «На фронтах Испании». Рядом карта. Пиренейский полуостров. Он похож на сжатый кулак. Извилистой жирной чертой сверху вниз пересекала его линия фронта. И любое, даже малейшее ее колебание приводило людей то в восторг, то в уныние.

Но вот фронтовой извив на карте дрогнул, пополз вспять. Потом эта линия рассеклась надвое. Подобралась. Сжалась. Шевельнулась в последних корчах...

Уже все позади. Взятие Теруэля и падение Теруэля. Падение Барселоны и мятеж в Картахене. Предательство Касадо и предательство Миахи. Триста тысяч бойцов республики ушли через перешеек во Францию. Там их ждали концлагеря. Но что ждет тех, кто не успел уйти, кто остался?..

Никто уже не искал в газетах рубрику «На фронтах Испании». Не было такой рубрики. Не было фронтов. И кажется, что не было Испании.

Но каждое утро на уличных витринах вывешивали свежие газеты. И там, где было про Испанию, теперь другие вести, порой тоже невеликие.

Гитлер загреб Австрию. Вот так — взял и загреб, никого не спросив.

А несколько дней назад по дороге в школу я увидел у газетной витрины, самой ближней к нашему дому, Карла Рауша. Он был тоже политэмигрантом, австрийцем, товарищем Ганса по венским боям. Но в Испанию он не поехал вместе с другими. «Я уж слишком стары для это дело...» — сказал он. И сейчас его могучие плечи были сторблены, во рту погасшая трубка.

— Здравствуйте, дядя Карл, — поздоровался я, спросил бодро: — Какие новости?

Он медленно обернулся, посмотрел на меня — не на меня даже, а будто бы сквозь меня — и, ничего не ответив, двинулся прочь.

Я, приподнявшись на цыпочках, заглянул в газету.

Фашистские войска перешли границу Чехословакии.

Мама Галя заказала такси (они недавно появились в Харькове), и мы поехали на аэродром — тот самый, за лесопарком, где давным-давно мы уже побывали однажды на авиационном празднике.

Только сейчас аэродром был тих и почти безлюден. Стояли в стороне учебные самолеты, похожие на этажерки. Трепыхалась на штоке полосатая колбаса, указывая, куда ветер дует. На краю летного поля чья-то коза щипала травку-муравку.

Над деревьями лесопарка появился самолет. Он летел сюда прямо из Москвы. Он шел на посадку. А я вот еще никогда не летал на самолете и никогда не был в Москве. И такой самолет я видел впервые: остроносый, двухмоторный, с приподнятыми и скошенными назад крыльями. Я лишь потом узнал, что этот пассажирский самолет называется «Дуглас».

Вот он коснулся земли, подпрыгнул, пробежался вразвалочку по полю, остановился. Помельтешив еще минуту, замерли трехлопастные

пропеллеры. Отворилась чуланная дверца, выкинулась лесенка. Пассажиры сходили на землю, подавая друг другу чемоданы.

Когда Ганс обнял маму — молча и порывисто, — я впервые не отвернулся, а смотрел на это с сочувственной улыбкой. Ведь и вправду давно не видались. Ведь это здорово — вот так встретиться. Ведь это не шутка — вернуться с войны.

Они проходили мимо нас по неслышной траве — вернувшиеся с войны. Все из нашего дома.

— Салуд! — весело крикнул Алонзо, оскалив белые зубы: он стал совсем черномазым, загорел дострашна.

— Здравствуйте, — вежливо поклонился Выскочил, лицо его было хмурым: наверное, он уже знал про Чехословакию.

— Привет! — бросил, проходя, кто-то еще, я не заметил кто.

Признаться, нам сейчас было не до окружающих.

Ганс подхватил меня на руки и по старой привычке хотел было подбросить вверх, но тотчас, натужно крякнув, опустил, сказав удивленно:

— О-о, какой ты стал тяжелый. Какой большой.

Да, это верно. Я и впрямь успел подрасти, покуда он был в отъезде. Ведь прошло столько времени!

Вот прошло столько времени, а когда у ворот мы сели в такси, в черную «эмку», — мама Галя и Ганс расположились на заднем сиденье, я сел рядом с шофером, а чемоданы запихали в багажник — и машина легко тронулась с места и через несколько минут уже неслась на пределе по загородному шоссе от аэродрома к городу, и, размазываясь от скорости, мчались за окошками назад, в противоположную сторону, подступившие к самой дороге молодые топольки, и, казалось бы, вот сейчас, после такой долгой разлуки, оставшись наедине (шофер нас не знает, он не в счет), — казалось бы, сейчас и заговорить, затараторить без умолку, выкладывая новости, расспрашивая, отвечая...

А вместо этого мы все молчали. Лишь прислушивались к скорости летящей по шоссе машины.

— Что же ты не рассказываешь? — первой не вытерпела мама Галя. — Рассказывай.

— Я... — тихо отозвался Ганс. — Знаете, пока я ехал к вам... Я так долго ехал. И все рассказывал вам, каждый день рассказывал. И теперь... — он вдруг рассмеялся, — теперь мне уже нечего рассказывать.

Я прямо-таки поразился, услышав эти слова. Не тому, что после такого долгого отсутствия ему, Гансу, нечего нам рассказать, а тому, как он это произнес. То есть я еще не слышал, чтобы наш Ганс Мюллер так уверенно и чисто говорил по-русски. Почти без акцента. Безо всяких уморительных падежей, которые умеют изобретать иностранцы. Хорошая русская речь. Как будто этот человек был не там, где он был, а, скажем, в Рязани. Или же он сначала побывал и там, в Рязани?..

Мама Галя тоже обратила на это внимание.

— Как ты стал хорошо говорить, — удивилась она.

Ганс опять рассмеялся. Но он не стал тут же объяснять, где и каким образом обучался он русской речи.

— А как вы здесь жили? — спросил он.

— Мы... жили, — ответила мама Галя. — Мы ждали.

Вслед за этим на заднем сиденье опять все смолкло. Я понял, что никакого дальнейшего разговора пока не предвидится, и стал прилежно изучать шкалы и циферблаты на приборной доске машины: я ведь впервые в своей жизни ехал на «эмке».

Затем я опустил боковое стекло и высунул голову на ветерок.

Как раз, чуть сбавив ход, мы проезжали крутой поворот шоссе, и

мне из окошка была видна другая «эмка», тоже такси, следовавшая за нами, нагонявшая нас.

В ней рядом с водителем сидел Гибсон — я его тотчас узнал по усам, хотя с тех пор, как я последний раз видел Гибсона, эта приметная щеточка усов изрядно побелела, поседела. Заметив, что я высунулся в окошко, Гибсон подмигнул мне, а я ему в ответ тоже подмигнул. А в глубине этой следовавшей за нами «эмки» сидел еще кто-то. Я напрыг зрение и, кажется, угадал: там сидели поляк Ян Куля и румын Барча, тоже старые мои знакомые.

— А где дядя Франсуа? — спросил я Ганса, не убирая головы из окошка.

Мне не терпелось увидеть дядю Франсуа, моего закадычного друга, веселого друга всех дворовых мальчишек. Даже сделавшись студентом, повзрослев, он продолжал водиться с нашей сопливой компанией: гонял вместе с нами футбольный мяч, играл в сыщиков-разбойников, часами ретиво торговался, обменивая засаленную марку Танганьики на дырявый Цейлон.

Но Ганс почему-то не ответил. Не расслышал?

Я втянул голову обратно с ветерка внутрь машины, повернулся к заднему сиденью.

Ганс сидел, откинувшись к стеганой кожаной спинке, прямой и строгий.

Только сейчас я вдруг увидел, как сильно постарел он за минувшее время. Лицо его исхудало, сделалось обтянутым и жестким, резкие морщины иссекали его. Глазницы запали. А сами глаза были усталы.

— А дядя Франсуа? — повторил я.

Мама Галя, как и я, не скрывая интереса, смотрела на Ганса.

Он поднял руку — она тоже оказалась исхудавшей до жил, в бурых мозолях, в трещинах и порезах, как тогда, когда он еще работал у станка, — он поднял руку и медленно стащил с головы свой черный берет.

Ну конечно, в такую жару — берет.

Я не понял. Нет, я ничего не понял. Я не могу этого понять. Не надо! Слышите, не надо — ведь я еще маленький. Мне не надо понимать такое.

Но мама Галя поняла сразу. Побледнела.

— Он...

Ганс повел глазами в сторону шофера, а затем сурово и требовательно посмотрел на маму, на меня. Губы его при этом были плотно сжаты, будто запечатаны. Он давал нам понять, что нельзя. Что сейчас нельзя. При постороннем человеке. Нельзя. Ничего нельзя. Даже плакать.

Я отвернулся. Я сидел смиренно и смотрел прямо перед собой.

Навстречу летело шоссе, раскаленное, плавящееся от жары, исполосованное шинами, выщербленное траками гусениц, запятнанное бензином и маслом, посыпанное у обочин конскими яблоками.

Вон и город.

Но потом Ганс мне часто рассказывал про Испанию.

Он рассказывал мне, как советский пароход пробился к испанскому берегу. Ганс плыл на этом пароходе. Он, конечно, плыл не один. С ним плыли его старые друзья и сотни новых друзей, которых он даже не знал по имени. Впрочем, имена старых друзей тоже пришлось переучивать: Петер стал Педро, Йозеф — Хозе, а сам Ганс заделался Хуаном... Кроме пассажиров, на этом пароходе было еще немало всего прочего: они не с пустыми руками спешили на помощь испанским братьям.

На подходе к Аликанте корабль задержали английские и французские канонерки, те самые, что соблюдали «невмешательство». Они откуда-то пронюхали, кого и что везет советский пароход. И наотрез отказались пропустить его в испанский порт.

Весь день корабль проболтался в открытом море. А ночью, когда стужилась тьма, вся команда корабля и все, кто плыл на нем, вооружились кистями и ведерками с краской...

Наутро бдительные командиры английских и французских канонерок, глянув в бинокли, только ахнули: заблокированный ими советский пароход куда-то бесследно исчез, а вместо него к испанскому берегу шел совсем другой корабль, о котором ничего не было известно — кто на нем и что на нем.

А когда командиры спохватились, когда они поняли, как ловко их провели, было уже поздно: советский пароход входил в порт Аликанте и толпы испанских братьев подбрасывали вверх свои шапочки, ликуя, приветствуя тех, кто пришел к ним на помощь.

Он рассказывал о танковых дуэлях. И о ночных бомбежках. И о том, как жутко кричат марокканцы, когда, бородатые, пьяные, идут в атаку.

Он даже рассказал мне о том, как в Барселоне перед началом корриды, перед боем быков, на арене в присутствии зрителей под бурные рукоплескания однажды расстреливали фашистских диверсантов.

— А они... боялись? — спросил я.

— Кто?

— Ну те, которых расстреливали?

— Боялись? — удивился Ганс. — Наверное, боялись.

— Они просили пощады?

— Нет. — Ганс прикрыл глаза, вспоминая. И повторил: — Нет.

— А дети на стадионе были? Женщины там были?

— Конечно, были. На корриде все бывает.

— А они их не жалели?

— Кого?..

— Ну тех, которых расстреливали?

— Нет... Их никто не жалел. Ведь это были фашисты, — объяснил

Ганс.

— Ну правильно, — согласился я. — Если фашисты, так чего их жалеть! Правильно.

— Конечно, — кивнул Ганс.

— А ты убивал фашистов?

— Что?

— Ты сам — убивал?

— Я... воевал, как все.

— Нет, ты прямо скажи, — настаивал я, — ты сам хоть одного убил? Скольких ты убил?

— Хм...

Ганс нахмурился. Почему-то он рассердился на меня за этот вопрос. Рассердился, полез за сигаретами, долго щелкал зажигалкой, покуда она не дала ему огня. Затянулся глубоко; пустил дым. А потом сказал мне, провожая взглядом синее колечко:

— Такие вопросы не задают, Санька.

Мы сидели с ним оба за столом. Мама Галя ушла в магазин ненадолго. А мы уселись за стол: я малевал цветными карандашами самолеты, а Ганс чинил электроплитку. Мама Галя обзавелась электроплиткой, а старый наш примус запрягала в кладовку на тот случай, если все же придется ехать на дачу. Но плитку-то мы купили, а спираль вскорости перегорела, новых же днем с огнем нигде не сыщешь. Вот и приходится старую, сгоревшую, приспособлять на-

ново — растягивать, лепить кусочек к кусочку, цеплять виток за виток.

Ганс вооружился плоскогубцами и пинцетом, расстелил на столе газету, поставил плитку и принялся в ней ковыряться. Деловито, спокойно. С видом доброго хозяина. Будто он приехал не сегодня. Будто он приехал не с войны. Будто он вообще никуда не уезжал.

Все еще продолжая малевать самолеты (тупоносые наши «ястребки» и тот остроносый двухмоторный со скошенными крыльями, который впервые увидел сегодня), я, оторвавшись от бумаги, внимательно через стол посмотрел на Ганса и спросил его. Напрямик:

— Значит, опять вас фашисты побили?

Он помолчал несколько секунд, вздохнул:

— Побили.

Спираль в его пальцах крошилась. Соединишь в одном месте — рвется в другом. Беда, право.

— Все это не просто, Санька... — сказал он чуть погодя. — Там под конец такая была не-раз-бериха. Пфуй!

Все-таки некоторые русские слова ему еще с трудом давались. И плевался он еще по-немецки, а не по-русски: не «тьфу», а «пфуй». Но это дело наживное.

Он досадливо поморщился. А потом его лицо внезапно посветлело:

— Но сначала, Санька, мы им дали прикурить, фашистам! — Кулак его тяжело грохнул по столу. — Мы им так давали прикурить — мамита миа, мамочка моя... Там у нас, Санька, были хорошие ребята, — волнуясь, говорил Ганс. — Испанцы. Интербригадовцы. А лучше всех, Санька, были русские ребята!

Мне так и не понадобилось сдвигать у Игоря Пиотровского домашнее задание.

В середине первого урока вдруг зазвенел звонок, распахнулась дверь класса, в ней показался запыхавшийся пионервожатый:

— Шестые и седьмые, в зал!.. Всем в зал!

Сердце мое екнуло. Вот точно так же перед Новым годом преврался урок, в дверь заглянул пионервожатый, скомандовал — всем в зал, а в школьном зале на стене висела размалеванная наспех карта, где от красного кружка стремились колючие красные стрелы, а черные оцетинившиеся дужки пятились от них, и нам сказали, что немцев разбили под Москвой, мы вскочили с мест, закричали «ура-а!».

Нет, пожалуй, что-то не то вычитал сегодня Ганс Мюллер в «Сталинградской правде». Хотя он человек и военный, но с другой войны — там была Испания, а тут Россия, Советский Союз. Должно быть, он и впрямь чересчур устал от своей бессменной работы.

Значит, все-таки Харьков — наш!

Однако в школьном зале на стене никакой карты я не заметил. За столом, покрытым синим сукном, сидели директорша, усатый военрук Буденныч при своих костылях (его еще в гражданскую войну покалечило), Наталья Витальевна и какая-то незнакомая девушка в гимнастерке, перетянутой португеей, с комсомольским значком. Лица их не выражали никакого особого торжества. Они терпеливо наблюдали, как рассаживаются по рядам шестые и седьмые.

Между прочим, наша школа была неполная средняя, семилетка. Так что мы здесь почитались старшеклассниками.

— Ребята, — сказала, поднявшись, Наталья Витальевна, — этот учебный год мы заканчиваем раньше обычного. — Помолчала, разглаживая сукно на столе. — В сущности, сегодня последний день...

Вот так новость! Празда, не та, которую я ожидал. Но тем не менее очень приятная новость.

— Последний день — учиться лень! — выкрикнул кто-то.

— И про-сим вас, учи-телей, не мучить ма-лень-ких детей! — хором откликнулся зал.

Все дружно расхохотались. Потому что новость, конечно, была приятной не только для меня. И потому что вот так, хором, по святой и нерушимой традиции полагалось кричать в любой школе, когда наступал последний день учебы. И еще было очень смешно называть себя маленькими детьми, зная, что нас тут почитают старшеклассниками.

За окнами школьного зала сияли майской свежей листвой тополя, гроздя расцветшей сирени уткнулись прямо в стекла, заклеенные полосками крест-накрест. Каникулы, долгие летние каникулы — и так неожиданно рано!

Однако в ответ на наши крики и хохот Наталья Витальевна только улыбнулась вяло. Военрук Буденныйч пошевелил усами, сокрушено покачал головой. Незнакомая девушка потупилась.

— Тише, ребята, — сказала Наталья Витальевна. — Я предоставлю слово инструктору райкома комсомола Варя Луговой. Пожалуй-ста, Варя.

Оказалось, что это она и есть, знакомая девушка в гимнастерке с портупей.

— Опять насчет металлолома, — поделился догадкой Ленька Голованов, сидевший со мной рядом.

Мы за минувшую зиму собрали уже целые горы металлолома. Мы знали, что из этого металлолома отлит и отправлен на фронт танк «Сталинградский пионер». Но до сих пор мы собирали всякие железки и железины после уроков и по выходным. И я усомнился, что только ради металлолома учебный год закончили раньше положенного срока.

— Товарищи...

Она сказала не «ребята», а «товарищи». Может быть, нарочно, чтобы прекратились хихоньки да хахоньки. Чтобы мы настроились.

Мы немного удивились. Но настроились.

— Разговор у нас будет серьезный, взрослый. И хочу сразу предупредить, что разговор этот не для двора, не для улицы...

Тут мы и вовсе затихли.

— Положение на фронте осложнилось, — сказала Варя Луговая, теребя портупею у плеча. Помолчала; будто раздумывая, что к этому добавить, но лишь повторила: — Положение осложнилось.

Значит, Ганс не ошибся, что-то вычитав между строк в оперативной сводке Информбюро. Ведь он человек военный, хотя и с другой войны.

— Все, кто способен держать оружие в руках, должны сегодня стать красноармейцами, бойцами, идти на фронт, идти на передовую...

Ленька Голованов, услышав эти слова, подался вперед, напрягся, прошептал:

— Неужели разрешат?

— Что разрешат? — не понял я.

— Тысячи рабочих Сталинграда уходят на фронт. Но ведь наш город не только крепость — он еще и кузница победы, — волнуясь, говорила Варя Луговая. — На тракторном заводе, на «Красном Октябре», на судоверфи не хватает рабочих рук. Туда перебрасывают людей с других предприятий. Но ведь и эти другие предприятия должны бесперебойно работать!..

— Нет, не разрешат,— сразу сник Ледька Голованов.

— Что не разрешат?— не понял я.

Вообще я покуда ничего не понимал. Надо идти то ли на фронт, то ли еще куда.

— Райком комсомола обращается к вам с просьбой— в дни летних каникул заменить взрослых у заводских станков. Подчеркиваю: это не приказ, а просьба, ведь многие из вас еще не комсомольцы. Дело добровольное. Если кто-нибудь не может или не хочет...

— Хотим!

— Мо-ожем!..

— Прошу записать меня на судовой верфь, где теперь выпускают танки,— поднявшись, заявил один кореш из шестого «а».

Усы военрука Буденныча вздыбились от возмущения, он развел руками, в которых держал костыли: дескать, ну и народец, ну и детский сад; ведь предупреждали, что разговор серьезный, взрослый, не для двора, не для улицы, а этот сразу встань да и брякни, где выпускают танки.

— Нет-нет,— поспешно откликнулась Варя Луговая.— Мальчишки из вашей школы будут работать на лесозаводе имени Ермана. Здесь, рядом.

— А девочки?

Это вскочила Танька Якимова.

— Работать на заводе будут только мальчишки, шестые и седьмые классы,— пояснила Варя Луговая.

— А девочки?!— Лицо Татьяны пылало.— Что же нам, в конце концов, делать— переродиться? Послушайте, вы же сами девочка...

Да, пожалуй, в этой Варе, хотя она и являлась инструктором райкома комсомола, было еще немало девчачьего. И свою кожаную военную портупею она теребила у плеча, как девчонки теребят косу, если у них возникают затруднения в мыслях.

Варя Луговая начала объяснять, что и для девочек непременно и обязательно найдется подходящее дело. Например, госпиталь.

Но я сразу отвлекся от этого объяснения, потому что оно меня не касалось. Я, к счастью, не был девочкой. И уже было ясно, что меня вместе с другими мальчишками пошлют на лесозавод, который и впрямь был рядом. Даже гораздо ближе к дому, где я жил, чем эта дальняя школа. Перейти железную дорогу— тут тебе и лесозавод имени Ермана, бесконечный глухой забор. Вплоть до другого глухого забора.

По всему берегу Волги один к одному теснились заборы, теснились заводы. Те, которые были здесь прежде, до войны, и те, которые вывезли сюда уже в войну— вывезли и поставили на новом месте.

Все они были секретными. Не вызнай, не спрашивай. Даже у родителей не спрашивай, что они там делают, на этих заводах,— спрашивать не положено, а отвечать и подавно.

Но хоть прикажи своим глазам ничего не видеть, ничего не примечать, а они ведь сами видят, сами примечают. И мои глаза примечали. Как в сумерках распахивались ворота глухого забора, из них медленно выкатывался паровоз, за ним вереница платформ, а на платформах округлые башни литой брони. Ясно. Из других ворот— железные полые конусы, похожие на рачьи панцири. И если твои глаза уже научены с одного взгляда по силуэту распознавать любой самолет, будь то наш, будь то чужой, то попробуй тут не догадаться, что это передняя броня «Илов», штурмовиков, которые для фашистов «черная смерть». А из третьих ворот... Ну ладно.

Однажды минувшей зимой я сидел и готовил уроки (иногда успевал) и вдруг услышал рев авиационного мотора— будто по улице

мимо окон пронесся на полной скорости самолет. Я, конечно, изумился: с чего бы это самолетам понадобилось шастать прямо по улицам? Нахлобучил шапку, выбежал из дома.

Рев отдалился, а в гладкий наст был впечатан свежий след — искристая лыжня.

Рев возник снова. Приблизился. И мимо меня в обратном направлении промчался снежный вихрь. Промчался — и след простыл.

Но я успел опознать этот вихрь. Аэросани. Лобастая обтекаемая кабина, выкрашенная белым. Широоченные лыжи. Позади пятицилиндровая звезда мотора, ослепительный диск вращающегося пропеллера...

Военные тайны соблюдались очень строго. Но уже на следующий день по всей Бекетовке шли разговоры о том, что ца лесозавод приезжал Семен Михайлович Буденный, что это именно его, маршала Буденного, катали на аэросанях по бекетовским улицам и окрестным степям. И будто бы маршалу очень понравились эти аэросани, он назвал их снежной тачанкой, сказал, что они незаменимы для разведки и доставки боеприпасов в зимнее время. Приказал запустить их в серию и отбыл в Москву.

Сперва я не поверил. Я предположил, что это был не Семен Михайлович Буденный, а наш школьный военрук Буденныч, прозванный так за сходство, за усы. На такой страшной скорости, с какой носились аэросани, мудрено ли обознаться.

Впрочем, с другой стороны, отчего бы нашего военрука Буденныча стали катать взад и вперед по Бекетовке на секретных аэросанях, почему ему выпала такая исключительная честь? Только потому, что он еще в гражданскую войну потерял ногу и ходил на костылях? Но таких, как он, на костылях, тут был полный госпиталь.

Может статься, что и взаправду приезжал сам Буденный.

Во всяком случае, не оставалось сомнений, что эти замечательные аэросани делали на лесозаводе имени Ермана.

И я был готов хоть завтра, хоть сегодня топтать на лесозавод, делать там аэросани. Ведь это почти авиация! Это очень близко к авиации, к самолетам, о которых я мечтал с детских лет. К тому же я обладал кое-каким опытом: занимался в авиамodelьном кружке харьковского Дворца пионеров.

— Есть ли вопросы?— спросила Варя Луговая, прервав мои размышления.

— Смелее, ребята,— сказала Наталья Витальевна.— Может быть, у вас еще есть вопросы?

— У меня есть вопрос.

— Какой у тебя вопрос, Рымарев?

Уж не знаю, что меня дернуло поднять руку. Ведь у меня не было никаких вопросов. Все и так вполне ясно, яснее ясного. Лесозавод имени Ермана. Аэросани. Летние каникулы. А, вспомнил...

— Наталья Витальевна, вот некоторые из нас мечтают посмотреть Сталинград. Многие не видели, только Бекетовку. Нельзя ли устроить экскурсию в Сталинград? Посмотреть, сходить в музей обороны Царьцына...

Все молчали.

Я стоял как истукан.

Наталья Витальевна пожала плечами. Варя Луговая снова потупилась. Военрук Буденныч теребил ус. Танька Якимова глядела на меня, вскинув брови. Ленька Голованов наступил мне на ногу.

Ну, нельзя так нельзя.

Через несколько дней сообщили. Наступление на Харьков потерпело неудачу. Наши войска взяты в клещи, отрезаны. Первый раз в сводке было такое: семьдесят тысяч наших бойцов пропали без вести, а это значит — плен.

— Теперь... теперь они могут прорваться сюда,— сказал мне Ганс.

— Кто?

— Они. Немцы.

Меня поразили эти слова. Не только потому, что они могли прорваться сюда,— вряд ли.

Но я впервые услышал от Ганса Мюллера: «Они. Немцы».

4

— Держи, Голованов.

Из окошка бюро пропусков протянулась рука с неказистой картонной книжечкой. Ленка взял.

— Дальше кто?

Я заглянул в окошко. Там сидела пожилая дородная тетка в военной фуражке, но без звездочки.

— Фамилия?

— Рымарев.

— Имя, отчество?

— Саня.

— Что?

— Александр Александрович.

— То-то. Давай фотокарточку.

— Нету.

— Как же нету?

— Вот нету...

Не было у меня фотокарточки, что поделаешь. Я давно не фотографировался. У мамы Гали, правда, хранилась фотокарточка, где я лежал на столе с голым пузом и таким же задком. И еще имелась у нее фотография, где мы были сняты все вместе, втроем, в былые довоенные далекие годы — это Ганс снимал своей автоматической лейкой. Конечно, ни та, ни другая не годились для заводского пропуска. А больше у меня не было. Возле станции работал фотограф, однако к нему всегда стояла такая длиннющая очередь — сплошь военные, — что он и не вылезал из-под черной холстины. И я отложил это дело до осени, до седьмого класса, когда буду вступать в комсомол, — для комсомольского билета, если меня примут.

— Нету, значит?

— Нет.

— Вот и напрасно, что нету.

Тетка в военной фуражке вписала в графы пропуска фамилию, имя, отчество, проставила какие-то колдовские знаки, а место для фотокарточки перечеркнула жирным крестом. Отгиснула печать.

— Ты вдруг потеряешь, а он и воспользуется, лицо-то не указано.

— Кто?

— Как это кто? — понизила голос тетка. — Шпион.

Сердце мое заныло. Неужели она знает? Неужели и ей встречался тот человек, с которым однажды повстречался я?..

Глянув строго, она протянула мне пропуск:

— Держи, Рымарев. Не теряй.

Пахло деревом. Гладким тесом, громоздившимся вокруг штабелями. Смолистой корой, по которой ступали ноги. Опилками, роившими-

ся в воздухе желтой метелью... Я и не предполагал, что столько разных пронзительных запахов хранит дерево даже тогда, когда на нем ни листвы, ни хвои.

Этим же запахом, щекочущим ноздри, был полон цех, куда нас привели. Бесконечно длинный цех, в одном конце ворота и в другом конце ворота. От ворот до ворот вдоль стен протянулись верстаки сплошной лентой, подле них тележки, на тележках ящики, в ящиках какие-то плашки, чурки, а на самих верстаках молотки и гвозди. Вот и все хозяйство.

Десятка полтора ребяташек вроде нас либо чуть постарше стояли у этих верстаков и стучали молотками. Но стука было маловато, большинство рабочих мест вдоль стен пустовало — видно, нас дожидалось.

Вот и мы. Подкрепление.

Сменный мастер, старый дядька в круглых очках, которые были у него не на глазах, а на лбу, посмотрел на подкрепление, отчего-то вздохнул глубоко, пожевал губами, сказал:

— Привет орлам, здорово соколам... Меня зовут Савелий Максимович. А цех этот называется сколоточным, проще — сколотка. Ясно?

— Ясно,— ответили мы.

— А больше у меня нет времени с вами разговоры разговаривать. Будем работать. Показываю операцию.

Он взял из ящика свежеструганную сосновую плашку сантиметров сорок длиной, положил ее на верстак, затем из другого ящика достал чурочку с прорезью посредине, наложил ее на плашку, нацелил на край чурочки гвоздь — трах, трах молотком, а с другого края еще один гвоздь — трах, трах..

Снял с верстака, повертел перед нашими носами: чурочка оказалась крепко приколоченной к плашке, а на тыльной стороне виднелись металлические стежки гвоздей, утопленных в дереве, а острия куда-то исчезли.

— Ясно?— спросил мастер и бросил изделие в пустой фанерный ящик.

— Ага... Конечно, ясно,— ответили мы.

— Ну и хорошо. Кто первый?.. Ты? Подходи пробуй.

Первым вызвался Ленька Голованов.

Он деловито и спокойно взял из ящика плашку, следом чурочку, наложил — все как показывал мастер, — молоток, гвоздь — трах, еще гвоздь — трах.

— Натё.

Савелий Максимович взял из его рук штукину, оглядел спереди, сзади, уронил очки со лба на переносицу, очками изучил, даже вроде бы понюхал и улыбнулся в полном удовлетворении:

— Порядок. Стандарт... Что, плотничал уже?

— Батя плотничал, я помогал,— ответил Ленька.

— Бате своему скажи спасибо — толку научил.

Ленька смолчал, только губы дрогнули. И мы все подавленно промолчали.

Видно, старый мастер учуял недоброе в этом нашем молчании.

— Что притихли?

— Его отец погиб на фронте,— сказал Игорь Пиотровский.

— А-а...— Савелий Максимович, смущенный своей оплошностью, пожевал губами, вздохнул. Снова обратился к Леньке:— А сам ты каких краев?

— Бекетовский, здешний.

— Фамилия как?

— Голованов.

— Не Игната Голованова сын?

— Его.

— Его, значит... Был твой батя у меня в учениках. Теперь вот ты будешь. Ладно, хлопец, извини старика. Что поделаешь, война... Следующий, — указал пальцем мастер.

Следующим был я.

Оказалось, что к верстаку привинчены две стальные пластины. Я тотчас догадался зачем — это чтобы гвозди, когда по ним бьешь молотком, пронзив дерево, упирались остриями в железо и дальше шли уже вкось, загибались. Вот и вся премудрость. Сделаем.

Я подхватил молоток и ударил. Сосновая чурочка раскололась надвое. Аккурат по прорези, которая была на ней.

— Та-ак, — вздохнул глубоко Савелий Максимович. — Возьми-ка еще.

Я взял еще. Пристроил, долбанул. На сей раз чурочка осталась цела, но раскололась плашка.

— Отойти покудова, — приказал мастер. — Остынь...

Щеки мои, я чувствовал, горели от стыда. И я отошел в сторонку, чтобы они остыли. Соображая при этом, сразу ли меня выгонят с завода или еще дадут попробовать.

Теперь у верстака был Игорь Пиотровский. Он, видно, учел мой горький опыт, долго примерялся: двигал чурочку выше, ниже, снял вовсе, наколот гвоздем две точки, опять наложил и опять наколот две точки.

— Медлишь! — прикрикнул мастер. — А у меня цех. Норма. План.

Игорь наконец поставил гвоздь и вогнал его. Другой гвоздь. Все! Обернулся торжествующе, как оборачивался от доски к классу, когда за минуту набрасывал мелом решение сложной задачи.

Савелий Максимович снял с верстака плашку и не глядя повернул ее к нам обратной стороной. Из сосновой мякоти, будто растопыренные клыки, торчали наружу острия гвоздей...

— Брак, — жестко сказал он и отшвырнул прочь деталь. — А брака я не допущу!

Игорь стоял злой и бледный, похрустывая оплошавшими пальцами.

— Извините, — он с некоторым вызовом глянул на мастера. — Прошу прощения, но я хотел бы сначала выяснить... мне необходимо знать, какую работу я выполняю, в чем назначение этой детали. Мне трудно, если я не понимаю что к чему...

Тут глаза Савелия Максимовича грозно округлились, впору круглым очкам, он предостерегающе поднял палец и внятно произнес:

— Чтобы я таких вопросов больше никогда! Время военное и любое производство теперь военное, и что бы вы тут ни делали — военная тайна, секрет. Полный секрет. Так что ни отцу, ни матери, ни даже во сне... Ясно?

Ясно, конечно.

— И ты, мальбй, еще не знаю, как звать тебя, — продолжил он, обращаясь к Игорю, — ты и думать брось насчет этого — что к чему. Твое дело — деталь, вот эта самая деталь. И все. И чтобы гвозди из нее не лезли. Ясно?

— Я... — Игорь Пиотровский вдруг зашелся кашлем, неожиданным и надрывным, как это с ним иногда случалось.

— А что это ты бухикаешь, словно дед на печи? — Мастер подозрительно нахмурился.

— Извините, — заморгал раскаянно Игорь. — Махорки накурился. Очень крепкая махорка, самосад.

Вот молодец.

— Курево надо бросить,— сказал Савелий Максимович.— У нас на заводе не положено — особые пожарные условия, дерево кругом.

Он поднял очки на лоб, еще раз осмотрел нас поочередно каждого и всех вместе, скопом. Наверное, решал, кого оставить в цехе, а кто — выкладывай пропуск и гуляй.

Однако без очков глаза мастера были добрее, чем в очках.

— Ну, сынки, за работу,— скомандовал он.— По местам.

На улице Шекспира, когда возвращались с завода, увидели Таню Якимову: оперлась локтем о рычаг водоразборной колонки — из кра-на хлестала в ведро пенная струя, а другое ведро уже стояло полне-хонько. Выпрямилась, лицо в брызгах.

— О, рабочий класс! Много наработали?

По правде говоря, наработали мы в первый день не очень много, но лиха беда начало.

— Устали?— сочувственно уже спросила Татьяна, глянув при этом на Игоря.

— Ничуть,— бодро ответил он.

И чтоб доказать, подцепил полные ведра, понес к Танькиному крыльцу.

— Ой, забыла совсем,— спохватилась она.— К вам приехал кто-то. Военный.

Ведра шмякнулись оземь, вода хлынула потоком, ушла в песок.

Игорь опрометью взбежал на крыльцо своего дома, головановско-го дома.

— Моряк?— попытался уточнить я.

— Нет, обыкновенный.

Я робко покосился на Леньку.

— Со шпалами, командир,— добавила Татьяна.

А его батя был рядовым.

— Ерунда,— махнул рукой Ленька.— Еще кто-нибудь по ордеру. Дом ведь у нас большой.

— Что же ты всех всполошила? — укорил я Таньку.

— Да я и не думала. Просто так сказала — приехал...

— Сейчас нельзя просто так говорить.

По ее лицу текла уже не брызга, а слеза. Может быть, она вспом-нила, как приезжал домой всего на один час — напоследок жизни — ее отец, рядовой Якимов.

Шагнула к пустым кособоким ведрам.

Я уж хотел помочь, но Ленька Голованов потянул за рукав:

— Идем поглядим, кто там со шпалами.

У Головановых в доме главным местом была кухня — огромная, как парадный зал. Окнами на веранду, оттуда свет. А стены сплошь в дверях, за ними комнаты, но там я не бывал и даже не имел представ-ления, где кто живет. Тем более что раньше, когда я наведывался к Леньке, никто посторонний здесь и не жил, одни Головановы; это уж потом, зимой, приселились Пиотровские да еще вот ордер выдали.

И в данный момент все население дома собралось на кухне, нас не хватало.

Екатерина Степановна, Ленькина мать, шаманила у плиты над ды-мящимся варевом. Мать Игоря ей помогала, крошила репчатый лук, отведя глаза. Обeim, наверное, выпала в госпитале ночная смена, по-тому и рады были похозяйничать, постряпать.

К тому же в доме гость. Не гость, а новый жилец.

Майор инженерных войск, черные петлицы. Орден Красной Звез-ды над карманом гимнастерки и еще какая-то лучистая звезда, доселе

мною не виданная. Волосы подстрижены короткой ребячьей челкой, и брови кустятся не вверх, а вниз, тоже челочками.

Когда мы вошли, он зорко прикинул из-под этих челочек — какой хозяин? — протянул руку Ленке:

— Чупрун Константин Иванович.

И мне пожал руку.

Игорь, брэнча в углу соском умывальника, спросил подчеркнуто громко:

— Мама, а письма нет? От папы?

— Нет, Игорек, еще нет. Может быть, завтра.

— Будет, конечно, — обнадежила Екатерина Степановна. — Не завтра, так послезавтра... Ну что ж, все в сборе: пора и ужинать. Пожалуйста к столу!

Она понесла с плиты дымящуюся кастрюлю, попутно кивнула мне, и это значило, что на мою долю тоже найдется тарелка затирухи с пахучим луком.

— Минутку, — сказал майор Чупрун, ныряя под притолоку двери. Здоровенный мужик.

Он вернулся, нагруженный сказочной снедью: в руках у него была банка тушенки, палица копченого сыра, коробка конфет. Еще бутылка вина.

— Богатство какое... — ахнула Екатерина Степановна.

Игорева мама покачала красивой головой:

— Будто век не видала. А ведь всего один год.

— Всего один год... — повторил майор Чупрун, широким ножом вскрыв банку, нарезав сыр, выковырнув пробку. — Со знакомством, — сказал он.

— И чтоб война скорее кончилась, — добавила Екатерина Степановна. — Ну, Валечка...

Валечкой она называла Игореву маму.

— Век не пила. — Валечка в нерешительности посмотрела на свой стакан, но подняла и пригубила. — Вкусно... Игорек, а почему ты не ешь?

— Я ем, — ответил Игорь, гоня ложкой затируху.

Мы с Ленкой налегли на копченый сыр. Век я не ел копченого сыра. Я его вообще никогда не ел, даже не знал, что бывает на свете такой замечательный копченый сыр.

— Гляжу, ордена у вас, Константин Иванович, — сказала хозяйка. — Значит, повоевали уже?

— Это за Халхин-Гол, — объяснил майор Чупрун. — Это Монголия. Далеко и давно. Век, как говорит Валентина... простите...

— Николаевна.

— Валентина Николаевна. Далеко и давно.

Он улыбнулся. Но глаза его были грустны под нависшими челочками бровей.

— У моего папы орден Боевого Красного Знамени, — вдруг во всеуслышание заявил Игорь. — Он капитан первого ранга, подводник.

Наверное, он хотел, чтобы об этом знал новый жилец. Мы-то знали.

Майор Чупрун накренил бутылку к стаканам.

— Нет-нет, спасибо, — прикрыла ладонью Екатерина Степановна. — Нам ведь с Валечкой на дежурство в госпиталь. И так почти не спавши...

Он медленно налил себе до самого края. Сказал Игорю:

— За твоего отца. За подводников.

И выпил до дна.

— Стало быть, госпиталь... А до войны что?

Вопрос его был обращен к Валентине Николаевне.

Она пожала плечами, коснулась пальцами лба, будто силилась вспомнить — что.

— Мужа любила. Сына любила. И себя немножечко... Мало разве?

— Достается ей, тяжело с непривычки, ведь знаете, каково это — санитаркой...—Екатерина Степановна понизила голос: — А раненых везут и везут. То были с-под Харькова, теперь уже с Дона...

Вот как. С Дона.

— Константин Иванович, я тоже хочу спросить... если об этом можно спрашивать.—Игорева мама пристально смотрела на нового жильца.—Но если можно, ответьте: вы на фронт или... сюда?

— На фронт,— твердо сказал майор Чупрун.— Сюда.

— Значит...

Молчание воцарилось за столом. Ведь мы тоже поняли — не маленькие. Мы все поняли, что это значит.

— Ох, господи! — Хозяйка поднялась, начала собирать пустые тарелки.

— Я сапер. Служу, как нынче говорится, в энской части,— продолжил спокойно Константин Иванович.— Так уж заведено, что мы, саперы, приходим первыми. А уходим последними... Вот и все, пожалуй, что я могу сказать. Нет, еще скажу — отсюда мы не уйдем.

Его рука веско и плотно легла на клеенку, испещренную голубыми цветочками. И тотчас повеселев от слов, которые сам высказал, он обратился к нам:

— Как дела, отроки? Как учеба?

— Отучились уже,— ответил Ленька.— Работаем.

— Где?

Мы переглянулись. Было свежо в памяти утрешнее грозное предупреждение мастера Савелия Максимовича: «Ни отцу, ни матери, ни даже во сне...»

— На энском заводе,— ледяным тоном ответил Игорь.

Я так и не мог понять, отчего Игорь Пиотровский с такой неприязнью отнесся к появлению в доме нового жильца, майора Чупруна Константина Ивановича. Мне, например, сразу понравился этот суровый и откровенный мужик.

Но и это понравилось тоже: «На энском заводе».

5

От поселка до завода было недалеко: взобраться на железнодорожную насыпь, прошагать по ней сколько-то, спуститься с другой стороны — тут тебе и проходная. Но чтобы скоротать веселее и этот недолгий путь, мы ставили перед собой различные задачи.

Сегодня была такая задача: Игорю и мне идти до самого завода по рельсам — ему правый рельс, мне левый — и ни разу не оступиться. Леньке еще труднее: допрыгать по шпалам на одной ноге, тоже не оступаясь. Кто оступится, тому пара шалобанов.

Пока все шло благополучно. Мы с Игорем Пиотровским даже затеялись вперегонки, быстро меняя ступни, размахивая руками для равновесия. У каждого из нас в руке был узелок со снедью, полдневный перекус: хлеб, соль, редиска.

Между прочим, хлеб мы теперь получали не по детским, и не по иждивенческим, и не по каким-нибудь там служащим карточкам, а по самым настоящим рабочим карточкам: восемьсот граммов в день, добрая пайка.

Мы семенили по накатанным до блеска рельсам — шажок, шажок. Маши руками. Ленька прыгал по шпалам, как воробей: скок-поскок.

Я оступись. Сошел с рельса.

Меня сдул с него дружный смех, раздавшийся у подножия насыпи.

Там попутно шагали военные девчата, аэростатчицы. Целый взвод. Они держали под уздцы здоровенную надутую зеленую колбасу, баллон с газом. Они, наверное, давно наблюдали за нами, но боялись спугнуть, опасались лишиться такого интересного представления, однако не выдержали — прыснули, захохотали... Ночь сегодня была спокойной, без тревог. И утро было ясным. Чем не жизнь? Вот и смеются от радости.

Мы, конечно, прекратили свое соревнование, пошли дальше обыкновенно, степенно, как люди ходят. Рабочий класс.

— Вот их-то небось взяли, — заворчал сердито Ленька Голованов. — Хоть и в юбках, а в армию взяли. Получается, значит, что лучше быть женщиной, чем этим самым... малолетком. Погоди-ка, уговор...

Он остановил меня и выдал по лбу крепкий шалобан. Игорь тоже щелкнул.

Будто я был виноват.

Это обидное и вредное слово — малолетки — более всего донекало нас. Потому что слово мешало делу.

В первый день мы не смогли осилить сменную норму по причине вполне понятной и даже извинительной: ведь надо было освоить эту нехитрую операцию — приколачивать к плашке чурочку, — наловчиться да и вообще обвыкнуться на новом месте, на заводе, в цехе.

Но и назавтра, и послезавтра, и неделю спустя, и посейчас никто из нас не мог управиться с нормой. Даже Ленька Голованов. Норма была очень большая.

Мы старались изо всех сил, до седьмого пота, до онемения рук, до дрожи в коленках, до звона в ушах, до черных мух перед глазами.

Без умолку грохотали молотки, таяли гвозди в жестяных коробках, птахами летели в ящики сколоченные детали, их увозили на тележках, а обратным ходом везли заготовки. Считанными были минуты, считанными были секунды. И казалось, что на сей раз мы совладаем с нормой...

Но тут к верстакам подходил Савелий Максимович, вытягивал из кармана тяжелые часы на цепочке, открывал крышку и командовал: «Шабаш! Кончай работу!» «Как это — шабаш? — возмутился Игорь Пиотровский. — Еще два часа до конца смены». «Шабаш! — Мастер был неумолим. — Объяснял уже: вы малолетки, для вас рабочий день короче. Есть такой закон». «Так ведь он еще с до войны, этот закон?» — спрашивал Ленька. «С до войны. Только никто его не отменял. И я тоже отменить не могу. Хотя мне он сейчас вот так... — Савелий Максимович ребром ладони полосовал горло. — План мы не сделали. Браку тоже много. — Он зыркал на расколотые плашки, что валялись у наших ног. — Все равно — шабаш, ребята. По домам».

Наутро мы опять в иступлении и надежде колотили молотками.

Над верстаком репродуктор. Его никогда не выключают. Тревога — он объявляет тревогу. Отбой — он объявляет отбой. А сейчас передают сводку Информбюро. Сквозь дружное колоченье едва проникают слова:

— ...вели ожесточенные бои с наступающими войсками противника. На остальных участках фронта...

Сталинград еще ни разу не был упомянут в сводках.

— ...В Баренцевом море нашей подводной лодкой потоплен вражеский транспорт водоизмещением в десять тысяч тонн...

Молоток Игоря Пиотровского замер на взмахе. Он поднял глаза на черный раструб: может быть, еще не все сказали, сейчас доскажут про эту подводную лодку в Баренцевом море?.. Нет, все сказано, больше ничего не положено говорить.

Он коротко глянул на меня, улыбнулся счастливо, будто это не сказанное достаточно ясно. Будто сейчас была ему весть.

А вестей от капитана первого ранга Пиотровского по-прежнему не было.

Теперь в репродукторе звучала песня, которую передавали каждый день. Мы знали ее наизусть. Слова этой песни были ясными и четкими, как рабочее задание:

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб...

Я с остервенением — как в лоб — загонял гвоздь в чурочку. Так.

Отребью человечества
Сколотим крешкий гроб...

Так, и второй гвоздь вогнан плотно. Сколочено. Сколотим. Не зря же наш цех называется сколоткой.

Пусть ярость благородная...

Я никогда еще не слышал песни, под которую так мерно и сильно ходит молоток.

Но это всего лишь плашки и чурочки неизвестно для чего, секрет.

Утром, когда мы с мамой Галей и Гансом отправлялись на работу, я прямо спросил их, скоро ли они там, на судовой верфи, управятся и со своим делом, со своим секретным оружием, — потому что фашисты уже совсем близко.

Мы работаем, коротко ответил Ганс.

Ясно, что не баклуши бьют. Но все-таки...

Но все-таки, спросил я, нельзя ли побыстрее изобрести оружие, такое секретное и такое доселе невиданное оружие, чтобы им долбануть разок — и немцам как-то, чтобы они покатались отсюда до самого Берлина, дальше некуда, спросил я Ганса, разве нельзя изобрести?

Такого оружия не бывает, ответил Ганс. Только в сказках, в страшных сказках, добавил он.

Ну а Геббельс? Почему он орет во всю глотку, будто у них вот-вот появится какое-то секретное оружие, чудо-оружие, вундерваффе, и они победят весь мир?

Вундерваффе? — переспросил Ганс. Кто, Геббельс? Но ведь на то он и Геббельс, чтобы врать... Такого оружия не бывает на свете.

Ясно. Значит, надо просто работать. Долбить и долбить, повторил я слова дедушки Санджи.

— Долбить? — удивилась мама Галя. — По-русски говорится: долбить...

Тут мы и расстались, им направо, на станцию, две остановки до Сарепты, а мне налево.

Сталинград еще ни разу не был упомянут в сводках. Хотя все знали, что фашисты рвутся к Волге. Знали об этом и, больше того, понимали, что, наверное, их не удастся остановить на полпути к Сталинграду.

Но никто не падал духом, не паниковал. Все были уверены, что

дальше этого предела немцам не пройти, что именно здесь, у Волги, им будет полный капут. Откуда бралась эта уверенность? Я не спрашивал. Я даже себя не спрашивал, откуда во мне такая уверенность,— я просто был уверен. И все люди, которых я знал, тоже были уверены.

Все, кроме одного человека...

Но где его теперь найти? И почему он мне больше ни разу не повстречался?

Опять я вспомнил то, о чем не хотел вспоминать.

Дело было в конце апреля, когда стоял снег и зазеленела свежая травка.

Я возвращался из школы. Вдруг среди бела дня заголосили сирены. Пришлось сунуться в ближайшую щель на пустыре.

Оказалось, что там уже есть некто — тоже, поди, случайный прохожий, застигнутый на улице тревогой. Я пригляделся к нему в полумраке: мужик в обтерханном ватнике и кепке, небритое лицо заволосатело до самых глаз, а глаза даже во мраке глазели колюче и остро. Стоит, полусогнувшись, в низкой и тесной щели, дымит самокруткой.

— Здравствуйте,— сказал я ему на всякий случай.

Он не ответил.

Наверху послышалось это осточертелое и досадное «ду-у, ду-у, ду-у...».

Я шагнул на обитую земляную ступеньку, выглянул из норы.

В небе шли строем грузные «хейнкели». По ним колотили зенитки, но они продолжали лететь невозмутимо и нахально, не расходясь и не меняя курса. Сталгрэс оставалась в стороне, значит, не она была их целью, по всему было видно, что у них другая и далекая цель,— они тянулись куда-то на юг, в сторону Астрахани.

Во всяком случае, было ясно, что здесь они бомбить не будут.

Я переступил на ступеньку выше.

И ощутил у своего плеча махорочное сильное дыхание волосатого мужика. Он тоже догадался, что бомбить не будут, и тоже осмелился выглянуть.

Звенья «хейнкелей» уходили к черте горизонта. Неужели вот так их и пропустят?...

Но затихающий прерывистый гул вдруг перекрылся другим, нарастающим звуком — яростным ревом других моторов.

Из-за голых еще деревьев выметнулись на отчаянной скорости зеленые «МИГи» с красными звездами на крыльях. Они стремительно набирали высоту. Они шли в погоню.

— Наши! — заорал я во весь голос, хотя, кроме этого мужика в обтерханной кепке, никто не мог меня услышать. — На-аши!

Я взобрался еще ступенькой выше. И подле самого уха уловил вместе с запахом махры:

— Ваши, ваши...

— А?— Я оторопело оглянулся.

Волосатый смотрел мимо меня.

Я сразу предположил, что этот странный и угрюмый человек просто не шибко разбирается в самолетах, где какие, где чьи.

Я показал ему пальцем:

— Вот они, наши!

Тогда и он показал пальцем.

Он указал толстым, прокуренным на сгибе пальцем в сторону истребителей с красными звездами, идущих в атаку:

— Ото в а ш и.— Потом ткнул пальцем туда, где летели заколебавшимся строем «хейнкели», сказал:— А ото н а ш и.

Осклабился, выпятив желтые зубы прямо в лицо мне.

Я, спотыкаясь о ступени, выбрался из щели. Отбежал на десяток шагов. Поднял с земли камень и запустил его туда, в зияющий черный лаз.

Теперь мне было наплевать на зенитные осколки, которые могли упасть с неба. Да и зениток уже не было слышно. Где-то в отдаленье сцепились в воюющей схватке моторы, застучали очереди. Но я уже не видел этого боя.

У меня был свой.

Я нагибался, хватал камни потяжелее и, стараясь не промахнуться, зашвыривал их в щель один за другим.

Он, этот гад, мог бы запросто укрыться от моего обстрела: ему лишь стоило спрятаться за уступ зигзагообразного убежища и тогда бы ни один камень его не достал.

Но он, по-видимому, тоже разозлился, осатанел. И, матерно ругаясь, заслоняя личность от камней рукавом ватника, он полез наружу...

Врать не буду: я убежал. Я бежал до самого дома, глотая воздух разинутым ртом. Бежал я не оборачиваясь и потому не мог бы даже сказать, в какую сторону подался этот волосатый человек из щели:

«Ото ва ши, а ото на ши».

Может, он был шпионом? По ночам сигналит фашистским самолетам из укромных ям, наводит их на цель, на Сталгрэс, на заводы, на станцию — такое у него задание. Но тогда что ему за расчет открываться, разоблачать себя перед первым же встречным сопляком...

Я поведаль все как было дедушке Санджи. Шпион?

Дед подумал, покачал головой: «Нет, не шпион. Просто вражина».

На всякий случай я рассказал о человеке из щели Гансу.

Он тоже задумался, переспросил кое-какие подробности и тоже покачал головой: «Нет, это не шпион. Это классовый недобитка».

И еще мне вспомнилось.

Когда Ганс вернулся из Испании, к нему пришел Карл Рауш, тот самый, который говорил: «Я уже слишком стары для это дело...»

Вообще-то он не был слишком старым. Лет за сорок, плечистый, под фуфайкой домашней вязки отчетливо и округло перекачивались мускулы, колыхалось брюхо.

Он был совсем не старым, но все австрийские шуцбундовцы, которые жили в нашем доме, признавали его старшинство.

Именно в его квартире этажом ниже нас обычно собирались венские земляки, ходил туда и Ганс, порой и меня брал с собой.

У Рауша собиралась исключительно мужская компания. И это даже не было похоже на компании, которые собираются ради того, чтобы выпить и закусить, сыграть в картишки. Здесь не пили, не закусывали, не играли. Только дымно курили. И разговаривали. Это больше походило на какое-нибудь ответственное собрание, чем на пустячную вечеринку.

А может, это и были собрания?

Карл Рауш, водрузив на нос роговые очки, шелестел страницами «DZZ» — немецкой коммунистической газеты, которую выпускали в Москве, — и вслух утробным басом читал из нее все подряд статьи и заметки. Иногда его бас достигал особой рокочущей силы, так что казалось, будто данное место в статье было напечатано одними лишь буквами «ррр», и в этот момент ноготь чтеца с силой отчеркивал строку на газетном листе — у меня пробегали мурашки меж лопаток: я не выносил, когда скребли ногтем по бумаге, а кроме того, мое сердце обмирало от почтительной робости.

Да и все остальные мужчины, которые находились здесь, слушали Карла Рауша с очевидной почтительностью и робким благоговением.

Отчеркнув строку в газете, Карл обычно вставал из-за стола, подходил к книжной полке, стоявшей у них в углу, и рывком извлекал из теснотищи книг увесистый том.

Я успевал заметить на корешке или обложке: «Карл Маркс», «Карл Либкнехт»...

И при этом всегда почему-то в сознании возникало, становилось рядом: Карл Рауш.

Он уверенно и быстро пролистывал страницы, находил нужную, разглаживал шов широкой мозолистой ладонью, окидывал аудиторию пристальным взглядом поверх очков и снова начинал читать, уже из книги.

И снова все сосредоточенно прислушивались к его рокочущему басу, а некоторые даже записывали что-то в тетрадки и блокноты.

Закончив чтение, Рауш гулко захлопывал книгу, снимал очки, слегка подрагивающей от возбуждения рукой брал со стола трубку, долго уминал в ней табак, скосив глаза к жерлу, а потом, пыхнув дымом, обводил этой трубкой присутствующих — приглашал товарищей высказаться.

Они высказывались по очереди, по кругу, кто расторопно и бойко, будто отвечая хорошо вызубренный урок, кто неуверенно и застенчиво, заикаясь и мямля, кто натужно и раздумчиво, морща лоб, теребя галстук...

Карл слушал, одобрительно кивал, удивленно воздевал брови, протестуяще взмахивал трубкой, издавал горлом какие-то отрывистые хриплые звуки, но помалкивал до поры до времени.

Но вот наступала долгожданная минута.

Карл Рауш поднимался с места и, пригладив на темени два-три оставшихся там волоска, резко выбрасывал руку вперед.

Его речь была вдохновенна и страстна, ошеломляюща. Пружинистый могучий живот ходил ходуном под свитером, на шее вздувались четкие синие жилы, слюна вскипала в уголках губ, а подобный молоту кулак угрожающе обрушивался на край стола.

Как-то так само собой у него получалось, что почти все слова, из которых состояла речь, тоже рокотали победной и гневной буквой «р»: «Р-р-революцион... дер-р-р... ар-р-рбайтер-р-р... унзер-р-ре пар-р-ртай... Фер-р-рахтенсвер-р-ртен фер-р-ретер-р-р... р-р-ревизионистен...»

Вероятно, в этот момент он забывал, что стоит не на трибуне, а за простым обеденным столом, не на митинге, а в ухоженной уютной комнате и что перед ним лишь горстка соседей по дому, сидящих с разинутыми ртами, а не тысячная, бурлящая неистовством толпа...

И, право же, мне самому становилось до слез обидно и жалко, что весь этот пыл, вся эта недожизненная страсть расходуется так щедро — а ради чего, ради кого?

Мне представлялась огромная площадь, запруженная людьми, колышущееся море красных знамен, лес вздыбленных кулаков, сверкающие глаза, сурово сжатые челюсти — и над всем этим набатно грохочет голос Карла Рауша, и эхо разносит по улицам его непримиримое бунтарское «ррр»...

Для меня Карл Рауш был образцовым воплощением революционера, борца. Даже в повседневности он оставался им.

Однажды мы с его сыном, моим ровесником Откой Раушем купили себе по пугачу. Это были отличные пугачи — от них получался страшный грохот, много дыма и, надо признаться, отчаянной вони.

Вооружившись этими пугачами, мы с Откой затеяли ожесточен-

ную перестрелку на лестнице: прячась за перилами — он на своем этаже, а я на своем, — мы не жалеючи изводили гремучие пробки, и, будь это настоящие револьверы, уже вся лестница, надо полагать, была бы завалена нашими бездыханными трупами.

На шум выскочила мама Галя. Она сказала, что мы устраиваем сумасшедший дом, что у соседей, наверное, полопались барабанные перепонки, что от этого дыма может случиться пожар, — словом, то, что обычно говорят матери в подобных нередких случаях.

Еще она заявила, что незачем баловаться такими идиотскими игрушками, убивать друг друга, а лучше бы мы что-нибудь смастерили из детского «Конструктора», который был мне недавно подарен.

И как раз в это время по лестнице поднимался Откин отец Карл Рауш. Он остановился, послушал, взошел еще на один этаж — туда, где стоял я и где выражала свое негодование мама Галя, — приблизился ко мне, положил руку на голову, ободряюще улыбнулся, погладил и негромко, вразумительно сказал моей маме:

— Это не так страшно, фрау Мюллер. Это ничего себе... Пусть они с детства привыкают к оружию. Им еще предстоит серьезный классовый бой. Они должны это уметь, геноссе Галя! Вы понимать?..

Мама Галя опустила глаза и лишь пожала плечами.

А Карл Рауш, подтолкнув меня к ступенькам, посоветовал:

— Идите во двор, ты и Отто... Вы можете там сделать настоящий баррикад.

Но в Испанию он не поехал.

И теперь, выждав ровно столько времени, сколько отведено приличиями, чтобы дать возможность человеку побыть наедине с семьей, пришел навестить своего земляка, своего друга.

Они разговаривали на той разновидности немецкого языка, который считается венским диалектом и слышав который настоящие немцы вроде бы тут же впадают в корчи и умирают на месте от смеха.

Зато я немного уже разбирался в этой речи и потому могу перевести их разговор слово в слово.

— О, во бин и фро, дас и дих зее! — закричал Карл Рауш с порога, обнимая Ганса и хлопая его увесистой ладонью по спине.

— И аух, — улыбнулся Ганс. — Ви геетс дир, альтер?

(«О, как я рад тебя видеть!» — заорал толстяк, войдя в квартиру. Полез обниматься, надавал по спине Гансу приятельских грубых затрещин. «Я тоже, — заулыбался Ганс. — Как поживаешь, старина?»)

Карл отстранился, держа руки на плечах Ганса, восхищенно оглядел его с головы до ног. Куцыми пальцами ощупал ткань серого костюма, в котором был Ганс. Заинтересовался:

— А шёнер анцуг... Хаст ин дорт кауфт? — И повел головой куда-то в сторону.

— На, ин Парис... Про-ез-дом, — невесело усмехнулся Ганс.

(«Какой красивый костюм... — похвалил Карл Гансову одежду. — Ты его там купил?» Очевидно, он имел в виду Испанию, но прямо не сказал об этом, так как это по-прежнему оставалось тайной, а я присутствовал при разговоре, был рядом. «Нет, в Париже, — ответил ему Ганс и, усмехнувшись горько, добавил по-русски: — Про-ез-дом».)

Должно быть, он вспомнил, как они оказались в Париже — солдаты преданных армий, воины павшей республики, плакавшие от обиды и ненависти, уходя за Пиренеи.

Ганс направился к буфету, достал оттуда початую бутылку коньяка, две рюмки.

Они сели за стол. Чокнулись.

— Прозит!

— Прозит.

Карл вынул из кармана трубку и принялся неторопливо железной лопаточкой уминать в ней курчавый табак.

— И муас мит дир ин анэр эрнст'н зах'н рэдн...

(«Мне нужно поговорить с тобой по очень важному вопросу...»)

Он сказал это глухо, не отрывая взгляда от трубки, будто заранее тяготясь предстоящим разговором.

— Варум ден ауфшиб'н? — Ганс щелкнул зажигалкой, поднес огонек к трубке Карла.

(«Зачем же откладывает?»)

Карл затянулся, кашлянул надсадно, сощурил от дыма глаза.

— Вайст ду, дас вир нах Остеррайх цурюк фарн?.. Дас ист фаст зо энтшид'н...

(Что?.. Мне показалось, что я ослышался. Потому что Рауш заявил буквально следующее: «Ты знаешь, что мы возвращаемся в Австрию?.. Это почти решено».)

Ганс уронил зажигалку на пол. Нагнулся за ней. Выпрямился. И произнес тихо:

— Ду бист наррип вурн...

(Он сказал: «Ты сошел с ума...»)

— На,— покачал головой Карл.— Их бин ганц г'зунд... Эльза хат има хамвэ нах Веан.

(«Нет, я в полном порядке... Но Эльза очень тоскует по Вене.»)

— Но ду вайст дох, дас йетцт дорт ди наци зан?

(Ганс сказал ему: «Но ты же знаешь, что там сейчас наци, нацисты?»)

Он все же надеялся, что Карл шутит, он все еще не верил, что тот несет все это в здравом уме.

Рауш нахмурился, помолчал, будто колеблясь, продолжать ли эту беседу. Но он превозмог колебания, хотя и было заметно — с трудом превозмог.

— Ди лецт'н форкомниссе хаб'н юберцайтг, дас ма мит инен ин фрид'н лебен канн... Безондерс йетцт, нахдем дер фертраг унтацайхнет ист.

(«Последние события убедили меня в том, что и с ними можно жить в мире... Особенно теперь, когда подписан договор».)

Ганс поднялся, взволнованно и загнанно обежал комнату, вернулся, стиснул пальцами спинку стула.

— Ду хаст мир шейнт ферегесс'н, вер ди наци зан!..

(«Ты, кажется, уже забыл, что такое наци!..»)

Рауш пожал плечами.

— Оллес ин дера вельт ист унгефер, май либер...

Он взял бутылку, снова налил рюмки, примирительно улыбнулся Гансу. И это означало: все на свете относительно, дружище...

— И глауб, вир хам ферегесс'н дас ди наци аух соци зан,— продолжал Карл.— Эс ис я ка гехаймнис, дас дер Гитлер фюль фюр ди дойчен арбайтер гетан хат...

Спинка стула хрустнула в руках Ганса.

(Я не перевел то, что сказал Рауш. У меня язык не поворачивается повторить то, что он сказал. Однако я обещал — слово в слово. Он сказал: «Кажется, мы забыли, что наци — они в то же время и соци, социалисты... И не секрет, что Гитлер многое сделал для немецких рабочих...»)

Глаза Ганса округлились от бешенства. Я ждал — вот сейчас он ударит...

Но он лишь прошипел, задыхаясь:

— Шай даст'т ауссикумст!

(«Убирайся вон!»)

Рауш поднялся из-за стола и стал торопливо совать в карманы трубку, кожаный кисет, лопаточку. Уже у двери он обернулся:

— Мер хаст мир них цу зог'н?

(«Ты больше ничего не хочешь мне сказать?»)

— Йо...

Голос Ганса звучал уже спокойней и тверже:

— Йо. Их виль зог'н, дас ду а ферретер бист!

(Так его! Правильно. Ганс ответил: «Да. Я хочу сказать, что ты — предатель!»)

Но когда дверь захлопнулась за Карлом, он опустил на стул — тяжело, обессиленно. Потянулся к рюмке с коньяком. Рука его при этом мелко дрожала. Дрожала больше обычного. Эту нервную дрожь он привез отсюда, с войны. А тут еще стал частенько прикладываться к бутылке.

Я положил свою руку поверх его руки. И сказал:

— Не надо.

Через неделю у нашего подъезда стояла машина. Грузовик у подъезда был полон домашнего скарба, будто приехали новые жильцы.

Но это не приехали. Это уезжали. Уезжали Рауши.

Толстый Карл, посасывая трубку, с примерной озабоченностью хлопотал подле машины. Он проверял, хорошо ли уложены вещи. Не свалится ли что по пути на вокзал. Не забыто ли что впопыхах... Нет, ничего не свалится. И вещи уложены хорошо. И ничего не забыто.

В каждом движении Карла Рауша — даже мне это было видно — сквозила та суетливая торопливость, которая одолевает малодушного человека, когда он отваживается наконец переступить роковую черту и спешит уйти за нее подальше — чтобы вдруг не одуматься, не вернуться...

Отка и его сестра Лотка, притихшие и растерянные, переминались с ноги на ногу близ машины. Они переговаривались, даже хихикали изредка, но так лишь, для вида, не слыша и не слушая друг друга, ради того только, чтобы отгородиться от всего, чтобы спрятаться.

У одной лишь Эльзы Рауш, их матери, вид был решительный, надменный, даже торжествующий. Но и она не смела поднять голову, не смела поднять глаза туда, к окнам...

Никто из друзей Карла Рауша не вызвался помочь в хлопотах. И никто не спустился во двор пожелать отъезжающим счастливой дороги. Хотя и нельзя сказать, чтобы этот отъезд остался совсем без внимания.

Черномазый Алонзо высунулся до пояса из окна шестого этажа и поглядывал сверху на машину. Ян Куля и Выскочил восседали на подоконниках в соседних комнатах — они жили в одной квартире, у каждого по комнате — и тоже смотрели вниз.

А мы с Гансом вышли на балкон, любовались отсюда.

И еще на других балконах с удобствами расположились досужие наблюдатели.

И неизвестно, кто первый — так, от нечего делать, от приятного расположения духа, от полнейшей беззаботности — принялся насвистывать:

Кукарача, кукарача...

Эта песенка про букашку, про таракашку, вообще про какое-то насекомое, родилась в Испании, а прижилась повсюду. Мотивчик ее из тех, что привяжется — не отвяжется. Раз услышишь — не забуду.

дешь. Кто-нибудь затынет, а ты обязательно подтянешь. Кто-то засвистит, а твои губы сами вытягиваются в трубочку.

И вот уже эту песенку подхватили в соседнем окне, на соседнем балконе, выше этажом, ниже этажом:

Кукарача, кукарача...

Ну и мы с Гансом, переглянувшись, засвистели тоже: не отставать же от других.

Только на минуту, чтобы перевести дыхание, я прекратил свистеть и спросил Ганса:

— А если там узнают, что он коммунист?

— А он больше не коммунист,— ответил Ганс.— Мы его исключили. Вчера.

Кукарача, кукарача...—

все задорней, все громче гуляло по двору.

Карл Рауш, багровый как вареный рак, сунул в карман дымящуюся трубку и что-то раздраженно закричал Отке и Лотке. Они полезли в кузов. Эльза юркнула в кабину. Карл попытался втиснуться туда третьим, но не тут-то было, он оказался слишком толст, и дверца за ним никак не захлопывалась.

— Шабаш! Кончай работу...

Савелий Максимович шел по цеху, что-то помечая на ходу карандашиком в тетрадке. Остановился подле Ленки.

— Молодец, Голованов. Сегодня полная сменная норма. Стахановец!

Ленька, не выказывая торжества, обмахивал веником свой верстак.

— А все остальные нет, не управились. Нету нормы!— горестно заключил мастер.

Однако, сообщая нам такую огорчительную новость, Савелий Максимович не выглядел слишком удрученным, не давал воли справедливому гневу. Наоборот, сползшие на кончик носа очки его глядели потапливо на горы сколоченных деталей, а когда он заглядывал в свою измятую тетрадку, в них отражалось полное удовлетворение.

— Савелий Максимович, но ведь до конца смены еще целых два часа!— взмолился Игорь Пиотровский.— Пусть считается— сверхурочно, ведь сейчас все работают сверхурочно...

— Ага, вот ты-то мне и кстати подвернулся,— перебил мастер.— Очень даже кстати. Говорят, ты в школе по арифметике отличался?

— Почему же по арифметике?..— оскорбился Игорь. У него и по всем другим предметам было отлично. Но, догадавшись, что никак не время хвастать школьными доблестями, уточнил:— У нас не арифметика — алгебра.

— Еще лучше, счет вернее,— согласился Савелий Максимович.— Так вот: завтра утром выйдешь на работу не сюда, а на склад готовой продукции. Конец месяца — зашиваемся с учетом, считать тоже некому, нет, понимаешь, людей. А ты, говорят...

— Мало ли что говорят! — весь так и вспыхнул Игорь Пиотровский.— Почему именно я?

— Потому что именно ты.

Они круто заспорили.

Но я, хотя мне и жалко было Игоря (мужское ли дело — считать да подсчитывать), возликовал душой. Теперь появилась надежда, что

эта загадка, что эта сугубая тайна приоткроется. Ведь мы до сих пор не знали, какие такие детали мы сколачиваем, для чего они предназначены, плашки и чурочки, два утопленных в них гвоздя,— а з а ч е м?

Секретность на заводе соблюдалась очень строго.

Двери цехов были закрыты наглухо. Посторонних, из других цехов, к нам не пускали. А нас не допускали в другие цехи. Подглядывать в щелочку тоже не разрешалось — гнали взашей. Покрытые брезентом тележки катали от цеха к цеху. Там, в соседних цехах, тоже слышался неумолчный, дружный и настырный стук молотков, там тоже колотили-приколачивали — а что?

Я уже догадывался, что наши детали не имеют прямого отношения к аэросаням. Навряд ли их заготавливали впрок, аэросани, для зимы в это лето сорок второго года.

Ну а все-таки что же?..

Загадка, конечно, таилась на складе готовой продукции, куда нам тем более не дозволялось совать носа.

А вот Игоря Пиотровского посылают на склад готовой продукции.

А он еще спорит с пожилым мастером.

6

Жарынь стояла — спасу нет.

Мало-мальского дождичка не пролилось с той поры, как мы кончили учиться в школе и начали работать на заводе.

Небо над Сталинградом было пустым, грозно безоблачным и не то чтобы синим, а выгоревшей блеклой синевы.

Из окрестных степей с запада тянуло гарью, однако в точности никто не знал, то ли сами по себе горели иссушенные травы, то ли это близилась, надвигалась, пожирая ковыли, военная гарь.

По бекетовскому шоссе гнали стада отощавших понурых коров и отары заполошных овец — пастухи объясняли, что с Дона. Шерсть на овцах свалалась, набухла пылью, обросла колючими репьями, а у некоторых бока были в рыжих подпалинах. Овцы жалобно блеяли, вскидывали головы к небу — может быть, они ждали дождя, а может, им припоминалось, как с неба обрушивался стригущий смертельный огонь...

Больше всего я боялся, что однажды ночью немцы шарахнут по нашему лесозаводу термитками — и все враз вспыхнет (сухое, как порох: доски, плашки, чурочки, стены и крыши цехов — ведь все тут деревянное) и уже никакими шлангами и бочками этого огня не уймешь, сгорит, как свеча. Но они в последние недели вроде потеряли интерес к Бекетовке и упорно, зло бомбили центр города, северные заводские предместья, далеко отсюда. Что-то они передумали.

А над волжским откосом, у текучей воды было прохладно.

Мы с Ленкой Головановым лежали на сыром песке, поскидав с себя все, даже трусы, отдыхали в приятном блаженстве.

Был обеденный перерыв. Мы уже искупались по первому разу, смыли с себя пот и усталость, а в запасе еще оставалось время. Кроме того, мы сговорились с Игорем Пиотровским встретиться в перерыв здесь, на берегу, у лесотаски.

Слева от нас рядом грохотала и скрежетала заводская лесотаска. Это было хитроумное сооружение, покатым мостом кинувшееся с самой крутизны к реке. Прикрытые дощатыми бортами, по всей длине лесотаски ползли гремучие железные цепи. Они приводили в движение черные цепкие крючья, поочередно гребущие перед собой, будто клешни рака, укравшегося в подводной норе. У нижнего конца лесотаски колыхались на речной зыби сосновые бревна, выпущенные на

волю волн из тесной связки плота. Они плавали сами по себе, кружились, сталкивались, отдалялись от берега, вновь прибывали к берегу, но уплыть подалее все равно не могли, их держала в плену полукруглая змеистая петля бонов, сцепленных из таких же сосновых бревен.

Крючья лесотаски непрерывно ходили в воде, загребали, ухватывали подвернувшийся ствол и уже не отпускали его, силой вырывали из воды, выметывали на движущуюся ленту, волокни, тащили вверх, на крутизну, к визгливым циркулярным ножам на раздел, на распил, на тес. Одно за другим, а то и по два зараз уходили вверх золотистые, смолистые, быстро обсыхающие под жарким солнцем бревна. А внизу у зубастой ловушки в воде безмятежно толклись и колыхались, дожидаясь своей очереди, остальные, их было много, не перечесть, целый плот, целый лес.

Лязг цепей, тупые удары комлей, всплески, всхлипы и стоны не мешали нам отдыхать и мирно беседовать — мы привыкли к соседству заводской лесотаски.

Ведь это был наш завод. Из этих бревен в конечном счете мы и сколачивали детали неизвестно для чего, для какой цели и надобности.

Но теперь появилась надежда, что эта секретная тайна чуть-чуть приоткроется, когда Игорь Пиотровский, как было меж нами условлено, в обеденный перерыв прибежит сюда, к лесотаске, со склада готовой продукции и расскажет, что он там увидел, что разузнал, непонятно только, отчего он задерживается?..

— Послушай,— продолжил мирную беседу Ленька, вылепливая из мокрого песка крепостные стены,— ты в своем Харькове на какой улице жил?

— На Черноглазовской, а потом... Тебе зачем?

— Да так. Это где же будет — Черноглазовская? Куда выходит?

— Одним концом на Пушкинскую.

— А другим?

— Другим? Вниз, к реке.

— К какой реке?

— Харьков.

— Тыфу. Это же город — Харьков!

— И река Харьков,— объяснил я терпеливо.— Тебе-то зачем? Там теперь немцы...

— Да чихать мне на них. Я просто так: для интереса, для разговора...— Ленька, торкнув ладонью, выбил брешь в крепостной стене.— А что там поблизости было?

— Все было. Технологический сад. А с другой стороны, через Сумскую, тоже сад, памятник Тарасу Шевченко...

Я вздохнул горестно, припоминая эти далекие и мирные картины. Не знаю почему, но вспоминался сейчас не поселок ХТЗ, а самое раннее, самое детское — Черноглазовская.

— Дворец пионеров. Знаешь, кого я там видел?..

Это было нелегким делом — гнуть бамбучинку. Ее, тонкую бамбуковую щепочку, нужно сначала досыра вымочить в воде, а потом приблизить к синему, почти невидимому пламени спиртовки и помалу выгибать над огнем. Замочить снова, чтобы она не обуглилась. И, главное, чтобы в конце концов бамбучинка осталась не кривобокой, а точно по чертежу — изящной скобочкой, закругленным концом крыла. Еще одна бамбучинка — киль, еще две гнутые щепочки — стабилизатор. Точно по чертежу, по схеме.

Она и называлась схематической, первая модель самолета, над которой я корпел.

Зал авиамодельного кружка во Дворце пионеров был огромен и светел — справа окна, слева окна. И по всему залу у рабочих столов, как и я, корпели ребята над своими моделями. Некоторые уже давно занимались в кружке, и у них на счету были десятки летающих созданий, таких, что диву дашься. Вон загудел бензиновый моторчик: это старшекласники мастерят дотошную копию чкаловского «АНТ-25» — точь-в-точь краснокрылая легкая птица, перемашнувшая через Северный полюс. Только, понятнo, меньше.

— Гляди-ка,— услышал я за своей спиной торжествующий голос.

Пацанок Петя, Петя Горбатенко, мой троюродный дядя. Мы с ним давно не видались, а вот здесь, в авиамодельном кружке, встретились. Он, конечно, подросток, как и я, но мы сразу узнали друг друга.

— Гляди-ка,— повторил Петя.

Он держал в руках фюзеляжный моноплан, почти готовый, оклеенный тонкой папиросной бумагой. Оставалось только приспособить моторчик. Правда, не бензиновый, а резиновый: до бензинового моторчика пацанку Пете было еще далеко, хотя он и на год раньше начал заниматься в кружке.

Но для меня и это было пока недостижимой мечтой — вот такой фюзеляжный моноплан, всеми своими статями похожий на взаправдашний самолет. Не то что моя схематическая модель, больше походившая на утку с вытянутой шеей. Оставалось утешаться тем, что все начинали со схематической модели. А уж потом...

— Запусти?— спросил пацанок Петя.

— Как же без моторчика?

— Ничего, спланирует.

— А вдруг бумага порвется?

— Переклею.

Ему не терпелось, конечно, увидеть свой моноплан на лету, в воздухе, хотя бы здесь, в зале.

Он шагнул к проходу между рабочими столами, приподнял модель.

Но в этот самый момент открылась дверь, вошли люди. И как только они вошли, в зале раздались оглушительные аплодисменты. Побросав свои хитроумные модели, все — и старшекласники и младшая ребятня — дружно отбивали ладони, увидев, кто идет впереди.

Впереди шла Полина Осипенко. Волосы ее были острижены коротко, по-мужски. Гимнастерка с двумя шпалами в голубых петлицах. На этой гимнастерке сияла золотая звездочка. Герой Советского Союза Полина Осипенко.

Мы ее узнали сразу — как было не узнать! В прошлом году вместе с Валентиной Гризодубовой и Мариной Расковой она совершила беспосадочный полет от Москвы до Комсомольска-на-Амуре. Без единой посадки — через всю страну. И вся страна час за часом следила за геройским рейсом самолета «Родина».

И вот она, Полина Осипенко, стоит перед нами, в нашем авиамодельном кружке, в нашем знаменитом Дворце пионеров, в нашем прекрасном городе Харькове.

Стоит и улыбается.

А мы не жалеючи отбиваем ладони.

Она пошла вдоль зала, мимо рабочих столов, поглядывая с интересом на всякие модели.

И тут случилось, наверно, самое великое событие в моей обыкновенной жизни. Верьте, не верьте. Мне и самому иногда не верится. Но случилось.

Полина Осипенко вдруг остановилась снова. Однако не возле старшекласников с их краснокрылой бензиновой моделью «АНТ-25».

Не возле пацанка Пети, моего троюродного дяди, с его фюзеляжным монопланом. Она остановилась возле меня. И взяла со стола еще не оклеенный остов моей схематической модели из гнутых бамбучинок, на которых кое-где виднелись позорные подпалыны. Взяла, посмотрела и тихо спросила:

— Первая?

— Первая...— признался я.

— Первая,— повторила задумчиво Полина Осипенко и погладила меня по голове.

И пошла дальше.

Я чуть не заплакал от счастья.

Я чуть не плакал от горя, когда спустя две недели мы с Гансом сидели дома у радиоприемника, из которого звучал надрывающий душу траурный марш. В Москве на Красной площади хоронили Героев Советского Союза Полину Осипенко и Анатолия Серова. Они разбились в испытательном полете.

Вот ударили залпы артиллерийского салюта. Это урны запрятали в ниши кремлевской стены.

— Я видел ее совсем недавно. Вот как тебя, рядом,— уж в который раз объяснял я Гансу.— Она подошла ко мне...

Оркестр заиграл «Интернационал».

— Знаешь, Санька,— сказал Ганс,— а я видел его, Анатолия Серова. Только не рядом, а в небе — я видел, как он сбил «хейнкель». Он тоже был в Испании. Он там — понимаешь, там — стал Героем Советского Союза...

— Она погибла,— закончил я свой рассказ.— А Гризодубова и Раскова воюют, летчицы!

— Во-от,— сказал Ленька Голованов, стирая песчаную крепость с лица земли.— Даже бабы воюют. А мы хуже баб — малолетки...

С откоса посыпались комья.

Мы оглянулись.

По обрыву, хватаясь за плети бурьяна, спускался Игорь.

— Ну?...— нетерпеливо и жадно накинулись мы.

Он уселся на грани сырого, отер локтем струйки пота, сбегающие к шее.

— Ящики.

— Что?.. Какие ящики?

— Вот такие.

Нащупав прутик, очертил на мокром песке прямоугольник сантиметров сорок в ширину, сантиметров тридцать в высоту.

— Все одинаковые... Здесь фанера. А вот здесь — то, что мы сколачиваем. Наверху, вроде замка.

Мы с некоторым недоумением разглядывали рисунок.

— Да, ящик,— согласился я.— А для чего?

— Для огурцов,— презрительно сплюнул Ленька Голованов.— Для помидоров. Это самое... как называется... тара.

— Ну уж,— возразил я.— А замок для чего? Где ты видел с замками?

— Чтoб не своровали,— продолжал ехидничать Ленька.— Время то военное, строгость.

Мы с ним, конечно, были разочарованы. И на лице Игоря Пиотровского читалось разочарование да еще смущение оттого, что именно ему выпало принести друзьям такие неинтересные и досадные сведения. Он отирал пот с шеи.

Но тогда почему Савелий Максимович разведал вокруг этих несчастных ящичков столько секретности, столько бдительности: «Ни отцу

ни матери, ни даже во сне...»? Неужели для того лишь, чтоб мы, глупые и доверчивые малолетки, лучше работали, шибче стучали молотками, не разбежались по домам от постылой скуки?

— Ребя...— Меня вдруг пронзила догадка. Я еще раз внимательно пригляделся к рисунку, оплывающему во влажном песке. Так и есть.— Да ведь это пулеметные ящики! Для пулеметных лент. Картину «Чапаев» помните? Петька с тачанки бьет из пулемета, а ему Анка подает — вот в точности такие. А потом сама Анка — тра-та-та-та... Ну?

— Погоди, погоди...— Игорь наклонился, снова взял прутик, освежил рисунок. Задумался.— Да, похожи. И тогда ясно, для чего замок. Вот здесь...— Лицо его прояснилось.— А там, на складе, этих ящиков — полно, тысячи! Вывозить не успевают. А если в каждом ящике... Молодец, Санька, догадался. Теперь ясно, для чего замок. Ясно для чего!

— Для огурцов,— отозвался Ленька.— Тара.— Встал, почесывая тощее брюхо, облепленное крупичами песка.— Еще разок окунись. Сейчас гудеть будет — конец перерыва.

Он разбежался по узкой кромке берега и заскакал, высоко задирая ноги, по бревнам, достиг полоски бонов и, сверкнув незагоревшей задницей, кинулся в открытую воду. Поплыл саженками.

— Летим,— сказал я Игорю.— Пора, а то гудеть будет.

Но Игорь уныло и нерешительно повел плечами.

— Нельзя мне. Врач запретил купаться — категорически. Из-за кашля.

— Вода теплая, очень теплая,— заверил я его.— Даже теплей, чем снаружи. Тут ведь холодок, а ты весь потный — скорей простудишься. А там — ну просто гор-р-рячая вода. Кипяток.

— Правда?— Игорь колебался, но уже не мог противиться соблазну, уже изнемог в этом жарком и сухом пекле.— Ну ладно, летим. Была не была... Погоди, я разденусь.

Мы побежали по вертким, зыбким, плавающим на воле бревнам, они тонули под ногами, ускользали из-под пяток (оступись — и угодишь промеж них, провалишься вглубь, а они тотчас сомкнутся над головой, и уже не найдешь отдушины, не проклюнешься, амба, поминай как звали), оседали, кренились, под ними вскипали бурунчики, но в эти мгновенья нас уже не было на них, мы были дальше, мы летели будто крылатые, будто чайки — и, долетев, сели на волну.

Хорошо.

Задыхаясь от восторга, мы шумно плескались, окатывали брызгами друг друга. Потом, немея, откидывались навзничь, ложились на воду, и уши заполняло ровное журчанье.

Мы ныряли — там, в зеленой глубине, ходили косяками солнечные зайчики — и выныривали обратно в блеклое синее небо.

Вот я вынырнул — Игорь и Леньки нету.

Я занырнул — меня нет. Вынырнул опять — один Ленька Голованов, шут с тобой. А теперь Игорь есть, Леньки нет, смыло.

Здесь, против лесозавода, речная вода покрыта мелкой щепой, истертой в пыль сосновой корой, разбухшими опилками, сюда же нагнало течением липкие крапинки ряски, и когда мы выплывали из глубин, лица наши густо облепляла вся эта невредная шелуха, мы хохотали, завидев такие поганые рожи, тыкали пальцами, отплеивались — свят, свят, пропади, нечистая сила, — и снова погружались в воду, теряя друг друга...

Я вынырнул.

Я оцепенел от ужаса.

Прямо передо мной была лесотаска.

Гремучие железные цепи ползли по всей ее длине, черные цепкие крючья непрерывно загребали перед собой, будто клешни рака, они ухватывали подвернувшийся древесный ствол, как живое тело, силой вырывали его из воды, выметывали на движущуюся ленту уже бездыханное, волокни, тащили вверх, на крутизну, одно за другим, а то и по два зараз, вся лесотаска была заполнена этими бронзоватыми неживыми телами, в лязге и скрежете она возносила их к небесам, но на верхнем краю сбрасывала, опрокидывала в тартарары, а черные крючья продолжали хищно шарить в воде и вновь и вновь — в столах, и всхлипах, и отчаянных выкриках — намертво вонзались в тела...

Я впервые увидел войну.

Вот уже целый год длилась война, а я ее только сейчас увидел своими глазами.

Я побывал под харьковскими бомбежками. Который месяц жил в Сталинграде под бомбами. Видел убитых и сам сто раз мог быть убитым — разорванным, задавленным, скошенным. Но я до сих пор не понимал и не чувствовал этого. Не испытывал никакого страха.

А сейчас меня обуял страх — зубы судорожно зацокали.

Я увидел войну, которая ежеминутно, ежесекундно — вот и в этот промелькнувший миг — без жалости, без разбора, без промедления вонзается, выхватывает, убивает, уносит в небеса, в тартарары, в никуда, насовсем.

Но это понимание длилось тоже лишь мгновенье, как и сама смерть.

Обок меня справа и слева вынырнули, отдуваясь, Игорь и Ленка. Сиплый гудок над сколоточным цехом возвестил конец перерыва. Мы погребли к берегу.

7

В углу цеха была конторка мастера. В углу конторки стоял однобокий письменный стол. На углу стола лежала разграфленная ведомость. Савелий Максимович ставил в ней галочку:

— Расписывайся.

И, поплевав на пальцы, начинал мусолить деньги — тридцатки, пятерки, рубли. Потом еще из плоской жестяной баночки, в каких до войны продавались леденцы, добирал белые и желтые монеты.

— Триста одиннадцать рублей сорок пять копеек... Да ты что не расписываешься, Рымарев? Неграмотный?

— Грамотный... — Я переминался с ноги на ногу, потирал зачесавшиеся от смущения ладони. — Савелий Максимович, разве мы из-за денег?

— Мы вовсе не из-за денег! — горячо поддержал меня стоявший сзади Игорь Пиотровский. — При чем здесь деньги?..

Ну конечно. Мы вовсе не из-за денег. Нам сказали в школе: ребята, положение на фронте осложнилось, враг наступает, сегодня все, кто способен держать оружие в руках, берут его, рабочие прямо из цехов уходят на передовую, но заводы ни в коем случае не должны останавливаться, они кузница победы, поэтому комсомол обращается к вам с просьбой... дело это вполне добровольное... если кто не может или не хочет...

Мы все захотели и смогли.

А тут вдруг на столе мастера появляется баночка из-под леденцов, куча замусоленных бумажек и ведомость: распишитесь в получении.

— Мы не из-за денег...

— Ох и беда с вами, откуда вы на мою голову?— Савелий Максимович устало покачал головой.— Я знаю, что не из-за денег, знаю. Но ведь зарплату никто не отменял, хоть и война. Деньги никто не отменял! Не было такого указа. Заработал — получай. Ну-ка сейчас же расписывайся, а то хуже будет...

Я поставил закорючку.

— И наперед скажу тебе, парень: ты рабочим рублем не брезгуй. Он, этот рубль, святой, понял?

Я отошел от стола, перебирая свои святые рубли. Рыжий рубль, на котором шахтер с отбойным молотком на плече. Зеленый трешник, где красноармеец в каске, при полной боевой выкладке. Синюю пятерку, где летчик глядит в небо, а за ним виднеется готовый к старту самолет... Такие вот деньги мне и раньше, когда еще был безработным, случалось держать в руках. Но эти громадные сизые десятки, розовые тридцатки, капустные пятидесятирублевки — одна, две, три, четыре, ого! — столь сказочного богатства я даже во сне не видал. Мне и не снились такие деньги, такие сны.

— Расписывайся, Голованов. Пятьсот двадцать шесть рублей девяносто копеек... Молодец, стахановец!

С такими деньгами не зазорно было прогуляться и по главной улице Бекетовки, возле станции, где тротуары были покрыты асфальтом, где возвышались настоящие каменные четырехэтажные дома с балконами, а в нижних этажах сверкали витрины, заклеенные крест-накрест полосками бумаги.

— Куда же их девать, деньги?— спросил Игорь, оглядываясь на эти сверкающие пустые витрины.

— Лично я матери отдам на хозяйство,— сказал Ленька.— Она определит, купит что надо... Батя всегда отдавал.

— Ку-упит...— отозвался я.— Что за деньги купишь? Теперь все по карточкам, по талонам.

— Вот по карточкам и выкупит.

За густыми тополями прогрохотал поезд. Остановился, шипя тормозами. Тотчас гугукнул паровоз: мол, поторапливайтесь, еду дальше. Это была пригородная пассажирская «пчелка», из Красноармейска.

— Ребята, а что, если...— Я оцупал туго набитый карман.— Давайте купим билеты — и в Сталинград. Походим по городу, все как следует разглядим. Фонтан с крокодилом. Пристань. Зайдем в музей, а?..

Это была прекрасная идея. Давняя моя мечта. И нет лучше способа истратить деньги, чем куда-нибудь съездить.

— Поздно уже,— сказал Ленька.— Пока доедем, музей и закроется. А вечером будут бомбить.

— Так в том-то и дело. Они будут бомбить, опять что-нибудь разбомбят, сегодня стоит, а завтра нету... Еще не поздно, в самый раз.

— Нет, поздно уже,— поддержал Игорь своего соседа и хозяина.— Мама и тетя Катя вернутся из госпиталя с дежурства, а мы где? Поднимут переполох.

Мимо тополей прогрохотала «пчелка». Вот теперь наверняка поздно. Поздно уже.

Он оставался для меня неизвестным, невидимым, таинственным, этот недостижимо близкий город Сталинград.

— Вот сюда зайдем,— сказал Игорь Пиотровский.— Здесь без карточек.

Я посмотрел на вывеску магазина: «Книги».

Разве что книги.

В магазине было прохладно, пустынно. Скучная тетя за прилавком кидала костяшки на счетах.

— «Три мушкетера» есть? — спросил я.

— Нет.

— «Остров сокровищ» есть?

— Нет.

— «Гиперболоид инженера Гарина» есть?

— Нет.

Ничего тут не было.

— А учебники для седьмого класса есть? — спросил вдруг Игорь.

— Есть, — ответила тетя. — Подержанные.

— Покажите, пожалуйста.

Тетя неохотно встала, побрела вдоль полок.

— Зачем тебе? — удивился Ленька.

— Как это зачем? — в свою очередь удивился Игорь Пиотровский. — Зачем вообще учебники? Чтоб учиться.

— Рано еще.

— Ничуть не рано.

Тетя выложила на прилавок подержанные, а верней сказать — потрепанные, излохмаченные, заляпанные чужими кляксами учебники. «Геометрия», «Химия», «Астрономия»... Тоже довоенного выпуска. Где-то теперь их первые хозяева, наставившие клякс?

— Надо купить, — сказал Игорь. — Потом будет трудней достать, перед самой учебой.

— Рано еще...

Он был сегодня какой-то очень рассудительный и мудрый, Ленька Голованов: «Поздно уже... Рано еще...» На себя не похож.

— Да как же рано? — возразил ему Игорь. — Всего полтора месяца осталось до школы... Седьмой класс.

Я подсчитал в уме и ужаснулся. Он был прав. Середина июля. До школы оставалось полтора месяца. За этой горячечной работой в сколотке, за этими плашками, чурочками, гвоздями, от которых мельтешило в глазах, за этими тревожными ночными недосышами мы и не заметили, как промелькнуло время, как пробежала половина летних каникул.

— Рано еще, — упрямо бубнил Ленька Голованов. — А в какую школу? Нашу, где мы учились, теперь тоже заняли под госпиталь.

— Ну и что? Значит, придется в другую ходить, еще дальше... — Игорь улыбнулся снисходительно. — Поймите одно: что бы ни случилось, а первого сентября обязательно в школу. Иначе не бывает.

Опять он был прав: что там ни случись — хоть война, хоть потоп, хоть светопреставление, — а 1 сентября нас непременно как миденьких усадят за парты, никуда не денешься. И половина каникул уже миновала.

— Я куплю, — сказал Игорь Пиотровский, оглаживая лохматые страницы этих учебников. — А ты, Санька?

Я замаялся. Ведь рано еще, куда спешить.

И мне было просто жалко платить свои святые рубли за чужие кляксы.

— Несчастье с вами будет в эту ночь!..

Лицо его было закрыто черной маской с узкими каверзными щелками. Произнеся зловещие эти слова, Неизвестный взмахнул подолом черного плаща, будто вороньим крылом, и скрылся в толпе.

Камнем бы ему вдогонку.

Но Арбенин (тот самый артист, что перед войной играл Богдана Хмельницкого) лишь презрительно расхохотался вслед:

— Ха, ха, ха, ха! прощай, приятель, добрый путь...

А между тем чело его заметно омрачилось от этого скверного прощания. Настроение у него сразу испортилось.

И у меня тоже. Я тоже почувал неладное.

После книжного магазина мы решили пойти в кино, надо было все-таки отметить первую получку. В бекетовском Дворце культуры шел «Маскарад», новая картина из старинной жизни.

Кассирша заспорила, что сеанс, мол, вечерний, дети до шестнадцати лет не допускаются. Пришлось показать ей наши заводские пропуска — разве мы дети? мы не дети, мы рабочие, — и она, вздохнув, продала нам билеты, входные, самые дешевые, без мест.

А к чему нам места?

С давних пор мы привыкли на вечерних сеансах, когда зал битком набит взрослыми, смотреть кинофильмы с другой стороны — с обратной стороны экрана. Мы взбирались на сцену, протискивались за белое полотнище и там, позади, удобно рассаживались на полу. Никто из взрослых, наверное, и понятия не имел, не догадывался, что кино можно смотреть и с другой стороны, что свет из кинобудки пробивает насквозь это белое полотнище, — то же самое, только с другой стороны. То же самое: скачут всадники на взмыленных конях, размахивая саблями, — но хотя они и скачут с другой стороны, все равно ясно, где белые, а где красные и кто победит; мчится паровоз, расстилая за трубой полосу дыма, — но ведь вовсе нетрудно вообразить, куда и зачем он мчится; и если даже в угоду взрослым, к досаде нашей, на экране начинают целоваться, то целуются другим боком — а мы все равно пронзительно свистим из-за экрана.

Правда, когда фильм немой, с надписями, тут нужна особая сноровка: нужно наловчиться бегло прочитывать надписи с другого конца, наоборот, китайская грамота. Но этот фильм был звуковой.

Гремела музыка, пышноусые гусары отплясывали меж мраморных колонн и припадали на одно колено перед своими дамами, разодетыми во что попало — феи, турчанки, русалки, жрицы, все в хитрых масках...

По натертому до блеска паркету покатился оброненный золотой браслет.

Не к добру, понял я. У Лермонтова добром не кончается. Мы проходили Лермонтова.

За экраном, когда мы туда проникли, было полно бекетовской шпаны вроде нас (и как это пускают всяких-разных на вечерние сеансы?), яблоку негде упасть, не то чтобы сесть повольготней. Но в дальнем углу мы увидели Таньку Якимову, она махала нам рукой, звала к себе. Потеснились, мы сели на пол рядом с нею уже в темноте — началось.

— А Игорь где? — спросила она.

— Сейчас придет, — утешил я. — Он домой побежал отнести книги.

— Мамке сказать, — проворчал Ленька.

— Валентине Николаевне?.. — почему-то насторожилась Татьяна. Она ведь теперь, Танька Якимова, работала в госпитале санитаркой вместе с мамой Игоря, вместе с Ленькиной матерью.

— Ну да. Не мешай.

— Возьмите ваш браслет, он больше мне не нужен..

Князь Звездич, наголоватый малый в эполетах, отдавал эту цацку Нине Арбениной, даже не замечая, что муж следит за ними издали. Все перепуталось из-за этого злополучного браслета. Князь вообразил бог весть что. Арбенин пришел в ярость и картами отхлестал его по щекам. Одна лишь Нина, бедняжка, не понимала: что вокруг нее

происходит из-за такого ничтожного пустяка, из-за браслета в двадцать пять рублей ценою?

Я ощупал свой туго набитый карман: после покупки билета в нем оставалось триста десять.

— Прощайте навсегда — прощу в последний раз...

— Куда ж вы едете, далеко очень, видно? — улыбнулась Нина. — Конечно, не в луну?

— Нет, ближе: на Кавказ.

Звездич поклонился и ушел.

Мне вдруг стало жалко его, этого непутевого князя. Набедокурил — сам виноват. Но ведь он уезжал не куда-нибудь, а на Кавказ, на войну.

И Лермонтов воевал на Кавказе.

Немцы наступают на Кавказ. Они приближаются к Волге, к Сталинграду и одновременно рвутся на Кавказ — там нефть. И теперь лишь бесноватому фюреру невдомек то, что ясно любому ребенку: капут им, фашистам, гроб, крышка, они расшибутся о Сталинград и увязнут на Кавказе, ног не унести им, не сносить им головы, конец им... В этом все были уверены.

Отсюда, из глухого уголка за сценой, был виден не только киноэкран, свет и тени, движущиеся на нем, но и зал был виден отсюда, полный зрителей, сочувственно следящих за тем, как развиваются события.

Я обратил внимание на то, что в этом зале — а я бывал здесь часто — в последние недели заметно прибыло военных. Появились щеголеватые летчики в кожаных куртках, исполосованных «молниями», нескладные и застенчивые юноши с тонкими шеями, торчащими из воротников с одинокими кубарями, даже моряки с лесенкой шевронов на рукавах, хотя море далеко от степных наших мест, а вот сидит осанистый майор, боевые звезды над карманом гимнастерки, брови у него кустятся книзу челочками...

Да ведь это Константин Иванович Чупрун, мой хороший знакомый, новый постоялец в доме Головановых. А рядом с ним сидит Валентина Николаевна Пиотровская, Игорева мама, Валечка, как ласково зовет ее тетя Катя. В третьем ряду, совсем близко от нас. Я еще раз убедился, что она очень красивая, как Нина Арбенина, — те же легкие льняные волосы, те же добрые и доверчивые глаза — а Игорь просто похож на нее.

Где же он? Побежал домой отнести купленные учебники, заодно отпроситься у мамы в кино, а мамы дома не оказалось — она ведь здесь, — он наверняка встревожился, кинулся искать, вот чудак, а ему бы скорей возвращаться сюда, во Дворец культуры, тут бы он ее и нашел, и увидел, и успокоился, и сидел бы смиренхонько подле нас, своих закадычных друзей.

Ага, вот и он...

В глубине зала, у самого входа, появился Игорь — я сразу опознал его острые худые плечи, очерченные светом проектора, его вздернутый подбородок, взметнувшийся от бега вихор. Он остановился, высматривая ряд за рядом, место за местом. Какое место? Ведь у него тоже входной билет без места, как и у нас. Да и нету в зале свободных мест, битком. Ему сюда надо, за сцену, за экран, вот же чудак.

Я привстал на корточки, чтобы помахать ему издали рукой: сюда, мол.

Но Танька сердито осадил меня обратно на пол.

А что такое?

Игорь Пиотровский стоял и зорко высматривал место за местом, ряд за рядом, от стены к стене, все ближе и ближе к экрану.

Вот подбородок его замер, а плечи еще больше заострились. Он резко повернулся и опрометью выбежал из зала.

— Мой ангел, принеси мороженого мне,— устало обмахиваясь веером, попросила Нина своего мужа.

Арбенин взял блюдечко с мороженым и, приоткрыв украдкой крышку перстня, насыпал яду.

— Смерть, помоги! — шепнул.

Она неторопливо поднесла к губам ложечку, попробовала:

— Да, это прохладит...

— О, как не прохладить! — отвел блуждающий взгляд Арбенин.

— Так ей и надо,— сказал Ленька Голованов.

— Дурак! — Татьяна стукнула его кулаком по макушке и заплакала.

Я же подумал, что все происходящее не моего ума дело. Ведь тут не разберешься, кто прав, кто виноват. Но если так уж обязательно и непременно любви сопутствуют все эти роковые страсти — взять хотя бы ревность, все эти ненужные и напрасные терзания, — то лучше бы и совсем обойтись без любви.

И еще я подумал, что будь у меня такие шальные деньги, как сейчас, до войны, в Харькове, то я бы, несмотря ни на что, презрев обиды, повез бы Татьяну на трамвае в самый центр города, в зоопарк, — там у входа продавалось самое вкусное в мире мороженое. Улыбчивая мороженщица брала жестяную формушку, похожую на ручную гранату, укладывала на донце круглую вафлю, густо и щедро столовой ложкой набивала внутрь свежее и пахучее мороженое, сверху еще одна вафля — щелк, готово, милости просим, кушайте на здоровье...

Нина умерла, а ее муж сошел с ума.

8

— Мины.

— Какие... мины?

— Не знаю. Но я сам слышал, своими ушами, вот то, что мы делаем, — мины.

Игорь Пиотровский догнал нас уже близ рынка, в поселке, когда мы возвращались домой, отколотив смену. Был он взволнованный, запыхавшийся, но еще и смущенный, подавленный чем-то — все сразу.

— Давай по порядку,— сказал Ленька Голованов,— что почем?

— Мы делаем мины.— Игорь оглянулся, нет ли кого позади, поблизости, но никого не было, рынок уже затих и вымер.— Постановление Государственного Комитета Обороны: с нашего завода — сорок тысяч штук, а мы недодаем. Военпред с директором ругался. И Савелию Максимовичу попало, хотя наш цех самый лучший...

— А ты сам слышал, своими ушами? — переспросил я.

— Конечно, при мне весь разговор. Я кожу, считаю эти ящики, а они спорят. Директор объясняет: людей нет, мальчишки сопливые — это про нас, — а военные: ничего не знаем и знать не хотим — сорок тысяч штук, постановление...

— Они тебя не заметили?

— Заметили, но... — Игорь помолчал, насутился.— Они на меня никакого внимания. Они про свое: сорок тысяч штук — и все!

Сорок тысяч? В голове моей пронеслись, закружились каруселью все те плашки и чурочки, которые я сколотил своими руками за лето, — будто рой опилок, взметенный набежавшим ветром, — сколько

же их прошло через мои руки, я не считал, мне некогда было считать, я едва поспевал колотить молотком, вгонять гвозди, и соседям моим по верстаку тоже было недосуг вести счет десяткам, сотням этих туго сколоченных плашек да чурочек... Мины?

— Погоди,— остановил я Игоря,— может быть, ты не понял, не расслышал? Какие же это мины? Ведь мины — они железные.

— И круглые,— уточнил Ленька.

— Железные и круглые. А ты нам говорил про ящики и даже сейчас сказал: хожу, мол, считаю ящики... Какие же это мины?

— Тара,— презрительно сплюнул Ленька Голованов.— Для огурцов, для помидоров. Хреновина с морковиной. Все как я предсказывал.

— Да нет же! — воскликнул Игорь Пиотровский.— Про эти самые ящики и разговор шел: мины. Что я, по-вашему, вру? Если не верите, можете сами спросить... у него...

— У кого?

Игорь еще больше насупился, на лице его вновь появилось выражение обиды и подавленности. Будто какая-то горькая обида нестерпимо давила на его душу.

— У майора Чупруна. У Константина Ивановича... Он приезжал на склад вместе с военпредом. Это для них мины, для саперов.

Вот так новость.

— А он узнал тебя?

— Узнал. Все подмигивал. С директором ругается, а мне подмигивает...

— Значит, расскажет,— обрадовался я.— А то надоело голову ломать: что да что?... Ты его сегодня же и расспроси, только поподробней, ладно?

— Я? — Щеки Игоря полыхнули недобрим румянцем.— Я с ним не разговариваю, не здороваюсь даже. Пусть сколько угодно подмигивает... Отец там, в море, а он к матери ластится, в кино водит. Не прощу! И ей тоже не прощу — раскисла в кисель.— Он повернулся к Леньке Голованову, ухватился за его пуговицу как за спасательный круг: — Послушай, ведь в доме ты хозяин?

Ленька подумал, солидно кашлянул в кулак:

— Пожалуй что и я.

— Ну вот. Скажи ему, этому Константину Ивановичу, чтоб он от вас уехал, тесно очень. Скажи, будь другом!

— Теперь у всех тесно,— нахмурился Ленька.— И как же я могу сказать, если у него ордер — к нам ордер? И это, знаешь ли, не причина: в кино сходить... И вообще, надоело мне все хуже горькой редьки. Все эти ваши ящики-чемоданы, глупости ваши,— с внезапным ожесточением заключил он.

Игорь отпустил его пуговицу.

— Так кто же спросит... насчет мин? — Меня тоже не интересовали посторонние глупости. Меня интересовало главное.

Игорь молчал потерянно и безысходно. Было ясно — он не станет спрашивать. И Ленька помалкивал. Не станет.

— Черт с вами,— рассердился я.— Сам спрошу, сам скажу.

Я ждал его на улице Шекспира, у водоразборной колонки.

Уже смеркалось — дни пошли на убыль. Как пошли на убыль, выдав предельно долгий свет, год назад, когда началась война.

В темнеющем небе медленно восходили азростаты воздушного заграждения. Небо над городом было по-прежнему чистым — ни пасмури, ни дождинки, ни дальнего отблеска молнии, — и эти азростаты казались первыми тучками надвигающейся грозы, они кучнели, ле-

пились друг к дружке, вдруг, колыхнувшись, бросали серый высверк и вновь наливались плотным свинцом.

В глубине улицы послышался рокот автомобильного мотора, подывающий, срывающийся на ухабах и выбоинах. Две щелки цедили синий свет из покрашенных фар, они тряслись и металась по сторонам.

Осыпанный пылью грузовой «зисок» притормозил как раз у колонки, отворилась дверь кабины, из нее выпрыгнул майор Чупрун — я сразу узнал его по росту и осанке. «Зисок» свернул в переулок, затрясся обратно к шоссе.

— Добрый вечер,— сказал я.

Он присмотрелся.

— А, это ты? Здравствуй... Вот позабыл, как тебя зовут-величают.

— Саня.

— Верно. А что ты здесь бродишь в одиночестве? Где твои приятели, Игорь где?

Я собрался с духом:

— Константин Иванович, мне нужно с вами поговорить. Очень важное дело.

— Ого... Значит, парламентар? Парламентар — ответственная должность. Погоди-ка, Александр.

Он нажал рычаг колонки и, когда из крана с хрюканьем вырвалась вода, зачерпнул пригоршню, глотнул, подхватил еще и, сдвинув пилотку на затылок, омыл лицо — даже впотьмах было видно, что оно сплошь в пыли. Еще глотнул.

— Что же нам тут беседовать, среди улицы,— не бабы у колодца. Да и устал я, брат, сильно.— Он огляделся.— Пойдем вон туда. Сядем рядком, поговорим ладком.

Мы сели на сухое комлеватое дерево у чужого забора, оно тут и было вместо скамейки.

Напротив горбатились черные крыши бекетовских окрестных улиц. Я различил среди них высокую крышу дома Якуши с узорчатый, будто корона, дымником над трубой. И крыша пониже — наша. Множество крыш, теснящихся одна к другой.

— Говори.

— Константин Иванович, вам обязательно надо жить у Головановых? Я знаю, что ордер, но... Обязательно?

Вместо ответа он полез в карманы галифе, достал оттуда измятую пачку папирос, зажигалку — винтовочную гильзу с колесиком, — чиркнул, прикурил.

— Хорошо. Я подумаю. У тебя все?

— Нет.

Меня подбодрило, что один вопрос уладился так быстро и без лишних слов. Без трудных слов, которые мой язык все равно не сумел бы выговорить.

— Константин Иванович, вот вы сапер. А кто закапывает в землю мины — саперы?

— Да.

— Ведь правда, что мины — они железные и круглые?

— Бывают железные и круглые. А бывают и не железные. И не круглые.

— А какие?

Он искоса взглянул на меня и вдруг, откинувшись к решетке забора, весело и громко рассмеялся.

— Многовато для парламентаря, брат, многовато... Смотри.

Поднял щепку с земли и быстро начертил на земле несколько прямых линий. Было уже совсем темно, и я просто угадал по движе-

ниям его руки: небольшой прямоугольный ящик, вот сейчас к его верхнему ребру он пририсует плашку и чурочку — так и есть.

— Узнал?

— Узнал... — потрясенно выдохнул я.

Майор Чупрун подошвой сапога смел рисунок.

— Значит, правда — мины?

— Ну, не мины, а корпуса. Вы делаете корпуса противотанковых мин. Еще к ним, понимаешь ли, требуется... начинка.

— А почему они деревянные?

— Потому что железную мину нетрудно обнаружить миноискателем. Про магнитные свойства слышал?

— Учили...

Я вспомнил. Вот стоит у доски, у географической карты, испещренной синими реками, рыжими взгорьями, зелеными равнинами, мой друг Игорь Пиотровский, указка в его руке легко и быстро, скользя, преодолевает расстояния. Он рассказывает о Курской магнитной аномалии, о том, как ученые нашли ее: они заметили, что стрелка компаса в этих местах отклоняется — на нее влияют скрытые массы железа. Он уверенно ведет свой рассказ, а Наталья Витальевна кивает. Мы учили, как же давно это было.

— А деревянную мину никаким миноискателем не найдешь, — продолжал объяснять мне Константин Иванович. — Только щупом. Но щупать минные поля — это, брат, занятие опасное. Нащупаешь — и поздно, и в куски, и в клочья, и даже взвзвить не успеешь... — Голос майора Чупруна стих от ярости. — Вот они и напорются, гады!

— Дядя Костя...

— погоди. Разве на заводе вам не говорили об этом — что вы делаете?

— Нет, даже спрашивать не велели. Военная тайна.

— Ну правильно: для врагов военная тайна, а для тех, кто делает... Сейчас, Александр, время такое, что лучше бы каждому знать, что он делает. Какое за ним дело.

— Дядя Костя... — Я готов был броситься ему на шею, едва сдержался. — Пожалуйста, переезжайте к нам, вон, видите, крыша — это наш дом, дедушки Санджи дом. Я с ним договорюсь, он хороший дед... Переезжайте к нам хоть сегодня!

Майор Чупрун наклонил голову, снял пилотку, хлопнул ею о колено, отряхнул пыль.

— Спасибо... Спасибо тебе, Александр. Я подумаю.

9

— Вставай, тетка, там кличут тебя, возле калитки.

Дедушка Санджи тормозил меня за плечо.

Я проморгался, откинул одеяло.

— Майор? Военный?

— Да какой там майор! — Узкие калмыцкие глаза деда хитро сощурились. — Барышня, кюкн... Говорит: очень нужно.

Очень мне это нужно — барышня, кюкн. Рань какая, солнце еще не взошло. Спать охота. Даже мама Галя и Ганс еще не проснулись, дверь плотно прикрыта. А дедушка Санджи, я знаю, ночи напролет не спит, лишь вздремнет по-стариковски, сидя, зайдет в кашле, скрипнет в сенях половицей и отправится бродить круг забора, подле калитки, а у калитки вдруг откуда ни возьмись — барышня, кюкн, вот и развлечение.

Что за кюкн?

На улице стыл плотный туман.

Я разглядел в этом сыром и промозглом тумане сжавшуюся от озноба фигурку Татьяны Якимовой.

— Здравствуй. Чего тебе?

— Здравствуй... Идем быстрее, Пиотровские уезжают. Игорь послал, чтобы попрощаться.

— Куда уезжают?

— Госпиталь эвакуируют. А куда — неизвестно. На пароходе.

— Ты тоже?

— Нет, я остаюсь — куда же я без мамы? И тетя Катя остается. Эвакуируют не всех. Тяжелораненых, которым двигаться нельзя, оставляют. И тех, которым на выписку. А остальных эвакуируют, срочно. Ты не знаешь почему?..

Мы почти бежали по росной траве обочины, башмаки мои враз отсырели.

— Послушай, Санька...— Татьяна с трудом переводила дыхание.— А куда Ленька подевался? Дома его нет, не ночевал. Тетя Катя беспокоится...

Вот новости. Слишком много внезапных новостей, да еще спронеся.

— Не знаю, понятия не имею... Вчера вечером видел.

— Может быть, он на заводе? На дежурстве?

Я прикинул в уме: на дежурстве? Нас оставляли дежурить целыми бригадами на тот случай, если термитками шарахнут. Но сегодня дежурила другая бригада, не наша.

— Найдется,— сказал я.— Неужели Игорь уезжает?

В просторной кухне головановского дома, где двери во все стороны и окна на веранду, стоял на полу исцарапанный чемодан, а на нем стопка заляканных учебников, бережно повитая бечевкой. Все хозяйство, весь скарб.

— Что ж, присядем перед дорогой...

Валентина Николаевна, растерянная и бледная, опустилась на чемодан. Белая полоска халата высунулась из-под пальто: прямо с работы, прямо из госпиталя — вот какой спех.

— А Константин Иванович дома? — спросила она.

— Нету его...— развела руками тетя Катя.— С ночи ушел, рюкзак прихватил с собой. Сказал: вызывают в часть. Велел кланяться... Неужели Ленька провожать увязался?

Екатерина Степановна посмотрела на меня пылливо — будто бы я знал.

Игорь тоже взглянул вопросительно: не знаю ли я?

Я знал. Я шепнул ему на ухо:

— Минь. Противотанковые. Точно.

Он улыбнулся, но улыбка его была слабой и какой-то отсутствующей — вот он еще здесь, с нами, в этом старом бекетовском доме, а вместе с тем уже отсутствует, уже далеко, неизвестно где.

— Екатерина Степановна, Танечка,— заволновалась Валентина Николаевна,— если будет письмо... Ведь мы еще не знаем адреса, куда едем. Но мы сразу сообщим, напишем. А письмо вы пока сохраните, хорошо?

— Хорошо,— отозвалась Танька.— Только вы побыстрее сообщите адрес.

— Опять новая школа, новые ребята.— Игорь улыбнулся все так же грустно и отсутствующе.— Снова привыкать...

— Привыкнешь,— сказала Татьяна.

— Когда перед дорогой садись, разговаривать нельзя — помолчать надо...— заметила Екатерина Степановна.

Мы замолкли.

Зеленый автобус с красным крестом на борту остановился у дома.

Верстак справа пустовал, слева тоже.

Я объяснил Савелию Максимовичу что и как. Госпиталь эвакуировали, Пиотровские уехали.

— Понятно. Причина уважительная. А Голованов где?

Я пожал плечами.

— Прогульщик? Это чтобы потомственный рабочий, стахановец — и прогульщик?..

Очки старого мастера сползли от возмущения на самый кончик носа.

— Нет,— сказал я.— Не может быть. Просто опоздал... Найдется.

— Опоздал? — разгневался Савелий Максимович. Но, как видно, решил приберечь свой гнев до тех пор, пока Ленька объявится.— Ну вот что, Рымарев, хочешь не хочешь, а придется тебе сегодня работать за троих, понял?

Я понял. Я хотел. Вот управлюсь ли? Сорок тысяч.

Взялся за молоток.

Ведь я и сам с нетерпением ждал Леньку. Мне не терпелось рассказать ему: да, мины. Мы делаем настоящие мины — корпуса противотанковых мин, которые начинают взрывчаткой и зарывают в землю на внешних обводах Сталинграда. Это замечательные мины. Это страшные мины. Их нельзя обнаружить миноискателем, сколько ни ищи, потому что они деревянные. Только щупом. Но щупать минные поля — опасное занятие... Понимаешь, Ленька? А ты сомневался, думал — обыкновенные ящики, тара. Нет, братец ты мой, друг сердечный, не зря мы в это жаркое лето без устали колотили молотками, приколачивали секретные чурочки к секретным плашкам, не зря.

У проходной я увидел тетю Катю.

Она стояла, прижавшись к дощатому забору, вглядываясь в каждого, кто шел со смены. Лицо ее было осунувшимся, старым — я даже поразился тому, как за один лишь день, от раннего утра до позднего вечера, может состариться женское лицо.

— Саня... — метнулась ко мне.— Ленька где? На заводе?

В глазах ее теплилась надежда.

Но не мог же я соврать.

— Нет. Не приходил.

— Господи...

Она отошла к забору, уткнулась в него лицом, спина ее мелко затряслась.

— Тетя Катя,— я осторожно тронул вздрагивающее плечо, еще не зная, чем, какими словами могу я ее утешить,— да вы не плачьте, найдется... Ну куда ему деться?

И впрямь: куда ему деться, ведь не иголка — человек.

Тетя Катя обернулась ко мне, но слезы еще текли по щекам.

— Найдется,— повторил я.— Сейчас обегаю всю Бекетовку, где-нибудь и найду.

— Лишь бы жив-здоров... — кивнула она, поверив моему утешению.— Не по нем я, Санечка, плачу. Не по нем. Горе, Санечка...

Все во мне похолодело, хотя я и не знал, о чем она. Горе, конечно. Кругом горе. Война.

— Валечка, Игорь... убитые оба.

— Нет.

— Погибли они.

— Нет.— Я отступил на шаг.— Найдутся.

— Только отчалили, а эти... сверху на самый пароход — и бомбами, бомбами... прямо по раненым, по живым... Никто не выплыл. Своими глазами видела, Санечка...

— Нет,— сказал я.

— Летим,— сказал я.

— Ну ладно, летим... Была не была.

Мы побежали по вертким, зыбким, плавающим на воле бревнам, они тонули под ногами, ускользали из-под пяток... Мы летели будто крылатые, будто чайки — и, долетев, сели на волну.

Мы ныряли — там, в зеленой глубине, ходили косяками солнечные зайчики — и выныривали обратно в блеклое синее небо.

Вот я вынырнул — Игоря и Ленки нету.

Я занырнул — меня нет.

Вынырнул опять — один Ленка Голованов, шут с тобой.

А теперь Игорь есть, Ленки нет, смыло.

Мы снова погружались в воду, теряя друг друга.

Я вынырнул.

Я сидел на крутом волжском откосе.

Плотный каспийский ветер — моряна — дул против течения реки, вздымая волны, опрокидывая их, завивая пенные гребни.

Темно-серые бронекатера, выпятив пушки, шли кильватерным строем с низовьев.

10

Еще две бомбы попали в Сталгрэс, одна разорвалась прямо в машинном зале, где турбины. Там были люди — кого убило, кого ранило. Но электростанция по-прежнему давала ток. И поэтому все заводы продолжали работать.

А наш завод эвакуируют, сказал Ганс. Надо собираться.

Эвакуируют? Вполне возможно, ответил я. Но дело в том, что эвакуируют тот завод, где вы работаете с мамой Галей. А завод, на котором я работаю — вот пропуск, — этот завод не эвакуируют, он остается.

Наверное, ваш завод труднее эвакуировать — очень много бревен, вагонов не хватит их вывезти, заметил Ганс.

Ничего подобного. Сам товарищ Сталин запретил эвакуировать сталинградские заводы. Потому что если из городов начинают эвакуировать заводы — города сдают. А Сталинград никогда не сдадут. Об этом все знают.

Я тоже знаю об этом, согласился Ганс. Но в городе остаются только те заводы, которые здесь были и прежде, до войны. А те, которые сюда эвакуировались в сорок первом, теперь эвакуируются дальше.

Вот именно, сказал я, наш лесозавод был здесь и прежде, до войны, он тут с незапамятных времен, поэтому он и останется в Бекетовке навсегда.

Санька, сказал он, прихмурясь, нашему харьковскому заводу предстоит выполнить очень важное правительственное задание, его нельзя выполнить под огнем. Это очень трудно и обидно — прерывать работу в самом разгаре, но другого выхода нет, мы закончим ее на новом месте.

Я понимаю. Но наш завод тоже выполняет важное правительственное задание, притом очень срочное — то, что мы делаем, сразу идет на фронт, на передовую. А у нас в цехе почти никого не оста-

лось. Я не имею права покидать свое рабочее место. Никуда я не поеду. Вот.

Хорошо, сказал он. В таком случае пусть с тобой разговаривает мать.

Был разговор.

Пока ты обязан меня слушаться, твердо заявила она. Во всем.

Ну что ж, я никогда не считал зазорным слушаться матери — и она не могла обижаться, будто я вырос эдаким неслухом, с пеленок отбился от рук. Но меня разозлили слова: «Пока ты обязан...» Надё же, чтобы это «пока» пришлось на сорок второй год в Сталинграде. Когда мне уже доставало возраста, чтобы работать на заводе наравне со взрослыми, но еще недоставало возраста, чтобы им, взрослым, перечить, тем более матери.

И ведь не хватало всего лишь нескольких месяцев, как до вступления в комсомол.

Нет, не поеду.

Ты надрываешь мне сердце, сказала она. А я и так еле держусь...

Я видел, как хватается за сердце тетя Катя, Екатерина Степановна, — Ленька до сих пор не появился, не объявился. Ни среди живых, ни среди мертвых, а их, мертвых, в эти дни не поспевали считать.

Хватит, вскричала мама Галя. Некогда разговаривать. Беги к Якимовым, помоги им собраться — женщины. Эшелон ждет в Сарепте, мы уезжаем сегодня.

Значит, уезжаете, сказал дедушка Санджи, ох-ох, беда... Ну, хорошей вам дороги — чтоб доехали и чтобы там хорошо, куда едете. А мы здесь останемся, здесь повоюем. Нам отсюда деваться некуда... Ты чего приуныл, тезка? Не унывай. И, главное, помни: долбить и долбить. Сейчас вот самая долбежка начинается...

Ольховые купы, подпираемые стрелами молодых ясеней, кренились к обрыву. Листья их уже проредились осенней желтизной, иссохли на жаре. Внизу колыхалась волжская вода. А на том берегу опять высилась стена деревьев — близко, рукой подать, — но то был не левый берег Волги, а Сарпинский остров, разделивший ее на рукава.

Эшелон загнали сюда, в густолесье, на запасной путь. Тут и ладили все сразу деловито и споро. Грузили на платформы тяжелые, смазанные тавотом станки, подсобляя скрипучими слегами, — стоп, крепи на растяжки. Затаскивали в вагоны доски и там, орудуя топорами, сооружали трехъярусные нары — привычная работа. Вдоль колеи громоздились ящики, узлы, чемоданы.

Нам с Татьяной дела не нашлось, мы отбыли в тенечек, сели на краю песчаного овражка, всполошив муравьев.

Она опять растегнула свою красную сумочку, которую я видел еще в Харькове, достала оттуда письмо, развернула, стала перечитывать.

Сперва мы даже не хотели брать его у почтальонши, когда она утром принесла: вот Пиотровским письмо, наконец-то, а сколько ждали, бедные. Мы испугались и не хотели брать. Но почтальонша, сразу поняв, сказала: берите, берите, это ж и в о е письмо, мне ли не знать какое... а они, бедные, не дождались.

Таня молча перечитывала строки.

Я уже помнил их.

«Валюша моя родная, Игорек! Представляю себе, как вы волновались все это время. Но я не мог вам написать. Почти два месяца были в (далее зачеркнуто жирной тушью, военная цензура, нельзя). Зато мы крепко вломили немцам, отправили кормить рыбу (снова

зачеркнуто, нельзя). Даже выразить трудно, как соскучился, как мечтаю о встрече, как я люблю вас. Тревожит здоровье Игоря, да ведь и ты, моя светлая...»

Татьяна опустила письмо на колени.

— Санька...

Не надо. Не надо плакать, ведь и так уже слез не осталось — ни у кого тут не осталось слез.

— Санька, знаешь...

Не надо. Я знаю. Я давно уже догадывался и знал, но не надо мне об этом рассказывать. Тем более что теперь ничем не поможешь, ничего не вернешь.

— Санька... Я боюсь.

Колени ее мелко дрожали.

— Ну чего ты боишься?

— Переправы.

Зачем же бояться? Ничего страшного. Вчера ночью два эшелона с нашего завода переправились. Все в порядке, целые, не задело даже. Они уже далеко за Волгой. Ничего страшного.

С севера за десятки километров и сейчас доносился тяжелый непрерывный гул, будто там клокочет, извергаясь, огромный вулкан. Снова бомбят.

Сколько времени? Часов шесть, едва за вечерело. Что-то рано они начали бомбить сегодня. Но к ночи выдохнутся. К ночи стихнет. И ночью нас переправят.

Я уже знал, что эшелоны через Волгу переправляют на паромах. Подведут эшелон к причалу, перекачат несколько вагонов на паром — с рельсов на рельсы, на этих плавучих посудинах были рельсы — перевезут к другому берегу, а там, на другом берегу, тоже рельсы. Возвратятся, возьмут еще несколько вагонов — и опять.

В Сталинграде не было моста через Волгу. На всем бесконечном протяжении города не было ни одного моста. Я слышал, правда, что там, на севере, у тракторного завода, саперы наводят мост — понтонный, наплавной, — но по такому мосту поезда не ходят.

— Ты не бойся, — сказал я Татьяне. — Ничего страшного.

— Эй, малый!..

С крыши вагона меня окликал какой-то человек в заводской робе. Он хлопотал на крыше, укрывал ее зелеными ветками, прикручивал их проволокой для маскировки.

— Чего расселся? — закричал он на меня несердито. — Беги на лодку, да побольше, кончаются у нас...

— Бегу...

А бежать было недалеко. У самого пути густо разрослась всякая зелень: пахучие, чуть пожелтевшие купы ольхи, ясеня, орешника в гроздьях пыльных орехов. Я начал ломать хрусткие разлапистые ветки, выкручивать их, если не поддавались, повисал, тянул на себя, отдирали, собирал в охапку, эту на эту и еще вот эту зацеплю...

Я замер.

Тотчас за полосой кустарника открылась другая насыпь, ржавые рельсы на ней, а на рельсах — одинокая платформа, буфера туда-сюда, тоже вся разукрашенная для маскировки зелеными ветками и ячеистыми сетями. Из сетей торчали, уставясь в небо, четыре вороненых ствола зенитной установки, воронки на концах стволов.

У насыпи, рядом с платформой, расположился боевой расчет. Сидит боевой расчет и ест из котелков пшеничную кашу. Стальные каски лежат на траве. Все снимали каски, только один, который ко мне спиной, каску не снял, прямо так и лопает, не снимая каску,

хотя эта стальная каска и мешает ему и явно великовата,— он спиной ко мне.

А лицом ко мне пожилой старшина, пшеничные усы в пшенной каше. Он как раз подносил ложку к усам, глаза поднял и увидел меня. Увидел, воззрился строго.

Я отступил под этим строгим взглядом, под ногой моей оглушительно треснула ветка.

Весь расчет обернулся на этот треск, и тот, который сидел спиной ко мне, в каске, закрывающей пол-лица, обернулся тоже.

Но и половины этого лица было вполне достаточно, чтоб узнать.

— Ленька!..— заорал я в восторге.

Мой восторженный крик произвел на всех сидящих очень странное впечатление: они недоуменно посмотрели друг на друга — посмотрели, пожали плечами, опять посмотрели на меня.

Из-под каски зыркнули на меня устрашающим взглядом Ленькины глаза. Они были как два из четырех вороненых стволов, глядящих с платформы в пустое небо.

— А ну иди сюда, хлопчик!..— Усатый старшина подозвал меня ложкой.

Я покорно шагнул вперед.

— Ты что тут делаешь?

— Ничего... вот,— показал я охапку зеленых веток.

— А зачем тебе это?

— Козе, наверно,— объяснил Ленька Голованов.

Вороненые стволы — два из четырех — целились мне прямо в грудь.

— Козе? — переспросил старшина.

— Козе,— подтвердил я.— Машке.

— А-а...

Я попятился в глубь чащобы.

— Погоды! — Старшина греб ложкой к себе. Он строго воззрился теперь на Леньку.— Это что, знакомый тебе хлопчик?

— Первый раз в жизни,— сказал Ленька.— Сроду не видал.

— А чего ж он тебя на Леньку звал?

— Обознался. Или того...

Ленька сдвинул каску набок и покрутил пальцем у виска.

Я попятился вглубь.

— Нет, погоды! — Старшина просигналил ложкой. Но обратился не ко мне, а опять к Леньке: — Тебя-то как звать?

— Санька. Александр Александрович,— ответил Ленька.

— Ну так, значит, Сашко... А фамилия?

— Рымарев.

Я ущипнул себя вольной рукой пониже спины. Может быть, я сплю и мне снится во сне. Или мне все это кажется. Или я на самом деле того.

— А откудава ты? — продолжал допрашивать Леньку старшина.

— Из Харькова. На Черноглазовской улице жил, одним концом на Пушкинскую, другим...

— А папка-мамка где?

— Никого нету, сирота. Ведь я вам рассказывал, товарищ старшина! — взмолился Ленька.

— Знаю, Сашко, знаю...— Усатый старшина задумался.— Так чего ж он тебя на Леньку звал?

— Да обознался. Или того...

Ленька сдвинул каску на другой бок, покрутил пальцем у виска.

— А-а... Ну конечно — долго ли тут. Тут и взрослому недолго. а

уж дитю...— Старшина посмотрел на меня жалостно.— Ну иди-иди, хлопчик. Неси своей козе... От бедолага!

Ольховые ветки, зашелестев, сомкнулись передо мной.

Было совсем тихо. Только лязгали на стыках колеса.

Было совсем темно. Лишь временами в оконцах под самой крышей вагона и в щелястых стенах теплушки появлялся багровый свет дотлевающих пожаров. И тогда в оконца и щели проникал удушливый, выедающий ноздри чад.

Поезд шел медленно, осторожно, будто на ощупь, и можно было разве что угадывать, где мы едем: Бекетовка, Купоросная балка, Ельшанка...

— Мы будем проезжать через Сталинград?— шепотом спросил я Ганса.

Шепотом спросил потому, что все в вагоне переговаривались тоже шепотом или вполголоса, сберегая тишину, сберегая тайну, чтобы никто не мог услышать, как мы движемся к переправе.

— Наверное,— так же тихо ответил Ганс.— Я не знаю, где нас будут переправлять. Нам не сказали.

Он лежал со мной рядом на нарах, с другой стороны мама Галя, а там Софья Никитична с Татьяной, еще кто-то. Нам достался второй этаж, под нами, на нижнем ярусе, попискивали груднята, а наверху расположились те, у кого не было детей. Так распорядился начальник эшелона.

Пламя в оконцах сделалось ярче, языкастей, злее— даже лица осветились в темноте,— треск и гул теперь перекрывал стук колес, дым врвался в теплушку змеистыми космами, и вместе с дымом залетали какие-то хлопья, похожие на летучих мышей, они метались в воздухе, кружились, налипали на лоб, садились на щеку, смахнешь с омерзением— и размажешь, и почувствуешь запах сажи.

Мы проезжали Сталинград. Мы проезжали его насквозь, и опять я его не увидел: только огонь, бушующий вблизи, только дым и треск.

Но ровный перестук колес пробился, возник опять, отсчитывая секунды, отсчитывая стыки рельсов. Пламя сникло, поблекло, рассеялось в темноте. И дым понемногу рассеивался— стало легче дышать, резь в глазах унялась. Потянуло свежестью, прохладой.

Поезд ощутимо сбавлял свой небыстрый ход. Скрежетнули тормоза, эшелон остановился. Было слышно, как впереди отдувается пытит паровоз, успокаиваясь помалу.

На верхнем ярусе кто-то выглянул в оконце, сказал:

— Волга.

— Тихо пока... Авось проскочим.

— Танечка как?— спросила мама Галя.

— Заснула,— ответила Софья Никитична.

Они зашептались меж собой, хотя сейчас уже можно было говорить и погромче. Ведь мы проехали самое опасное.

— Саня, где ты там?

Софья Никитична протягивала мне кружку с водой и белую бумажку, сложенную совком.

— Зачем?— спросил я.— Не надо. Я не хочу пить.

— Прими вот это. Проглоти и запей.

— Я не хочу, зачем?

— Это от простуды порошок. Ночью на реке очень холодно,— объяснила Софья Никитична.

— Не хочу...

Мама Галя взяла из ее рук бумажку, приказала:

— Открой рот.

Жуть какая дрянь. Хуже касторки. Вот так же в детстве она насильно поила меня касторкой. И еще чем-то от глистов. Но это было еще хуже.

Я поспешно отхлебнул воды из кружки.

Ганс молчал, отвернувшись. Он-то, наверное, понимал, что детей нельзя мучить.

— Авось проскочим...— повторили наверху.

Близ вагона раздалися шаги, лязгнул металл. То ли нас отцепляли, то ли, наоборот, прицепляли.

Хорошо бы выскочить из вагона хотя бы на пару минут. Да кто позволит, кто выпустит?

И какая-то гнетущая тяжесть вдавливала меня в жесткие доски нар. Спать охота. Вон Танька уже спит. Я зевнул, прикрыл глаза.

Ду-у... ду-у... ду-у— надвинулся тягучий и надрывный гул, заполняющая уши. Это сон заполнял мои уши, как заполняет их вода, когда глубоко нырнешь.

Совсем рядом— за стенкой вагона, над крышей вагона, совсем рядом— застукотели в четыре ствола пулеметные очереди. Что это?.. Я шевельнулся, пытаюсь приподняться, пытаюсь одолеть сон, вынырнуть из этого глубокого сна.

Рвануло вблизи, сотрясло вагон.

Меня не стало.

«Летим!»— сказал он.

«Нет, мне нельзя. Ночью очень холодно на реке. Мне даже лекарство дали от простуды».

«Ночью?— удивился Игорь.— Но ведь сейчас день, жара. А вода теплая, очень теплая. Даже теплей, чем снаружи. Ну просто горячая вода! Летим...»

Я посмотрел на эту горячую воду, на эту горящую воду— языки пламени пробегали по ней, космы дыма стелились над ней, и черные хлопья, похожие на летучих мышей, взлетали над этой водой, носились смятенно в воздухе, налипали на лоб, касались крылами щеки...

«Нет,— сказал я.— Мне страшно. Я боюсь».

«Да чего ты боишься?»

«Вот этого. Ее...»

Я показал.

На нас медленно надвигалась, грохоча— о, как она нестерпимо грохочет!— лесотаска. Гремучие железные цепи ползли по всей ее длине, черные цепкие крючья загребали перед собой, будто клешни рака. Они ухватывали подвернувшееся живое тело, силой вырывали его из воды, выметывали на движущуюся ленту уже бездыханное, волокни, таскали вверх, на крутизну, одно за другим, а то и по два зараз, вся лесотаска была заполнена этими неживыми телами, в лязге и скрежете она возносила их к небесам, но на верхнем краю сбрасывала, опрокидывала в тартарары, а черные крючья продолжали хищно шарить в воде и вновь и вновь— в столах, и всхлипах, и отчаянных выкриках— намертво вонзались в тела...

Я закричал.

«Не кричи,— попросил меня тихо Игорь.— Лучше давай полетим!»

«Куда?»

«Вон туда, за Волгу. На левый берег— видишь, какой там гладкий песок...»

«Мне нельзя на левый берег. Я должен остаться здесь, на правом... Погоди, а где моя каска? Где мой пулемет?»

«Да вот же он, слышишь, как громко колотит — из всех четырех стволов. Слышишь, Санька?»

«Я не Саңка. Я просто отзываюсь на Саньку, а на самом деле я Ленька... Я другой Санька».

«Другой? А где тот?»

«Тот... Того уже нету. Теперь я — Санька. А ты... ты кто?»

Он не ответил мне, отвернулся.

«Да не плачь,— сказал я.— Почему у тебя слезы? Откуда? Их же ни у кого не осталось... О, гляди!»

Речная вода вскипела, разверзлась. Из нее проворно и скользко выпрыгнул на бревна крокодил — улегся поперек колышущихся бревен, замер, подобрав хвост в колючих бугорках. Выпученные глаза его закатились. Ощерилась зубастая пасть. Странное дело — разве в Волге бывают крокодилы? Как он сюда попал? И если б он был добрым, хорошим крокодилом, другом детей, а то сразу видно каков...

С откоса посыпались комья глины. Какие-то мальчишки и девочки, хватаясь за плети бурьяна, спускались с обрыва. Загорелые, босые. Они зашлепали по воде, заскакали по бревнам, плавающим на воле, — с бревна на бревно — добрались до крокодила, взяли за руки, закружили разудалый хоровод вокруг него — ну и чумовые ребята!.. Осторожней, слышите? Вот сейчас он, крокодил, вмиг развернется, щелкнет хвостом, ухватит клыкастой пастью, вопьется зубами, клацнет, хрястнет, потянет, заглотает...

«Бежим! — сказал я, вскакивая.— Бежим туда, Игорь...»

Но Игоря почему-то уже не было рядом со мной.

Я разогнался и побежал по бревнам. Они тонули под ногами, ускользали из-под пяток. Они оседали, кренились, под ними вскипали бурунчики... Уже близко, вот еще несколько шагов... ах...

Скользкое бревно вертанулось под моей ногой, я оступись, провалился в воду — как же ночью холодна эта волжская вода, — я угодил промеж бревен, потянулся, вцепился в ближнее, зацарапал ногтями по мокрой коре, но оно тоже начало тонуть, задирая комель, а сзади на меня напирала другая, я попытался крикнуть тем ребятам: «Ребята!» — но рот мой был уже полон воды, вода журчала в ушах, тело набухло водой. Я еще раз рванулся вверх, но только ударился головой о бревно (ослепила глаза от удара), и последнее, что я увидел, перед тем как не стало меня, — бревна, не оставая отдушину, плотно сомкнулись над моей головой, уже не проклюнешься, амба.

11

Но я еще раз — на всякий случай, в зряшной надежде — открыл глаза.

Над моей головой были плотно сомкнутые доски верхнего этажа нар.

Я услышал у плеча стесненное дыхание мамы Гали, она спала ничком, уткнувшись лицом в мятый узел. А по другую сторону от меня навзничь лежал Ганс, рот его был неподвижно раскрыт, но грудь вздымалась, опадала.

Спали Софья Никитична, Таня. Наверху раздавался покойный храп. Исподнизу, где были копошливые груднята, тоже не доносилось ни звука. Спали все. Как убитые.

Было тихо. Так тихо, что я услышал: скачут по крыше вагона, по зеленым ветвям маскировки, чирикают беззаботно воробьи.

В оконце теплушки сочился слабый свет раннего утра.

Голова моя гудела и была тяжела, будто налита чугуном — не

поднять — от того ли лекарства, которое мне скормили, от того ли страшного сна.

Но я поднял эту тяжелую, гудящую голову, сел, еще раз огляделся и очень осторожно, чтоб никого не разбудить, слез с полатей.

Навалившись всем телом, отодвинул — всего лишь на вершок — дверь теплушки, протиснулся в щель, прыгнул на хрустящую ракушечником насыпь.

От зябкой утренней свежести голове сразу полегчало — она перестала быть такой угнетающе тяжелой, однако гудела по-прежнему. Я помотал ею, чтобы вытряхнуть из ушей этот гул. Но он не вытряхивался, не исчезал.

И вдруг я понял, что дело вовсе не в ней, не в несчастной моей голове, что гудело не только в ней.

Был еще и другой — посторонний, явственный, непрерывный гул, словно где-то вдали бушует и клокочет, извергаясь, огромный вулкан, тот же самый гул, который вчера донесся с севера за десятки километров, до самой Сарепты, но сейчас этот гул был гораздо сильнее и ближе.

Я побежал вдоль эшелона — на этот гул. Ноги сами понесли туда.

Однако сзади меня настигал теперь и новый звук: ровное тарактенье мотора, негромкий перестук колес.

Я мигом вскарабкался по ступенькам ближайшего тамбура, укрылся за его стенкой.

Мимо по соседней колее медленно катилась автодрезина, подтачивая платформу, повитую ячеистыми сетями и ветками с увядшими пожухлыми листьями ольхи. Над сетями и ветками торчали четыре вороненых ствола зенитной установки с воронками на концах стволов.

Платформа двигалась так медленно, что я успел увидеть: на ней спят вповалку — как убитые — люди в лияных гимнастерках, боевой расчет. Рядом с каждым из них лежала стальная каска. И только один из них спал прямо в каске, утонув в ней всею головой. Великовата ему каска. Что?.. Но ведь Ленька остался там, на правом берегу, в Сарепте. Каким же чудом он мог оказаться здесь, на левом берегу? Когда и как они перемахнули сюда, на левый берег?

Дрезина остановилась и, коротко свистнув, пошла обратным ходом.

И, будто откликаясь на этот свист, донесся гудок паровоза. К разъезду приближался другой состав — оттуда, из заволжских далей.

Когда на разъезде встречаются два состава, один из них вскоре должен уйти.

Я понял, что времени у меня в обрез.

Спрыгнув наземь, я побежал дальше.

Ноги увязали в песке. Окрест, насколько мог я видеть, лежала песчаная равнина, всхолмленная ветрами. Неподвижные песчаные гребни нависали над песчаными безднами. И лишь кое-где в этом песчаном море волны вздымались выше остальных, будто налетев с разбегу на скалистые острова: на островах разросся густой ивняк.

Я уклонился в сторону от насыпи, заметив самый высокий из этих островов.

Гул надвигался, усиливался.

Черная стена дыма перегородила синее небо.

А ноги проваливались в песок почти до колен, я еле выдираю их, переставляя с трудом. В горле пересохло, хотя дневная жара еще не наступила. Ноздри опять учуяли тот удушливый запах гари, который

минувшей ночью вместе с багровым заревом ворвался в оконца теплушки.

Но остров был уже близко, песчаная хлябь мельчала, подошвы упирались в твердое. Я взобрался на первый уступ, а за ним был другой, а на третьем уже пришлось продираться сквозь ивовые заросли, отстраняя ветки руками, раздвигая, приподнимая их.

Мне открылось.

Я увидел кромку пологого левого берега — ее зализывала речная зыбь.

Увидел Волгу во всей ее шири.

И впервые в жизни я увидел Сталинград. Город, который так давно и долго мечтал увидеть своими глазами.

Города не было.

На крутизне далекого правого берега простерлась на многие версты зубчатая, искромсанная стена развалин. Белые стены зданий зияли черными дырами окон. Дома стояли непокрытыми, будто над ними пронесся ураган, сорвавший все до единой крыши. Там, внутри, еще дотлевал огонь и дым клубился над ними. Дымился расплавленный асфальт площадей и улиц. Обугленными головешками торчали фонарные столбы. К жилым кварталам примыкала вплотную заводская сторона, обозначенная железными скелетами цехов и сокрушенной кладкой кирпичных труб.

Круглые баки нефтехранилищ изрыгали дым и кипящую лаву. Дым уходил в небо, а лава выплескивалась, растекалась по бороздам оврагов, ползла к воде, волоча за собой языки огня, и когда лава достигала воды, пламя не гасло, оно продолжало полыхать на поверхности реки, огонь плыл по течению. Река горела.

Недалеке дыбилась корма затонувшего парохода, пустая лодка, привязанная к нему, покачивалась на волне, тыкалась носом в железо.

Обломки и пепел прибывало к левому берегу.

Город казался вымершим и безмолвным. Но он кричал; в этом низком, утробном, ревушем крике слышалась не только боль — нестерпимая боль ран и ожогов, — но гнев и ярость. Он не звал, этот город, он взывал!..

Он поднимал свой дым на километры вверх — так высоко, что взошедшее солнце заволоклось уже черной завесью: пусть увидят повсюду, что солнце затмилось, нету солнца...

Я обернулся на сыпучий шорох шагов.

От разъезда к берегу шли, растянувшись цепочкой, в затылок, солдаты. Их сапоги утопали в песке. Им было тем более трудно идти, что шли они не налегке, а при полной боевой выкладке: руки придерживают ремни винтовок, патронные сумки тяжело обвисли, скатки от плеча к бедру. Им было жарко — прямо в лицо им дышал горящий город, копоть летела навстречу, и струйки пота, сбегавшие из-под шлемов, уже оставляли на щеках черный след. Лица их были сосредоточенны и хмуры, они шли молча.

А в стороне двигалась к Волге другая цепочка, а там еще одна. Захрустел ивняк.

Я услышал негромкий, но строгий голос:

— Мне приказано переправить дивизию по наплавному мосту.

Где мост?

Ответом было молчание.

На пригорке рядом со мной появился человек в защитной фураж-

ке с матерчатым прямым козырьком, по две зеленые звезды в зеленых углах петлиц, парусиновые сапоги.

Он сразу заметил меня, но не выказал к этому особого интереса.

Другой же, с которым он разговаривал, тот, который пока молчал, остановился за моей спиной.

— Где мост? Не вижу моста.

Расстегнул кожаный футляр на груди, вскинул бинокль.

— Не вижу. Что, майор, не управились, не успели?

— Мы... успели.

Ответ прозвучал глухо, устало. Но этот голос был мне знаком. Я оглянулся.

Константин Иванович Чупрун стоял позади. Лицо его было землисто, глаза ввалились, запали под нависшие щеточки бровей, а выше бровей пропыленный бинт запекся бурыми пятнами крови.

— Не вижу!

— Мост взорван, товарищ генерал. Вчера утром.

— Как это — взорван?.. Кем?

— Мои саперами. Приказ командующего фронтом.

Генерал в упор, не скрывая изумления и гнева, смотрел на майора Чупруна.

— Товарищ генерал...— Надтреснутые, опаленные губы Константина Ивановича шевелились с трудом.— Вчера утром к тракторному заводу у Сухой Мечетки вышла танковая колонна. На танках были звезды, красные флажки, а танкисты в наших комбинезонах, в наших шлемах... Но это были немцы. Вероятно, они рассчитывали обмануть, ну хотя бы вызвать замешательство, и с ходу проскочить мост...

Только сейчас он узнал меня. Брови его чуть приподняли полосу бинтов: ты? здесь?

— Слушаю вас, майор.

— Их отбили минометным огнем, зенитками... Мост пришлось взорвать.

Ты здесь? почему ты здесь? а где же?..— спрашивали неподвижные трещиноватые губы.

Генерал отвернулся и снова поднес бинокль к глазам.

— Так,— озадаченно произнес он.— Та-ак...

Сухой шелест песка под сапогами солдат нарастал, огибая, обтекая пригорок, и уже сменялся влажным скрипом, хлюпаньем: передовые цепочки достигли берега.

— Готовьте переправу, майор. Любыми средствами.

— Может быть, ночью?

— Нет, сейчас. Немедленно... А это, по-вашему, что — день?

Кромешная дымная ночь висела над Сталинградом. Генерал опустил бинокль.

— Дяденька!..— тихо взмолился я.— Дайте взглянуть разок.

Он покосился на меня досадливо, но скинул ремешок с шеи.

— Держи. Смотри.

Я осторожно шевельнул ребристое колесико.

Черная Волга пронеслась подо мною.

Перекрестье бинокля уперлось в бетонную стену элеватора.

(Окончание следует)



НИКОЛАЙ ПЕРОВСКИЙ



УБОРКА

И настает пора уборки,
твоя любимая страда.
И тем же сладким, тем же горьким
повеет духом, как тогда...
Те бункера полны до кромки
в степной озерной стороне,
а ты стоишь теперь в сторонке
на свежепахнувшей стерне.
Глядишь на потных, груболицых
от ветра, пыли и жары —
о чем у них там говорится,
о чем молчится до поры?

И про себя соображая
и забегая наперед,
напишешь: «В годы урожая
добрый становится народ...»
Слова, слова...
За тем пределом,
где места нет игре и лжи,
скажи, каким ты занят делом,
хоть самому себе скажи.

Встряхнись!
Взойди на старый мостик
да предъяви свои права,
чтоб не от слов — чтоб от колосьев
ходила кругом голова.
И, первый бункер разгружая,
опять счастливый, вспомнишь ты
года большого урожая,
года народной доброты...

ДЕВЧОНКА

Она стояла, в зеркало смотрясь,
она прикосновением и взглядом
искала ту единственную связь
между собою и своим нарядом.
Нашла! И я увидел, что она,
кому-то подражая, может маме,
по городу вечернему одна
впервые простучала каблучками.

Как плащ шуршал! Как гребень в волосах
 поддерживал летучую прическу!
 И полудетский, тайный, сладкий страх
 витал вокруг нее по перекрестку...
 И были так чисты ее черты,
 так трогательно все в ее расцвете,
 что эта неподсудность красоты
 по городу раскидывала сети...

.

Опять на юг уходит лето,
 освобождаясь от меня,
 опять в просветах бересклета
 колючки молнийного цвета
 да полинявшая стерня.

Душа осела и остыла —
 с годами осень тяжелей,
 пришла и памятью сдавила,
 что где-то в мире есть могила,
 могила матери моей...

СИРЕНЬ

Когда от пыли и от зноя
 уйдет на отдых летний день,
 земли дыхание ночное
 разбудит позднюю сирень.
 И что-то в мире сотворится,
 как бы родясь из темноты,
 чтоб человеческие лица
 освободить от суеты.
 Чтоб отменить права разлуки
 и допустить из глубины
 то, для чего даны нам руки,
 глаза и губы нам даны...

.

С годами детские привычки
 к нам возвращаются опять.
 У отходящей электрички
 сначала тянет постоять.
 И позавидовать кому-то,
 хотя и дал себе зарок,—
 так зародится в сердце смута,
 зажжется слабый костерок...

То юг зовет меня, то север,
 и я срываюсь наугад:
 ночной паром на Енисее,
 напевы древние Карпат.
 Итак, подброшу вверх монету,
 она опустится, звеня,
 куда идти по белу свету,
 пускай решится без меня...

Орел.

И снова этот запах
желтеющей травы
и ржавый лист в накрапах
осенней синевы.

Любви и всепрощенья
полна душа моя,—
о, это ощущение
почти небытия!

Я в крике журавлином
родной услышал крик,
лечу сквозь паутину,
сквозь листья, напрямик.

И не стыжусь внезапно
почуть на щеке
начало слез и запах
и вкус на языке...



НИКОЛАЙ ЗАДОРНОВ

★

ХЭДА *

Роман

ЧАСТЬ I. ХОЛОДНАЯ ВЕСНА

Глава 1. Большому дереву на ветру трудно

Прекрасный праздник весны, пробуждения жизни и солнца — Новый год минул, а погода стояла мокрая, со снегом и злым ветром, больно бьющим полуголых людей в лохмотьях, словно началась северная осень. Стало гораздо холодней, чем короткой предновогодней зимой. Но солнце, за мглой и тучами, что-то обещало, хотя его подолгу не было видно, и многие старики и больные умирали, так и не взглянув на него в последний раз. День прибывал понемногу, словно тьма отступала нехотя.

Вот в такую погоду, когда большая часть лиственного леса еще гола, Эгава Тародзаймон ехал верхом через горы, направляясь в прибрежную деревню Хэда, где иностранцы и японцы строили европейский корабль. Он ехал по делу, которое для Эгавы теперь важней всего и за которое с него еще спросится. Эгава хорошего для себя ничего не ждал!

Сквозь наготу леса с утра чуть проблеснуло солнце, и казалось — очистится небо, лучи выжгут и сгонят с его синевы всю мглу до единой пряди, на стволах засияет множество красок, первым весенним теплом и тайной силой задышит природа, оденутся листвою еще недавно голые лесные великаны и жалкими покажутся жесткие вечнозеленые деревья и кустарники.

Но через час стало совсем сумрачно, с моря наплыла серость, ветер временами налетал со свистом. От голи и черноты лесов глаз охотно отстранялся, искал придорожную глянцевитую листву и редкие пышные цветы горной сливы.

На подъеме дорога подмерзла. Конь в соломенных башмаках мягко ступал по ее черной льдистой грязи.

Всадник закутан в ватный дорожный халат. На голове шапка из осоки — символ власти дайкана, начальника округа.

Эгава Тародзаймон только дайкан. Его округа на горном полуострове Идзу, недалеко от столицы Эдо. Но дайкан Эгава известен правительству. Высшие чиновники, князья и даже члены горочью — выше-

* Роман «Хэда» завершает трилогию об экспедиции адмирала Путятина в Японию в 1854—1855 годах. Печатается в сокращении. Полностью роман выйдет в издательстве «Советский писатель».

го государственного совета, состоящего из пяти важнейших вельмож во главе с самым гениальным канцлером Абэ,— знают его имя, верят в его талант и, не давая ему повышений и не выказывая ему излишнего внимания, возлагают на него, как всегда, самые большие надежды, конечно и большую ответственность. Сейчас все ждут, что исполнит Эгава.

По обстоятельству времени ответственность Эгавы перед высшим правительством возросла. Обязанностей стало больше, и они требуют все большего труда, знаний, каких, как полагает сам Эгава, у него нет, а этому виной не он, а само правительство.

Эгава вырос в семье потомственного дайкана. Он с детства проявлял разнообразные таланты и, став сам дайканом, вскоре обратил на себя внимание общества и как художник, и как ученый-изобретатель, и как инженер-самоучка. Еще задолго до появления американской эскадры Перри в заливе Эдо он сконструировал и построил у себя в селении Нирояма, в горах, две гигантские печи, плавил в них чугун и отливал из него пушки.

Он почтительно и осторожно, но настойчиво и твердо объяснял высшим лицам империи, что изоляция губит страну, что Япония должна сблизиться с другими государствами и народами, заимствовать у них все полезное, признать свою отсталость, создавать свою промышленность, развивать науки, готовиться к постройке собственного флота, а главное — неустанно учиться. При этом Эгава был так благодетен и так доказал это своим честным трудом и ему так доверяли, что никто в правительстве не обвинил его в готовности к измене или в коварных замыслах.

...В пути невольно вспомнишь все, но только сильнее разбередишь себя. В душе всегда бесстрашного Эгавы вспышками являются тревоги и сомнения, похожие на страхи. Молнии в мозгу озаряют неизбежные опасности грядущего. Старый князь Мито — глава всех консерваторов, родственник شوгуна и родственник дай-ри — давно заинтересовался гениальным Эгавой и теперь называет его своим другом.

Но князь Мито и правительство в свое время не слушали его, держались традиционных страхов и запретов, а не его честных советов ученого.

Когда же под угрозами пушек, наведенных с иностранных кораблей, пришлось открывать Японию и заключать договоры, все спохватились. Японии нужен флот для дальнего плавания! Срочно выпущен указ об отмене запрета постройки кораблей дальнего плавания! Но указ — это еще не флот. На одном указе не поплывешь, как на корабле. Князь Мито сразу заявил, что надо самим научиться строить современные суда. Но кто же построит? Кто выручит страну? Эгава! — Эгава все умеет, он все знает, он гений и все сможет. Да, Эгава об этом говорил давно, но мы тогда его мнения еще не могли принять. Эгава и теперь мог бы спасти страну! Так сказал князь Мито. Так решили в столице. Эгаве было поручено построить первый европейский корабль дальнего плавания. Конечно, Эгава готовился к этому и просил позволения выписывать книги и учиться. Когда приходили американцы, он как мог изучал их пароходы, посылал людей крадучись снимать чертежи, осматривал сам беглым взглядом все что мог. И чем ближе знакомился Эгава с устройством западного судна, тем ясней становилось, что у него недостает знаний для постройки такого же своими силами. Упущено время. Ради верности правительству ушли лучшие годы. В пору запрета, получая лишь отказы правительства, он почти бесплодно тратил силы ума в догадках и попытках открыть то, что давно открыто в Европе. Минула молодость! Великие покровители и друзья в Эдо, которые так его хвалят теперь, так им

восторгаются, лишь связывали ему руки, превознося его гениальность. Они не позволили выучиться ему и другим, жаждавшим знаний. А они, казалось бы, так любили Эгаву! Но ничего не сделали до тех пор, пока не увидели огромные жерла морских пушек, готовых послать огонь и железо на дворцы и замки Эдо.

Эгава не робкого десятка. Он готов отвечать за любое упущение. Он старается исполнить приказ и делает все что может. Он сидел дни и ночи напролет, составляя чертежи. Он заложил в селении Урага первый европейский корабль.

Близ столицы Эдо, на берегу залива Эдо.

В это время произошло несчастье, которое, по мнению многих, оборачивалось большой удачей. Чудовищное землетрясение и гигантская волна цунами погубили тысячи людей во многих городах и деревнях. На море Идзу, неподалеку от деревни Хэда, в бурю погиб корабль русского посла Путятин.

Правительство Японии разрешило послу России построить новый корабль для возвращения на родину. Путятин и пятьсот его моряков перешли пешком в деревню Хэда, где им даны материалы и предоставлены рабочие.

Адмирал и посол Путятин оказался опытным судостроителем, а его очень молодые офицеры, почти мальчики, оказались отличными математиками и настоящими мастерами проектировки и западного судостроения. Как все это просто там, где не боятся науки!

Русские чем-то похожи на японцев, а чем-то на американцев — так кажется некоторым. У них матросы всегда голодные и всегда хотят спать — если улучают время, то валяются где попало и засыпают. Это очень удивляет японцев, которые даже детям запрещают что-нибудь подобное, например спать или есть на улице. Конечно, дети и взрослые бедняки не слушают.

Сверху, с горы, все видно, как на карте: леса, реки, ущелья... В раннем детстве Эгава изучал географию по старинной японской карте, где изображены все земли мира: страна одноглазых людей, это где-то близко, чуть ли не на современном Сахалине, остров карликов, жаркая страна голых людей с красной кожей, материк людей с собачьими головами...

Да, в детстве так учили! По глупейшей карте! Хотя почти все образованные люди знали уже, что мир не таков, как мы его изображаем в атласах. Отец говорил, что эти карты неправильные. Но в семье Эгавы, как и во многих домах феодалов и чиновников, полагали, что надо учить по традиции. И губили детей. Каков мир на самом деле — не научили вовремя, сбили с толку, привили на всю жизнь подзрительность.

Домашние и даже сами учителя тайком объясняли иногда детям, что все не так, многое, что написано в старых книгах, — вранье, но никогда не надо подавать виду, что это знаешь, а надо учиться, как принято, — очень старательно. Сколько же молодых людей высушено и загублено на таких уроках! Всю жизнь говорят: это уже опровергнуто, но заучи наизусть, отвечай без запинки.

«Эта карта — сказка? — спрашивал мальчик у отца. — Но зачем же ее изучать?» Отец уводил мальчика с глаз посторонних, брал лозы, мочил их в воде и наказывал, воспитывая волю и сдержанность у будущего дайкана!

Кто хотел запугать всех небылицами? Знает ли об этом шогун? Тенно? Ведь он — бог и должен все знать. Кошунство или трагедия? Мокрые лозы били больно, но не выбивали мыслей. Мальчик становился скрытным. Хотели запретить думать о других странах, чтобы никому не пришло в голову, что где-то можно жить, кроме Японии.

Япония — процветающий оазис, населенный цивилизованными и прекрасными гражданами, которые счастливы под совершенным управлением, а весь остальной мир — язва, пустыня, населенная страшилищами, всюду господствуют болезни, уродства, пороки, всюду ложь и преступления! В Японии все совершенно! — и при этом учителя ухмылялись.

Эгава, заменив скончавшегося отца, стал дайканом. Он много думал: как же учить народ и не обманывать?

Старик, содержатель распивочной, сказал однажды: «Нам все равно, лишь бы были сакэ и саканэ¹! Не все ли равно, чему обучают ребяташек! Когда пьем сакэ, то довольны и счастливы...»

И вот Эгава постарел. Он сам опасался своих мыслей, он соглашается, что Япония лучшая страна, что все эбису² враждебны ей. Но Эгава желал бы, пока не поздно, обучить и вооружить свою страну науками, заимствованными у эбису. «Пока и у нас не вспыхнуло восстание, как в Китае, и пока под наведенными с кораблей пушками мы не пустили англичан к себе торговать отравой, как китайцы».

Эгава до сих пор ошибается в европейской географии, в его знаниях есть несоответствия и неточности. Ему, например, кажется, что Кавказ равен полуострову Идзу. Те же горы, скалы, грохочущие потоки. Юнкер князь Урусов — родственник императора России — так сказал ему: «Идзу — это японский Кавказ. Еще красивей! На Кавказе нет Фудзиямы!» Он льстил!

На днях Эгава видел в журнале у Путятина картину. Наместник Кавказа русский генерал едет по горам. На сильных конях вокруг наместника гарцуют казаки в мохнатых папахах, с густыми усами и бровями, все с саблями и пиками. Вдали, на горе, целый лес пик. Это очень отважные воины. Не самураи, но все верхом на конях и всю жизнь сражаются. Россия счастлива тем, что ее воины обучены с детства обращаться с оружием. Скачут на конях, джигитуют, встречая в честном бою врагов, страшных своей силой и мстительностью.

А у нас даже нет врагов. Япония всех отвергла: весь мир — и врагов и друзей. В самой Японии всех врагов уничтожают шпионы. Тихо, без всякой храбрости. У нас не все самураи имеют право садиться на коней. Не говоря уж о слугах!

Сейчас сзади Эгавы едут конные самураи, за ними трусят рысцой скороходы. Бегут и не отстают, когда дайкан пускает коня вскачь, — они быстрее бегут и поспевают. За ними спешат слуги и носильщики. Но разве это конвой?

Горы Идзу в ведении Эгавы, весь полуостров в его округе — власть дайкана огромна. Но на Кавказе кони цокают по камням копытами, подкованными сталью, а их седоки всю жизнь живут под пулями смелых горцев! «А мои кони тихо и мягко шлепают соломенными башмаками».

На Идзу все японцы покорны и нет войны. Когда погиб русский корабль, князь Мито сначала с вершины своего могущества потребовал: всех русских, высадившихся на берег, убить! Чужеземцам не разрешать ступать на землю Японии! Отвергнуть требование Путятина о постройке нового корабля! У нас есть Эгава! Он без них отлично строит европейский корабль!

Тогда возвысился благородный голос посла Японии на переговорах с Россией. Кавадзи-чин заявил свое мнение: разрешить герою Пу-

¹ Вино и закуска.

² Эбису — варвар, так называли иностранцев.

тятину построить корабль. Изучать при этом европейское судостроение. Назначить для этого японских плотников и других мастеров.

В словах Кавадзи проступало недоверие. Он сомневался, что Эгава может создать западное судно. Очень обидно. Но это правда.

Эгава назначен ответственным за постройку корабля Путятину, в помощь адмиралу и для изучения дела. До сих пор Эгава скрывал от русских, что он строит европейское судно в Ураге. Так одновременно строятся два корабля, и оба под руководством Эгавы. Кроме того, князь Сацума стал строить в своих владениях еще один корабль. Всех этих безграмотных князей охватил патриотический порыв!

Русские предъявили странное требование: доставить несколько бочат свиного сала. Не для питания матросам, а для постройки шхуны. Как это понять? Эгава обязан все немедленно исполнять. Как инженер и изобретатель при этом учиться. Все что возможно постараться перенести вовремя на постройку своего корабля в Урагу.

Следом за кавалькадой конных самураев на мелких лошаденках и за рысящими скороходами четверо бегущих вприпрыжку носильщиков мчат на толстой жердине тушу только что убитого кабана. В подарок Путятину и для прокормления его морского войска.

Этого лесного кита убил шестнадцатилетний сын Эгавы, будущий дайкан, отцовская надежда и отрада. Отличный, смелый охотник, знающий горы Идзу, пожалуй, лучше, чем отец. Когда есть такой сын, то все остальное не страшно. Семь дайканов Эгава сменяли друг друга за двести с лишним лет, с тех пор как во главе государства встали шогуны рода Токугава.

Князь Мито из рода Токугава не только родственник самого шогуна. Он не только самый влиятельный князь из трех ветвей шогунского рода. Он также родственник тенно, живущего закрыто в Киото. Его мать была сестрой тенно. А тенно нельзя скинуть со счетов. Путятин это хорошо понял. Когда его корабль был цел, он ходил в Осаку, при этом официально считается, что Путятин хотел напугать Японию. Путятин очень умный посол, он далеко видит. Путятин честный, строгий, но справедливый, очень опасен в дипломатических спорах, при этом не похож на послов остальных западных стран: на Перри, Адамса и Стирлинга.

Путятин предвидит величайшее потрясение в государственном устройстве Японии. Он вполне сочувствует японцам. Следует помнить: хотя он из чужого и чуждого государства, но показал Японии, что готов оказать почести тенно! Конечно, идя в Осаку на судне, адмирал понимал, что не увидит тенно и ничего не сможет ему передать. Что его никогда не пустят в Киото. Но он показал, что известно главное направление — к властителю Японии, к микадо. Японцы сделали вид, что оценили действия Путятину как враждебные и ошибочные, хотя всем было понятно, что он никогда и ничего не делает зря, даже когда всем кажется, что он ошибается. Он без слов сказал, каким должно быть новое управление Японии.

Эгава не посмел твердо и категорически заявить князю Мито, что не будет строить корабль европейского типа в Ураге, не имея для этого достаточно знаний. Он поступил как чиновник, а не как ученый. Когда приказывает высокий покровитель, то чиновник верит ему более, чем себе, и жлет себе.

Князь Мито бывал с Эгавой прост и доверчив. Он получил для Эгавы позволение изучить американский телеграф и паровоз. И художники нарисовали, как Эгава, словно демон, с раздувающимися на ветру халатами мчится по рельсам верхом на маленьком паровозе.

Но хуже всего, что друг и высокий покровитель и в политике путает новое со старым, как и на постройке корабля. Катастрофа же

обрушится со временем на Эгаву как на верного слугу и пособника старого Мито...

Получено распоряжение высшего правительства: учиться у иностранцев, воспользоваться их присутствием, установить хорошие отношения. Но тут же из другого ведомства, также высшего и правительственного, получено: строго наказывать за связь с иностранцами. Надо быть очень опытным потомственным чиновником в седьмом поколении, чтобы умело выполнить оба распоряжения!

Глава 2. Старик в соломенных валенках

На вершине перевала рвал злейший ветер. Под его ударами конь остановился, упираясь, словно его вместе с седоком могло поднять над обрывом. Эгава невольно съезжился в седле, не сводя взора с далей.

Открылось море с черными, ходившими под тучей вихрями и прядями ливней. А внизу — тихая бухта Хэда, круглая, как синее блюдо.

Эгаве, очень любившему свой дом, свою семью, свои домашние занятия, свое селение в горах и плавильный завод с его запахом будущего промышленного величия отчизны, показалось, что этот ветер не здешний, не горный, а из далеких морских стран, особый хэдский ветер, от которого повеяло неведомым просторным миром и прекрасным будущим детей Эгавы.

За морским заливом видны горы, а за ними океан, высокий, как небо, и оттуда идут вихри и пряди дождей и непогоды.

Эгава припустил коня по ровному, покатоному спуску, и сразу же затряслся и зарысили конные и скороходы с корзинками на согбенных спинах. Мимо помчался очень крутой скат весь в черных елях.

У заставы из-под круглых травяных крыш, как из-под зонтиков, вышли на дорогу вооруженные самураи. Эгава приостановился, слез с коня и поговорил с начальником за чашкой чая.

Ниже лес становился все глуше и черней. На повороте опять открылась бухта Хэда, теперь уже близкая, со множеством домиков и садов вокруг. Горы теснили бухту и деревню со всех сторон. Только одной горы не хватает, чтобы замкнулся круг, словно она вышиблена или провалилась в океан. От нее осталась выгнутая коса каменных обломков. За косой шумит и бьется океан, стараясь перекинуть волны через ее камни в бухту.

Так в каменном кольце, замкнувшем Хэду, есть прорыв, ворота. Через них бухта сливается с океаном. Коса из камней сдерживает порывы океана, громадные волны откатываются и только кипят, кипят у ворот.

По косе над грядой камней тянется очень длинная редь сосен. На косе — плодородная почва, там летом цветут кусты хамаю с большими белыми цветами, поднятыми на высоких стеблях над глянцевиными широкими листьями. Там стоят в жару целебные для души ароматы сладких хамаю и смолистых сосен и вырастает густая, высокая трава. И все прикрыто каменными россыпями и соснами от глаз иностранцев, проходящих в океане.

У одной из морщин, пробороздивших природную каменную крепость вокруг Хэды, стоит невидимая западным подзорным трубам платформа, на которой русские возводят свой корабль — причину страха и надежд, а также несчастий и позора Эгавы! Они умело укрыли все свои работы — даже отсюда, с гористой дороги, нельзя рассмотреть, что сейчас происходит в узком ущелье.

Никто и никогда с такой любовью не описывал бухту Хэда и не

старик в соломенных валенках, а сынок его ведь перегонит самого Эгаву!

Дайкан невольно оглянулся. Старый плотник, было зашагавший, поймав одним взглядом взгляд дайкана, вмиг потерял всю свою бодрость и сжался от страха, путаясь в своих же ногах.

Мало лестного! Что толку от народа, которому внушен вечный страх!

Перед отъездом Эгава получил тайный приказ: наказывать в деревне Хэда тех, кто сближается с иностранцами. Применять всюду строгие меры, чтобы сохранить единство и сплоченность духа.

Кто близок с иностранцами в Хэде? С ними дружен пожилой плотник Кикуги, у него семья большая. Близок Таракити — сын этого старика. Также Хэйбей из деревни Миасима. И все остальные плотники и кузнецы.

Хэдский самурай старик Ябадоо, наблюдающий за рыбаками, сам, еще не зная, что будет такой указ свыше, наказывал рыбаков, чтобы не смели разговаривать с эбису. Он расправился с Сабуро из дома «У Горы». Но ведь плотники не рыбаки. Они все время должны с эбису работать. Как им запретить общение? Требовалось хотя бы одного наказать, хотя бы не из плотников...

Эгава должен наказать строго. Но скрыть от русских. Днем они всюду ходят, им разрешено удаляться за семь ри от Хэды. Придется наказывать ночью, втайне от гостей.

В прошлый приезд в деревню Хэда Эгава наблюдал, как Таракити работает. Оказался тихий, старательный, скромный парень. Лоб у него большой, лицо скуластое, румяное, руки сильные.

Налетел новый сильный порыв ветра. Начинается ураган? Или сейчас же все стихнет?

Эгава поехал побыстрей. Вот уже видна знакомая поляна. Эгава увидел, что на толстом стволе сосны проступает светлая трещина, как розовая рана на теле, эта трещина ширилась, и ствол вдруг расщепился и разошелся надвое со всей массой ветвей, мха и лишаяев, с седыми и зелеными иглами, с мертвыми и живыми сучьями, и одна половина дерева стала падать.

Эгава остановил коня и замер, оцепенев от суеверного ужаса. Это была любимая сосна покойных отца и деда. «Седая сосна». Художники рода Эгава рисовали ее. «Отрада моего отца». Эгава остановился у разломленного дерева с павшими лапчатыми ветвями в иглах и во мхах. Дерево у основания такое же толстое, как каждая из двух отражательных печей, построенных Эгавой в селении Нирояма. «Пока я помню отца — он еще жив, он живет во мне...»

Мощное, еще жизнеспособное дерево развалилось надвое, половина рухнула, не обнаружив ни гнили, ни старых ран в почерневшей запекшейся смоле, ствол, торчавший без половины ветвей, был позорно обнажен, словно подставил, как наказываемый, розовую спину под удары лоз и палок. Здоровое, еще крепкое дерево не выдержало напора ветра в свою столетнюю вершину.

Когда Эгава Тародзаймон был маленьким, отец привозил его к седой сосне и говорил: «Прошел год, теперь на стволе прибавилось еще одно кольцо!»

Седое дерево еще живо, оно стоит, как рыцарь у края крепости, на жестком, чуждом ветру из далеких стран и охраняет Японию. Неужели его нельзя спасти? Надо прислать лесников, пусть осмотрят трещину и залечат.

В белом косом чертеже снегопада, пригнанного с моря, Эгава спускался с гор. Когда он миновал сады и рисовые поля, тучу унесло.

изображал ее на шелку и на бумаге так необыкновенно и романтически, как сам Эгава. Но ему чуждо все неазиатское, заморское, что таится в людях Хэды, в этих потомках незнакомцев, принесенных океанскими валами с чужих островов и из далеких стран и смешавшихся за столетия с японцами. Хотя японцев и в древности было много, а принесенных морем мало, но все-таки в этой деревне до сих пор видно в лицах что-то особенное, таинственное. И не только люди тут необыкновенные. В Хэде растут деревья, которых нет нигде больше в Японии,— наверное, теплое течение, идущее с юга, приносило семена с далеких тропических островов.

Поймет ли кто-нибудь все это, разберется ли, постигнет ли Эгаву-художника, угадает ли мечты поэта в его пейзажах Идзу, в которых он куда смелее, чем Эгава-чиновник в делах? Нет, никто этого не увидит и не угадает. Может быть, пройдет много лет и в семье Эгавы родится мальчик, который вдруг все поймет, и уловит, и вдохновится этой же мечтой. В надежде, что так случится, Эгава будет работать и работать.

Конь, ожидая окрика седока, настороженно плелся вниз.

Недавно пришлось услышать от иностранцев, что живопись Эгавы, как и у всех японцев, искусна, но искусственна, что их пейзажи нарочито романтические, что в Европе художники давно отказались от изображения высоких чувств на фоне придуманных скал, грозных туч, дремучих лесов и низвергающихся потоков, что все это лишь традиционные банальности, а суть жизни не в этом, а в нравственном просвещении, к которому надо стремиться, что живопись и литературу Запада занимают страдания людей во всей глубине их чувств. Так очень назидательно и самоуверенно поучал дайкана один из спутников посла Путятина — молодой юнкер Урусов.

«Да, все, что я вижу, проезжая в ветреный день по своей округе, по лесу и над морем,— все это лишь банальная романтика. Но как же быть, если я, как дайкан, по должности своей заведу банальной округой, в которой горы в лесах, всюду скалы висят над головой, под ногами коня открываются пропасти, а издали веют ветры всего мира?»

...Впереди завиделась спина плетущегося путника. Старик в соломенных валенках, со связкой сухих дудок за спиной. Услыхав стук копыт и беглые шаги скороходов, он оглянулся, на миг замер и, увидя дайкана, покорно опустил голыми коленями на мерзлую землю, сняв шляпу. На плечах его соломенная рогожка поверх короткого халатика и на бедрах плотная повязка. Голые колени страшны от старости и голода.

Эгава увидел его озябшее испуганное лицо со старческими, выцветшими до пустоты глазами. Дайкан знал всех в своей округе. Этот старик — отец плотника, сам бывший плотник, работавший по найму всю жизнь, а теперь уже больной и слабый, но все же ходит в лес, собирает где позволено сухую траву на топливо. Его сын трудится с русскими в ущелье Быка, обучается западному судостроению, один из лучших плотников в деревне Хэда. Рабочие не смеют брать щепье и стружки для своих печей. Старик всю жизнь был хорошим плотником, но год и один месяц назад в правый глаз его попала щепочка и старик стал хуже видеть. Летом он не смог больше работать. Семья стала беднеть. Не желая быть сыну в тягость, старик чем может помогает: летом на огороде и на маленьком рисовом поле, где не надо такой острой зоркости, как на постройке судов. Вот теперь, зимой, собирает ветки и сухие дудки. Беднякам все пригодится. А сын его, Таракити, тем временем работает у Путятина и учится. Вот нищий

— Мы выслушали вас, Эгава-сама,— сказал Путятин,— надо этот корабль разобрать. Потом вблизи воды построить такой же стапель, как у нас, и на нем собрать корабль снова. Иного выхода нет. Лейтенант Пещуров проводит вас к Колокольцову. Он вам все объяснит.

— Снять обшивку со шпангоутов, разъединить люфсеры и бимсы,— подтвердил капитан Лесовский.

Эгава совсем померк. Да строилось-то не так! Не было ни бимсов, ни люфсеров! Ни футоков...

Глава 3. Первый шпангоут

Развилыны молодых сосен сцепились друг с другом. Этот клубок одеревеневших драконов растаскивают плотники. Надо делать ребра корабля. Как это получится? Трудно сказать, хотя понятно. Дело требует от плотника умения и новых знаний.

Таракити стремится, как воин, в битву, но чувствует, что пока умения еще недостаточно. Повязка, схватывающая жесткие волосы Таракити, съехала на глаза, пришлось поправить.

Таракити знает: лицо его очень некрасивое, скуластое, короткое, с вдавленной переносицей, как у глупого человека. Сможет ли он стать счастливым? Очень обидно, если нет.

Как известно, есть лица длинные, формы дыни, это идеал красоты. А лбы высокие. Когда человек много думает, то лицо удлиняется, морщины ложатся между бровей. Когда князь сражается и побеждает, то на лице появляется выражение гордости и сохраняется после войны, словно он продолжает побеждать всех домашних и подданных.

У хэдских крестьян и рыбаков от постоянных забот, от тягот и безденежья на лицах сохраняется выражение испуга и лукавства; каждый должен как-то прожить, хотел бы получше, но это запрещается. Поэтому иногда приходится сплутовать.

Когда Таракити строгают доску, то старается все делать очень аккуратно, тщательно, опасается ошибиться. Маленькие глаза совсем сощурены, хотя смотрят остро, щеки напряженно приподняты, все вместе придает лицу кислое выражение, которое сохраняется после работы. Лицо становится как бы еще короче и тупей. К своим домашним он является с таким же выражением. Это замечают соседские девицы и подсмеиваются.

Лицо у Таракити свежее, смугло-розовое. Шея его открыта. Он в коротком халатике. Плотно затянут кушачком, в коротких штанах, на ногах соломенные подошвы на петлях и синие матерчатые носки с большими пальцами наособицу.

Ухватившись за толстую сосновую лапу, Таракити рывками раскачал ее, потом повернул, как рычаг. Вся груда раздвинулась. Не опуская находки, молодой плотник потянул кривой ствол, бесстрашно перешагивая по оседавшим деревьям.

Нашел подходящий кусок сосны!

Таракити недавно назначен старшим артели. Он не досаждал своим рабочим и не придирается. С утра скажет, кому что делать, но не учит. Все сами должны уметь.

Приложил лекало к сосновой кривулине. Оказалось, что подходит. Но лекало, вытесанное матросом из доски, не нравится.

Кокоро-сан — самый главный на стапеле из роэбису³ — учит: шпангоуты делаются из двух или трех частей, точно как указано на чертеже и на лекалах. Зубья одной части должны входить в пазы другой. Все вместе держится как единое целое. Ясно. Вполне выпол-

³ Роэбису — русский варвар.

Эгава въехал в деревню Хэда. Тут тепло. Кусты цвели в садах и на огородах. У обнесенного камнем источника распустилось дерево.

Дайкан слез с коня у храма Хосенди, где жил адмирал Путятин. Из трубы на крыше курился дымок. У посла и адмирала морской армии печь могла топиться в любое время, никто не запрещает. У Путятина всегда тепло и уютно, даже когда всюду сыро и сумрачно. Эгава любил приходить к Путятину. Ах, если бы на душе не было тяжкого камня!

Согнув стройную богатырскую фигуру, дайкан в полупоклоне пошел в храм.

...Утром, после того как стих звон колокола в буддийском храме, из ворот лагеря под гром труб и барабанов на работу и на плац, как теперь называли утрамбованный пустырь из-под рисового поля, пошлагали отряды матросов.

Когда в деревенскую улицу вошла рабочая команда, дети и взрослые высыпали посмотреть. Молодые матросы цепкие, ловкие, все хорошо работают, это известно. Оттого что все жители благожелательны, а молоденькие японки в восторге, матросы шли еще удалей.

Ребенок пробежал между рядов, матрос Янка Берзинь вскинул его на руки. Мальчик горд, сияет, с важностью смотрит сверху на полицейского офицера. Мать знает, что детей матросы балуют. Янке весело, его высоко вздернутый нос задрался еще выше.

Танака-сан улыбается, но в душе недоволен: никакая полиция тут не удержит...

Пока рота за ротой двигалась из ворот лагеря, чиновник из столицы Уэгава Деничиро и Эгава Тародзаймон во главе целого отряда самураев поспешно входили в ворота храма Хосенди. Эгава и Деничиро с переводчиками поднялись по ступеням, а свита, как обычно, расселась по двору со сложенными зонтиками. Оба японца, казалось, были чем-то взволнованы и попросили, чтобы адмирал их принял.

— Что-то у них случилось, Евфимий Васильевич, — доложил адъютант. — Оба прибежали, словно их ядовитая муха укусила.

Японцам подали чай и сласти. Посьет, Лесовский и Гошкевич уселись с гостями.

— Наши японские инженеры, — заговорил Эгава, — построили большой европейский корабль.

— Какая радость! Но вы говорили, что он строится! — удивился капитан Лесовский. — Так уже построили?

— Да.

— Сами? — спросил Посьет.

— Да.

— Тогда вам не надо вторую шхуну! Поздравляю вас! Корабль вполне готов?

— Но... корабль не может сойти в море, — сказал Эгава.

— Почему? — удивился Путятин.

— Об этом хотим посоветоваться.

— Объясните толком... Дайте ему бумагу, господа! Вот вам бумага, Эгава-сама. Нарисуйте-ка на память ваш корабль, обозначьте размеры, где стоит, какой уклон к морю, какое расстояние от воды, и объясните, как предполагаете спускать.

Эгава взял кисть, но не стал рисовать. Он печально сказал, что корабль построен не на стапеле, его борта по мере возвышения окружались лесами и в них упирались деревья — это, конечно, применимо, когда строится маленькое судно. Корабль стоит на земле, от воды далеко.

нимо. Вызывает чувство гордости у каждого плотника. Но перед работой надо подумать.

Таракити отташил кривулину под навес, достал пилы, циркуль, нанес размеры с лекала на сосновую штуку и задумался. Он сидел на корточках, лицо его еще напряженной сморщилось, словно мысль пока была очень мелкой, ее еще трудно рассмотреть.

Матросы вытесывали части шпангоута топорами, как и лекала. У Таракити есть разные пилы. Отец учит, что плотники могут выпилить что угодно и что части европейского корабля надо делать пилами, а топорами точную работу делать неприлично. Очень трудно будет выпилывать большие футоко. На постройке европейского корабля приходится защищать достоинство хэдских плотников. Даже иссохшее от работы привычное тело тут к вечеру выпотеваает и смердит, как быстрая казенная лошадь после скачки с документами; без кадушки с горячей водой вечером невозможно обойтись. Отец сам не работает теперь, но каждый вечер спрашивает, как идет работа, и дает полезные советы.

Построен навес и под ним верстаки. Но там делаешь чистую работу, отделку. Кривулину не положишь на западный высокий верстак, да и неудобно.

Таракити измерил сосновую штуку, отпилил лишнее с обоих концов, подстелил рогожу, уселся на нее и зажал отрезок сосны обеими ногами, как клещами. Получился станок, очень удобный. Таракити прикинул, как начнет. Но пилить не стал, поднялся, стал перебирать инструменты: железный треугольник с насеченными делениями, коробку, в которой помещалась тушь в баночке, из нее вытягивалась нить с колышком на конце; еще очень простой прибор, похожий на длинную, аккуратно отделанную гибкую лучину. Гнется как угодно, можно провести по дереву любую кривую линию. Все пригодится.

Таракити недавно сделал себе западный циркуль, раздвижной, с переламывающейся ножкой для больших измерений. На железной линейке плотника с одной стороны нанесены японские меры с японскими обозначениями, а с другой — западные деления и цифры.

Таракити спрятал в рукав листки бумаги. Чернильница с тушью и кисточкой у плотника всегда за поясом.

Лекала рубятся топором, а разве может быть точной топорная работа! Шпангоут надо делать по лекалу. Нельзя лениться, когда являются такие соображения.

Плотник отправился на плаз. Вот они, заветные ступени, ведущие в мир, где царит чистота, точность и образцовая аккуратность. Таракити разулся на ступенях и поднялся наверх.

Целыми днями офицеры и юнкера работали в большом доме господина Ота, сидя за столами или лежа на животе. И все чертили, и чертили очень старательно. Теперь все чертежи перечерчены на черном лакированном полу плаза. Изображены части строящегося судна, все его обводы, шпангоуты, футоко и бимсы, и все в натуральную величину. Само судно изображено сверху, сбоку, спереди тоже в натуральную величину, но может показаться, что не хватало места, так много линий положено друг на друга. Приходится разгадывать, распутывать. Все части корабля изображены с разных сторон, чтобы можно было снять размеры. Частей одинаковых, кажется, нет или очень мало, поэтому все исчерчено и испещрено, сначала кажется ужасной путаницей и неразберихой. Какие-то клеточки, масса пересекающихся линий и делений, рябит в глазах, как мелкие птицы в перелете, рассыпаны цифры.

Но если внимательно всмотреться и подумать, то в этой путанице прямых и кривых линий, пересекающихся друг друга, среди массы цифр

можно отлично разобрать изображенные части будущего судна. Тут неразбериха только кажущаяся, как в столичном городе, но в то же время очень большой порядок и за всем наблюдается строго.

Очень интересное занятие — рассматривать чертеж и разбираться в нем. Западные цифры Таракити изучил сразу. Он нашел свой шпангоут. Все части его изображены. Кокоро-сан сказал, что эти части называются футоко.

Плаз накрыт крышей и есть стены. Таракити любит этот плаз, как влюбленный суженую. Вот футоко, который сегодня должен начинать Таракити. Если бы Таракити позволили, он бы часами тут стоял, рассматривал бы чертежи, все записывал и срисовывал. Но ему строго приказано исполнять только то, что задается. Если тут задержишься, то один из шпионов, приставленных для наблюдения за плотниками, начнет составлять на него письменный отчет о том, что плотник провел слишком много времени зря на западном предварительном сооружении. Отец всегда учит, что надо быть послушным и молчать. Это, конечно, так, но трудно.

С плаза жалко уходить. На покрытом черным лаком полу разложены драгоценные знания, которые для Таракити дороже золотых и серебряных слитков.

На плаз поднялись Кокоро-сан, дайкан Эгава, Ябадоо, барон-сан и переводчики.

Эгава на плазе не впервые, он видел, как все это готовили. Всюду цифры, цифры... Эгава тоже любит бывать здесь, но огорчается. «А мое правительство требует найти виноватого и наказать, чтобы все боялись соприкасаться с эбису! — подумал дайкан, замечая Таракити с инструментами в руках. — Проверять, узнавать, не верить. Все обязаны подозревать друг друга для взаимного спокойствия и общего благополучия!»

Какая масса цифр! С чертежей все разносили унтер-офицеры, специалисты этого дела. Но тут же целыми днями гнулись или лежали на брюхе и трудились, неустанно потея, русские самураи, рыцари, князья и сам родственник императора России тоже. Приходили домой, не мылись, падали в свои постели, засыпали как убитые.

«Они так стараются из верности императору, из страха перед своим правительством. Также из желания скорей уйти из нашей страны и сражаться на войне. Из желания показать, что с ними можно жить в согласии. Это хитрость? Или привычка к порядку невольное выражается в их старательном труде? Все же что-то высшее вдохновляло их, хотя всегда и во всем заметно было стремление показать знания и умение».

Две недели прошло с тех пор, как Путятин заключил с японским правительством договор о дружбе, торговле и границах и вернулся в деревню Хэда. Он пробыл в городе Симода почти месяц. Первые уроки плотником лейтенант Колокольцов давал до отъезда в город. С тех пор японские мастера судостроения многому научились. Эгава обо всем получает доклады, где бы он ни был. Сообщается все, до глупых мелочей.

Александра Колокольцова японцы называют Кокоро-сан. Русский офицер высокого роста, очень молодой, очень серьезный. Еще у него есть прозвище: Железный Прут. Распоряжения отдает спокойно. Если задает что-то новое, то объясняет через переводчиков, а потом приказывает усатым морским плотникам показывать, что и как делается. Незвестно, улыбается ли когда-нибудь Кокоро-сан? Он всегда строг.

Ябадоо-сан заведует судостроением от японцев, а Кокоро-сан от русских. Но они еще не главные заведующие, хотя распоряжаются всем очень умело и делают все самое нужное и основное.

Вчера шел дождь, и Александр приказал японцам растянуть несколько рогож над стапелем. Под таким прикрытием оставил всех работать.

К каждому японскому мастеру по приказанию правительства приставлен чиновник с саблей, в форменном халате и с косичкой на бритом темени. Все чиновники очень незначительные, ничтожные, но все записаны в государственных документах, все самурайского звания. На первое занятие пришли в храм, полезли вперед, чтобы услышать указания Кокоро-сан первыми, оставили плотников позади. Они должны изучать и запоминать все, чему учатся плотники.

— Вы зачем явились? — спросил Кококольцов. — Подальше, подальше!

Кокоро-сан прилично вытолкал шпионов из храма и просил зайти плотников. Откуда он всех знает по именам? Как научился различать?

Таракити вернулся к своей кривой сосне, очистил ее от корья и, разметив, распилит на две части. На одной тщательно отбил по комлю вытянутой веревочкой, смоченной тушью, черные линии. Это будет нижний футоко, называется ло оер тимберу⁴. Таракити уселся на рогожку, прижал обрубок ногами к пню и небольшой овальной пилой с отточенными и разведенными зубьями стал осторожно делать продольный разрез по черте.

«Говорят, что у Кокоро-сан есть японская жена. Может быть, напрасно говорят, в это трудно поверить. Наши самураи хотели угодить и нашли бедную девушку? Но говорят другое: Ябадоо-сан велел своей дочери стать женой Кокоро-сан. Богатые старики велят дочерям спать с офицерами эбису, чтобы родились дети. Хотят развести новую породу человека во славу Японии!»

Не касается дела. Слушая уроки Кокоро-сан и глядя на его работу, ни о чем плохом не хочешь думать. Небывалый и удивительный случай представился. Матрос Глухарев и даже старый Аввакумов со щекнами в рыжих волосах также помогают.

Два морских усатых воина куют в кузнице скрепки-скобы для кильблоков. Они затянули песню. А вокруг все отчетливее раздается перестук множества топоров и визг пил. Им отвечают молоты из обеих кузниц.

Матросы всегда подбирали песни по работе. Если хорошая погода, до обеда еще далеко, но уже все втянулись в дело — никто не ленится и еще никто не устал. Совсем по-другому, потоньше, отозвались на эту песню несколько землекопов, но вскоре голоса слились и получилось согласно, хотя сначала показалось, что поют две разные песни.

Запели матросы на стапеле. Они влились, как горный поток в большую реку, и присоединились еще многие голоса — в столярке, на верстаках и у козел, в сараях, под навесами и на открытом воздухе, где трамбовали площадку, пилили, строгали, тесали и стучали, и вскоре подхватили сотни усатых моряков. Сила и согласие ясно почувствовались, и песня волновала.

Таракити поэтому еще сосредоточенней и осторожней делал пилой по отбитой тушью черте кривой продольный срез.

Песня становилась еще сильнее и еще шире и выше; казалось, ее подхватили рубчики в красных рубахах, видневшиеся в лесном ущелье, вздымавшемся зеленой стеной от стапеля к небу, как живые кусты красных цветов на скалах и перевалах. Песня грустная и медленная, но на протяжной песне, оказывается, есть где показаться голосам.

⁴ Буквально — нижнее дерево (англ.).

Таракити любит пение. Сам не умеет петь, но умеет понимать и чувствовать. Становится молчаливым, но работается под песню лучше. Сейчас показалось, что он счастлив. Как-то странно, словно слезы готовы выступить, но голова становится ясней и ничто не мешает отчетливо помнить все соотношения каждого из частей футоко. Эти шпангоуты должны стать основой корабля, значит, таким же благородным и величественным делом для Таракити, как эта песня для уса-тых морских солдат. Он не может петь, но под их пение может благородно работать.

Немного погодя, когда песня закончилась, за стапелем затянули что-то по-другому. Вскоре разные песни послышались в разных концах площадки. Тогда под стук своих молотов запели кузнецы.

Ва ку... ва ку-узнице... —

густо ударил хор басов.

Ва-а ку... ва ку-уз-ни-це,
Эх ва кузнице — молодые кузнецы.
Эх ва кузнице — молодые кузнецы!

Опять веселый удалой посвист, на все лады, очень лихой:

...Они ку-ют, приговаривают,
Молотами поколачивают...

Песня оборвалась, а какой-то мастер не остановил работу, вывел молотом по наковальне все ее размеры, как искусный барабанщик. Это Петруха Сизов кузнечит. Матрос очень большого роста, с красивым лицом. Еру-ха Си-зо-фу был смелый матрос, работавший на большой высоте до потопления корабля. На берегу считается мастером на все руки. Очень страшная работа с огнем.

Пойдем, пойдем, Дуня,—

залились высокие голоса. Тяжелые молоты ковали песню вперебой с маленькими.

Пойдем, Дуня, во лесок, во лесок...
Сорвем, Дуня, лопушок, эх, лопушок!

Пели и пели, и оборвали песню, и еще вывели ее узоры, и подкрепили их ударами молотов, но на этот раз под сплошной захватский свист.

Сошьем, сошьем, Дуня..
Сошьем, Дуня, сарафан, сарафан..
Носи, носи, Дуня,
Но-си, Ду-уня, не марай, не марай,
По праздникам надевай, надевай..

Песня стихла, остался один свист, очень дружный, словно неслась туча волшебных птиц.

Кузнецы, конечно, работают искусно, как и поют.

Таракити вдруг вскочил, взял свой новый циркуль и, быстро шлепая разлохмаченными соломенными подошвами по сырой каменистой почве, зашагал на плаз. Продольные срезы теперь сделаны с двух сторон, и размер части вымерен по всей длине. Интересно проверить, как получилось, еще раз смерить циркулем все на чертеже. Он все же мог ошибиться и не уверен! Даже не верит: неужели все так точ-

но получилось? Нигде не ошибся, ничего не косит? И не сбит размер по длине?

С пристани матросы волокли тяжелую балку и протяжно пели, все время добавляя:

Э-эй ух-нем... э-эй ух-нем!

Если такая песня, то готовится какая-то новая работа. Говорят, матросы скоро начнут делать какие-то полозья, как для огромных саней. «У нас нет снега, только на высоких горах. Хотят везти шхуну по песку?» Вот какие мысли приходят, когда они поют: «Эй ух-нем!..»

Глава 4. Шинель и гитара

Война уже кипела... все славянские земли волновались и готовились к восстанию.

И. Тургенев, «Накануне».

Тепло, душно и сеет дождь. Очень тоскливо...

А в памяти Алексея Сибирцева — снежок, огни в окнах в морозную ночь. Ярко освещенные витрины магазинов, скрип полозьев, бег рысаков, запорошенных снегом, снежная пыль.

Тройка мчится, тройка скачет...

Алексей поднялся на кровати и огляделся. Он в японском доме при буддийском храме. Японцы разгородили помещение как бы на восемь маленьких кают для восьми офицеров и юнкеров. Одну большую — кают-компанию — оставили для общих занятий и обедов. Видны балки под крышей. За мутной бумагой окна опять сеет дождь. Не булькает, не льет, а бессильно сеет. Что-то чиновничье есть в этом дожде, будь он проклят!

Англичане пишут в своих газетах: «От Москвы до Севастополя весь путь усеян костями солдат, погибающих от цинги и дизентерии». И еще: «В России развал, мошенничество чиновников, необразованный, не знающий экономики современного мира царь».

...Рядом на постели, на ватном одеяле — гитара. На стене висит офицерская шинель.

А наши войска все идут и идут...

Всюду наши шинели и гитары, терпение и стойкая скука, и кажется, что по всему миру сеет дождь. Не слишком ли скудно для молодой жизни?

Алексей поднял свою мексиканскую гитару и взял первый аккорд. Не тот горький слабый звук, что раздается за стенкой офицерских флигелей в Кронштадте, или в домиках Васильевского острова, или в мазанках на Тамани. Может быть, и в Севастополе в морских казармах. Звук сочный, яркий и жестковатый.

...Подарил ты мне золото колечко...

В соседней каюте под цыганскую плясовую несколько раз топнул кто-то из офицеров, чуть ли не сам Александр Сергеевич Мусин-Пушкин, показывая, что хотя он и старший офицер, а веселится. Да, это он хочет показать, что скучать не надо. Его не зовут иначе как Александр Сергеевич Пушкин. И этим развлекаются! Девать себя некуда...

Алексей отложил гитару.

Вспомнилось лесное село. Обмерзлая кадушка, деревянный ковш.

порог и кошма на двери. Крыльцо, обметенное веничком от свежего снега, метла на видном месте в сенях, жар избы, мужик стучит рукомойником. Солонка на столе, каравай и горячие щи. На стене охотничье ружье.

Распряженный конь в курже полудремлет за бревенчатой изгородью заднего двора, обмерзший колодец, белый от инея колодезный журавль, дети катают бабу снеговую. Розвальни с неразгруженными жердями и небо в высоких и холодных облаках, идущих как полосы далеких льдов в холодном море...

Алексей набросил плащ, взял под него гитару и вышел через двор храма на улицу.

Малые домики под толстыми слоями аккуратно выстриженной соломы. Сушится, вялится рыба на вешалах. Пахнет едко соленой рыбой. Это запахи прибрежных селений Японии и Кореи. Есть тут много общего и с рыбацкими стойбищами на Амуре. Так же ветер подует и пахнет гнилью с вешалов, как где-нибудь в лимане Амура. Так же развешаны гроздья белой и красной рыбы. Чуть сеет дождь. Но там сейчас все во льдах, замерзшее море и снега в голубом сиянии.

Алексей Николаевич отлично помнил розовые кедровые домики городка Николаевска, построенного на высоком берегу под тучными сопками вдоль Амура, и тамошний элинг с полукруглой крышей. А у входа в лиман из Татарского пролива — как у ворот из одного моря в другое — мыс Лазарева с узким перешейком в редком лесу, который, как рука, протянулся от материкового берега к Сахалину и держит на самом краю причудливую сопку, как гигантский замок с башнями черного камня. Как это близко отсюда, но там теперь казармы и гилляцкие зимовья занесены сугробами по самые бревенчатые крыши. Летом желтое зеркало мелкого лимана в вечном волнении. Как чернила льются в лиман, и долго не растворяются в его желтизне чистые воды таежных речек. Собаки с лысынами вокруг глаз залают на идущую под берегом лодку и тут же смолкнут, спрячутся, словно разглядят военные шинели. Засунут морды в нарытые за бревенчатыми юртами земляные норы, чтобы не заедала мошка, от которой приходится все время обивать лапами глаза. Мошка кусает все лето, собака теряет силы, зоркость, слабеет нюх...

Вот и богатый японский дом. Здесь — чертежная.

В обширном дворе господина Ота большое дерево в почках, скоро зацветет.

— Ареса-сан... здравствуйте!.. — встречая Сибирцева и раскрывая зонтик над его головой, говорила Оюки-сан. — Ждем вас на обед.

Алексей положил на ее протянутые руки клеенчатый плащ.

— Я принес гитару, Оюки-сан.

— Ареса-сан! Вы — артисто! Я очень рубуру!

Ее большие глаза откровенно радостны, как у счастливого ребенка. Но она не ребенок, у нее большие и красивые руки и ноги, она высока, стройна, черный ливень блестящих волос льется на плечи.

Он иногда заставлял ее любопытный взгляд на своем лице. Она пристально смотрела на глаза и губы, на щеки, словно хотела тронуть длинными пальцами. Все близко и оскорбительно недоступно.

Она прекрасно понимала всю суть его надменной доброты. В далеком загадочном мире западные люди приучаются с молодых лет ко множеству приятных им ласковых ухищрений женщин. Ее никто этому не обучал, не внушал, она не читала об этом, но понимала, что все так. Она чувствует себя бессильной.

Пришел высокий, сухощавый Ота-сан и присел за столик, мельком взглянул на журнал.

— Гонконг? — спросил он.

В Гонконге Сайлес Берроуз и Джексон в черной жесткой круглой шляпе... Свет в тропиках ярок, гнетущ, скалы и улицы, верно, белы, при таком солнце серый костюм иногда кажется черным. Откуда знает старик Ота-сан про Гонконг? Интересует их все.

Ота-сан сказал, что благодарит господина Ареса за обучение дочери западному языку.

Отношения Алексея с отцом Оюки-сан очень корректные.

— Как поритико? — спросил Ота по-русски.

«Чем не петербуржец? И чем не делец! «Как политика!»»

— Поритико дзен дзен вакаримасен!⁵ — ответил Алеша.

Ота-сан благожелательно рассмеялся. Дочь подала ему чай.

...Неужели вы, Алексей Николаевич, серьезно влюблены? Тогда ваша судьба ужасна. Превратите это, мой дорогой, в светский роман, в развлечение, в пикантную шутку. Не увезете же ее в Россию? Или оставите душевную рану? Ведь у вас в Петербурге невеста... Неужели серьезно?.. Так думают про Сибирцева товарищи?..

«Нет, — отвечал себе Алексей. — Нет, совсем не серьезно!»

— Прощайте, Оюки-сан! До свидания, мистер Ота!

— Так рано?

— Спасибо. Благодарю.

Погода то и дело меняется... Дождя нет. Ветер. У торговца под деревянным навесом фонарь освещает ходовой товар — груды толстых черных палок. Это редька. Ее охотно покупают за гроши хозяйки. Рядом живые рыбины в каменной кадлушке. В соседней лавке мешки риса.

— Шкаев! — говорит кто-то впотымах. — Ступай на бак к дежурному унтер-офицеру. Доложи: я велел десять горячих.

— Слушаю, ваше...

Не было ни кормы, ни бака, ни кают, ни кают-компаний, но остались названия, порядки и привычки. Сохранились законы бака и кают-компаний, кубриков и камбуза. Бака нет, а лупка есть.

Ночь наступила. Сейчас в лагере отхлещут по спине своего товарища, беззлобно, но сильно. Битый встанет, пойдет к фельдшеру. Тот вытрет спину спиртом или смажет.

Усатые унтер-офицеры охраняют порядки. Сами выходили из нижних чинов, их тоже били. Это люди цепкие, умелые, грамотные, не чуждающиеся знаний. Сила, надежная как сталь. Унтера следили строго за каждым шагом матросов. Идут матросы на работу — ни на шаг нельзя отстать. Чуть что — по роже. Смотрят за людьми и юнкера и офицеры. Чужая страна, чужой народ вокруг.

...В кают-компаниях в облаках табачного дыма видна чья-то вскинутая над лампой рука.

— Что же теперь говорить о войне двенадцатого года!

Что тут обсуждалось? Какая новость? Скорей всего старые сведения, случайно дошедшие через американцев.

Алексей переоделся у себя в каюте и вышел пить чай. С театра войны нет известий, достигающие отрывочные сведения скупы. Но у всех душа болит, все думают о войне и нередко безошибочно угадывают то, что еще не известно никому.

«Malakhoff, Malakhoff, Malakhoff!»⁶ — в каждой английской газете.

В этот вечерний час все головой в Крыму, словно именно сейчас там происходит решающая битва.

⁵ В политике ничего не понимаю.

⁶ Малахов, Малахов, Малахов!

Молодые люди с молоком матери впитали понятия о воинском долге и чести. В каждой семье мужчины из поколения в поколение служили в армии, гвардии и на флоте, ходили в походы, участвовали в сухопутных и морских сражениях. Но у каждого свои понятия, свои претензии, счеты с выскочками, со штабными льстецами и карьеристами, с придворной камарильей. В дымном воздухе вдруг задрожит что-то зловещее, воодушевленное и облагороженное идеями гуманности, рыцарства, товарищества, испытанного не раз перед лицом смерти. В плаванье нет повседневных мелочных счетов и расчетов, нет барщины, оброка, приказчиков, нет чиновников — малых и больших, понятие о родине и высшей власти чище и возвышенней.

— Паскевич? Меншиков? Кто же командует?

При упоминании о светлейшем князе Паскевиче вскошил юнкер Урусов.

Дядя его в бытность молодым офицером, выполняя срочное поручение государя, вошел без спроса к командующему, когда тот отдыхал. Паскевич запустил прямо в лицо ему сапог со шпорой...

— Где же теперь, господа, эти старые вельможи, эти самодуры? Им вверена жизнь сотен тысяч солдат и наша честь!

Все ждали, что теперь в России все начнет меняться. Под ударами дальнобойной артиллерии, под действиями паровых флотов! Но бьют не по графу Гейдену, не по князю Паскевичу и не по Меншикову. Гибнут многие тысячи людей. Какой ценой мы познаем свои промахи!

— Паскевич близок государю, господа, — сказал Лазарев.

— Что вы глупости говорите, юнкер! Аракчеева было велено выбрать почетным членом Академии художеств под тем предлогом, что он близок государю... Академики заявили, что кучер Ильюшка еще ближе к государю, чем Аракчеев... И отказали... — сказал старший офицер Мусин-Пушкин.

«Прав один из путешествовавших британцев: послушаешь разговоры в Петербурге — кажется, что вот-вот подымется всеобщее восстание. А все стоит по-прежнему! А ругают правительство и порядки все, даже сами члены правительства!»

...Поутру Можайский, перейдя рисовое поле, по которому на зиму посеяна пшеница, перекрестился и пустил свое новое устройство в небо. Бумажный змей сначала медленно подымался при слабом ветре. Захлопали его двойные плоскости, и четырехугольник с таким же крестом, как на Андреевском флаге, взвился в безбрежную высоту и пошел на фоне золотистой снежной Фудзи, а лейтенант побежал, держа в руке конец шнура, по отмелям и лагунам, окруженный толпой прыгающих и орущих ребятишек, которых Александр Федорович везде и всегда собирал.

Американцы, когда он жил на «Поухатане», подозревая в нем шпиона, выяснили, что в каюте гость их режет бумагу и клеит. Матрос, приставленный к нему, доложил, что лейтенант ладит бумажных змеев и пыхтит, как над важным делом, словно хочет пустить секретный доклад в атмосферу об американских машинах. Матрос был курносый, услужливый, с гордо поднятой головой...

— Зачем опять привезли столько бумаги и тушь? — спросил Александр Федорович, приходя после испытания в чертежную. — Неужели все-таки будем чертить салазки?

— Да, спусковое устройство, — ответил Сибирцев.

Разговор офицеров Татноске перевел Оюки.

— Зачем салазки? — спросила девушка. — Нет снега.

— Да, нет снега. Это будут большие салазки. Больше, чем ко-

рабль. Покатим на них к морю корабль, когда будет готов. По сути обезьяний бизнес, напрасное дело, дипломатический реверанс нашего адмирала.

— Салазки уже начаты нашими матросами без всякого проекта,— пояснил Можайский.— Унтера вымеряли и приступили к делу.

— Адмирал велит сделать по строящимся салазкам проект. Хочет дальше учить японцев, оставить им все документы, все чертежи до мелочей включительно, чтобы они могли изучать.

— Исполать! Потрудимся, раз так! Правда, Оюки-сан?..

— Да, да...

— Сегодня мы едем с вами на охоту, Сибирцев,— сказал Александр Федорович Можайский.

— Что такое?

— Да, приказ адмирала! Мне и вам от японцев приглашение!

— Но нам же не позволяется дальше чем за семь ри...

— Эгава позволяет куда угодно и даже просит. Тут много кабанов. Сын его едет с нами, наблюдение обеспечено.

Пришел Мусин-Пушкин.

— Вам ехать на охоту, господа! Посмотрите, что у них за леса, как содержатся... Евфимий Васильевич разрешает на два дня отсрочить работу. А ваши летающие аппараты, Александр Федорович, еще никому не понадобятся целое столетие!

— Почему, Александр Сергеевич, так говорите? — холодея, спросил Можайский.

— Да потому что вам еще нужно время, чтобы изобрести их, потом понадобятся средства, а вы не миллионер, значит, нужно мецената искать. После, когда пойдет слух, что изобретение важное, европейские жулики постараются выкрасть и выдать за свое. А наши жулики, столичные, объявят, что изобрели не вы! Вот тогда великое открытие свершится и наука восторжествует! Господа... с богом на охоту! Изучайте сосны и колючки!

«Какая-то жалкая рыба взлетает,— думал с возмущением Можайский,— а человек не может... Не верю, когда вокруг нас океан воздуха!»

«Ты, Ареса,— воин, буси,— думала Оюки.— Тебе со мной скучно. Я очень несчастная, Ареса-сан. Ты уходишь и оставляешь меня одну...»

Глава 5. Нищий монах под дырявым зонтиком

Плотники свернули с тропы и, сложив соломенные зонтики, стали продираться сквозь чащу вверх по склону горы.

Монах ждал в условленном месте, у скалы, обросшей колючими вьюнками, плети которых мокры и упруги, но на вид вялые и слабые. Монах сидел под дырявым зонтиком. Конечно, голоден, ему негде приютиться. Где же он был эти дни? Сгорбился от тяжких забот и одиночества!

Широкое лицо монаха оживилось, острый взгляд узких глаз повеселел; видно, рад, что сейчас получит чашку риса. Значит, не унывает; может быть, большой забавник! Сейчас видно, что молод, сорока еще нет; мужчина в силе. Совсем стал не похож лицом на нищего.

После взаимных поклонов Хэйбей поставил перед скитальцем ящичек с холодным обедом — бенто. Монах взял палочки и стал быстро забрасывать еду в рот. Плотники сидели молча.

В лесу слышались шаги. Монах не обернулся, хотя лицо его выразило смятение. Но тут же он овладел собой. Явно это человек с несколькими лицами.

Сердце Таракити обмерло, он увидел, что наверху, совсем рядом, люди. Но, слава богу, это не японцы, а два усатых эбису с ружьями, оба в непромокаемых плащах из клеенки и в сапогах. Один из эбису — очень высокий — Можайский. Другой — Ареса-сан. С ними два морских солдата, тоже в плащах. Японцев не было.

— Ишь ты! — сказал один из морских воинов.

— Чертова перечница! — добавил другой, оглядев монаха.

Монах и плотники ринулись под скалы и залегли ничком. Ясно, за эбису должны идти шпионы. Но следом спокойно прошел с оружием для охоты японец, видимо, проводник, отставший, может быть. А через несколько минут появились еще двое, явные шпионы, — шли мелкими шажками, сгибаясь виновато, словно стыдясь даже деревьев. Идут вдвоем, чтобы следить не только за эбису, но и друг за другом.

Трое лежали не шевелясь и почти не дыша. Шаги стихли. Кроме пения птиц, в лесу ничего не слышалось.

Монах сказал уверенно, что уже бояться нечего. Поднялся, отряхнул одежду от мокрых желтых листьев и раскрыл зонтик.

Опять перед плотниками сидел настоящий монах, будто сошедший с рисунка из старой книги. Но времена меняются и благочестивая внешность может быть обманчива. Говорят, что на дорогах собираются шайки нищих монахов, напиваются в дешевых гостиницах, устраивают драки. При этом все монахи что-нибудь проповедают.

— Это знакомые? — взглянув вслед ушедшим, спросил монах.

— Да, — ответил Хэйбей.

— О-о! — многозначительно протянул бродяга, давая понять, что подобное знакомство для него недостижимо; восхищен и завидует.

Монах еще раз взглянул в бенто. Быстро доел рыбу. С испугу он не лишился аппетита. В ящичке еще оставались продолговатые катъши из риса.

Таракити пришел сюда без особенной охоты. Изучение западного судостроения занимало его несравненно больше, чем проповеди бродячего монаха. Но не хотелось отпускать Хэйбея одного. Да, кстати, можно все же послушать! Отец как-то сказал, что и темные личности иногда высказывают верные мысли.

— Хорошие шпионы не стыдятся своего дела! Мелким шпионам поручаются мелкие дела, например все время досаждают кому-нибудь, чтобы тот все время чувствовал, что за ним следят. Это обычно применяется к тем, кто не виноват ни в чем, кто любит бакуфу и патриот, но кому надо насолить и кого еще нельзя убить сразу, как бы по ошибке.

Таракити мороз подирал по коже от таких разговоров.

Лицо монаха стало сытым и самодовольным. Оно даже пополнило. Провожая на работу, тетя кладет Хэйбею в ящичек вкусные ку-сочки.

Монах поднял руку и приоткрыл рот. Парни смотрели и ждали. Монах печально повесил голову. Потом глянул исподлобья. Неужели на крайней грани отчаяния?.. Боятся преследования? Или возмездия?

— Но почему же?.. — вдруг с яростью воскликнул он, как бы перебивая сам себя. Лицо его выразило вдохновение, и он заговорил почти в упоении. — Почему же мы верили, что залог благоденствия в том, что мы навечно отгорожены от лживого, отвратительного христианского мира? Нас учили, что мы за это должны от всего отказываться и подчиниться бакуфу, лучше которого нет ничего на свете. Но вот наступает время, когда в совершенное, исключительное, идеальное в своей стране никто не верит и вечные истины и законы становятся смешны. Не так ли? Почему это вдруг произошло? Мы наконец про-

зрели? До сих пор были слепы? Не заблуждаются ли те, кто теперь отвергает все, во что мы верили?..

«Может быть, он христианство проповедует?» — подумал Таракити.

Хэйбей, как певец и сочинитель, конечно, слушал с удовольствием, ловил каждое слово, казалось, готов влезть монаху в глаза. Видно, восторгается слогом, красноречием и образованностью монаха и как тот мечется мыслью во все углы. Что-то доказав, сразу же бесстрашно заявляет противоположное, опровергает все, что сам только что утверждал. Не накурился ли он до одури какого-то контрабандного зелья? Наверно, никогда нельзя уличить и посадить такого в клетку. Очень ловкий оратор. Но как он мог впасть в такую нищету?

— Где же правда? Сохранять изоляцию и уничтожать иностранцев? В этом? Или же отважно отбросить и растоптать старые законы, если они устарели? Отчужденность Японии привела нас к счастью и к несчастью. Японцы стали едины, но зазнались и ослабли, в то время как весь мир двигался вперед. Теперь испытываем стыд и позор! Но все переменится! — вдруг осмелел монах. — Когда-то в Японию свободно приходили купцы из разных стран. С купцами на кораблях прибывали христианские священники. Японцам разрешалось принимать их веру и плавать в другие страны.

Монах смотрит Таракити в лицо. Невежливо не поддакивать!

Монах стал рассказывать, как японцы жили вместе с португальцами и с испанцами, какие красивые португальские одежды, как носились кружевные жабо и камзолы, башмаки с пряжками. И длинные волосы! У них золотые кресты на шее! Потом всех испанцев и португальцев сожгли! Западные учения признали лживыми! Сожгли всех христиан, сдирали с живых кожу. Японцев, принявших христианство, бросали вместе с их семьями в жерла вулканов... Монах умолк и заморгал.

— А мне приходится скрываться. — И, как бы очнувшись от сна, спросил: — Скажи, а у тебя есть русские друзья?

— Друзей нет. Знакомые есть, — с гордостью ответил Таракити.

— Придите оба завтра вечером в храм у верхнего рисового поля. Я буду ждать. Не бойтесь...

Монах достал из ящичка оставшиеся катышки риса, завернул их в бумажный носовой платок, спрятал в карман в рукаве халата.

— Хотел бы стать богатым человеком? — вдруг спросил он.

— Да, — ответил Таракити.

— А ты?

— И я, конечно.

— Приходите завтра вечером в шинтоистский храм...

— Ну, как ты думаешь, как быть? — спросил Таракити у товарища, когда бродяга исчез.

Плотники возвратились на площадку, где строилось судно. Уже поздно. Но не все эбису ушли в лагерь. Несколько перепачканных матросов и два японца вышли из кузницы. Там кирпичная печка прогорела и развалилась, они оставались после отбоя, заканчивали перекладку. Провозились и еще не все доделали.

Под берегом стояла широкая лодка. Матросы столкнули ее.

— Никитка, — позвал Петр Сизов, — иди!

Петруху, который теперь кузнечит, все японцы знают. Хотя не считается мастером, но работает хорошо. Очень заметный воин.

Прежде, если матросы звали японцев ехать с собой в лодке, те, ударяя себя ладонью по шее, показывали, что им за это отрубят голову. Или молчали, делая вид, что ничего не понимают, и норовили поскорей уйти. Сейчас двое мецке и переводчик Иосида наблюдали

сверху. На глазах у них Таракити и Хэйбей сбежали с обрыва и залезли в лодку вместе с матросами. Мецке, наверно, завидно глядеть, как в отошедшей в сумерки западной шлюпке замелькали огоньки: в лодке все дружно закурили. Теперь такие случаи часты, их уже не запрещают, о них невозможно докладывать, не хватит бумаги. Самих мецке выгонят, если будут только этим заниматься...

— Где же вы пропадали так долго? Если бы вы знали, что пропустили! — говорил Николай Шиллинг, выходя из своей каюты и встречая возвращавшихся с охоты товарищей. — Утки? Такое множество?

— Как видите, барон, — отвечал Можайский.

— Прекрасно! — ответил Шиллинг.

Все стали рассматривать разложенную на лавке дичь.

— А теперь вы рассказывайте, господа, — сказал Сибирцев, садясь за чай. — Что у вас?

— Сегодня уехал гостивший у нас феодальный вельможа. Как только вы ушли на охоту, — заговорил мичман Зеленой, — прискакал самурай с известием, что едет князь!

— Адмирал назначил барона главным распорядителем! — пояснил поручик Петр Елкин.

— Князь Мидзуно из соседнего города Нумадзу, — подтвердил барон Шиллинг.

— Феодал, со всей семьей и свитой! — подхватил Елкин.

— Князь! О-о! Соодеска! Э-э... э-э... Хи-хи... — с изумленно-испуганным лицом молвил Можайский, подражая японским чиновникам.

— Позвольте, вы не говорите главного! — воскликнул юнкер Корнилов. — Князь приехал с дочерью!

— Прелестная японочка! — отрываясь от чтения и откладывая книгу, подхватил старший офицер Мусин-Пушкин.

— А какие туалеты! Шелка толщины сукна!

— Как вы узнали, юнкер?

— Каков же сам феодальный владыка? — спросил Сибирцев. — О нем говорили, кажется, что характерный красавец — даймио.

— Мы желели, что вас не было, Александр Федорович, — сказал Шиллинг.

— Мы в горах слышали — как будто музыка играла. Очень, очень жаль... К тому же княжна молодая? В самом деле князь хорош?

— Мало сказать — хорош! Мы с толку сбились, не зная, как встретиться получше, чем занять, что играть. Решили концерт начать...

Сидевшие у стола или стоявшие у стен офицеры и юнкера глядели на пивших чай охотников затаив дыхание. Рассказ Шиллинга подходил к решающему событию.

— Пропустили такой случай! — с укоризной сказал Сибирцев, посмотрев на Александра Федоровича.

— Прибыли головные самураи. За ними шествие. Свита в парадных одеждах, значки князя несли на древках, воины с копьями и саблями. Князь и члены его семьи в паланкинах на плечах носильщиков... И вот появился из каго маленький сухой старичок, неказист собой, щупленький, скуластый, плосколицый, нос вровень со щеками, сам кривоногий, господи, ни дать ни взять — амурский гиляк Афонька!

За столом грянул хохот. Можайский руками развел и вскочил из-за стола.

— Так что же наплел Эгава? — спросил Алексей.

— А что же Эгаве оставалось? Начальство и его сиятельство не могут не быть красавцем!

— Так ведь это самое интересное для меня! Такого я князя пропустил! — воскликнул Можайский. — Серьезно Афонька?

— Право! Только в накрахмаленных штанах и в шелках, которым цена дороже золота! А мы ему турецкий марш...

— И дочь?

— Дочка, господа, красавица. И с ней придворные дамы. Держались все с достоинством. И собой хороши.

— И что же дальше?

— Евфимий Васильевич предупредил: принять без тени европейской спеси. Никаких демонстраций ложного чувства собственного превосходства. Это противоречит духу христианства. Принять как равного! Как европейского вельможу, не глядя ни на что, чем бы он вас ни ошарашил. Конечно, все суетились: что такое, откуда? Что случилось? Князь приехал всех этих земель. Приказ был: парадная форма, никакой иронии.

— Угостили князя завтраком. Свозили на шхуну со всей семьей, на вельботе, с гребцами в форме. Трапы выстлали коврами. Потом пир в храме Хосенди. Во дворе духовой оркестр исполнял Бетховена, потом из Верди, вальсы, польки. Соло на кларнете — Григорьев... Потом хор матросов исполнял военные песни. Юнкер Лазарев пел из «Риголетто». А потом грянули плясовую, матросы плясали «Камаринскую», и что они вытворяли — уму непостижимо. Я сколько служу — не видел ничего подобного. Гости замерли. Матросы плясали без усталости полчаса и, кажется, напугали японцев сильнее всякой артиллерии.

— А княжна?

— Настоящая аристократка. Заметно было, что ей нравилось.

— А папаша сидел, словно его стукнули по голове.

— Мы понять не могли, почему он недоволен, — продолжал Шиллинг. — Только потом узнали, что причина не в том, на что мы подумали.

— Так где же этот князь? — спросил Можайский.

— Князь сегодня уехал в город. Сказал, что очень понравилось. Благодарил адмирала почтительно.

— Как равный равного?

— Нет, пожалуй, как высшего. Они подчеркивают, что Путятин — посол императора.

— А дочь уехала?

— Нет, дочь его осталась.

— Она здесь? — изумленно воскликнул Можайский. — Где же она?

— В храме... За рисовым полем, где бонза Фуджимото. Там с ней и ее дамы. Князь пояснил, что оставляет дочь, чтобы она тут изучала западную живопись и музыку.

— Но это уже не Афонька, господа! — сказал Сибирцев.

— Вот это сюжет! Но вы, господа, хоть разговаривали с княжной? — спросил Можайский. — Ты, Николай?

— Да. Она очень естественно держалась, любезно говорила. Отвечала всегда находчиво.

— Барон их всех рассадил очень удачно, — подхватил юнкер Корнилов.

— Когда концерт закончился, княжна поблагодарила адмирала и поклонилась ему почтительно. Евфимий Васильевич спросил, понравилось ли, как юнкер Лазарев исполнял арию, ответила, что да. Я спросил, хороша ли западная музыка. «Да, очень». «Верди? Берлиоз? Турецкий марш Моцарта? Что больше всего?» Вдруг она мне отвечает по-русски: «Камаринская».

— Ей понравился Григорьев с кларнетом и как прыгал боцман Черный, — сказал Мусин-Пушкин.

— Переводчик сказал, что их восторг трудно выразить. Еще князь хотел посмотреть европейский барабан... А потом спросил, где карусель. Ну, мы домо сумимасэн...⁷

— Сегодня, когда гости уехали, со свежими сплетнями явился в храм Татноске. Сказал, что сначала князь испугался духового оркестра...

— А что же видели вы, где вы были?

— Мы были внутри Японии! Вблизи селения, где находится поместье Эгавы. Прекрасная долина в горах! Рай земной! Право, не стоит пускать туда иностранцев.

— А Эдо видели?

— Нет. Говорят, что Эдо за горой Фудзи.

— У них все за горой Фудзи. Но с какой стороны?

— Только пыль золотая горит на солнце за Фудзи,— сказал Алексей Сибирцев.— Поэтому кажется, что там за ней грандиозный, сияющий в золоте столичный город.

После работы Хэйбей спросил товарища:

— Пойдем в храм?

— Да,— ответил Таракити, хотя ему не хотелось.

— Может, возьмем с собой еще кого-нибудь?

— Надо идти только вдвоем.

Хэйбей сегодня разговаривал с Путятиним. Адмирал перед концом дня на стапеле смотрел работы. Спросил, не трудно ли пилить, держа дерево ногами. Хэйбей сказал, все плотники работают ногами и руками. Раз Хэйбея спрашивает адмирал, значит, можно отвечать. Путятин сказал, что видит в первый раз. Хэйбей полагает, что об этом можно сочинить еще одну смешную песенку, начать теми же словами:

Путятин ни атама о...⁸

У горы, за черной рощей кипарисников стоят на поляне ворота шинтоистского храма — два столба с выгнутой переладиной. Забора нет. «Похоже на виселицу», — сказал когда-то матрос Яся. Вся деревня знает матроса Ясю. Так японцы зовут Васюку Букреева, про которого ходят легенды. Все в деревне любят морского солдата Ясю.

За воротами в двух десятках шагов — выгнутый мостик. Дальше, почти на опушке леса, — храм из новеньких кедровых досок, чистый, как душа. Очень таинственно и в сумерках страшновато. Но почему буддийский монах скрывается в шинтоистском храме, у своих соперников?

— Опасно, но пойдем смелей,— сказал Таракити.

Плотники минули ворота и мост, подошли к домику. Там никого не было. В лесу лаяла лисица. Где-то далеко выли шакалы. Но это все ничего. Хуже, что нет монаха.

— Монах исчез? — спросил Хэйбей.

— Наверное, он вынужден был скрыться.

Таракити и Хэйбей пошли к ближайшему буддийскому храму, который стоял пониже, у горы. Вокруг полей пришлось пройти порядочное расстояние. Стемнело. Этот храм обнесен крепким забором. Ворота еще не закрыты. Таракити и Хэйбей вошли в помещение, низко поклонились появившемуся на скрип половиц хозяину — бонзе. Но и тут больше никого нет, никаких гостей.

⁷ Извинились.

⁸ Голова у Путятина.. (Намек, что болит.)

Таракити положил на алтарь угощение, приготовленное для беглого монаха, а Хэйбей осторожно поставил кувшинчик с сакэ. Теперь у плотников есть оправдание и доказательства. Если с монахом что-то случится, можно все объяснить.

Вечер был такой тихий, что на пути в деревню, у храма Фукусэнди, услышали разговор. В храме сборище. Разговаривают бонзы. С ними русский. Отец Ва-си-ре⁹. Громко говорят! Вдруг послышался знакомый голос. Плотники переглянулись. Это он? Бродячий монах? Вот он где! Надо поскорей убираться.

Ведь он учил: «Терпеть можно и нужно. Но не двести пятьдесят лет и не без смысла! Восемнадцать эр! В чем выход?»

«В шпангоуте!» — хотел тогда ответить Таракити.

Отец говорит, что на свете много негодяев и они сразу появляются там, где важные дела. Бродяга попал в храм Фукусэнди, в очень богатый, хороший храм! Там князь Мидзуно всегда останавливается. А в Эдо монах жил в храме Сиба, так сам сказал.

— Мне кажется, что он не монах, — сказал Хэйбей.

— Кто же он? — испуганно спросил Таракити.

Хэйбей шел, подняв голову, о чем-то размышляя, словно разглядывал ветви сосен на фоне ночного неба.

— Новое ученье — открыть границы Японии? Он говорит, что ум человеческий еще не в силах этого понять.

— А если он напишет донос на нас?

— Пусть только попробует. Тогда я наговорю на него столько, что он не рад будет.

Да, Хэйбей умеет ответить. У поэта язык привешен. Еще песенку сочинит и слова возьмет из слоговой азбуки, да так, что про монаха прямо не будет упомянуто, но по знакам намек понять можно.

Прошли мимо канцелярии бакуфу. Дом Ябадоо похож на несколько лачуг под одной крышей. В правом крыле дома — в правом дворце, как теперь называют, — слышались голоса. Что за странный вечер — люди говорят внизу, у моря, а на горе слышно. Говорят в домах — слышно на улице. Имеется ли описание таких вечеров в трудах по подслушиванию для мецке? Левый дворец, как известно из описаний столиц и княжеских городов, почетней правого. Левая сторона всегда важнее правой не только у шогуна в Эдо, но и в деревушке Хэда у старого самурая, внедряющего по приказу бакуфу прогресс...

Ичиро сидел за столиком и пил чай.

— Где был? — спросил он у вошедшего сына.

— Ходил помолиться.

— Монаха остерегайся, — сказал отец.

Отец-то откуда знает? Конечно, нехорошо скрывать от него, но приходится.

— Как сегодня работал? Что нового сделали?

Такой вопрос старый плотник задавал ежедневно. Сам Ичиро опять ходил в лес за сучьями и дудками, много думал про западное судостроение. Ноги устали, но еще не болят и голова ясная.

— Опять слышал, что иностранцы плохо работают. Отделка брусьев и досок у них хуже принятой в Хэде. Все делают начерно.

Таракити не согласен. «Начерно»! Отец еще недавно говорил, что вся Хэда недовольна: построили плаз и стапель, столько леса ушло зря. Все новое не нравилось.

Известно, что семь поколений этой семьи были плотниками. Может быть, еще раньше предки плотничали, но про это не говорится,

⁹ Так японцы называли священника Василия Махова.

это неприлично. Почему-то считается, что со времени начала управления страной شوгунами рода Токугава сменилось семь поколений. Как в роду Эгавы! Нашего дайкана! С воцарением рода Токугава началась настоящая счастливая история, и поэтому никто не смеет сказать, что знает что-то про жизнь своего рода в дотокугавские времена. В детстве бонзы так учат, как будто до шоугунов Токугава история не существовала. Семь поколений нам разрешено знать. А у самих Токугава за это время сменилось, кажется, восемнадцать шоугунов. Конечно, до них жизнь была христианская, нечистая. Хотя древние ткани ценятся до сих пор. Резные изделия тоже. И стихи.

У отца за домом стоит сарайчик с козлами, с пилами, с камнями для точки инструментов. Раньше, бывало, приходил рыбак, кланялся. Пил с отцом чай. Сакэ тогда редко угощали. Заказывал новое судно... «Какое вы хотели бы? — спрашивал отец, — Судно или лодку? Большое фунэ или маленькое?» Или просили: «Почините наш корабль». Отец, как искусный мастер, мог лечить суда. «Пожалуйста, господин плотник! Мы идем из Осаки... открылась течь... Мы по рекомендации Ота-сан». «Мы по рекомендации Ясобэ-сан». Суда строились обычно на лужайке у жилья и подпирались жердями. Чем выше становились борта, тем больше жердей вокруг упиралось в них. В сумерках казалось: корабль с веслами. Спускалось судно — отца угощали сакэ.

Или явится приказчик от Ота-сан, приглашает к хозяину. Ота-сан нанимает плотников строить большое судно. Это всегда выгодная работа. Так работали семьей или артелями, нанимались помочь другим плотникам или нанимали их в помощь себе. По праздникам десятские собирали всех крестьян своего десятка домов, читали им законы государства и рассказывали о величии дай-ри.

Все плотники имели огороды, а на маленьких полях сеяли рис. У семьи старого Ичиро рисовое поле было в вершине долины, почти в горах, поэтому дом прозван «Верхнее Поле». Единственная легенда про семью Таракити. Все остальные легенды про государство, про властителей и про святых.

Но вот отец стал болеть. Ичиро некоторое время скрывал, что плохо видит, но люди узнали. Заказов больше нет. Братья отца немного помогали, потом стали забывать Ичиро, у всех у них свои дела и заботы. Таракити хотел наняться в чужие люди, за работу, как известно, свои всегда мало платят, особенно племянникам. Помог Кикиути. Взял в свою артель. Потом — просто счастье — в деревне началось западное судостроение. Отец больше не жалуется на братьев. Первые дни Таракити работал с Кикиути и подчинялся ему. Но сейчас они равны — оба артельные старосты.

— Я тебя учил. Смотри не поверх носа, не на высоту западного сооружения, а на доску. Отдельвай, как я тебя учил. А как же ты пилу развел? — говорил Ичиро.

— Да, отец, я все сделал...

Таракити знал, о чем думает отец. Не о своем глазе и не о своей нужде.

Таракити рассказал, что сделал первый футоко.

Таракити желал узнать, почему все части западного корабля из наборного дерева, а не из цельного. Если сравнить части корабля с частями человеческого тела, например с ногой? Если сломать ногу, а потом срастить ее, разве она будет крепче, чем несломанная? Отец обычно говорит, что надо меньше рассуждать, ему кажется, что такие сравнения неудачны. Он все свое: «Говорит тот, кто не знает, кто знает, тот молчит». Конфуцианские заветы! А похоже, что все части западного корабля сращиваются из нескольких кусков. Кокоро-

сан — русский офицер на постройке шхуны — сказал, что Таракити должен сам все понять и что ни в одной стране он не видел таких старательных плотников, как в Хэде.

Таракити все же спросил у отца. Ичиро ответил, что и раньше кое-что знал. Японцы тоже умели делать части корабля набором.

— От этого корабль крепче?

— Конечно, крепче. Дерево деформируется со временем. Корабль не должен подвергаться опасности, если деформируются его большие части. Еще хуже, если что-то треснет, или сгниет, или сломается. А три составные части, все три слоя, не могут одновременно измениться или сломаться. Поэтому все делается из составных кусков, слоями. Даже ваш киль, что-то мощное, единое, основа судна и его фундамент, как ты сам объяснял мне, и тот сделан из многих частей.

— Да, в европейском судостроении ничего не делается из сплошных деревьев.

— Это все ради крепости, чтобы корабль не ломался весь сразу. Мы это знали. Умели сращивать части. Но за это не хвалят. Могли спросить: «Наверное, ты хочешь построить корабль дальнего плавания? Кто тебя подкупил? Зачем хочешь быть лучше других?» Иностранцы теперь делают части набором для себя, чтобы идти на море. Но из плохого леса.

— Они торопятся, работают очень аккуратно. Деревья даны хорошие.

Ичиро сказал, что построил за свою жизнь много кораблей. Таракити показалось, что отец знает все. «Неужели ему известно и то, что мы теперь изучаем? Как честный человек, он подчинялся властям всю жизнь и еще теперь не смеет проговориться. Самому не полагается знать или изобретать что-то важное». Когда Таракити учился, бонза читал детям китайскую книгу о том, как надо подчиняться старшим, слушаться и ждать позволения. Приводился пример, что в Китае казнили одного ученого за то, что он без разрешения у себя дома написал историю государства. А говорят, хорошо написал!

— А ты знаешь, что есть мастера, которые так обрабатывают доски и брусья, что построенное судно не может утонуть, даже получив пробоину? Делается, как пробка. Эти суда не горят, их невозможно зажечь.

— Где такие мастера?

Ичиро мог бы ответить: «Это я!» Но не сказал. Кто знает — тот молчит. Говорит тот, кто не знает.

— А куда исчез монах? — спросил отец, выслушав признание Таракити о таинственных встречах.

— Не знаю. Кажется, его голос мы слышали, проходя мимо Фукусэнди.

— Я про этого монаха слышал. Он не только к вам приставал. Он ко всем вяжется. Говорят, шлялся по Токайдо, много пил. Играл в азартные игры... Но... говорят... недавно он... — зашептал Ичиро, — на тракте в одном из храмов... сидел в очень богатой одежде.

— Где ты это слышал?

— Люди говорят.

— Люди что не выдумают!

— Я сам его видел один раз в лесу, когда собирал дудки, он читал какие-то записки, доставая из рукава, и меня не заметил. Если хочешь узнать что-нибудь, то спроси у таких нищих, как я. Но... Кто знает — тот молчит. А как Оаке-сан?

— Про Оаке-сан говорят: лысый и старый, но все понимает.

— И я бы пошел на работу — понял...

На другой день Таракити привел на работу отца. Ичиро положил зазвеневший мешок с инструментом на траву.

Старик и старший начальник мецке посмотрели друг на друга у трапа, ведущего на стапель. Ичиро поклонился, посчитав встречного за мастера, но потом разглядел и ужаснулся. Мало кланялся!

— Сам Танака-сан!

Ичиро стал нижайше кланяться и, подымая голову, в оправдание открывал пошире большой глаз.

Таракити задал дело — строгать доску. «Сын над отцом командует!»

Матросы посмотрели с любопытством. Первый японский старик на работе. До сих пор присылали молодых. Как они стараются — молодых не хватает, — подняли старика.

Васька Букреев засмеялся и показал на шхуну:

— Скоро поставим шпангоуты.

Старик достал из ящичка и сунул Букрееву кусок редьки.

— Күсай! — сказал он.

Он знал, что матросы всегда голодные.

— Күсай! — угостил он Маслова.

День будет жаркий, тихий, в воздухе пахнет водой и цветами. А налетит ветер и пригонит тучу со снегом! И так бывает!

Глава 6. Господин плотник

Через два дня переводчик Иосида, закончив утренние объяснения, спросил у Таракити:

— Кто, по-вашему, лучше всех из хэдских мастеров?

— Конечно, Кикути, — ответил Таракити.

— Какую он хочет взять фамилию?

— Не знаю.

Хотя известно, что Кикути хочет называться Оаке и его уже многие так зовут, но Таракити не мог отвечать за него. Оаке Кикути! Красиво! И мастер хороший! До сих пор фамилии разрешалось иметь только знатным и состоятельным.

— А какую вы возьмете фамилию?

Таракити засопел от напряжения, но не мог вымолвить...

— А мой глаз лучше стал немного видеть! — вмешался в разговор Ичиро, подходя с чурбаном, который он держал на спине на веревках.

Старик понес груз дальше. У старого есть перед молодым важное преимущество. Молодому надо все показать и объяснить. Старый понимает без объяснений. Но у сына приходится спрашивать. Он все знает. Шпунты, голландские зубья, щиты, нагели из кореньев, нижние части шпангоутов с пазами, а верхние — пни, все эти названия частей западного судна изучаются хэдскими мастерами. Старосты артелей во всем разбираются. Нельзя, не разрешается сказать, что все это уже известно было когда-то прежде. Поэтому молодым японцам кажется, что раньше ничего хорошего не было. «Как не было?» — хочется закричать. Учили, что вредное запрещено. А теперь мы это вредное изучаем как новинку.

Ичиро доволен. Он хороший плотник, это все увидели. Матросы его знают. Сын получил позволение взять его в артель полноправным рабочим. Только старички из тайной полиции поглядывают косо. Он их побаивается, поэтому кланяется им усердно и многократно, низко, особенно почтительно, сколько бы раз ни встретил. Он учит сына, что полицию надо любить, и поэтому никогда ее не страшится.

В Японии давно уже создана тайная полиция. И, может быть, ты-

сячу лет наблюдает за японцами. За это время все японцы взяли с нее пример и научились наблюдать. И теперь все сами наблюдают за полицией еще лучше, чем полиция за ними. Поэтому Ичиро все знает. Ему известно и про монаха. Но кто знает, тот молчит...

А что же делать тому, кто не знает? Есть и такие, кто и знать ничего не хочет, только пьянствует. Их на работу не берут и близко не подпускают.

...Иосида скуластый, с лысиной во всю голову, без бороды и усов, тощий, как скелет, одетый в самурайский кафтанчик. Был смолоду простым рыбаком, его ветром унесло в Россию, он там долго жил и вернулся в Японию. Теперь здесь назначен переводчиком для нижних чинов и рабочих, это значит, что очень важный шпион, хотя и не главный. Ичиро ему всегда умильно улыбается, словно так рад, так тронут... Старого закала, знает прекрасные народные оттенки вежливости. Истинно народный старичок!

Ичиро кажется, что на постройке корабля нашел ответы на множество вопросов, накопившихся у него за долгую плотничью жизнь.

Так вслед за сыном вступаешь в величественный мир поэзии судостроения! Ичиро в душе давно согласился, что стапель необходим, и уже более не жалеет, что хороший японский лес напрасно израсходован.

Артель собирала нижнюю часть шпангоута. Как плоская дуга из кусков гладко обструганной сосны складывалась на траве. Бамбуковой лучинкой, смоченной тушью, сын делал на ней какие-то западные пометки и тут же рядом писал объяснительные знаки по-японски. Два рабочих поднесли пень — верхнюю часть шпангоута. Руки у них маленькие, а части корабля кажутся гигантскими.

Верхняя часть наглухо легла на нижнюю, зубья и шипы входили в пазы и гнезда. Между собой все футоко поперек зубьев очень крепко соединялись болтами и деревянными гвоздями. Осторожно загоняя их топорами, два косматых плотника с поязками над лбами скрепили весь шпангоут. Деревянные гвозди входили плотно, словно сливались с его частями, сращивали их. Они еще разбухнут потом в воде и совсем срастутся.

Вокруг стапеля стоят готовые шпангоуты. Когда они составятся в килем, то будет похоже на скелет гигантского животного.

Прямых шпангоутов для средней части корабля сделано тридцать шесть. Поворотных — для носа и кормы — одиннадцать. Вот с этими поворотными пришлось повозиться.

Изучали слова: «малк», «смалковать», «размалковать». Смалковать — значит стесать часть шпангоута, который поставлен будет не прямо, а с наклоном, а боковая, наружная часть его должна составлять что-то единое не с прямой, а с кривой линией обвода судна. Теперь выглядит очень художественно. Когда работали, то боялись, старались не ошибиться.

Вокруг стапеля и шпангоутов собралась целая армия морских воинов. Несколько матросов взялись за большой шпангоут, сделанный Глухаревым — морским мастером небольшого роста, с узкими усами во все лицо.

Сразу же все артели плотников-японцев бросили работу и кинулись к стапелю. Матросы внесли по широкому трапу гигантскую деревянную подкову. Толпа японцев на стапеле вежливо посторожилась.

Шпангоут велик, в два с половиной, даже в три раза выше человеческого роста. Матросы, внесшие его, и шедшие рядом с ними разделились поровну и встали по обе стороны килея. Держали шпангоут на руках легко, словно это не многопудовое дерево, а что-то вроде

веера, и спустили его нижней частью пазом на киль. Тут же сразу снова подняли всю громадину. Морской воин Глухарев с узкими усами стал прирезать шпангоут, подгоняя гнездо по килю.

Колокольцов подошел. Таракити давно просил, чтобы Кокоро-сан разрешил ему прирезать хотя бы один шпангоут. Японцы толкались, теснили матросов, их лица выражали крайнее любопытство, похожее на испуг. Некоторые поглядывали на Кокоро-сан, желая знать по его лицу, все ли происходит как следует. Таракити от волнения, казалось, лишился речи.

— Здорово, молодцы! — раздался у стапелей знакомый голос.

— Зрав желаем, ваше прест-во! — грянули матросы.

По трапу поднимался Путятин. С ним Уэгава Деничиро, Эгава Тародзаймон, капитан Лесовский, офицеры и переводчики. Торжественность происходящего увеличивается, это отзывается в сердце.

— Прирезаем мидель-шпангоут, Евфимий Васильевич, — доложил Колокольцов.

Таракити знал, что такое мидель. Это шпангоут, который должен встать на середине киля, основной, главный, с него все начинается. От него к корме и к носу корабля будут поставлены другие ребра будущего корабля.

— Делаем насадку, Евфимий Васильевич, — сказал Глухарев, когда адмирал подошел.

— Смолы все еще нет? — спросил он.

— Покуда еще никак нет. Пока делаем насадку на бумагу, пропитанную жиром.

Унтер-офицер присел на корточки, глядя, как паз шпангоута садится по масляной бумаге. Мидель-шпангоут сел отлично. Как гигантские рога или как два ребра от хребтины величайшего животного возвышались над стапелем.

— Теперь, Таракити, давай твой шпангоут, — сказал Колокольцов. — Первый от миделя к корме. Глухарев и Аввакумов помогут.

Аввакумов — морской воин и мастер кораблестроения, большого роста, с широкими рыжими усами.

— Готов следующий? — спросил Путятин.

— Готов, Евфимий Васильевич. Все шпангоуты готовы. Подавайте сюда свой, — повторил Колокольцов, глядя на молодого японца тревожно, словно на экзамене при инспекторе он вызывал лучшего из своих кадетов.

Таракити вздохнул прерывисто и поспешил вниз. Хэйбей перепрыгнул прямо со стапеля на траву.

— Экий разбитной! Хоть в марсовые! — сказал Аввакумов.

Путятин еще прежде заметил этого длиннолицего проворного парня. Он к тому еще и весельчак. И певец...

Таракити и Хэйбей с товарищами понесли шпангоут.

— Дай пособлю, — сказал Маслов у трапа.

— Ничего, ничего! Я сам! — ответил по-русски Хэйбей.

Матросы смотрели с недоверием и ревностью.

— Каково! — воскликнул сидевший на корточках поручик Карандашов, поднялся и дал дорогу адмиралу.

— Посмотрите, Евфимий Васильевич, как он линию приреза сделал! — обратил внимание адмирала Колокольцов. — Ее нельзя заметить, как будто киль и шпангоут срослись.

Адмирал нагнулся, посмотрел, потом достал лупу.

— Действительно, с трудом можно заметить линию замка.

— Вот он и сам... Матросы зовут его Никита...

— А как твое настоящее имя?

— Таракити. Артельный староста,— пояснил Таракити по-русски и взглянул на Колокольцова как бы в поисках одобрения.

Александр Александрович молод, двадцать один год ему. А чем не инженер! И японца нашел по себе!

Вносили третий и четвертый шпангоуты.

— Пусть Таракити объяснит, как пилами делали шпангоут,— обратился адмирал к переводчику.

Таракити стал рассказывать.

Путятин, выслушав, обнял японца.

— Спасибо, дайку-сан!

«Дайку-сан? — обмер Таракити.— Господин плотник?»

«Оба еще мальчишки!» — хотел бы сказать Путятин. Что-то еще более значительное, чем сознание разрушаемых сословных перегородок, шевельнулось в душе адмирала-мореплавателя.

— Путятин ни атама о! — сказал Евфимий Васильевич по-японски словами песенки и постучал себя по голове, показывая, что забот много, атама о побаливает.

Тут Хэйбей обмер. Он стал бледен, как старый эбису.

Путятин постучал и по голове Хэйбея, словно хотел сказать, что много еще у кого будет голова болеть.

«Значит, слышал, что мы сочинили про него песенку. Как теперь? Что будет?» Никогда бы не подумал! Путятин знает его песню! Как могло случиться? Столько шпионов, а песня стала известна! Это ведь, наверное, должно сохраняться в тайне от иностранцев...

Путятин заметил замешательство молодых плотников. «В Европе премьер-министры любят, когда на них в газетах печатают карикатуры, зачем же мне обижаться в подобном случае!»

...Киль обставлялся пока еще светлыми деревянными ребрами по шестнадцать футов в вышину.

— Сегодня всем угощение от Путятина. После работы рис, рыба и сакэ,— объявили рабочим переводчики.

Рис уже варился в котлах.

— Что же будет дальше? — спросил Уэкава.

— А дальше заделаем пространство между шпангоутами, высмолим, обошьем снаружи досками, опять просмолим и сверху обошьем листами меди.

— Теперь я понял, как строится европейский корабль,— сказал Уэкава.

Заметно, что Эгава Тародзаймон печален, но спохватывается, улыбаясь корректно, когда к нему обращаются.

А на обрывах и на склонах гор обильно зацвела в эти дни мелкими цветами нежная сакура, там все окутано розовыми облаками. Но в розовом цвете сакуры есть что-то очень зрелое и крепкое, немного зловещий коричневый оттенок в один тон со скалами и камнями Идзу. Это красивые и нежные, но каменные цветы...

Под деревьями сакуры, у вырубленного матросами обрыва два столба с перекладиной. К перекладине привязаны и натянуты закрепленные за кнехты два каната.

— Ру-би! — командует Аввакумов с широкими рыжими волнами усов во все лицо.

Два матроса мгновенно опускают свои острейшие, отточенные мечи и разрубают оба каната.

— Опять ты не вовремя, отстаешь, хрен голландский! — ворчливо говорит унтер-офицер матросу Строду.

Канаты вытягиваются, и концы их снова закрепляются.

— А ну враз! Да не руби прямо, секи вкось, ты...

«Почему голландский? — подымая палаш, обиженно думает Строд.— Почему не латышский?»

— Что они делают, чему учатся?

— Наверно, рубить головы...— говорят проходящие мимо крестьяне.

Вечером на столе стоял самовар, который возили в Симоду на переговоры с американцами. В салоне у адмирала все пьют чай. Евфимий Васильевич помешивает в стакане оловянной ложечкой. Серебряные и золотые он раздарил японцам.

— Работая пилами, они экономят лес,— объясняет Александр Колокольцов,— выпиливают из одной штуки по два и даже по три шпангоута, что возможно благодаря толщине заготовленного для нас леса. Если бы не японские плотники, работа задержалась бы...

Злые мысли являлись в этот вечер в голову адмирала. Он все время помнил, как смутились сегодня на стапеле его офицеры. «Где не надо, они, оказывается, все понимают по-японски. Что я сказал не так? Хотелось бы их сейчас спросить: вы-то что? вам-то какое до этого дело? зачем вы пялили глаза, словно я у всех на виду опростоволосился? Всегда были дисциплинированные, послушные, во всем согласные со мной! И вдруг я японца-рабочего назвал «господин плотник». Не притворяйтесь, вы далеко не в своих аристократических чувствах уязвлены. Я-то знаю, в чем тут собака зарыта. Вот уж никогда бы не подумал! Колокольцов — правая рука моя, а посмотрел, словно у него кость в горле застряла. Даже мой племянник Пещуров не глядел, глаза отводил. Воротил голову, точно рой ос на него несся. Стыдно за дядю? Что дядя-реакционер до сих пор выгравлял красные идеи, опровергал демократизм, воспитывал вас как ярых монархистов и верноподданных? Глушил, приказывал. И на тебе! Когда понадобилось, притворился, поступил как демократ, выказал противоречие своим же понятиям, себя опроверг, осрамил, признался, что без демократических идей теперь нигде на свете ничего не сделаешь. Вот как вы рассуждали! Значит, вы тайком всегда осуждали меня? Эх, господа, и не извиняйтесь! Этого не забуду. Вот когда я вас понял. А я-то думал — молодые люди из дворянских семей, цвет флота... Ну, впрочем, пока мы тут, это еще ничего, но ведь мы же все домой хотим вернуться... Я видел побольше вас, господа! — желал бы сказать адмирал.— Жил в Европе и наблюдал. Я видел не только то, что есть, но и куда все идет. Чартисты только еще начинали, а я все понял. Я знаю о французской революции и вообще о всех событиях сорок восьмого года куда больше вас. Да, я читал современные философские сочинения, какие вам недоступны.. Путьтин, как и все, кто выслужился, закоренелый, матерый реакционер и консерватор? И ханжа! Только так! Поэтому ему даются важные поручения? Да! Но если бы не мне, то кому? Кому? Подумайте, разве вы не знаете, кто у нас вокруг престола? Бывало, что за подвиг, за храбрость и я воздавал должное русскому матросу. И обнимал, и целовал, представлял к наградам, производил в унтера. Хочу произвести в офицеры нескольких человек из нижних чинов. Но не называть же их «господин матрос»! Бывало, конечно, что я в физиономию заезжал, как Берзию из-за молока в самую гуманную пору моей жизни! А тут все смутились, как будто я крикнул: «Долой царя и Нессельроде!»...»

Он, Путьтин, не хуже своих молодых офицеров знал, что, конечно, со временем все сословия и все монархии наверно падут. А они — его офицеры — притворялись до сегодняшнего дня, что не знают ничего подобного. Хорош же в их глазах адмирал был до сих пор! «Вы

врите мне в лицо и вдали всегда. Сегодня я вас поймал! Если б я был Муравьев, я бы так и заявил вам: мол, я не революционер, а таким только притворился, чтобы вас поймать. Но Путятин не таков, и вы всё верно видите сами. Но все же я вас пригласил на самовар по случаю прирезки шпангоутов, к себе на чашку чая, а не закрыл дверей и не объявил, что занят. Мне не стыдно никому смотреть в глаза».

Путятин обвел тяжелым взором лица офицеров. Кажется, ничего не понимают: молодость! Хотя и серьезные. Взял стакан и стал пить, пока чай не остыл.

«Рабочие в Англии требуют прав союзов и прав на выборах! Стыдно, пошло во всем ссылаться на англичан, тем более мне. Диккенс верно изобразил их — скряги, эгоисты и торгаши, а мир ждет от этих английских спекулянтов идей свободы! Я жил с ними, знаю, они еще и предатели: из выгоды, даже из-за пустячной, от кого угодно откажутся и кого угодно предадут, даже друг друга». Конечно, было у него и другое мнение об англичанах, но война сейчас обязывала так думать. Боже спаси братья с них пример! «Со временем на всей земле будет равноправие, но не от них пойдет. Скорей от нас. Но если бы я это говорил вам, то добавил бы: «Будет всюду, но не у нас!» И все! И была бы глупость сказана. Так пусть если не нам, так хоть японцам! Пусть они из моих рук получают понятия о человеческом достоинстве. Как же, ваше высокопре-ство, говорите «господин плотник» японцу, а сам крепостник? Вам не стыдно? Вы надеваете перед японцами личину английского свободолюбия и лицемерия и обучаете их тому, что вы удушаете у себя в России. Лгун вы, ваше превосходительство. И подлец? Нет, вы сами лгуны. Все как сговорились. Я не ждал! Так разочароваться в своих любимцах! Чего я хочу? Я знаю, чего хочу! Я хочу, чтобы в Японии, где господствуют предрассудки и темнота, явился свет понятий, представление о величии свободного человека и равенстве со всеми. В глубине души я согласен на все... Только бы не касались религии, церквей. Но беда не в этом, а в том, что японцы — дельцы. Самураи, и даймио, и все их чиновники раскусили, чего я хочу, и живо усвоили высокие идеи! И меня, конечно, дурачат. Прислали Уэкаву, он ведет себя так, словно без пяти минут Робеспьер. А они тем временем гнут свое. Им нужно, чтобы мы построили второй стапель и заложили для них вторую шхуну. Мы сделаем все, что в наших силах. Но мы уедем, а что тут будет? Какую тут свободу установят Эгава и бакуфу?»

Все офицеры поднялись.

— Спокойной ночи, Евфимий Васильевич!

— Премного благодарю вас, господа, за рвение и усердие.

— Рады стараться...

— Сегодня у меня скучновато было... Уж прошу простить...

(Продолжение следует)



НИНА МАКАРОВА

★

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ

На уроке...

Над городом каждый день кружили бураны, взбивали невиданной высоты сугробы, метели заносили снегом трамвайные пути и снежными шлейфами перегораживали троллейбусные дороги.

«Снег, снег, снег...» — тихонько напевала девочка в высоких сапожках, мини-пальто с меховым капюшоном и с ярко-желтым модным портфелем. Она пробиралась к школе узенькой тропкой, протоптанной поверх штакетника — сугробы вокруг были выше человеческого роста.

К школе можно было пройти и широкой расчищенной дорогой, но тропкой было ближе и интересней.

Школа, похожая на несколько прилепленных друг к другу разной высоты кубов, была выстроена еще в годы первых пятилеток. Ученики ее тогда ходили в одинаковых зеленоватых юнпигтурмовках, пели «Все выше, и выше, и выше...» и устраивали общественный суд над «типичным представителем кающегося дворянства Евгением Онегиным».

Теперешние ее питомцы знали принцип термоядерной реакции, приглашали к себе на «Голубой огонек» ученых из академгородка, помнили фамилии чемпионов Олимпийских игр и почти между делом, снисходительно читали о человеке, который «родился на берегах Невы»...

Сняв пальто, девочка стала больше походить на взрослую девушку. Высокая, тоненькая, с пышными рыжими волосами и ярким румянцем. Выражение глаз ее постоянно менялось: то ожидание и радость вспыхивали, то озабоченность и досада сквозили в них.

Класс встретил ее громкими голосами, хлопанием крышек, топотом. Она торопливо окинула ожидающим взглядом парты и тут же заулыбалась, отбросила пряди медных волос со щек и какой-то радостной, танцующей походкой прошла на заднюю парту. В последний год она стала самой высокой в классе, обогнав всех подружек.

Мальчишки и девчонки, больше похожие на отчаянных шестиклассников, чем на учеников восьмого класса, прыгали с парты на парту, шлепали друг друга книжками и были счастливы.

Но рыжеволосую словно не касались их радости. Она вытащила тетрадки и зачем-то листала их длинными вздрагивающими пальцами...

Заливистый звонок с трудом утомил класс.

— Здравствуйте, ребята! — Молодая учительница опаздывала к уроку и все еще была в том ускоренном темпе, в котором поднималась по лестнице. — Итак, мы сегодня учили наизусть первую главу.

Ну, кто же у нас начнет? Наверное, Светлана? Чтобы задать тон! — И учительница взмахнула рукой, словно конферансье, который предлагает лучший номер программы.

Лицо рыжеволосой покрылось таким ярким румянцем, что, казалось, от этого у нее глаза наполнились слезами. Она поднялась и, независимо вскинув голову, не пошла, а понесла себя к учительскому столу. И, глядя поверх голов, стала читать:

Онегин, добрый мой приятель,
Родился на берегах Невы...

Она читала хорошо, чувствуя каждое слово, голос у нее был сильный, счастливый, звонкий. Она уже не смотрела поверх ребят, ее взгляд задумчиво, медленно, осторожно переходил с одной парты на другую.

Вот она встретилась глазами с девочкой, которая сидела в первом ряду у окна. Очки, коротенькая челка, остренький носик. Эта девочка была самой умной в классе. Победительница областной олимпиады по физике. Университет уже обеспечен. Читая стихи, Светлана обо всем этом, конечно, не думала. Было просто хорошо, надежно встретиться взглядом с подругой. Девочка с челкой бодряще улыбнулась. А Светланин взгляд кого-то искал. Но его тут же перехватил ехидный, вьедливый, прицельно прищуренный зрачок самого маленького и самого шустрого мальчишки в классе. Он еще, видно, не остыл после звонка: ерзал на парте, кривлялся.

«Задира ты, но тебя я не боюсь!» — мельком сказали Светланины глаза...

Там некогда бывал и я,
Но вреден север для меня...

Уверенно, громко звучал голос. И вдруг взгляд будто натолкнулся на преграду.

В среднем ряду насмешливо-спокойно смотрели на нее серые, под широкими, почти сросшимися бровями глаза.

Она не сразу поверила, ресницы у нее дрогнули, но она продолжала ожидающе смотреть.

Тогда твердый и теперь уж откровенно насмешливый взгляд скользнул по ее лицу, волосам...

Светлана сбилась, яркий румянец сошел. Стали видны проступившие веснушки, желтовато-бледное лицо испуганно напряглось.

— Ну что ты, Светлана? — вопросительно взглянула на нее учительница. — Забыла? Нетвердо выучила?

— Нет... я сейчас, — опустив глаза, проговорила девушка и погасшим голосом продолжала:

Мы все учились понемногу...

Но тут же замолчала, потому что поняла, что перепутала какие-то строчки, и, упрямо сузив глаза, начала снова...

Она еще ошибалась и забывала, но все-таки дочитала главу.

Учительница недовольно поглядела на класс:

— Как по-вашему, ребята, хорошо нам сегодня читала Светлана?

Класс притих, видно, сочувствовал неудаче, девочка с челкой встревоженно смотрела на подружку.

— Кто скажет, что можно поставить за такое чтение?

Все молчали. Только в среднем ряду поднялась рука.

— Скажи ты, Сережа.

Он встал. Лицо с почти сросшимися черными бровями было спокойным. Не торопясь, по-деловому он сказал:

— Как всегда: много претензий и мало смысла. Поставьте трой-

ку.— Он пригладил аккуратно зачесанные волосы и только после этого опустил на место.

Даже учительница не ожидала такой суровой оценки. Но все-таки, подумав, она вывела в журнале тройку.

— Садись,— кивнула Светлане.

И та с вымученной, жалкой и поэтому некрасивой улыбкой пошла на заднюю парту.

Все это было только мимолетным, незначительным эпизодом в жизни класса, и поэтому учительница принялась спокойно объяснять дальше о Евгении Онегине:

— Итак, ребята, мы с вами уже говорили, что главный герой романа в стихах — характерный представитель своей эпохи...

Карманный фонарик

Всю жизнь люди ждут от своего дня рождения чего-то необыкновенного — это я знаю по себе.

Сегодня день рождения Димки. Ему исполнилось восемь лет. У него голубые правдивые глаза, светлые волосы, словно у барашка, закручиваются мелкими колечками, быстрые неутомимые ноги и жадные ко всяким механизмам руки. Он очень нетерпеливый, стремительный, кажется, внутри у него заведена пружина.

— С днем рождения! — позвонила я утром по телефону.

— Спасибо.— Голос у него не праздничный.

— Ты узнал меня? Я желаю тебе здоровья и пятерок! Я тебе купила новый «МАЗ». Серый, с шинами в елочку. Как настоящий..

— Да... Спасибо.— И все тот же голос сообщил: — У меня большое горе. Клавдия Ивановна сказала, что я всем мешаю.

Мне показалось, что голос у него дрожит.

— Не плачь,— попросила я.— Тебе же восемь лет уже!

— Я не плачу,— ровно ответил Димка.— Клавдия Ивановна поставила мне по дисциплине тройку... А это самая последняя отметка по дисциплине,— объяснил он.

По другим предметам он частенько получал тройки.

— За что же тебе поставили тройку?

— Потому что я очень шумлю...

— А ты не можешь не шуметь?

Димка подумал немножко и очень серьезно, с полным доверием ответил:

— Могу, конечно, но тогда буду бегать...

— А не шуметь и не бегать ты не можешь?

— Наверно, не могу,— безнадежно сказал он.

Я, конечно, понимаю, если человек провинился, он должен быть наказан. Но ведь у Димки сегодня день рождения! Нельзя, чтобы в этот день человек не почувствовал никакой радости. Я предложила ему поехать за город. Там недалеко от Обского моря у меня есть сад.

Он минутку подумал и голосом, полным покорности горькой судьбе, сказал:

— Мама ушла на работу. А без разрешения — не могу...

Димкина мама работает на телевидении, у них там по воскресеньям не бывает выходных.

— Сейчас же позвоню ей и все улажу...— пообещала я.

И вот мы уже в электричке. На Димке новая бескозырка, вдоль околыша которой золотыми буквами написано «Варяг», на рукаве бушлата две красные шпалы, по Димкиным понятиям он старшина первой статьи. Морская служба — новое его увлечение.

Лето еще не наступило, и в электричке было не очень много народу, спокойно, солнечно, чисто. Димка сразу же прилип к окну: он первый раз в эту весну ехал за город.

Электричка шла по высокой насыпи, а внизу вдоль шоссе дорожные столбы чуть не по самые изоляторы стояли в воде. Река вышла из берегов и затопила прибрежные тальники и даже мичуринские домики, которые были построены довольно далеко от берега. Между этими домиками теперь ездили на лодках.

— А вас море не затопило? — спрашивал Димка.

И не смог спрятать разочарования, когда мы сошли с электрички и увидели, что на море еще лежит лед. Плотины закрывают ему дорогу, и он медленно истаявает на одном месте. Димке, видно, очень хотелось въехать в наш сад на лодке!

День был по-летнему теплый. Из коричневых березовых почек высунули зеленые клювики туго сжатые листочки.

Наши сады разбиты на большой поляне, среди сосен и берез. Здесь всегда тихо, а сегодня и совсем все замерло: смородина уже выбросила бледно-зеленые флажки цветов, а малина только-только начала просыпаться от зимней спячки и грела на солнышке красноватые озябшие побегов. Почки на яблонях и ранетках заблестели, словно их покрыли лаком.

На соседних участках прошлогодние листья убраны, и там вдоль дорожек — где ей разрешается расти — пробилась густая ярко-зеленая трава. А в нашем саду земля еще устлана темным, сверху подсохшим, а внутри сырым слоем прошлогодних прелых листьев. В общем, работы мне предстояло много.

— Дим, я поработаю, а ты пока побегай один.

— Хорошо! — весело откликнулся он уже откуда-то с высоты.

— Не лазь по деревьям, порвешь штаны! Отдай лучше белкам гостинцы.

— Хорошо! — спускаясь на землю, легко согласился он.

В эту весну у нас на деревьях жили две белки — Рыжка и Седая. Они сбросили зимние серые шубы, и одна из них стала огненно-рыжей, у другой шейка и ушки почему-то остались седыми.

На самой большой березе недалеко от нашего участка мы устроили «столовую» для белок: прикрепили дощечку, а над ней сделали невысокую покатую крышу, чтобы «столовую» меньше засыпало снегом и заливало дождем. Сюда складывали кедровые орехи, пряники, семечки, которые привозили из города. Белки привыкли к этому, и стоило нам появиться в саду, они уже были тут как тут: нетерпеливо пощелкивая, перелетали с дерева на дерево над кормушкой, иногда даже спускались на землю и подбегали к самому крыльцу садового домика.

Димка скрылся в доме, куда мы занесли свои сумки, но вскоре возвратился без орехов и пряников.

— А есть у вас еще грабли? — Он нетерпеливо смотрел на меня.

— Поработать хочешь? — обрадовалась я помощи. — Под крыльцом лежат. Но сначала все-таки отдай белкам наше угощенье.

Он притащил кульки, вытряхнул их в кормушку и сразу же взялся за грабли.

Мы вдвоем сгребали в кучи прошлогодние листья, потом я набивала ими ведра и уносила на дорогу, где горел костер.

Димка работал азартно. Он собрал две огромные кучи, я не успевала за ним со своими ведрами.

— Дима, ты же устал. Отдохни.

— Скажите, а за такую работу премия полагается? — вместо ответа задал мне вопрос Димка.

— Конечно полагается,— с готовностью ответила я.

— А какая? — Димка от нетерпения даже грабли уронил.

— Яблоко, самое большое и румяное! — вспомнила я о привезенных яблоках.

— Нет! А несъедобное полагается? — явно на что-то намекал мой помощник.

— Несъедобное? — растерялась я.— Но у меня здесь ничего нет. Книги старые, ты их знаешь.

— А карманный фонарик полагается?

— Но у меня нет его! — запротестовала я.

Димка стремглав бросился в дом. Я вслед за ним поднялась на крыльцо. А он уже выскочил мне навстречу, торжествуя неся помятый, с облупленной серой краской карманный фонарик.

— Это же старый, не работает,— виновато объяснила я.— Где ты его разыскал?

— Он еще в прошлом году у вас был!— Димкины глаза светились счастьем.— Лежал в ящике с гвоздями. В нем нужно только сменить батарейку.

— Возьми, конечно,— согласилась я.

А весенний день уже не казался мне таким солнечным и теплым. Значит, вот почему Димка так старательно работал? Значит, не такой уж бескорыстный у меня друг?

Я молча взялась за ведра, а Димка убежал со своим фонариком. И хотя почти все листья были уже убраны, это теперь не радовало.

Подумаешь — листья. Подумаешь — смородина. Плохо, когда узнаешь, что человек хуже, чем казался.

Вскоре Димка вернулся.

— А еще что делать? — спросил он.

— Больше ничего не надо. Ведь больше нет премий!

Он как-то испуганно поднял глаза на меня. Но ничего не сказал. Потом мы молча пили чай.

В электричке, когда возвращались домой, через несколько скамеек от нас ехал мужчина в дождевике, с ружьем и большим коричневым сеттером. Собака набегалась по весенним полям и сейчас сладко дремала у ног хозяина.

Димка в конце концов ушел к ним. Вначале он стоял в сторонке, потом заговорил с охотником, потом погладил осторожно собаку. А к концу дороги сеттер уже протягивал Димке лапу и улыбался черной влажной пастью. Про фонарик Димка, конечно, забыл.

В следующее воскресенье я приехала за город одна.

Наши сады цвели. Над бело-розовыми шапками яблонь и ранеток вились пчелы, тянулись к солнцу, словно приподнимались на цыпочки тюльпаны...

Под самой большой березой валялись дощечки: наверное, ветром сорвало беличью кормушку. Надо было ее прибить на место.

Я вошла в дом, взяла молоток, выдвинула из-под топчана ящик с гвоздями и в нем среди гвоздей и шарниров увидела старый, помятый карманный фонарик...

Там, вдали...

Дрожащей рукой старик нес рюмку с коньяком, изо всех сил стараясь не пролить на скатерть или себе на колени. Наконец он одолел пространство от стола до губ и плеснул сколько-то в рот. Коньяк обжег десны, опалил язык, и горячий глоток прокатился от горла до живота. Это было приятно. И оттого, что он почувствовал вкус выпитого, старик выцветшими глазами победоносно поглядел на всех...

Прежде всего — на дочь. Потому что теперь она была центром его жизни. Она умывала, одевала, кормила его. Сам он часто не мог не расплескав донести ложку до губ. И сердился на свои непослушные руки. Порывался сам одеваться, но его бросало из стороны в сторону и приходилось опираться на руки дочери. С ней он спорил, иногда вслух, а чаще мысленно. Спорил, потому что у нее еще было какое-то несерьезное по молодости лет, как ему казалось, отношение к жизни. Сейчас она засмеялась:

— Ну, папа, ты просто орел!

Он все еще смотрел на нее, потому что и переводить взгляд быстро уже не умел. И может быть, поэтому, а может быть, коньяк обострил его глаза, увидел, что она тоже уже стареет. И морщины около рта, и поседело коротко стриженные волосы. «Но у нее они густые и все еще вьются», — с завистью подумал старик. А у него голова почти голая — только бесцветный пух. Ей, наверное, шестьдесят? Ведь он сам доживает уже девятый десяток. Значит, и ее старость уже где-то за первым углом. А старость — это пустыня.

Но он еще умеет прорываться к людям. Вот и сегодня вышел к столу. И даже вышил. Сумеет ли она так в его годы?

У него засосало в груди. Он знал: это жалость скребется. Он давно уже запретил себе жалеть кого-нибудь. В его длинной жизни было столько потерь... Он тут же рассердился, что дочь разбередила давнишнюю боль в сердце. И сердито отвернулся от нее.

По правую руку сидели гости. Большие синие глаза женщины с чужь ленивой улыбкой смотрели на его трясущиеся пальцы.

Старик спрятал мерзнущие руки на коленях. И поглядел на гостя. Тот тоже улыбнулся. Но только губы раздвинулись, а глаза словно по забывчивости пытливо смотрели на старика. Гость был еще молод и не верил, что когда-нибудь сам состарится.

Это были самые близкие друзья дочери. Старик это знал. Поэтому-то и вышел сегодня к столу. И еще в прихожей, опираясь на палку, взял холодной усохшей ручкой теплую большую руку гостя и поднес к губам. А после этого, как вот и сейчас после коньяка, заглядывал в глаза: «Вам приятно, что я сумел поцеловать вашу руку?» Она покраснела, не зная, что ему ответить на этот вопросительный взгляд. Она была молода, уверена в себе — и вот покраснела. Старик остался доволен.

За столом громко смеялись, много, с удовольствием ели и пили. Но только старик знал, что сумеет донести коньяк до губ и не расплескать его — может быть, значительней всего, что они делают в своей молодой, шумной, суетливой жизни...

С другой стороны от него сидела внучка. Он не хотел поворачиваться к ней. Потому что давно сердился на нее. Она была врачом. И ему казалось, все время смотрела на него как на подопытного кролика. Она часто мерила у него давление, спрашивала, как работает желудок, заставляла больше лежать. Он не хотел лежать. Еще належит. Тут нет ее заслуги, что он прожил уже почти девяносто лет... И потом, он заметил, если внучка сердилась на него — дочь относилась к нему особенно ласково и заботливо. А если дочь уставала, замолкала, не нянчилась с ним, вот тогда оттаивала внучка.

Но все равно дочь была для него важнее. Она умела посмеяться в самую трудную минуту. Ему с ней было легче. Как сегодня, например. Утром он хотел сам натянуть штаны. Но только поднялся с постели, его так шатнуло, что он чуть не расшиб дурацкую башку о шкаф. Ох и разозлился он! Когда вошла дочь, он нарочно еще раз встал сам — теперь он знал, если будет падать, она его удержит. Встал и несколько раз притопнул и даже подпел себе: «Ты, старуха,

на носок, я — старик — на пятку». Она посмеялась вместе с ним и помогла ему надеть штаны. А внучка бы прочитала лекцию, как он должен себя вести, и смотрела бы на него осуждающе из-под узеньких насупленных бровок. Чужих бровок. У них с дочерью черные и широкие.

Внучка придиралась к каждому его шагу. И когда он целовал руку у женщины, она смотрела с насмешкой, и когда он пытался шутить, она старалась отвлечь от него внимание. Конечно, и сейчас она осуждала этот его глоток коньяка.

Он не хотел на нее смотреть, не хотел замечать этого глупого самодовольства, но глаза уже обратились в ее сторону и он встретился с ее взглядом, не злым, а полным непролившихся слез...

И в это время дочь — случайно или тоже увидела эти готовые вот-вот брызнуть слезы — торопливо встала и принесла на стол большую зажженную красную свечу, а верхний свет потушила.

— Давайте посидим при свечке... уютнее.

Зачем она это сделала? Старику свечи напоминают только покойников, которых он когда-то хоронил.

А внучка передохнула и провела по глазам рукой, вытирая слезы. И опять смотрела на него придиричиво.

Тогда он медленно, опираясь на палку, поднялся и мелкими шажками ушел к себе. Не сказав ни слова.

Теперь самой старой за столом осталась дочь. Он знал — без него она становится самой старой. И опять засосало в груди, заскреблась жалость. Чтобы справиться с этой жалостью, он подумал: дочка сейчас будет рассказывать про какие-нибудь его промахи.

Но он и этим гордился: они обязательно будут говорить о нем. Может быть, для этого и ушел так внезапно.

— Гаснет рассудок, — поправляя фитилек, печально, ни к кому не обращаясь, сказала старшая хозяйка, когда шаги старика затихли в его комнате. — Он меня совсем не стесняется. И это облегчает уход за ним. Сегодня, — она улыбнулась снисходительно, — в одной рубашке пустился передо мной в пляс. А вчера...

Она не успела договорить, потому что до них долетела песня:

Там, вда-аля, за-а реко-ой...

Немощный старческий тенор был слабым, как пламя свечи, но чистым и верным.

Старшая хозяйка шепотом сказала:

— В молодости он хорошо пел.

В небе ясно-ом заря догора-ала...—

тянул стариковский голос. И в этом голосе слышался протест, слабое, но упрямое сопротивление времени. И хотя он долетал из соседней комнаты, всем казалось, что уже из другого мира.

И за столом притихли, старались не смотреть друг на друга...



ДЕНИС ГЛОВЕР



БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИН

С английского

Январь. Двадцать четвертый год.
Ушел от нас Владимир Ленин.
Как нам постичь его уход?..
Но мысль бессмертная живет
В путях грядущих поколений:
Живой росток всего нетленной,
Живое дерево — растет.
Растет и не страшится бурь.
Величье Ленина измерьте:
Ветвями мудрого бессмертья
Ствол упирается в лазурь.
Не как религиозный миф
(И так в истории бывало!)
Бессмертен вождь, идей начала
В реальной жизни воплотив.
Он чудо сотворил, склоняясь
Над шахматной доской вселенной,
Когда возник, объединяясь,
Союз республик вдохновенный.
Возможно ль гения почтить
Тоской угрюмых песнопений?
Времен связующая нить
В живой чреде его свершений.
Он вечен — жизни торжеством,
Бессмертьем в подвиге живом.

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

Впервые в день Октябрьской годовщины
Иду по Красной площади. Стою,
Чтоб наглядеться на войска в строю,
На шествие чудесной дисциплины;
Идут солдаты, моряки идут
В решительной готовности к отпору.
Все до последней пуговицы тут
В ажуре. Нет придирчивому взору
Где разгуляться! Правде вдохновенной
Они верны и миссией горды.

Я, Денис Гловер, я, бывлой моряк военный,
Свидетельствую — с выправкой отменной
Армейские и флотские ряды!
Потом спортсмены шествуют в строю,
Потом идут рабочие, крестьяне:
В невывмуштрованном, в их вольном стане
Я узнаю единую семью.
Республики, сомкнувшись в тесный круг,
Здесь шествуют. И, ярко разодеты,
Девчонки-школьницы вздымают вдруг
Гигантские бумажные букеты!
Шагают под кремлевских башен сенью,
Грядущее себе в пример беря.
Веселье. Живость. Голос одобренья.
Немеркнувшее солнце Октября!
И я стою здесь и машу рукой
Незыблемости праздничного строя.
Надел я старый свой мундир морской,
Мундир времен полярного конвоя.
Девчушка покосилась на меня
(Ну — крохотулька в нашем коллективе!).
Я подарил значок ей с птицей киви,
И вспыхнула она ясней огня,
Восхищена, довольна (морячок
Заморский! Вот уж хвастать буду завтра!),
И в свой черед вручила мне значок
И куколку в скафандре космонавта.
Я сохранил ее наивный дар
(О, этот звездолетчик деревянный!),
Московский теплый сувенир желанный,
Исполненный почти волшебных чар!
А что до танков, пушек и ракет
В их межконтинентальности суровой,
То это факт, и факт уже не новый,
Но в неизбежном зле коварства нет:
Сочтем, увы, необходимым злом
Известные оттенки всеоружья...
Был праздник славен силою содружья,
Доверьем и надеждой крепок дом!
Здесь и постиг я с искренностью всей,
Что в нашей жизни всякое бывало,
Но русские не подведут друзей
И отдают друзьям своим немало!
Вдали от Красной площади, кочуя
По океанским голубым валам,
Вновь в русский дом, что мил и дорог нам,
В один прекрасный день войти хочу я.
Хочу пройти по площади святой,
Хочу глазеть, не насыщая взора,
На лукови старинного собора,
Цветущие веселой пестротой!
И стать поодаль и спросить чуть тише,
Чем прочих разговоров тарарам,
Слегка прищурясь на блаженный храм:
«А, кстати, кто раскрасил эти крыши?
Завидую умельцам малярам!»
Пройду по этой стороне рабочей,

Раздумий наслаждаясь высотой:
Ведь у всего, что видел я, есть зодчий
Проникновенный, мудрый и простой,
Чье творчество преобразило век.
(Клеветники забыли, может статься,
Что этот непреклонный человек
Умел порою от души смеяться!)
О чем тогда я думал, гражданин
Страны далекой, стоя на параде?
Союз республик крепок и един
И жаждет мира созиданья ради.
Он заявляет: мира я хочу!
Ему любое дело по плечу.

ЛЕНИНГРАД

Ленинград! Для всех, кто любит вольность,
и для всех времен, для всех племен —
непреклонной воли колокольность,
золотых имен набатный звон!
И проспекты здесь равновелики
творчеству Великого Петра;
люди здесь светлы и яснолики,
знают цену своему вчера.
Мир сокровищ и музейных рубрик,
эрмитажной прелести покой,
и союз пятнадцати республик
под простертой ленинской рукой!
И опять к Неве. Однажды утром
здесь ошвартовались корабли.
Их, омытых вешним перламутром,
моряки колонной привели.
Я на них с дотошностью немалой
все глядел, придира мореход;
а наутро под зарею алой
корабли ушли (видать, в поход).
Славный город. Мужество и вера,
Гром победы, вызволения весты!
В кителе морского офицера,
я живым и мертвым отдал честь.
А потом на крейсере «Аврора»
повидал бывалого сапера:
мины устанавливал в войну
этот воин. А потом, в дни мира,
рвал их по приказу командира,
взрывами смущая тишину.
С ним нас познакомил депутат
Ленсовета. Памятью богат
(в девятьсот жестоких дней блокады
ведал он снабженьем; трудный век!),
вдумчивый, суровый, с цепким взглядом,
справедливый, твердый человек!
Показали нам паек блокадный,
ту осьмушку хлеба. С верой жадной,
с упованьем жили здесь тогда.
Жили, не сдаваясь умирали.

Жили и другой судьбы не знали...
 Мне подумалось: ну что б, когда
 был я здесь в те дни? Все снес бы? Ясно
 лишь одно — что жертвы не напрасны,
 нет, они не тщетны никогда!
 Завывал безумец исступленный:
 «Разрушайте многомиллионный
 город!» Впрочем, обманулся он,
 он не знал, какой упрямой мощью
 город наделен. Мы скажем проще —
 что процвел здесь мужества закон!
 Мужество! Оно на всех одно.
 Унаследованное от предков,
 в плоть и кровь вошло у всех оно,
 но, как кто-то здесь сказал мне метко:
 Лениным оно окрылено,
 вскормлено... Историю державы
 воспевают Смольный и Разлив.
 Город в ореоле гордой славы
 смотрит вдаль, былого не забыв.

ВОЛГОГРАД

Волгоград, что запомнился нам Сталинградом,
 озарив нашу память со временем рядом,
 поразив, покорив нашу душу и разум,
 гневным молотом в сердце стуча...
 На него мы взглянули сегодняшним глазом:
 этот город на Волге — подобье ключа!
 ...По асфальтам проспектов, по светлым фасадам
 не сказать, что неслась здесь лавина огня,
 кирпичи сокрушая, щебенку гоня,—
 но стоял этот город, строенья и люди,
 против вражеских, алчущих крови орудий,
 он не сдался, он не оказался в плену,
 просто выстоял он каждым воином-домом;
 стал он временем новым, иным переломом,
 на иные пути обратил он войну.
 Это память бесчисленных жертв. И величье
 чувств. И горечь. И этих масштабов постичь я
 не могу. А теперь здесь цветет синева —
 и свобода, как воздух, и воздух свободы,
 и сверкающих зданий могучие своды,
 но — забыть невозможно. Но память жива.
 Все отстроено вновь. Только каменщика рука
 и цемент иль раствор с мастерка
 не коснулись обычного зданья,
 где сержант по фамилии Павлов, а с ним
 двадцать храбрых солдат, глядя в огненный дым,
 отбивались и, выдержав все испытанья,
 отстояли нежданную крепость свою:
 дом остался таким, как в тогдашнем бою,
 ради памяти, недругам всем в назиданье!
 Так, свое отыграв, с сокрушением принял решение
 Паулюс, прусский фельдмаршал, который попал в окружение
 не один, не один — чуть не с сотнею тысяч штыков.

По душе ль это было нацистам? Но и выбора не было тоже.
И сдались они русским. Что ж, вести не сыщешь дороже:
ликовали союзные нации, ибо таков
был большой перелом, несомненнейший пункт поворота!
Между тем как в пустыне британская мотопехота
укротила врага (а ведь немцы рвались на Кавказ,
к самым жизненным точкам — манили открытые фланги...).
Только мы укротили их, вспять обратили тогда их фаланги,
это стало и впрямь по оружию братством:
не тогда ли английский король сталинградцам
меч почетный послал? Предводители вражеских свор
не тогда ли сворачивать начали свой смертоносный ковер?
И назад, вспять, к Берлину, к речонке по имени Шпрее,
огрызааясь огнем, черной кровью снега побуревшие грея.
...В волгоградском отеле беседовать мне довелось с генералом авиации,
летчиком старым, воякой бывалым
и отнюдь не бахвалом. Ведь русские не хвастуны!
Авиатор прошел (пролетел!) три, а может, четыре войны —
начинал с полотняных бипланов, с фанеры, проволоки и распорок,
но летал и бомбил он, отважен, приметлив и зорок;
после крылья стальные дала ему в небе народная власть.
Старый летчик сказал мне: «Не желали поклоны мы класть,
на земле да и в воздухе мы врага как умели учили,
да и сами учились с захватчиками сражаться.
Нелегко было с силой такую чертовскою драться,
приходилось нам круто, и все-таки мы их побили!»
А на Волге увидел я скромненький дебаркадер
(такие вот в Англии, например, сдаются под лодочный клуб
или пивнушку для рыболовов-любителей...).
Но именно здесь вот, у русских, конечный был пункт удивительной
подводной дороги. Сюда снаряженье везли
из далей заволжских. Сюда, в город щебня и пепла,
в страшнейшее пекло, боеприпасы везли.
Здесь крепло в боях, закалялось и здесь закалилось, окрепло
единство огня, и реки, и земли!
О вы, обыватели в странах английского языка!
О это ваше «отсталые, нерасторопные россияне»!
...Россия стояла тогда на решающей грани,
и насмерть стоял Сталинград, и свершались века,
и гневно пошла в наступленье великая Русь,
сметая фашистскую гнусь! Нацисты-вамдалы твердили,
что с ними по линии танков и пушек
тягаться не сможет никто,—
а русским-то эти орудья на что?!
Россия, мол, больше по части кустарных игрушек!
И все ж в их надменную прусскую даль
из-за Волги иль, скажем, с Урала
самой справедливостью прогромыкала
российская сталь!
Стоял Сталинград, головы не склонив,
не дрогнув в огне испытаний,—
из щебня воскрес Волгоград, озарив
ряды своих радостных зданий.
История здесь налегла на рычаг,
и все изменилось на свете;
доселе в раздумьях моих и в очах
кварталы приволжские эти!

ЖЕНЩИНЕ ИЗ МУРМАНСКА

Шлю Мурманску привет. Он для меня
 Второй на свете город. Я впервые
 Его увидел в зареве пожара,
 Под бомбами. Тогда он, кстати, был
 Скорей рыбацким небольшим поселком,
 Зато единственным доступным портом,
 Незамерзающим. Туда везли мы
 Орудья, танки, даже самолеты,
 Необходимые в дни трудной битвы
 На русском юге, где с равнин к предгорьям
 Катились вражьи бронетранспортеры.
 Едва ли стоит отрицать значение
 И жизненную важность океанских
 Дорог. Едва ль возможно умалить
 Наш вклад (теперь он признан!). Мы сражались
 Как черти с горькою морской стихией
 И с немцами. Теперь я много старше,
 Чем был тогда. Но памятна доселе
 Мне стужа Заполярья. Здесь у нас,
 В Новой Зеландии, куда теплее
 И солнце светит ласковой куда!
 А нынче Мурманск вырос. Мурманчане —
 Народ большой души.
 Не всем, пожалуй,
 Знакомы вздохи стужи и сполохи
 Над океаном. И какое чувство
 Охватывает вас, когда зажат
 Руль корабельный словно бы тисками...
 А я об этом рассказать могу
 Немало интересного. Но Мурманск!
 Я приобрел огромный чемодан,
 Но в нем с трудом вместились те подарки,
 Которые горячие сердца
 Вручили мне в холодном Заполярье.
 Пусть чемодан увесист, говорят —
 Своя не тянет ноша! Вспоминаю
 Об искренности благопожеланий!
 Теперь из царства пикши и трески
 Ко мне пришла короткая поэма,
 Написанная женскою рукой.
 Пусть только раз я видел поэтессу,
 Я буду часто вспоминать об этом
 Арктическом морозном ноябре
 И о заботах теплоты сердечной —
 Послание это в коридорах лет
 Со мной пребудет. Мне оно дороже
 Всех самых драгоценных сувениров!

Перевел АЛЕКСАНДР ГОЛЕМБА.



ДЖОН СТЕЙНБЕК



ЗАБЛУДИВШИЙСЯ АВТОБУС*

Роман

Глава 10

Река Сан-Исидро течет по долине Сан-Хуан, виляя и поворачивая, покуда не изливается лениво в бухту Блек Рок под косой Бэт. Сама долина — длинная и не очень широкая, и река, которой течь не так уж далеко, старается побольше растянуть свой путь, перекидываясь от одного края плоской полосы к другому. То прижмет к горе и протиснется под обрывом, то растечется мелко по песчаным перекатам. Изрядную часть года воды в реке нет совсем, и песчаное ложе сплошь зарастает ивняком, который тянется корнями к подземной воде.

Когда вода уходит, в ивняке селятся кролики, еноты, койоты и мелкие лисы. В верховьях, на севере и на востоке, река идет не одним руслом, а собирается из многих ручьев, так что на карте истоки напоминают дерево с короткими голыми веточками. Сухие каменные холмы с крутыми склонами, расселинами и водомоинами весь год держат реку на голодном пайке, зато в дождливую пору, в конце зимы и весной, каменные склоны впитывают мало воды, а остальную сбрасывают черными стремительными ручейками, и ручейки вытекают из ложбин, растут и впадают в ручьи побольше, а те сливаются в северном конце долины.

Вот отчего поздней весной, когда холмы впитают столько воды, сколько могут, река Сан-Исидро от сильной грозы вздувается за несколько часов бешеным паводком. И тут пенная желтая вода грызет берега, и громадные ломты угодий обваливаются в реку. Тут трупы коров и овец катятся в желтой стремнине. Это шальная, вспыльчивая река; часть года — мертвая, а остальную часть — смертоносная.

Если провести прямую из Мятяжного угла в Сан-Хуан-де-ла-Крус, она пересечет долину посередине, и как раз тут река делает большую излучину, кидаясь петлей к горе на восточном краю и утекая прочь между полей и ферм. В прежнее время дорога шла вдоль излучины и карабкалась по склону, чтобы не пересекать реку. Но появились инженеры, бетон и сталь, и через реку легли два моста, скостивши с ее шалостей двадцать километров.

Это были деревянные мосты, но усиленные стальными стержнями, и опирались концами на бетонные устои, а серединами — на бетонные быки. Дерево было выкрашено красным суриком, и железо тоже покраснело от ржавчины. Фашины из свай и плетеной ивы отражали воду в пролеты, чтобы грызущий поток не подмывал предмостья.

Мосты были не очень старые, но сооружены в ту пору, когда не только налоги были низки, но и собрать их целиком не удавалось по причине так называемых трудностей. Окружной инженер решил строить то, что по средствам, а средства позволяли только простейшую конструкцию. И лес не мешало бы взять потолще и подкосов поставить побольше, но надо было уложиться в определенную сумму, и он уложился

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 3 с. г.

И каждый год фермеры средней долины созерцали реку с насмешливой опаской. Они знали, что в один прекрасный день будет быстрый сокрушительный паводок и мосты снесет. Каждый год они ходатайствовали перед округом о замене деревянных мостов, но маловато было голосов в сельской местности, чтобы этим ходатайствам вняли. Средства шли большим городам, где были не только голоса, но также имущество, подлежащее обложению. Народ не стремился на среднеплодородные земли. Клочок с хорошей заправочной станцией в Сан-Хуане давал казне больше, чем полсотни гектаров пашни в долине. Фермеры знали, что гибель мостов — вопрос только времени, и тогда уж, говорили они, эти в округе небось прочухаются.

В сотне метров от первого моста на дороге в Сан-Хуан стоял магазинчик. Он торговал бакалеей, шинами, скобяными изделиями, которые человек покупает в субботу под вечер или если ему некогда съездить в Сан-Хуан-де-ла-Крус или через горы в Сан-Исидро. Это был универсальный магазин Брида. А с недавних пор, как и все сельские магазины, он обзавелся бензоколонками и автомобильными запчастями.

Мистер Брид с женой были неофициальными смотрителями моста. В паводки их телефон звонил непрерывно, и они сообщали, сильно ли поднялась река. Они к этому привыкли. Больше всего они боялись, что мост однажды снесет, а новый построят на полкилометра ниже, и тогда придется переносить магазин или же строить новый возле нового моста.

Половину выручки им давали лимонады, бутерброды, бензин и сладости, купленные проезжими. Даже автобус с Мятяжного угла на Сан-Хуан всегда здесь останавливался. Он забрасывал срочные грузы, а пассажиры заходили попить. Хуан Чикой и Бриды были старыми приятелями.

И вот река поднялась, да не просто поднялась, а, как сказал жене Брид, «очень крутит за сваями перед мостом, и если она там прорвется, пиши пропало». С рассвета он уже раз пять ходил к мосту. Сегодня она набедокурит, мистеру Бриду было ясно. Небритый, с поджатыми губами, он стоял на мосту в восемь часов утра и смотрел на бурливую желтую воду со шнурами желтой пены и вырванными дубками и тополями. Под ним пронеслись волчком несколько струганых досок, потом кусок кровли, еще с дражкой, а потом приплыл, покачиваясь, труп черного абердинского быка с фермы Макэлроя — широкий, коротконогий. Когда его затянуло под мост, он повернулся навзничь, и Брид разглядел жутко закатившиеся глаза и выпавший язык. Бриду стало тошно.

Все знали, что клев у Макэлроя поставлен слишком близко к берегу и что бык стоит тысячу восемьсот долларов. Не Маку бросаться такими деньгами. Другой его скотины Брид не увидел, но и быка хватало. Макэлрой очень рассчитывал на этого быка. Брид прошел немного по мосту. Теперь вода всего на метр не доставала до бревен, и Брид чувствовал, как яростно прет на кессоны вода и как они кряхтят под ногами. Он потер пальцами небритый подбородок и пошел назад в магазин. Жене он не стал говорить о черном быке Макэлроя. Она только огорчится.

Когда Хуан Чикой позвонил насчет моста, Брид сказал ему правду. Мост еще стоял, но долго ли он выдержит — один бог знает. Вода все прибывала. Голые каменные холмы все лили и лили ее в реку, и небо опять затягивалось.

В девять часов вода подступила к нижнему поясу на сорок пять сантиметров. Как только вода навалится на подкосы и стойки да еще вырванные деревья ударят в мост, его минуты сочтены. Брид стоял за сетчатой дверью и барабанил по проволоке пальцами.

— Давай я тебе завтрак приготовлю,— сказала его жена.— Можно подумать, это твой мост.

— Да это как посмотреть,— ответил Брид.— Если его снесет, скажут, я недоглядел. Я звонил в надзор, звонил инженеру округа. И там и там не отвечают. Если промочет за опорой, пиши пропало.

— Позавтракал бы лучше. Нажарю тебе оладий.

— Ладно,— сказал Брид.— Только не толстые.

— У меня толстые не бывают,— сказала жена.— Хочешь, яйцом залью?

— Давай,— сказал Брид.— Не знаю, Хуан успеет или нет. Он должен быть здесь через час, не раньше, а вода.. Черт! Как прибывает!

— Это не причина чертыхаться,— сказала миссис Брид.

Муж обернулся к ней.

— Если это, по-твоему, не причина, то что же тогда причина? Выпью я, вот что.

— До завтрака?

— До всего.

Конечно, она не знала про черного быка. Он подошел к настенному телефону и набрал номер Макэлроя — пять цифр,— потом стал обзванивать его соседей, куда не ответил Пайндэйл, тремя километрами ниже по течению.

— Я тоже ему дозванивался,— сказал Пайндэйл.—Его телефон молчит. Съезжу на лошади, посмотрю, не случилось ли чего.

— По-моему, стóит,— сказал Брид.— Утром его новый бык проплыл под мостом. Жена посмотрела на него с испугом.

— Уолтер! — воскликнула она.

— Да, это правда. Не хотел тебя огорчать.

— Уолтер! Боже мой! — сказала миссис Брид.

Глава 11

Алиса Чикой стояла за сетчатой дверью и глядела, как отъезжает автобус. Слезы сохли у нее на щеках.

Когда автобус скрылся за углом дома, она перешла к боковому окну, смотревшему на дорогу. Автобус въехал в полосу солнечного света, засиял там, а потом пропал из виду. Алиса глубоко, с наслаждением вздохнула. Ее день! Она одна. Она испытывала блаженное чувство уединенности — уединенности греховной. Она медленно разгладила платье на боках, погладила себя по бедрам. Посмотрела на ногти. Нет, это подождет.

Она медленно обвела взглядом закусную. В воздухе еще стоял запах табачного дыма. Надо было разделаться с делами, но день принадлежал ей и она решила не торопиться. Раньше всего она достала из стеного шкафа картонную вывеску с большой надписью «Закрѳто». Она вышла наружу и повесила надпись на гвоздь, вбитый в раму сетчатой двери. Потом вошла и заперла сетчатую дверь на засов. Задвинула внутреннюю дверь и повернула ключ. После этого обошла все окна, опустила жалюзи и повернула в них пластины вертикально, чтобы никто не заглянул с улицы. В закусной стало темно и совсем тихо. Алиса действовала не спеша. Перемыла и расставила кофейные чашки, вымыла стойку и столы. Пирогѳ спрятала под прилавок. Потом взяла из спальни щетку, подмела пол и высыпала грязь, пыль и окурки в урну. Стойка поблескивала в потемках, чистые крышки столов белели.

Алиса обошла стойку и села на табурет. Ее день! Она ощущала дурашливую легкость.

«Ну а почему нет? — сказала она вслух.— Не так уж много у меня радостей. Ну-ка подай,— сказала она,— подай мне двойное виски, да поживее».

Она положила руки на стойку и внимательно их оглядела. «Бедные ручки, испортила вас работа,— прошептала она,— милые ручки.— И тут же криком: — Да где же, черт, твое виски?» И сама себе ответила: «Сейчас, мадам, несѳ, мадам». «Вот так-то лучше,— сказала Алиса.— Не забывай, с кем разговариваешь. И не вздумай дерзить, тебе это так не пройдет. Ты у меня на примете». «Да, мадам»,— ответила она себе. Потом встала и ушла за стойку.

С дальнего края над самым полом был встроен шкафчик. Алиса нагнулась, открыла дверцу и не глядя вытащила бутылку виски «Старый дед». Сняла с полки стакан для воды и отнесла с бутылкой к тому месту, где стоял табурет.

«Пожалуйста, мадам».

«Подай на стол. За кого ты меня принимаешь — я что, за стойкой буду пить?»

«Нет, мадам».

«Принеси еще стакан. И бутылку холодного пива».

«Слушаюсь, мадам».

Все это она перенесла на стол возле двери и расставила.

«Можешь идти»,— сказала она и ответила: «Слушаюсь, мадам». «Но далеко не уходи на случай, если что-нибудь понадобится».

Наливая себе пиво, она захихикала. «Кто-нибудь услышит — подумает, свихнулась. А что — может, и вправду». Она не скупясь налила виски в другой стакан. «Алиса,— сказала она,— приготовились, внимание, марш!» Она повела стаканом и выпила — медленно. Не залпом. Она цедила жгучее неразбавленное виски, и виски горячо разливалось по языку и под языком и при медленном глотке щипало небо, а потом теплом входило в грудь и опускалось до живота. Осушив стакан, она не сразу отняла его от губ. Потом поставила, сказала «ах!» и хрипло выдохнула.

В выдохе вернулся нежный запах виски. Теперь она взялась за стакан с пивом. Она положила ногу на ногу и медленно тянула пиво, пока стакан не опустел.

«Господи!»— сказала она.

Казалось ей, она никогда не замечала, как уютна и мила ее закусочная при свете, едва пробивающемся сквозь закрытые жалюзи. Она услышала грузовик на шоссе и встревожилась. А вдруг кто-то помешает — испортит ей день. Нет уж, пусть тогда дверь ломают. Она никому не станет открывать. Она налила на два пальца виски в один стакан и на четыре пальца пива — в другой. «Муху зашибить — тоже есть много способов»,— сказала она и опрокинула стакан с виски, а за ним сразу стакан с пивом. Ага, это мысль. Получается другой вкус. Разный вкус — смотря как пить. Почему никто этого не заметил, кроме Алисы? Это стоило бы записать: «Пьешь по-разному — вкус разный». В правом веке она ощутила легкое напряжение, а по жилам на руках побежала странная, приятная боль.

«Некогда им замечать»,— сказала она с расстановкой.— Нет времени». Она налила полстакана пива и долила доверху виски. «Интересно, а так кто-нибудь пробовал?»

Металлический держатель для бумажных салфеток стоял напротив и отражал ее лицо. «Привет, детка»,— сказала она. Она повела стаканом, и он искзился в блестящем металле так же, как ее лицо. «Рванули, детка. Твое здоровье, детка». И она выпила виски с пивом так, как пьет молоко одолеваемый жаждой. «Ах ты черт,— сказала она,— не так уж плохо. Да. По-моему, неплохо придумано. Хорошо».

Она повернула держатель с салфетками так, чтобы лучше себя видеть. Но изгиб металла ломал ее нос сверху и раздувал бульбой на конце. Она встала, обошла стойку, вынесла из спальни круглое ручное зеркало и поставила на стол, прислонив к сахарнице. Потом уселась и скрестила ноги. «Эй, а ну-ка! Я хочу тебя угостить». Она налила виски в оба стакана. «Без пива,— сказала она.— Кончилось пиво. Ну, это беда поправимая».

Она подошла к холодильнику и достала еще бутылку пива. «Вот видишь,— сказала она зеркалу,— сперва мы берем виски — не слишком много... не слишком мало... и добавляем пива, чтобы в самый раз. И пожалуйста». Она толкнула один стакан к зеркалу, выпила из другого. «Некоторые люди пить боятся,— сказала она.— Не умеют».

«Ах, ты не хочешь? Ну, дело твое. Я тебя пить не заставляю. Но и пропасть ему не дам». И она выпила из другого стакана. Щеки у нее пощипывало, как будто прихватило морозом. Она поднесла зеркальце поближе и посмотрела на себя. Глаза были влажные и блестели. Она откинула повисшую прядь волос.

«А если хочешь посидеть в свое удовольствие, это не значит, что можно распускаться». Но вдруг перед ней возникло видение, и она опустила зеркало лицом вниз. Видение налетело внезапно и резко, ошеломив, как удар. Может быть, из-за того, что она сидела в потемках. Алиса закричала: «Не хочу об этом думать! Не переносу!».

Но мысль, видение не отступали. Затемненная комната, на белой кровати — мать, парализованная, неподвижная, немая; ее глаза смотрят прямо вверх, а потом белая рука поднимается со стеганого одеяла жестом отчаяния, прося о помощи. Алиса могла войти украдкой, но, как бы тихо она ни кралась, рука поднималась беспомощно и страшно, и Алиса, подержав ее немного, ласково опускала и выходила. Всякий раз, переступая порог этой комнаты, Алиса умоляла руку не подниматься, лежать тихо, замереть, как все тело.

«Я не хочу об этом думать! — закричала она.— С чего это вылезло?» Ее рука задрожала, и бутылка звякнула о стакан. Алиса налила чуть не до краев, выпила, поперх-

нулась и закашляла так, что едва удержалась от рвоты. «Это приведет тебя в чувство,— сказала она.— Я хочу думать о чем-нибудь другом».

Она вообразила себя в постели с Хуаном, но мысль скользнула дальше. «Я могла бы иметь, кого захочу,— похвасталась она.— Сколько их за мной бегало, ей-богу, а я не больно соглашалась». Губы ее оттопырились в грязноватой ухмылке. «А может, стоило, пока могла. Сдаю же... Врешь, гадина. — закричала она,— я сейчас не хуже, чем раньше! Лучше! Кому, на хрен, нужна костлявая сучка, которая ничего не умеет? Настоящему мужчине такого даром не надо. Да мне только выйти, они, как мухи, налетят».

В бутылке осталось чуть меньше половины. Она немного пролила мимо и сама над собой засмеялась. «Кажется, я чуть-чуть захмелела»,— сказала она.

В дверь громко постучали, Алиса оцепенела и умолкла. Стук раздался снова. Мужской голос сказал:

— Никого. Мне показалось, разговаривают.

— А попробуй еще. Может, они в комнатах,— отозвался женский голос.

Алиса тихо взяла зеркальце. Она кивнула и подмигнула себе. Опять постучали.

— Говорю тебе, никого нет.

— Попробуй дверь.

Алиса услышала, как загремела сетчатая дверь.

— Заперто,— сказал мужчина, и женщина ответила:

— Заперто изнутри. Должны быть дома.

Мужчина рассмеялся, и под ногами у него закрипел гравий.

— Ну, если они дома, значит, им хочется побыть одним. Тебе никогда не хочется побыть одной, малютка? Со мной, я имею в виду?

— Да ну тебя,— сказала женщина.— Мне хочется бутерброд.

— А с этим придется повременить.

Алиса удивилась, почему не слышала ни автомобиля, ни шагов по гравию. «Ну точно, налакалась»,— подумала она. Как отъезжает автомобиль, она прекрасно слышала.

«Прямо не могут, когда что-нибудь не по-ихнему,— сказала Алиса.— Человек хочет отдохнуть денек, в себя прийти, а им вынь да положь бутерброд».

Она подняла бутылку и, критически прищурясь, посмотрела на просвет. «Маловато осталось». Ей стало тошно. Вдруг кончится, а ей не хватит? Но тут же кивнула и улыбнулась себе. В самом заду шкафчика две бутылки портвейна. Это ее ободрило, она как следует налила в стакан и стала тянуть. Хуан не любил, когда при нем пили женщины. Он говорил, что у них лица делаются гнусные и он этого не выносит. Ничего. Алиса ему покажет. Она отпила из стакана половину и тяжело поднялась.

«Ты постой здесь, подожди меня немного»,— вежливо сказала она стакану. Огибая стойку, она качнулась, и угол ударил ее в бок над самым бедром. «Этот будет синий с черным»,— сказала она. Через спальню она прошла в ванную.

Она намочила полотенце и стала натирать его мылом, покуда не образовалась густая паста; потом стала тереть им лицо. Особенно терла возле носа и маленькую складку под нижней губой. Надела полотенце на мизинец и повертела в ноздрях, протерла уши. Потом, зажмурив глаза, ополоснула лицо водой и посмотрела на себя в зеркало над умывальником. Лицо показалось ей очень красным, а глаза были слегка воспаленные. Она долго занималась своим лицом. Намазала кремом; потом стерла его полотенцем. Посмотрела, нет ли на полотенце грязи,— нашла. Подвела брови коричневым карандашом. С помадой пришлось повозиться. С нижней губы кармином заехала на подбородок; пришлось стереть полотенцем и начать сызнова. Нарисовала губы очень толстыми, потом сложила их и прокатила друг по дружке; поглядела на зубы и стерла с них помаду полотенцем. Надо было раньше почистить зубы, а потом брать за помаду. Теперь пудра. Чтобы лицо было не такое красное. Потом расчесала волосы. Ей никогда не нравились ее волосы. Попробовала уложить их с шиком, так и эдак, и ей стало надевать.

В спальне она откопала черную фетровую шляпку с подобием козырька. Собрала волосы под шляпу и лихо заломила козырек.

«Теперь,— сказала она,— теперь посмотрим, как у женщины делается гнусное лицо. Пришел бы сейчас Хуан. По-другому запел бы».

В спальне она достала из комода флакон «Беллоджии» и надушила себе грудь, мочки ушей, лоб под волосами. Тронула и верхнюю губу. «Мне тоже хочется нюхать»,— сказала она.

Она вернулась в закусочную, осторожно обогнула угол, о который ударились в прошлый раз. Тут стало еще темнее, потому что заходила туча и свет едва цедился в комнату. Алиса села за свой столик и поправила зеркальце. «Хорошенькая,— сказала она,— прямо хорошенькая. Что будешь делать вечером? Хочешь пойти на танцы?»

Она налила себе стакан. А что, если заедет этот шофер с «Красной стрелы» и постучится? Она его впустит. Большой шутник. Она налила бы ему стаканчик-другой, а потом показала бы штуку-другую. «Рэд,— сказала бы она,— ты из себя строишь большого шутника, но я тебе кое-что покажу. Ты не все еще шутки знаешь». Она остановила мысленный взгляд на его узкой талии и тяжелых мускулистых руках. Джинсы он носил на широком ремне, а на джинсах... Нет, мужик был что надо. Да, что там еще, с этими джинсами... Медная заклепка внизу, откуда начинается ширинка. Чем-то заклепка опечалила Алису. У Бада была такая. Медная заклепка на том же самом месте. Она попробовала отвернуться и от этого видения, не смогла — и всплыло, всплыло в памяти. Он упрашивал ее и упрашивал. Наконец они ушли на пикник за шесть километров. Бад нес еду: крутые яйца, бутерброды с ветчиной и яблочный пирог. Пирог Алиса купила, но Баду сказала, что испекла сама. А он даже не стал дожидаться еды.

Он сделал ей больно. А потом она сказала: «Куда ты?»

«У меня работа стоит»,— сказал Бад.

«Ты говорил, что любишь меня».

«Ну?»

«Ты не бросишь меня, Бад?»

«Слушай, милая, переспали, и ладно. Я контрактов не подписывал».

«Это же первый раз, Бад».

«Без первого раза ни у кого не обходится»,— сказал он.

Теперь Алиса оплакивала себя. «Ни черта хорошего! — крикнула она в зеркало.— Ни черта хорошего в этом нет». Плача, она допила стакан и вылила в него остатки из бутылки.

В остальных тоже не было ни черта хорошего — и с чем она осталась? Паршивая работа с постельными удобствами и без жалованья. Вот с чем. И за паршивым оглоедом замужем — вот с чем. Нашла, называется. Глушь такая, что и в кино не съездишь. Сиди в паршивой закусочной.

Она опустила голову на руки и горько заплакала. А другая Алиса слушала, как она плачет. Другая Алиса стояла над ней и наблюдала. Ходи на цыпочках, все время его ублажай. Она подняла голову и посмотрела в зеркало. Помада размазалась по всей верхней губе. Глаза покраснели, из носа текло. Она вынула из держателя две бумажные салфетки и высморкалась. Скатала салфетки и кинула на пол.

И чего она вылизывает эту дыру? Всем плевать. А на нее разве не всем плевать? Всем! Ничего, она за себя постоит. Над Алисой не больно-то покуражишься. Она допила виски.

Достать портвейн оказалось делом нелегким. Она споткнулась и налетела на раковину. В носу горячо набухло, и она засопела. Она установила бутылку портвейна на стойке и достала штопор. Когда она попыталась воткнуть штопор, бутылка упала, а при второй попытке пробка раскрошилась. Алиса протолкнула пальцем остатки ее в горлышко и побрела к столу.

«Водичка»,— сказала она. Она наполнила стакан темно-красным вином. «Вот виски бы еще». Во рту у нее пересохло. Она с жадностью выпила полстакана. «А хорошее,— захихикала она.— Может, всегда надо вперед пить виски, чтобы вино было вкуснее».

Она придвинула к себе зеркальце. «Ты старая кляча,— горько сказала она.— Грязная, пьяная старая кляча. Ясно, кому ты такая нужна? Я бы сама на такую не польстилась».

Лицо в зеркале было одно, но контуры его двоились, и где-то вне поля зрения комната уже раскачивалась: и подпрыгивала. Алиса допила стакан, полерхнулась, и крас-

ное вино потекло обратно из углов рта. Она стала наливать снова, но не сразу попала в стакан и разлила вино по столу. Сердце у нее колотилось. Она слышала его и чувствовала, как оно бьется у нее в руках, плечах и в жилах на груди. Она мрачно выпила.

«Упьюсь — и черт с ним, тем лучше. Хорошо бы больше не проснуться. Хорошо бы — конец всему... конец всему... конец всему... Покажу этим паразитам — не хочу жить и не буду. Я им покажу».

И тут она увидела муху. Это была не обычная комнатная муха, а молоденькая мясная, и ее тело блестело богатой переливчатой синью. Она явилась к столу и сидела перед винной лужицей. Она сунула туда хоботок, потом отошла почиститься.

Алиса застыла. Кожа у нее собралась от ненависти. Все ее огорчения, все обиды сосредоточились в мухе. Усилив воли она свела раздвоившееся насекомое в одно. «Ну, стерва, — тихо сказала она. — Думаешь, я напилась. Я тебе покажу».

Глаза у нее сделались настороженные, хитрые. Бочком, бочком она отодвинулась от стола и пригнулась к полу, опершись на руку. Она не сводила с мухи глаз. Та не двигалась. Алиса подкралась к стойке, зашла за нее. Посудное полотенце лежало на краю стальной раковины. Она взяла его в правую руку и старательно сложила. Полотенце было слишком легким. Она намочила его под краном и отжала лишнюю воду. «Покажу стерве», — сказала она и, как кошка, двинулась вдоль стойки. Муха по-прежнему сидела, по-прежнему сияла.

Алиса подняла руку и закинула полотенце на плечо. Алиса тихо подступала к мухе, выставив локоть. Ударила. Бутылка, стаканы, сахарница, держатель с салфетками — все полетело на пол. Муха взвилась и закружила. Алиса стояла неподвижно, провожая ее глазами. Муха уселась на стойку. Алиса сделала выпад, ударила по ней, а когда муха взлетела, еще раз хлопнула полотенцем по воздуху.

«Так не пойдет, — сказала она себе. — Подкрасться к ней, подкрасться». Пол накренился под ногами. Она вытянула руку и схватилась за табурет. Куда она девалась? Слышно было ее жужжание. Злой, омерзительный звон ее крыльев. Должна же она сесть куда-нибудь, когда-нибудь. К горлу подкатила тошнота.

Муха заложила несколько петель, восьмерок и кругов, а потом перешла на брелочные челючные полеты из одного конца комнаты в другой. Алиса выжидала. В поле зрения вползала с краев темнота. Муха с легким щелчком села на коробку кукурузных хлопьев на макушке большой пирамиды, выстроенной на полке за стойкой. Она приземлилась на «к» «кукурузных» и беспокойно переползла на «у». Там она замерла. Алиса втянула носом воздух.

Комната прыгала и кружилась, но напряжением воли муху и то, что рядом, Алиса держала в фокусе. Левая рука оперлась за спиной на прилавок, и пальцы поползли по нему. Медленно, молча она отгибала торец стойки. И очень, очень осторожно поднимала правую руку. Муха скакнула вперед и снова замерла. Она приготовилась взлететь. Алиса почувствовала это. Почувствовала раньше, чем муха поднялась. Она вложила в удар весь свой вес. Мокрое полотенце врезалось в пирамиду картонных коробок и пробило ее насквозь. Коробки, рядок стаканов и ваза с апельсинами полетели на пол, и Алиса упала на них.

Комната понеслась на нее красными и синими огнями. Под щекой лопнувшая коробка извергла хлопья. Алиса подняла раз голову, потом опустила, и вертящаяся темнота накрыла ее.

В закуской было сумрачно и очень тихо. Муха подобралась к краю винной лужицы, высыхавшей на белом столе. Потыкавшись в разные стороны — не грозит ли откуда опасность, — она неторопливо опустила плоский хоботок в сладкое густое вино.

Глава 12

Серые тучи громоздились — угроза на угрозе, — и синий сумрак окутал землю. В долине Сан-Хуан темная зелень казалась черной, а более светлая зелень травы — стелой, влажно-синей. «Любимая» тяжело катилась по шоссе, и алюминиевая краска на ней отливала зловещим холодом вороненого ствола. В южной стороне черная гряда туч осыпалась бахромой дождя, и занавес его медленно упал.

Автобус подъехал к бензоколонкам перед магазином Брида и остановился. Игрушечные боксерские перчатки и детский башмачок мелко и часто качались, как короткие маятники. Хуан продолжал сидеть после того, как автобус остановился. Напоследок он дал газ, прислушался, потом со вздохом повернул ключ, и мотор смолк.

— Долго собираетесь здесь стоять? — спросил Ван Брант.

— Хочу взглянуть на мост, — сказал Хуан.

— Еще цел, — сказал Ван Брант.

— Мы тоже, — ответил Хуан. Он отпер рычагом дверь.

Брид появился из-за сетчатой двери и пошел к автобусу. Он пожал Хуану руку.

— Опоздали немного?

— По-моему, нет, — ответил Хуан, — если у меня часы правильные.

Спустился Прыц и стал рядом с ними. Он вышел первым, чтобы посмотреть, как слезает блондинка.

— Кока-кола есть? — спросил он.

— Нет, — сказал Брид, — Несколько бутылок пспси. Кока-колы месяц не было. Да одно и то же. Их не отличишь.

— Как мост? — спросил Хуан.

Мистер Брид покачал головой.

— По-моему, труба дело. Сами взгляните. Хорошего мало.

— Трещин пока нет? — спросил Хуан.

— Может полететь вот так, — сказал Брид и с размаху ударил ладонью о ладонь. — Нагрузка на нем такая, что он плачет, как ребенок. Пошли посмотрим.

Из автобуса вышли мистер Причард с Эрнестом, за ними Миладред и Камилла и последней — Норма. Камилла была ученая. Прыц ничего не увидел.

— У них есть пепси-кола, — сказал Прыц, — Хотите?

Камилла обернулась к Норме. Она начала понимать, чем может быть полезна Норма.

— Хочешь попить? — спросила она.

— Да не откажусь, — сказала Норма.

Прыц постарался скрыть разочарование. Брид и Хуан шагали по шоссе к реке.

— Хочу поглядеть на мост! — крикнул Хуан через плечо.

Миссис Причард окликнула мужа со ступенек:

— Милый, ты не мог бы принести мне выпить чего-нибудь холодного? Хотя бы воды, если нет ничего другого. И спроси, где у них — ну, знаешь что.

— Это сзади, — сказала Норма.

Бриду тоже хотелось посмотреть на мост, и он пристроился в ногу с Хуаном.

— Каждый год жду, что его снесет, — сказал он. — Хоть бы построили такой мост, чтобы я мог спать по ночам, когда идет ливень. А то лежишь в постели, слышишь, как дождь стучит по крыше, и все прислушиваешься, не снесло ли мост. А ведь не знаю даже, какой там будет звук, когда он повалится.

Хуан усмехнулся.

— Это мне знакомо. Помню, в Торреоне — я был тогда мальчишкой. Бывало, слушали ночью, не захлопает ли — значит, не поднимется ли стрельба. Стрельба-то нам даже нравилась, только это всегда значило, что мой папаша ненадолго отлучится. Один раз он отлучился и больше не пришел. Мы, наверно, всегда чувствовали, что так и будет.

— Что с ним стало? — спросил Брид.

— Не знаю. Наверное, попал кому-нибудь на мушку. Не мог усидеть дома, когда стреляли. Без него не могло обойтись. Я думаю, он и не очень интересовался, из-за чего дерутся. А домой всегда приходил с кучей рассказов. — Хуан усмехнулся. — Был у него один про Панчо Вилью. Будто бы пришла к Вилье бедная женщина и говорит: «Ты расстрелял моего мужа, а теперь я с ребятами умру с голоду». А у Вильи тогда было много денег. У него были прессы, он сам печатал. Повернулся к казначею и приказал: «Накачай для бедной женщины пять кило бумажек по двадцать песо». Он их даже не считал — столько у него было. Напечатали, перевязали пачку проволокой, и женщина ушла. И тут один сержант говорит Вилье: «Ошибка получилась, мой генерал. Мужа этой женщины мы не расстреляли. Он напился, и мы посадили его в тюрьму». Тогда Панчо

говорит: «Идите и сейчас же расстреляйте. Нельзя же разочаровывать бедную женщину».

Брид сказал:

— Глупость какая-то.

Хуан засмеялся.

— Ну да, как раз это мне и нравится. Эге, речка уже прорывается сзади за фашину.

— Знаю. Я звонил, хотел им сказать,— ответил Брид.— Никто не подходит к телефону.

Они вместе взошли на деревянный мост. Ступив на настил, Хуан сразу почувствовал рокоющую вибрацию воды. Мост трясся и вздрагивал. От бревен шло низкое гудение, громче, чем шум воды. Хуан заглянул через край. Бревна нижнего пояса были под водой, река внизу кипела и пенилась. Весь мост содрогался и вздыхал, и тихо, натужно вскрикивали бревна там, где они были схвачены стальными болтами. На глазах у Хуана и Брида, тяжело перекатываясь по течению, приплыл большой старый дуб. Когда он ударил в мост и повернулся, все сооружение застонало, как будто напрягая последние силы. Дуб застрял в затопленных стойках, и под мостом раздался громкий треск. Мужчины сразу сошли на берег.

— Быстро она поднимается? — спросил Хуан.

— За последний час — на четверть метра. Конечно, может теперь пойти на убыль. Может быть, больше уже не поднимется.

Хуан посмотрел сбоку на ферму. Он увидел бурую головку болта над самой поверхностью воды и остановил на ней взгляд.

— Проехать бы я смог, пожалуй,— сказал он.— Можно попробовать с ходу. А можно отправить пассажиров через мост пешком, переехать самому и подобрать их на той стороне. А как второй мост?

— Не знаю. Я звонил туда, хотел узнать, никто не отвечает. А что, если вы переедете, а другой снесло; вернетесь сюда — и этого тоже нет? Вы застрянете в излучине. Пассажиры вам скажут спасибо.

— Они и так мне скажут,— ответил Хуан.— Один там... нет, двое — дадут мне жизни, что так, что так. Я уж чувствую. Вы, случаем, не знаете Ван Бранта?

— А-а, старый бздун! Знаю. как же Должен мне тридцать семь долларов. Я ему продал семена люцерны, а он говорит, никуда не годятся. Не хочет платить. У него долги по всей округе. Все, что он покупает, никуда не годится. Я ему конфетку не продам в кредит. Скажет, несладкая. Так он с вами?

— С нами,— сказал Хуан.— И еще один из Чикаго. Шишка из фирмы. Если что-нибудь окажется ему не по вкусу, он мне задаст жару.

— Да,— сказал Брид,— надо вам что-то решать.

Хуан поглядел на грозовое небо.

— Дождь будет, это ясно. А холмы и так мокрые — все польется в реку. Переехать-то я смогу, а вот смогу ли вернуться назад?

— Примерно десять шансов из ста,— сказал Брид.— Как жена?

— Так себе,— ответил Хуан.— Зубы разболелись.

— За зубами выгоднее следить,— сказал Брид.— Раз в полгода показаться врачу. Хуан засмеялся.

— Это конечно. А вам приходилось встречать такого человека?

— Нет,— согласился Брид. Ему нравился Хуан. Он даже не считал его иностранцем.

— И я не встречал,— сказал Хуан.— Так, есть еще способ избавиться от неприятностей с пассажирами.

— Какой?

— Пусть сами решают. У нас ведь демократия?

— Да они просто передерутся.

— Ну и передерутся — что же тут страшного? — сказал Хуан.

— Это мысль,— сказал Брид.— Но я вам вот что скажу. На чем бы вы ни порешали, Ван Брант обязательно станет поперек. Этот проголосует против второго пришествия, если люди его хотят.

— С ним-то просто,— сказал Хуан.— Надо только найти к нему подход. Был у меня конь до того вредный, что тянешь левый повод — он идет направо. Я его дурачил. Делал все наоборот, а он думал, что делает по-своему. От Ван Бранта чего хочешь добьешься, только заспорь.

— Я ему запрещу отдавать мне тридцать семь долларов,— сказал Брид.

— А что, глядишь, и отдаст,— сказал Хуан.— Нет, вода еще поднимается. Болт закрыла. Пойду узнаю у пассажиров, чего они хотят.

Между тем Прыщ в магазине почувствовал, что его немного обманули. Его вынудили угостить пепси-колой не только Камиллу, но и Норму. Как он ни старался, отделить Камиллу от Нормы он не мог. Но виновата была не Норма. Камилла ею воспользовалась. Норма разумылилась от удовольствия. Никогда в жизни она не была так счастлива. Такая красавица — а как душевно к ней отнеслась. Они — подруги. И ведь не сказала, что будут жить вместе. Она сказала: посмотрим, как пойдут дела. Норму почему-то это очень обнадежило. Люди к Норме не относились душевно. Сперва они говорили «да», а потом старались отвертеться. А эта женщина, выглядывшая именно так, как всю жизнь мечтала взглянуть Норма,— она сказала «посмотрим». Норма мысленно видела их квартиру. Там будет бархатная кушетка, а перед ней низкий столик. И шторы будут из бордового бархата. И, конечно, у них будет радиолка и много пластинок. Дальше ей думать не хотелось. Дальше думать — это почти что слгзнить. А для кушетки скорее подойдет цвет электрик.

Она подняла стакан с пепси-колой, глотнула сладкой колючей воды, и в тот же миг отчаяние нахлынуло на нее, как тяжелый газ. «Никогда этого не будет! — крикнула она про себя. — Улывет! Все останется, как всегда, и я опять буду одна». Она зажмурилась и потеряла глаза. Когда открыла глаза, ей стало легче. «Не отдам,— подумала она.— Мало-помалу наберу на квартиру, и если даже у нас с ней ничего не получится, хоть квартира-то будет». Ею овладела решимость принять, что выпадет. «Если хоть часть сбудется — и то будет подарок. Но надеяться не надо, надеяться нельзя. Тогда все лопнет».

Прыщ сказал:

— У меня большие планы. Я изучаю радиолокацию. Это будет очень ценная специальность. Кто знает радар, может очень прилично устроиться. По-моему, человек должен смотреть вперед, а по-вашему? Ведь какие есть люди — они не смотрят вперед, в будущее, и с чего начали, тем и кончают.

На губах у Камиллы застыла слабая улыбка.

— Пожалуй что так,— сказала она. Ей хотелось отделаться от паренка. Паренек был симпатичный, просто ей хотелось от него отделаться. Уж очень все на нем написано.— Большое спасибо за угощение,— сказала она.— Не мешало бы мне пойти привести себя в порядок. Ты не пойдешь, Норма?

Лицо Нормы выразило преданность.

— Да, конечно,— ответила она.— Мне тоже не мешает привести себя в порядок. Все, что ни говорила ее новая подруга, было верно, прекрасно и замечательно. «Боже милостивый, ну пусть получится!» — мысленно вскричала Норма.

Миссис Причард пила лимонад. Добиться его удалось не сразу, потому что здесь не подавали лимонад. Но когда миссис Причард показала на лимоны в бакалейном отделе и даже вызвалась собственноручно их выжать, хозяйке ничего не оставалось, как сделать это самой.

— Я просто не могу пить несвежие напитки из бутылок,— объяснила миссис Причард.— Я люблю чистый фруктовый сок.

Миссис Брид негодуя уступила этому ласковому натиску. Миссис Причард пила свой лимонад и разглядывала стенд с открытками на галантерейной витрине. Тут было здание суда в Сан-Хуан-де-ла-Круссе и гостиница в Сан-Исидро, выстроенная у горячего источника слабительной воды. В эту старую красивую гостиницу ездили ревматики принимать ванны. Гостиница называлась на открытках курортом. В галантерейной витрине была всякая всячина. Раскрашенные гипсовые собачки, стеклянные пистолетики с разноцветными конфетками, яркие куколки и затейливые деревянные штатулки с засахаренными фруктами. Были лампы, чьи абажуры начинали вращаться при включении, так что лесные пожары горели и корабли плавали на всех парусах, почти как в жизни. Эрнест

Хортон стоял тут же и смотрел на витрину пренебрежительно. Он сказал мистеру Причарду:

— Я иногда думаю, что мне стоило бы открыть магазин новинок — одних новинок. Кое-что из этих старых вещей выбрасывают на рынок годами — и никто не берет. А у моей компании — только перспективные товары, сплошь новые.

Мистер Причард кивнул.

— Это придает уверенности — когда работаешь в фирме и знаешь, что она ищущая, — сказал он. — Вот почему я думаю, что вам у нас понравится. Я смело могу утверждать, что мы ни на час не прекращаем поисков.

Эрнест сказал:

— Извините, я схожу за чемоданом. У меня есть вещичка, которая еще не поступила в продажу, но у торговцев пошла нарасхват. Пока только образцы. Может быть, и здесь получу заказ.

Он быстро вышел и притащил свой чемодан. Он открыл его и вынул картонную коробку.

— Видите, упаковка простая. Для большего эффекта. — Он вытащил из коробки настоящий маленький унитаз вышиной сантиметров в тридцать. Он был и с бачком и с медной ручкой на цепочке, а сама раковина была белая. На ней было даже сиденье, крашенное под дерево.

Миссис Брид подошла с той стороны прилавка.

— Всем покупками занимается муж, — сказала она. — Поговорите с ним.

— Понимаю, — сказал Эрнест. — Я просто хотел показать вам эту вещь. Она сама за себя говорит.

— Для чего это? — спросил мистер Причард.

— А вот смотрите, — сказал Эрнест. Он дернул цепочку, и бачок сразу спустил коричневую жидкость. Эрнест снял с унитаза сиденье, и оно оказалось со стаканчиком. — Тридцать граммов, — торжествующе сказал он. — Если хотите двойную порцию — например, для коктейля, — дерните цепочку дважды.

— Виски! — воскликнул мистер Причард.

— Ром, коньяк. Что угодно, — сказал Эрнест. — Видите, здесь в бачке место для заправки, а бачок — пластмасса с гарантией. Впечатление оглушительное. У меня уже заказов на тысячу восемьсот штук. Фурур. Хохот вызывает безотказно.

— Ей-богу, остроумно, — сказал мистер Причард. — Кто придумывает такие вещи?

— У нас есть отдел предложений, — объяснил Эрнест. — Всякий может подать предложение. Эту вещь изобрел один наш коммивояжер из района Великих озер. Он получает неплохие премиальные. Тому, кто выдвинул дельное предложение, компания выплачивает два процента с прибыли.

— Остроумно, — повторил мистер Причард. Он представил себе, как увидит эту вещь Чарли Джонсон. Чарли, конечно, кинется покупать такой же. — Почему они у вас идут? — спросил мистер Причард.

— На этот розничная цена пять долларов. Но если не возражаете, я посоветовал бы другую модель, которая идет по двадцать семь пятьдесят.

Мистер Причард поджал губы.

— Зато что вы получаете! — продолжал Эрнест. — Эта пластмассовая, а более дорогая... так: бачок дубовый, сделан из старых бочек из-под виски, прекрасно сохраняет напиток. Цепочка — чистое серебро, ручка — бразильский бриллиант. Унитаз — фаянсовый, настоящий туалетный фаянс, а сиденье — красного дерева, ручная работа. И на бачке серебряная пластинка; например, если хотите подарить своему клубу или ложе, можете поставить на ней свое имя.

— Да, кажется, товар того стоит, — заметил мистер Причард. Он решил. Теперь он знал, как обставить Чарли Джонсона. Один стульчак он подарит Чарли. Но на пластинке будет надпись: «Чарли Джонсону, первому такому-сякому Америки от Элиота Причарда», — и пускай себе хвастает Чарли сколько душе угодно. Все увидят, чья идея. — Лишнего у вас с собой нет? — спросил он.

— Нет, надо заказать.

Вмешалась миссис Причард. Она подошла потихоньку.

— Элиот, неужели ты это купишь? Элиот, это вульгарно.

— Ну конечно я не стану показывать при дамах,— ответил мистер Причард.— Нет, девочка. Знаешь, что я сделаю? Я пошлю такой Чарли Джонсону. Я с ним расквитаюсь за чучело вопочки. Так-то. Он у меня попляшет.

Миссис Причард пояснила:

— Мистер Причард жил с Чарли Джонсоном в одной комнате, когда учился в колледже. Они дико друг друга разыгрывали. Когда они вместе, они ведут себя как мальчишки.

— Значит,— серьезно сказал мистер Причард,— если я закажу такой, вы могли бы послать его по адресу, который я дам? И сделать гравировку? Я напишу, что мне надо выгравировать на пластинке.

— Что ты хочешь написать? — спросила Бернис.

— А девочки пусть не суют носик во взрослые дела,— ответил мистер Причард.

— Не сомневаюсь, что-нибудь ужасное,— сказала Бернис.

На Милдред напала хандра. Она ощущала тяжесть, усталость, все ей стало неинтересно. Она одиноко сидела на плетеном проволочном стуле у края прилавка. Цянически наблюдала за попытками Прыща остаться наедине с блондинкой. Поездка привела ее в уныние. Она сама себе была противна после того, что произошло. Что же она за женщина, если шофер автобуса так ее распалил? Она передернулась от отвращения. А где он? Почему не возвращается? Она подавила желание встать и посмотреть, где он. Рядом раздался голос Ван Бранта, она вздрогнула.

— Девушка,— сказал он,— у вас из-под юбки рубашка видна. Я решил, что вам не мешает знать.

— Да, да. Большое спасибо.

— Если бы никто не сказал, вы могли бы целый день ходить и думать, что у вас все в порядке,— пояснил он.

— Да, да, спасибо.— Она встала и, перегнувшись назад, прижала юбку к ногам — проверить. Комбинация высывалась сзади сантиметра на два.

— Я считаю, в таких случаях всегда лучше сказать,— продолжил Ван Брант.

— Вы правы. Наверно, бретелька оторвалась.

— Мне неинтересно знать про ваше нижнее белье,— ответил он холодно.— Я только заметил — и повторю еще раз: у вас из-под юбки рубашка видна. Не подумайте, что я сказал это из каких-то других соображений.

— Я и не думаю,— беспомощно ответила Милдред.

Ван Брант продолжал:

— Многие девушки чересчур заняты своими ногами. Думают, что все на них смотрят.

Вдруг Милдред громко, с надрывом, захохотала.

— Что тут смешного? — возмущался Ван Брант.

— Ничего,— сказала Милдред.— Просто вспомнила одну шутку.— Она вспомнила, что все утро Ван Брант только и норовил посмотреть кому-нибудь на ноги.

— Если она такая смешная, расскажите ее.

— Да нет. Это долго объяснять. Я пойду подколою бретельку.— Она посмотрела на него, а потом с расстановкой сказала: — Понимаете, на каждом плече две бретельки. Одна от комбинации, а другая — от лифчика, а лифчик крепко поддерживает грудь.— Она увидела, как из-под воротничка у Ван Бранта вылезла краснота.— А ниже него ничего нет, до штанишек — если бы я носила штанишки, но я не ношу.

Ван Брант повернулся и быстро ушел, а Милдред стало легче. Теперь у старого дурака не будет ни минуты покоя. Можно было бы понаблюдать за ним, а потом, пожалуй, и поймать на приманку. Смеясь про себя, она встала, вышла и направилась вокруг магазина к пристройке с надписью «Дамы».

На дверь была набита решетка, и вьон уже карабкался по ней. Милдред стояла перед закрытой дверью. Слышно было, как Норма разговаривает там с блондинкой. Она прислушалась. Может быть, из-за этого и стоило поехать — просто послушать, что говорят люди. Милдред любила подслушивать. Иногда эта склонность беспокоила ее. Она с интересом слушала всякие пустяки. Но всего лучше было слушать в женских уборных. Раскованность женщины в комнате, где есть умывальник, зеркало и унитаз, заинтересовала ее давно. Однажды она написала в колледже работу, признанную смелой,

где доказывала, что женщины освобождаются от торможений, когда у них задраны юбки.

Причина либо в этом, думала она, либо в уверенности, что мужчина, враг, не вторгнется на их территорию. Это единственное место в мире, где женщины могут быть уверены, что мужчина сюда не проникнет. Поэтому они расслабляются и внешне становятся такими, какие они внутри. Она много об этом думала. В общественных уборных женщины друг с дружкой бывают и доброжелательнее и злее — но откровеннее. Может быть, потому, что тут нет мужчин. Потому что где нет мужчин, нет соревнования, и они отбрасывают притворство.

Милдред задумывалась: а не так же ли и у мужчин в уборных? Но это сомнительно: мужчины соперничают вовсе не из-за одних женщин, между тем как женская озабоченность по большей части связана с мужчиной. Работу ей вернули с замечанием: «Не до конца продумано». Она собиралась ее углубить.

В магазине она была неприветлива с Камиллой. Блондинка ей просто не нравилась. Но она знала, что ее нерасположение останется за дверью уборной. Она подумала: «Не странно ли, что женщины соперничают из-за мужчин, которые им даже не нужны?»

Норма и Камилла все разговаривали и разговаривали, Милдред взялась за дверь и толкнула ее. В маленькой комнате была кабинка и умывальник с квадратным зеркалом. На одной стене висел ящик с бумажными подстилками для сидения, а возле раковины бумажные полотенца. Автомат с гигиеническими пакетами был привинчен к стене около окна с матовым стеклом. Цементный пол был выкрашен суриком, а стены покрыты многими слоями белой краски. Стоял резкий запах дезинфекции с отдушкой.

Камилла сидела на стульчаке, а Норма стояла перед зеркалом. Когда Милдред вошла, обе оглянулись на нее.

— Хотите сюда? — спросила блондинка.

— Нет, — сказала Милдред. — Бретелька комбинации свалилась.

Камилла посмотрела ей на юбку.

— Да, действительно. Нет, не так, — сказала она Норме. — Видишь, какой у тебя лоб? Вот и подними немного брови к вискам, только немного. Подожди, детка, подожди минуту, я тебе покажу.

Она встала и подошла к Норме.

— Повернись, чтобы мне было видно. Вот так. И так. Теперь посмотри сама. Видишь, они как бы уменьшили лоб. У тебя лоб высокий, и тебе надо сделать его поменьше. Теперь погоди, закрой глаза. — Она взяла у Нормы карандаш для бровей и подвела нижние веки, под самыми ресницами, сделала линию более темной и продлив за наружные уголки. — Ты слишком густо кладешь тушь, детка, — сказала она. — Видишь, как слиплись ресницы? Бери больше воды и не так горбись. Подожди минуту. — Она достала из сумочки пластмассовую коробку с тенью для век. — А с этим надо поаккуратнее. — Она взяла на палец голубой пасты и помазала верхние веки Нормы — гуще к наружным уголкам. — Так, дай посмотреть. — Она оценила свою работу. — Слушай, детка, ты чересчур раскрываешь глаза, как кролик. Чуть-чуть опусти верхние веки. Нет, не щурься. Только веки чуть-чуть опусти. Вот, правильно. Теперь погляди на себя. Видишь разницу?

— Ой, совсем другая, — сказала Норма. В голосе ее было благоговение.

— Другая. Теперь, губы ты мажешь совсем не так. Смотри, детка, нижняя губа у тебя тонкая. У меня тоже. Намажь пониже здесь и здесь немного.

Норма стояла смиренно, как послушная девочка, и подставляла лицо.

— Поняла? В углах погуще, — сказала Камилла. — Теперь нижняя губа кажется полнее.

Милдред сказала: —

— Вы мастер. Мне бы тоже не помешала помощь.

— Да? — сказала Камилла. — Ну, это довольно просто.

— У вас театральные грим, — сказала Милдред. — То есть он как бы напоминает театральные грим.

— Да, знаете, когда все время на людях... зубные врачи используют сестер почти как секретарш в приемных.

— Вот черт! — вырвалось у Милдред. — Не свалилась бретелька — оторвалась. — Она стащила платье с плеча и держала в руке короткую шелковую ленту.

— Вам надо ее подколоть, — посоветовала Камилла.

— У меня нет булавки, а иголки с нитками в чемодане!

Камилла снова открыла сумочку; в подкладку было воткнуто штук пять английских булавок.

— Вот, — сказала она, — я всегда с амуницией. — Она открепила булавку. — Хотите, я вам подколю?

— Если не трудно. Дурацкие глаза. Ничего не вижу.

Камилла вытянула край рубашки, подвернула конец бретельки и надежно их сколола.

— Не очень-то складно, но, по крайней мере, не высовывается. Булавка есть булавка. У вас с детства близорукость?

— Нет, — сказала Милдред. — Все было нормально до... ну, словом, почти до четырнадцати лет. Врач сказал, что это связано с половой зрелостью. Он сказал, что у некоторых зрение восстанавливается после первых родов.

— Неприятно.

— Ужасно противно, — сказала Милдред. — Что толку, что все время придумывают новые формы оправ. Все они не очень украшают.

— А вы не слышали про такие, которые вставляются прямо в глаз?

— Думала я о них, да так ни черта и не сделала. Наверно, боюсь, чтобы стекло прикасалось к глазам.

Норма все еще с изумлением разглядывала себя в зеркало. Глаза у нее вдруг стали больше, губы полнее, и она перестала быть похожей на мокрую мышь.

— Ну разве не прелесть? — сказала Норма, ни к кому не обращаясь. — Ну разве она не прелесть?

Камилла ответила:

— Она будет хорошенькая девочка, когда научится себя подавать и станет поуверенней. И волосами займемся, детка, как только устроимся.

— Значит, вы уже решили? — обрадовалась Норма. — Значит, снимем квартиру? — Она быстро обернулась к Милдред. — Мы хотим снять квартиру, — задыхаясь сказала она. — У нас будет кушетка, а в воскресенье утром мы будем мыть и укладывать волосы...

— Посмотрим, — вмешалась Камилла. — Надо еще посмотреть, как пойдут дела. Мы с тобой обе безработные, а уже сняли двухэтажную квартиру. Не все сразу, детка.

— Странное путешествие, — сказала Милдред. — Мы едем в Мексику. С самого начала все пошло шиворот-навыворот. Отец хотел посмотреть здешние места. Он подумывает перебраться со временем в Калифорнию. Поэтому захотел ехать в Лос-Анджелес на автобусе. Решил, что так сможет больше увидеть.

— Что ж, сможет, — сказала Камилла.

— Боюсь, не слишком ли много он увидит, — сказала Милдред. — Но вам когда-нибудь попадалось такое собрание персонажей, как у нас?

— Все они примерно одинаковые, — заметила Камилла.

— Мне нравится мистер Чикой, — сказала Милдред. — Знаете, он наполовину мексиканец. Но этот мальчишка! Такое чувство, что стоит только отвернуться — и он на тебя вскарабкается.

— Да он ничего, — ответила Камилла. — Кобелек, конечно, не без этого. Молоденькие почти все такие. С возрастом, наверно, пройдет.

— Может и не пройти, — возразила Милдред. — Вы не обратили внимания на этого старика, Ван Бранта? У него не прошло. В него въелось. В душе это довольно грязный человек.

Камилла улыбнулась:

— Довольно старый.

Милдред зашла в кабину и села.

— Я хотела спросить, — сказала она. — Отцу кажется, что он вас где-то встречал. У него неплохая память. Вы его никогда не встречали?

Милдред увидела враждебность в глазах Камиллы, увидела, как сжался ее рот, и поняла, что коснулась больного места. Но тут же лицо Камиллы разгладилось.

— Скорее всего я на кого-то похожа,— сказала она.— На этот раз он ошибся — разве что видел меня где-нибудь на улице.

— Честно? — спросила Милдред.— Я вас вовсе не подлавливаю. Мне просто любопытно.

Дружелюбия, приятельства, непринужденности как не бывало. Словно в комнату вошел мужчина. Взгляд Камиллы уколол Милдред.

— Он ошибся,— холодно повторила она.— Хотите — верьте, хотите — нет, дело ваше.

Дверь открылась, и вошла миссис Причард.

— Ах вот ты где,— сказала она дочери.— Я думала, ты пошла побродить.

— Нет, у меня лопнула бретелька на комбинации,— сказала Милдред.

— Все же поторопись. Вернулся мистер Чикой, и там уже целый спор... Спасибо, милая,— сказала она Норме, которая освободила ей место у раковины.— Я только намочу платок и слегка сотру пыль... Почему ты не выпьешь лимонаду? — спросила она у Милдред.— Эта милая женщина охотно согласилась его сделать. Я ей сказала, что просто прославится, если станет подавать чистые фруктовые соки.

Камилла вдруг сказала:

— Хорошо бы нам дали чего-нибудь поесть. Я проголодалась. Чего-нибудь вкусного.

— И я бы не отказалась,— сказала миссис Причард.

— Я бы съела холодного краба под майонезом, а к нему бы — бутылку пива,— добавила Камилла.

— Никогда не ела так краба,— сказала миссис Причард,— но если бы вы знали, до чего вкусно моя мама готовила маслюка. Она брала старинную чугунную сковородку, а рыба — рыба должна быть очень свежая и очень хорошо выпотрошена. Панировку она делала из обжаренных крошек — хлебных крошек, не сухарных — и клала полную столовую ложку... нет, две столовые ложки соевого соуса во взбитое яйцо. Я думаю, в этом и был секрет.

— Мама,— сказала Милдред,— не надо опять про маслюка.

— Ты бы выпила лимонаду,— сказала миссис Причард.— Он очищает кожу. От долгой дороги кожа портится.

— Пора бы уж ехать,— сказала Милдред.— Позавтракать мы можем в следующем городе. Как он называется?

— Сан-Хуан-де-ла-Крус,— сказала Норма.

— Сан-Хуан-де-ла-Крус,— нежно повторила миссис Причард.— По-моему, испанские названия очень милы.

Перед уходом Норма окинула себя в зеркале долгим изумленным взглядом. Она опустила глаза. Тут понадобится тренировка — чтобы не забывать опускаться,— зато это решительно меняло всю ее внешность и ей нравилось.

Глава 13

Хуан сидел на табурете, пил пепси-колу и тер лоснистый конец ампутированного пальца о рубчики вельветовых брюк. Когда женщины вернулись из-за дома и вошли в магазин, он посмотрел на них, и потирание сменилось постукиванием.

— Все здесь? — спросил он.— Нет, одного не хватает. Где мистер Ван Брант?

— Я тут.

Голос раздался из бакалеи, где, скрывшись за стеной из кофейных банок, он бесцельно разглядывал полки.

Мистер Причард сказал:

— Я хочу знать, когда мы поедем? Мне надо успеть к самолету.

— Я понимаю,— вежливо ответил Хуан,— как раз об этом я и хочу поговорить. Мост ненадежный. Переехать я, наверно, смогу. Но дальше — еще мост, его может снести, если уже не снесло. Нам не удалось о нем разузнать. Если мы въедем в излучину, а оба моста снесет, мы застрянем, и тут уж ни к каким самолетам не успеешь. Так вот, я хочу, чтобы вы проголосовали, и сделаю так, как решит большинство пас-

сэжиров. Я могу рискнуть и переехать на ту сторону, а могу отвезти вас назад, и там вы рассудите, куда вам ехать. Решайте сами. Но когда решите, пришлите мне потом не идти на попятный.

Он запрокинул бутылку с пепси-колой и выпил.

— Мне некогда,— громко сказал мистер Причард.— Послушайте, друг мой. Я не был в отпуске с начала войны. Я производил военное снаряжение, необходимое для победы, и это мой первый отпуск. Мне просто некогда кататься по всему штату. Я нуждаюсь в отдыхе. У меня всего несколько недель — не тратить же их таким образом.

Хуан сказал:

— Извините. Я это не нарочно устроил, вы же понимаете,— но если мы застрянем в излучине, вы можете потерять гораздо больше времени, а я могу потерять автобус при переправе. Нагрузка на мост такая, что он вот-вот развалится. Может рухнуть в любую минуту. Другой выход — вернуться назад.

Из-за кофейного штабеля появился Ван Брант. В руках у него была литровая банка грушевого компота. Через весь магазин он прошел к миссис Брид.

— Почему?

— Сорок семь центов.

— Господи! За банку компота?

— Мы на этом не выгадали,— сказала она.— Сами теперь больше платим.

Ван Брант ожесточенно швырнул на прилавок полдоллара.

— Откройте ее,— сказал он.— Сорок семь центов за паршивую баночку компота!

Миссис Брид вставила банку в настенную открывалку, повернула ручку и остановилась, как только приподнялся край. Она передала банку через прилавок Ван Бранту. Сперва он отпил сироп, потом залез туда пальцами и вытащил желтый ломтик. Он подержал его над банкой, чтобы сироп стек.

— Так вот, я вас слышал,— сказал он.— Вы думаете, что можете отнимать у нас время. Мне надо попасть в суд, и попасть сегодня. А вы обязаны меня доставить. Вы — общественный транспорт и подчиняетесь установлениям железнодорожной комиссии.

— О том и стараюсь,— ответил Хуан.— А одно из установлений комиссии — не убивать пассажиров.

— Все оттого, что местность не знаете,— продолжал Ван Брант.— Должно быть твердое правило, что раньше, чем водить автобус, надо знать местность.— Он потряс ломтик груши, кинул его в рот и двумя пальцами выловил другой. Он наслаждался.

— Вы сказали, есть только два пути. Так вот, их три. Вы не знаете, что здесь была старая дорога, пока не построили эти дурацкие мосты. Она идет как раз вдоль излучины. По ней ездили дилижансы.

Хуан вопросительно посмотрел на Брида.

— Я слышал о ней, но в каком она виде?

— По ней больше ста лет ездили дилижансы,— сказал Ван Брант.

Брид сказал:

— Я знаю, что первые километра три приличные, а дальше как — не знаю. Она идет по склону горы на восток, вон туда. Ее могло размывать. Я был там еще до дождей.

— Вот и решайте,— сказал Ван Брант. Он отряхнул кусочек груши, кинул его в рот и заговорил с полным ртом.— Я сказал вам, что будет дождь. Сказал вам, что река разольется, а теперь, когда вы застряли, я сказал вам, как выбраться. Может, и вашу дерьмовую колымагу за вас повести?

— Не распоясывайтесь,— прикрикнул Хуан,— выбирайте выражения! Тут женщины.

Ван Брант запрокинул банку и допил сироп, задерживая груши зубами. Густой сироп потек по подбородку, и он утерся рукавом.

— Ну и поездка, тьфу! — сказал он.— С самого начала.

Хуан повернулся к остальным пассажирам.

— Что ж, вот так. В правилах сказано, что я должен ездить по шоссе. Старую дорогу я не знаю. Не знаю, проеду по ней или нет. Решайте сами, что делать. Если мы застрянем, я не хочу, чтоб всё валили на меня.

Мистер Причард сказал:

— Я люблю, когда дело делается. А мне, любезный, надо в Лос-Анджелес. У меня билеты на самолет до Мехико. Знаете сколько они стоят? И рейс переменить нельзя. Нам надо пробиваться. Так что давайте действуйте. Вы думаете, мост опасен?

— Не думаю, а знаю,— ответил Хуан.

— Так,— сказал мистер Причард,— и говорите, что не знаете, можно ли проехать по старой дороге?

— Именно,— сказал Хуан.

— Значит, у нас два рискованных пути и один верный. И верный никуда нас не приводит. Хм-м-м,— сказал мистер Причард.

— Как ты считаешь, милый? — сказала миссис Причард.— Надо что-то решать. Я три дня как следует не мылась. Милый, нам надо что-то решать.

Милдред сказала:

— Попробуем по старой дороге. Это может быть интересно.— Она взглянула на Хуана — как он отнесется к этому предложению? — но он уже перевел взгляд с нее на Камиллу.

Что-то, оставшееся от недавней встречи с Милдред, заставило Камиллу сказать:

— Я — за старую дорогу. Я уже так устала и такая грязная, что мне почти все безразлично.

Хуан отвел взгляд, посмотрел на Норму и прищурился. Это была совсем не та Норма. И она поняла, что он это заметил.

— Я — тоже за старую,— сказала она, едва дыша.

Эрнест Хортон нашел себе стул; на нем обычно отдыхала миссис Брид во второй половине дня, когда у нее распухали ноги. Он наблюдал за подсчетом голосов.

— Мне, в общем, все равно,— сказал он.— Конечно, я хотел бы попасть в Лос-Анджелес, но это не так важно. Как скажут другие, так и я.

Вант Брант со стуком опустил банку на прилавок.

— Будет дождь,— сказал он.— Эта окольная дорога может сделаться ужасно скользкой. Неизвестно, удастся ли вам въехать на тот восточный холм. Он крутой и глинистый. Если увязнете там, я не знаю, как вы выберетесь.

— Но вы же сами это предложили,— сказала Милдред.

— Я просто перечисляю все доводы против,— сказал Ван Брант.— Перечисляю по порядку.

— За что вы голосуете? — спросил Хуан.

— А я не голосую. Ничего глупее в жизни не слышал. Я считаю, решение должен принимать шофер как капитан корабля.

Прыщ отошел к кондитерскому прилавку. Он выложил десять центов и взял две конфеты. Одну сунул в карман, чтобы дать Камилле, когда сможет остаться с ней наедине, а другую медленно развернул. Шальная, волнующая мысль вдруг стукнула ему в голову. Что, если они поедут по мосту, и прямо посередине он провалится, и автобус упадет в реку? Прыща выбросит наружу, а блондинка будет заперта в автобусе. Прыщ нырнул и нырнул и, уже полумертвый, разбил наконец окно, вытащил бесчувственную Камиллу, поплыл с ней к берегу, положил ее на зеленую траву и стал тереть ей ноги, чтобы восстановить кровообращение. Или лучше: повернул ее на спину, положил руки ей на грудь и сделал искусственное дыхание.

А если они поедут по старой дороге и автобус застрянет? Тогда они останутся там на всю ночь и, может быть, у костра — будут вместе, сядут вместе к костру, и он будет освещать их лица, и, может быть, укроются одним одеялом.

Прыщ сказал:

— По-моему, лучше попробовать по старой дороге.

Хуан посмотрел на него и ухмыльнулся.

— В тебе кровь настоящего Кита Карсона, а. Кит?

Прыщ понял, что это шутка, но шутка не издевательская.

— Так, кажется, все, кроме одного,— за, а один не голосует. Почему? Чтобы можно было подать на меня в суд?

Ван Брант обернулся к остальным.

— Вы с ума походили,— сказал он.— Вы понимаете, что он делает? Он хочет выкрутиться. Если что-нибудь случится, он будет ни при чем, скажет, что сделал так, как вы ему велели. Нет, мне он голову не заморочит.

Мистер Причард протер очки белым льняным платком.

— Интересная мысль,— сказал он.— В таком разрезе я об этом не подумал. Мы в самом деле отказываемся от своих прав.

В глазах у Хуана зажглась злость. Рот сжался в ниточку.

— Садитесь в автобус,— сказал он.— Я везу вас обратно в Сан-Исидро и высаживаю. Я хотел вас доставить на место, а вы ведете себя так, как будто я вас хочу убить. А ну, садитесь в автобус. Я сыт по горло. Со вчерашнего вечера я верчусь как мартышка, чтобы вас ублажить, и я сыт этим по горло. Так что занимайте места. Едем обратно.

Мистер Причард подошел к нему.

— Нет, вы меня не так поняли,— сказал он.— Я благодарен вам за ваши труды. Мы все благодарны. Я просто хотел рассмотреть вопрос всесторонне. В делах я всегда так поступаю. Семь раз отмерь, один раз отрежь.

— Я сыт по горло,— повторил Хуан.— Я уступил вам свою постель. Я хочу от вас избавиться.

Ван Брант сказал:

— Между прочим, сломался-то ваш автобус. Вина не наша.

Хуан ответил ровным голосом:

— А больше всего, кажется, я хочу избавиться от вас.

— Не забывайтесь,— ответил Ван Брант.— Учтите, что вы водитель общественного транспорта и вам выданы права. После этого происшествия не так трудно будет их отобрать.

У Хуана вдруг пропала злость. Он захохотал.

— Вот обрадовали так обрадовали. Навсегда избавлюсь от таких, как вы, и уж тогда я найду, куда засунуть эти права, свернувши в трубочку и обвязавши колючей проволокой.

Камилла громко рассмеялась, а Эрнест Хортон радостно хихикнул.

— Это надо запомнить,— сказал он,— ей-богу. Послушайте, мистер Чикой. Эти двое желают разговаривать. Остальные хотят ехать. Мы рискнем. Проведите-ка вы черту, и кто перейдет за нее — едет, прочие остаются здесь. Так будет вернее.

Милдред сказала:

— Мистер Чикой, я хочу ехать.

— Ладно,— сказал Хуан.— Вот большая щель в полу. Кто не хочет, чтобы я ехал по старой дороге, перейдите на ту сторону, к овощам.

Никто не двинулся. Хуан внимательно взглянул каждому в лицо.

— Это незаконно,— сказал Ван Брант.— Суд этого не примет.

— Чего не примет?

— Того, что вы делаете.

— До суда пока не дошло.

— Может дойти,— сказал Ван Брант.

— А вас, если и захотите, не возьму,— сказал Хуан.

— Только попробуйте не взять. У меня билет, у меня право ехать на автобусе. Только попробуйте не взять, я на вас подам, вы оглянуться не успеете.

Хуан сгорбился.

— Это точно,— сказал он.— Ладно, поехали.— Он обернулся к Бриду.— Можете одолжить мне инструменты? Верну на обратной дороге.

— Какие инструменты?

— Да кирку и лопату.

— А-а, конечно. На случай если застрянете?

— Ага — а талей у вас нет?

— Не очень хорошие. Блоки-то ничего, а трос старый, двенадцать миллиметров. Не знаю, сколько он выдержит. Автобус у вас тяжеловатый.

— Ну хоть такие — лучше, чем ничего,— ответил Хуан.— А новый трос у вас нельзя купить?

— С начала войны у нас ни кусочка не было манильского троса,— сказал Брид.— А что есть — к вашим услугам. Пойдемте. Берите что приглянется.

Хуан сказал:

— Пошли, Кит, сможешь мне?

Все трое вышли из магазина и обогнули дом. Эрнест сказал Камилле:

— Такое упустить? Да ни за какие деньги.

— Если бы еще я не так устала,— ответила она.— Шестой день еду на автобусах. Хочется скинуть с себя все и денька два по-человечески поспать.

— Почему вы не поехали на поезде? Вы ведь из Чикаго?

— Из Чикаго.

— Так вы могли сесть на «Старшего вождя» и спать себе всю дорогу до Лос-Анджелеса. Это хороший поезд.

— Выгадываю центы,— ответила Камилла.— Накопила немного денег и хочу поваляться недельку-другую до того, как поступлю на работу. А это как-то лучше на двуспальной кровати, чем на вагонной полке.

— Я правильно улавливаю? — спросил он.

— Неправильно,— ответила Камилла.

— Хорошо, как скажете.

— Знаете, кончим эту игру,— сказала Камилла.— Я устала до чертовой матери, и мне неохота играть с вами в шарады.

— Хорошо, красавица, хорошо. Согласен играть во что хотите.

— Тогда давайте посидим тихо. Идет?

— А знаете? Вы мне нравитесь,— сказал Эрнест.— Я бы вас с удовольствием куда-нибудь сводил, когда вы отдохнете.

— Ну, посмотрим, как получится,— сказала она. Эрнест ей понравился. С ним можно было иметь дело. Он кое-что повидал, поэтому с ним просто.

Норма наблюдала за ними, прислушивалась. Она восхищалась Камиллой. Ей хотелось научиться, как это делается. Она вдруг сообразила, что глаза у нее широко раскрыты, как у кролика,— и сразу опустила веки.

Миссис Причард сказала:

— Надеюсь, у меня не разболится голова. Элиот, посмотри, нет ли у них аспирина, хорошо?

Миссис Брид оторвала целлофановый пакетик от большой выставочной картонки.

— Возьмете пакет? Пять центов.

— Возьмем, пожалуй, поддюжины,— сказал мистер Причард.

— Это будет, с налогом, двадцать шесть центов.

— Зачем так много, Элиот? — сказала миссис Причард.— У меня в чемодане флакон, пятьсот штук.

— Всегда лучше иметь запас,— ответил он.

Он знал, каковы ее мигрени; они были ужасны. Они искажали ее лицо и превращали ее в потный, студенистый, пыхтящий, оскаленный комок боли. Они заполняли комнату и дом. Они действовали на всех окружающих. Мистер Причард ощущал ее мигрень сквозь стены. Он ощущал ее всем телом, и врач говорил, что помочь тут ничем нельзя. Ей вливали хлористый кальций и давали успокаивающие. Мигрени случались обыкновенно, когда она нервничала и когда дела — не по ее вине — шли плохо.

Муж хотел бы избавить ее от страданий. Они казались корыстными — ее головные боли, и, однако, это было не так. Боль была настоящая. Невозможно симулировать такую мучительную боль. Мистер Причард страшился их больше всего на свете. От хорошего приступа кидало в дрожь весь дом. И они были немного похожи на совесть. Как ни убеждал себя мистер Причард, он не мог отделаться от чувства, что отчасти он в них виноват. Не то чтобы миссис Причард когда-нибудь это говорила или давала понять. Наоборот, она вела себя очень мужественно. Она старалась заглушить свои крики подушкой.

Мистер Причард не часто беспокоил ее в постели — вернее сказать, очень редко. Но, странным образом, он связывал свою несчастную похоть и потерю самообладания с ее головными болями. Это глубоко внедрилось в его ум, и каким путем внедрилось —

он сам не знал. Но это висело на его совести. Его неизменность, его почоть, неадекватность самообладания — они были причиной. Избавиться от этого чувства он не мог. Иногда он ловил себя на том, что искренне ненавидит жену за свои огорчения. Когда у нее болела голова, он оставался после работы в кабинете и, случалось, часами сидел за столом, просто глядя на коричневую обшивку стен, и боль жены колотилась в его теле.

Бывало, в разгар самого жестокого приступа она предлагала ему развестись. «Сходи в кино, — стонала она. — Пойди к Чарли Джонсону. Выпей виски. Напейся. Не сиди здесь. Сходи в кино». Но это было невозможно. Он не мог.

Он засунул шесть прозрачных пакетиков в карман пиджака.

— Может быть, примешь сейчас две таблетки на всякий случай? — спросил он.

— Нет, — ответила она. — Я думаю, ничего не случится. — Она улыбнулась, как всегда мужественно и нежно.

Милдред, услышав слово «аспирин», отошла в бакалейный отдел и стала изучать на стене ценник, утвержденных федеральным управлением. Она стиснула губы, горло у нее сдавило. «О, господи боже мой. — пробормотала она вполголоса. — О, господи, неужели опять начинается?». Милдред не совсем верила этим головным болям. У самой у нее голова никогда сильно не болела: только побаливала при периодических недомоганиях да несколько раз с похмелья в школе. Материнские приступы она объясняла психозом, называла психосоматическими и страшилась их больше, чем отец. В детстве она убегала от них, пряталась в подвале или за шкафом. Но обычно ее вытаскивали и отводили к маме, потому что, когда у мамы болела голова, она нуждалась в любви и в ласке. Милдред считала эти головные боли проклятием. Она их ненавидела. И ненавидела мать, когда они начинались.

Одно время Милдред считала их чистым притворством и даже теперь, когда узнала из книг, что боль — неподдельная, все равно видела в этих приступах оружие, которым мать пользуется с предельным коварством и предельной жестокостью. Они были мучением для матери — это правда, — но также вожжами и кнутом для семьи. Они держали семью в повиновении. В некоторых вопросах нежелание матери было законом, потому что за ним маячила мигрень. А когда Милдред жила у родителей, она сознавала, что боится прийти домой позже часу ночи потому, что опоздание почти неизбежно вызовет у матери мигрень.

Между приступами забывалось, до чего они сокрушительны. Милдред полагала, что матери нужен психиатр. И Бернис шла на все. Она на все соглашалась. На дыбы тут встал мистер Причард. Он не верит в психиатров, сказал он. Но на самом деле он верил в них — настолько, что боялся их. Ибо мистер Причард постепенно впал в зависимость от головных болей. В каком-то смысле они были ему оправданием. Они были ему карой и указывали ему на грехи, которые надо искупить. Мистер Причард нуждался в грехах. Их не было в его деловой жизни, потому что жестокости там были заданы и предусмотрены уставом как необходимость и ответственность перед акционерами. А мистер Причард нуждался в личных грехах и в личном искуплении. Идею насчет психиатра он с негодованием отверг.

Милдред заставила себя повернуться и подойти к матери,

— Ты здорова, дорогая?

— Да, — бодро ответила Бернис.

— Голова не болит?

Бернис ответила извиняющимся тоном:

— Нет, просто ждало, и я испугалась. Никогда себе не прощу, если со мной случится этот ужас и я испорчу папе путешествие.

Милдред с легкой дрожью думала о женщине, которая была ее матерью, — о ее власти и ее жестокости. Это, наверно, бессознательное. Иначе — что же? Милдред видела и слышала, как стряпалось это путешествие в Мексику. Отец ехать не хотел. Он с удовольствием провел бы отпуск дома, просто не работая: это значило, что он все равно ходил бы на работу каждый день, но приходя туда когда вздумается и уходя не в урочное время, а когда захочется, наслаждался бы ощущением праздности и отдыха.

Однако идея путешествия в Мексику была внедрена. Как и когда? Милдред не знала, и отец не знал. Но постепенно он уверился не только в том, что это его идея, но и в том, что семью он с собой — тащит. А от этого возникало чудесное чувство, что он в своем доме хозяин. Он проходил дверь за дверью в лабиринте, и они за ним закрывались. Это было похоже на гнездо-ловушку. Курица видит дыру, заглядывает, видит кучку зерна, заходит через дверцу — дверца закрывается. Ага, гнездо. Темно и тихо. Почему бы не снести яичко? Славную сыграем шутку над тем, кто не закрыл дверцу.

Отец почти забыл, что не хотел ехать в Мексику. И мистер и миссис Причард пошли на это ради дочери. Конечно, так оно было вернее. Она учит в университете испанский, и язык она знает плохо, точно так же, как ее учителя. Мексика — где же еще попрактиковаться? Мать сказала, что нет лучше способа изучить язык, чем разговаривать на нем.

Глядя на нежное и спокойное лицо матери, Милдред просто не могла поверить, что эта женщина способна затеять дело и тут же сорвать его. Чего ради? А ведь с нее станется. Идею подсунула она. И голова у нее заболит как пить дать. Но она подождет, покуда не окажется вдали от врачей, покуда ее головная боль не произведет наибольшее впечатление. В это трудно было поверить. Милдред не думала, что мать делает это сознательно. Но в груди у Милдред словно застрял ком теста и давил ей на желудок. Мигрень приближалась. Милдред знала это.

Она позавидовала Камилле. Камилла шлюха, думала Милдред. А насколько проще живется шлюхе. Ни укоров совести, ни утрат — ничего, кроме чудесного, ленивого, как у кошки на солнышке, самобытия. Можно переспать с кем хочешь, никогда больше его не увидеть и не испытывать от этого чувства утраты или непрочности. Так, думала Милдред, обстоит у Камиллы. И ей хотелось бы жить так же, но она знала, что это невозможно. Невозможно из-за матери. И непрошенная явилась мысль: если бы мать умерла, ей жилось бы куда проще. Завела бы себе где-нибудь укромную квартиру. Она почти с яростью отбросила эту мысль. «Какая гадость — так думать», — назидательно сказала она себе. Но мечта эта посещала ее часто.

Она посмотрела в фасадное окно. Прыщ помог втащить тали в автобус, а трос был в смазке и оставил след на шоколадных брюках Прыща. Он оттирал их носовым платком. «Бедный мальчик, — подумала Милдред, — костюм-то, наверно, единственный». Она хотела сказать ему, чтобы он не трогал пятно, но в это время он подошел к бензоколонке, смочил бензином платок и умело принялся за **чистку**.

А Хуан уже звал:

— Поехали, граждане.

Перевел с английского В. ГОЛЫШЕВ.

(Окончание следует)



АЛЕКСАНДР БЛОК И ЕГО НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА

Среди материалов по истории русской литературы и культуры конца XIX и двух первых десятилетий XX века письма Александра Блока занимают важное место. Однако многие из этих писем еще не опубликованы, значительная часть его эпистолярного наследия хранится в архивах, библиотеках, частных собраниях и не всегда доступна даже исследователям.

Ниже публикуются письма Блока Валерию Брюсову и Всеволоду Мейерхольду. В этих письмах мы видим не только Блока-поэта, но и Блока — литературного и театрального критика. Литературно-критическая проза Блока стала лишь недавно привлекать к себе серьезное внимание. Долгое время считалось, что статьи и рецензии Блока не имеют самостоятельного значения, что их можно рассматривать лишь как дополнение к его художественному творчеству. Время показало глубокую ошибочность таких утверждений. Проза Блока, в том числе и критическая, явление незаурядное даже для столь блестящего времени, каким был для отечественного искусства рубеж двух веков.

Блок менее всего был теоретиком школы символизма. В его прозе мы не найдем сложных построений, характерных, например, для Андрея Белого. Но своей эмоциональной напряженностью и целеустремленностью статьи и рецензии Блока показывают, сколь непростым был путь его к преодолению влияния декаданса, приведший поэта к теме всей его творческой судьбы—к теме России. И именно проза Блока (а эпистолярное наследие поэта — неотъемлемая часть ее) в полной мере показывает, как глубоко ощущал кризис буржуазной культуры выдающийся русский поэт.

Блок остро сознавал ответственность художника перед обществом. «Перед русским художником,— писал Блок в статье «Три вопроса»,— вновь стоит неотступно этот вопрос пользы. Поставлен он не нами, а русской общественностью, в ряды которой возвращаются постепенно художники всех лагерей. К вечной заботе художника о форме и содержании присоединяется новая забота о долге, о должном и не должном в искусстве. Вопрос этот — пробный камень для художника современности: может быть, он одичал и стал отвлечен до такой степени, что разобьется об этот камень. Этим он докажет только собственную случайность и слабость. Если же он действительно «призванный», а не самозванец, он твердо пойдет по этому пути к той вершине, на которой сами собой отпадают те проклятые вопросы, из-за которых идет борьба не на жизнь, а на смерть в наших долинах; там чудесным образом подают друг другу руки заклятые враги: красота и польза». Но Блок был убежден, что многие современные ему литераторы не в состоянии выполнить свой общественный долг. Поэт выступал, например, против участвовавших литературных чтений, считая их не только ненужными, но и попросту вредными. Вредными потому, пояснял Блок, что «нельзя приучать публику любоваться на писателей, у которых нет ореола общественного, которые еще не имеют права считать себя потомками священной русской литературы... вредно потому, что большинство новых произведений... недоступно большой публике, и она права, что чистосердечно ничего не понимает; вредно потому, что все это, вместе взятое, порождает атмосферу не только пошлости и вульгарности,— хуже того: вечера нового искусства... порождая все перечисленное, тем самым становятся как бы ячей-

ками общественной реакции; как бы ни были крохотны и незначительны эти ячейки в круговороте нашей жизни, они делают свое медленное дело неуклонно».

Задолго до Октября Блок слышал приближающийся шум крушения старого мира и в тот короткий срок, который остался до взрыва, призывал каждого честного интеллигента заняться не праздной философской болтовней и не обсуждением отвлеченных эстетических теорий, но практическим действием, которое могло бы повести если не к уничтожению, то, по крайней мере, к уменьшению пропасти, образовавшейся между интеллигенцией и народом.

Мысль о практическом предназначении искусства постоянно преследовала Блока. Он вновь и вновь возвращается к вопросу о неустранимости действительного участия искусства в социальной жизни. Уже в 20-х годах этого века, полемизируя с Н. С. Гумилевым, Блок заявлял, «что никаких чисто «литературных» школ в России никогда не было, быть не могло и долго еще, надо надеяться, не будет; что Россия — страна более молодая, чем Франция, что ее литература имеет свои традиции, что она тесно связана с общественностью, с философией, с публицистикой...». В этом смысле из современных ему писателей Блок выделял Горького как художника, с «великой и скрепностью» представляющего своими произведениями весь русский народ.

Одним из тех, кто обостренно почувствовал музыкальный ритм времени, был для молодого Блока Валерий Брюсов. В судьбе Блока он сыграл очень большую роль. В издававшемся Брюсовым альманахе «Северные цветы» был впервые напечатан цикл «Стихи о Прекрасной Даме». Блок внимательно следил за поэзией Брюсова. В рецензиях Блока на сборники его стихов мы можем почувствовать живую, своеобразную мысль, найти множество точных суждений и оценок.

«...на языке до сих пор Брюсов,— пишет Блок С. Соловьеву, прочитав книгу Брюсова «Urbi et orbi».—„Он не змею сердце жалит, но, как пчела, его сосет...“». И в том же письме: «Брюсов мучает меня приблизительно с твоего отъезда, ибо тогда я стал читать его книгу... Читать его стихи вслух в последнее время для меня крайне затруднительно, вследствие горловых спазм. Приблизительно как при чтении пушкинского «Ариона» или «Ненастный день потух». Впрочем, надо полагать, что скоро сам напишу стихи, которые все окажутся дубликатом Брюсова». Со стихами из «Urbi et orbi» в жизнь и творчество Блока вошли новые темы, зашумел большой город, заговорили народные тайны, появилась «жизнь повседневная». Брюсов был действительно «великим магом» стиха, революционизировавшим русскую поэтику, обогатившим ее введением новых размеров и ритмов и расширившим ее пределы почти безгранично. Образы и ритмы Брюсова, совпавшие в сознании Блока с «распутьем», на котором чувствовал себя поэт, с новым местом в фабричном районе Петербурга, где он поселился, дали жизнь новым темам в поэзии Блока: города, фабрики, рабочие... И появилась, например, «Фабрика», запрещенная в 1904 году цензурой:

В соседнем доме окна желты.
По вечерам — по вечерам
Скрипят задумчивые болты,
Подходят люди к воротам...

.....
Они войдут и разбредутся,
Навалят на спины жули.
И в желтых окнах засмеются,
Что этих нищих провели.

Блок писал Брюсову: «Каждый вечер я читаю «Urbi et orbi». Так как в эту минуту одно из таких навечерий, я, несмотря на всю мою сдержанность, не могу вовсе умолкнуть. Что же Вы еще сделаете после этого? Ничего или — ? У меня в голове груды стихов, но этих я никогда не предполагал возможными... То, что Вам известно, не знаю, доступно ли кому-нибудь еще и скоро ли будет доступно. Несмотря на всю излишность этого письма, я умолкаю только теперь». А сам Брюсов, поначалу весьма скептически относившийся к «младшим символистам», начинает проявлять интерес к ним. В 1903 году он пишет стихотворение «Младшим» с эпи-

графом из «Стихов о Прекрасной Даме» и знаменательными строками, обращенными к молодым поэтам:

Они Ее видят! они Ее слышат!
С невестой жених в озаренном дворце!..

Железные болты сломать бы, сорвать бы!..
Но пальцы бессильны, и голос мой тих.

Совершенно ясна взаимоустремленность скульптурного, прекрасно чувствующего плоть земли, ее форму и краски Брюсова и мечтательного певца «Прекрасной Дамы», вырывающегося из замкнутого кольца юношеской лирики. Свою рецензию на «Urbi et orbi» Блок послал Брюсову, редактировавшему символистский журнал «Весы». Рецензия эта откровенно лирична. Именно работы такого типа давали повод обвинять Блока-критика в предельном импрессионизме, субъективности. Но в ней же мы видим и точнейшие замечания о целостности всей книги Брюсова и внутреннем непреложном единстве, составляющем ее основу. Собственно критический анализ отсутствует в этой рецензии. Здесь поэт под влиянием и очарованием магии другого поэта лишь подтверждает мысль, высказанную о книге в письме Андрею Белому: «...ряд небывалых откровений, озарений почти гениальных». Брюсов счел неудобным публиковать восторженную рецензию на «Urbi et orbi» в своем же журнале. Он отвечал Блоку: «Статью Вашу о себе получил. За Ваши строки очень спасибо. Но, думаю, нам лучше ее не печатать: и так «Русь» все попрекает нас, что мы друг друга славим...» Но Блока не оставила мысль высказаться в печати о поразившем его литературном явлении, да и редакция журнала «Новый гуть» просила рецензию на «Urbi et orbi», но как можно менее лиричную. «Посылаю Вам рецензию на Брюсова,— сообщает Блок П. Перцову,— в самом сухом тоне, я никак не могу написать менее лирическую. Мне кажется, «Urbi et orbi» — факт неисчерпаемый и громадный». Статья о Брюсове явилась последним прозаическим произведением Блока, опубликованным в «Новом пути». Центральная часть рецензии — неожиданное сопоставление поэзии Валерия Брюсова со стихами Владимира Соловьева. Сопоставление тем более неожиданное, что известно резко отрицательное отношение Вл. Соловьева к старшим символистам и его пародии на сборник «Русские символисты». Блок, все еще находящийся под огромным влиянием Владимира Соловьева и вдруг узревший «нового бога» — Брюсова, пытается найти нечто общее в их творчестве. Теперь, в историко-литературном контексте, натянутость сближений Брюсова и Вл. Соловьева не вызывает сомнений. И все же мысль поэта важна для нас как свидетельство его творческих поисков.

В этот период Блок ясно чувствовал приближение расцвета русской поэзии. Как отличалась его позиция от позиции Зинаиды Гиппиус, писавшей в предисловии к своему первому сборнику стихотворений: «Было время, когда всем казались нужными целые книги стихов, когда они читались сплошь, понимались и принимались. Время это — прошлое, не наше. Современному читателю не нужен, бесполезен сборник современных стихов». Блок же приветствовал в лице Брюсова автора именно книги стихов, особо подчеркивая глубокую связь между стихами и отделами, дополняющими и завершающими друг друга. Именно новые сборники стихов дали возможность Блоку написать отцу (а следует заметить, что отцу в Варшаву Блок всегда писал «резво», «неэмоционально»): «Мои главные «впечатления» сосредоточивались за этот период на настоящем литературе, и лично я, без оговорок, могу констатировать в ней нити истинного Ренессанса... Петербургским позитивистам поневоле приходится уже считаться теперь с этим. Новое искусство растет и в ширину. Буренину придется, по-видимому, окончить земное поприще с пеной у рта». Об этом же в письме: Сергею Соловьеву: «Скоро для поэзии наступят средние века. Поэты будут прекрасны и горды, вернуться к самому обаятельному источнику чистой поэзии, снижут нити из всех жемчугов — морского дна, и города и ожерелья девушек каждой страны. Мне кажется возможным такое возрождение стиха, что все старые жанры от народного до придворного, от фабричной песни до серенады — воскреснут...»

Пора было начинать жизнь, ту жизнь, дыхание которой ощутил Блок в цитируемом им стихотворении Брюсова:

— Каменщик, каменщик, в фартуке белом,
 Что ты там строишь? Кому?
 — Эй, не мешай нам, мы заняты делом...

В преддверии первой русской революции стал осознавать Александр Блок необходимость разрыва сковывающих его цепей индивидуализма. Блок-критик выступал в большинстве крупных символистских журналов, многих общедоступных изданиях. Революция 1905 года пробудила в поэте чувство гражданственности и общественной ответственности, и в то же время в нем еще были сильны символистские по своей природе настроения. Сосуществованием этих двух начал характеризовался переходный для Блока период, когда в первой книжке «Золотого руна» появилась рецензия Блока на «Венок» Брюсова. На книгу эту Блок написал две рецензии. Вторая была первым литературно-критическим его выступлением в литературном приложении к газете «Слово». Достаточно быстро преодолевал Блок гилноз поэзии Брюсова, но, продолжая с глубоким уважением относиться к творчеству этого мастера стиха, постоянно называл Брюсова учителем. «По-моему,— писал Блок в письме Брюсову,— поэзия «Венка», превосходя всю предыдущую Вашу поэзию, в отделе «Правда кумиров» особенно,— возвращает вместе с тем к одной ноте Вашего сборника «Me eum esse» — в отделе «Вечеровых песен» — для меня самом близком и драгоценном». Последнюю мысль развивает Блок-рецензент, подчеркивая поэтичность юношеской лирики Брюсова, особенно ему близкой, тихие отзвуки которой слышны в «Вечеровых песнях». Блок отдает дань технике поэта, при которой «невероятное и недостижимое для среднего поэта преодолевается им с легкостью».

Особенно близко Блоку обращение Брюсова к повседневности. В способности автора превратить «случайности жизни бедной» в произведение искусства видит Блок достижение поэта. Уже не отстраненность привлекает Блока в поэзии, а быт, ежедневное дело, именно то, что эстеты презрительно игнорировали. В этом критический отклик Блока перекликается со стихами «Нечаянной Радости», в которой для него открылись «первые страницы книги бытия». В 1906 году Блок тесно связан с Брюсовым, его книга «Нечаянная Радость» выходит в Москве в «Скорпионе», и к этому периоду относятся несколько писем из публикуемых ниже двадцати трех не печатавшихся ранее писем Блока Брюсову. Хранятся эти письма в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина.

Рецензии, появившиеся в печати в начале 1906 года, Блок создавал одновременно с работой над «Балаганчиком», написанным по инициативе Г. Чулкова, который предложил создать пьесу на мотив одноименного стихотворения Блока. Незнакомый доселе русской сцене романтический театр создает Блок, театр, имеющий в основе великие традиции, простирающиеся от Шекспира до Гофмана. Тяжелая, черная форма истерии, характерная для маньяков — «мистиков», — развенчанная Блоком, была основой их тесного, замкнутого мирка, отгороженного от окружающего.

Блок переосмыслил сложную действительность 1905—1906 годов в структуре театра масок. Шахматовское лето 1906 года, лето наступающего безвременья, рождает у Блока мысли об общественности, он пишет о наступающем кризисе индивидуализма, о стремлении людей, еще отчужденных друг от друга, найти «на чужих лицах ответ, слиться с другою душой, не теряя ни единого кристалла своей».

Театр Александр Блок любил с юности. До нас дошли воспоминания его младших современников, участвовавших вместе с Сашурой Блоком в детских спектаклях зимой в Петербурге, летом — в подмосковном Шахматове. Одно время Блок даже мечтал об артистической карьере, но, замечает Ф. А. Кублицкий, мемуарист точный и объективный, «к драматическому искусству — надо сказать откровенно — Саша был мало способен, хотя у него была несомненная наблюдательность и способность комически изображать с легким шаржем разных известных лиц, а также родных и знакомых». Блок не стал актером, но любовь к театру вошла в жизнь его с юности и навсегда. Размышляя о роли театра в своей судьбе, поэт как-то записал: «Долгая замкнутость в самом себе создала отчужденность от людей и мира, но освобождение наступает, надеюсь, хотя и медленно. Думаю, что ему особенно способствует с ранних лет зреющая любовь к театру; благодаря этой любви и моей странно веселой судьбе, которая всегда со мной, я надеюсь не считаться исключительно пловцом по туманным морям лирики».

В театр он приходит как драматург. Правда, не слишком отрадна сценическая судьба его пьес. Блок так и не увидел на сцене «Розу и Крест», о постановке которой мечтал; не были сыграны ни «Король на площади», ни «Песня Судьбы». Лишь «Балаганчик» и «Незнакомка», поставленные Мейерхольдом, остаются профессионально воплощенными драмами Блока. «Балаганчик» в театре В. Ф. Комиссаржевской стал важным этапом и на режиссерском пути Мейерхольда. «Первый толчок к определению путей моего искусства,— писал он в предисловии к книге «О театре»,— дан был, однако, счастливой выдумкой планов к чудесному «Балаганчику» А. Блока».

Сохранилась фотография В. Мейерхольда с надписью: «Александра Александровича Блока я полюбил еще до встречи с ним. Когда расстанусь с ним, унесу с собой любовь к нему прочную навсегда. Люблю стихи его, люблю глаза его. А меня он не знает...» А в собрании блоковских материалов Н. П. Ильина находился листок из записной книжки Блока, на котором он записал в 1914 году, адресуясь к Л. А. Дельмас: «Мейерхольд — необыкновенно милый и грустный человек».

Ошибочно было бы думать, что отношения этих двух художников складывались безоблачно и ровно. Многое в творческом мировоззрении и формальных поисках Мейерхольда не удовлетворяло поэта, требовавшего от искусства решения и постановки кардинальных жизненных проблем. В конце октября 1907 года Блок пишет Брюсову: «...я написал настолько решительную и резкую заметку о постановке «Пеллеаса»... что чувствую потребность не забрасывать этого дела и тянуть всеми силами Мейерхольда из болот дурного модернизма». В статье о постановке пьесы Метерлинка «Пеллеас и Мелизанда» Блок утверждает, что воплощение на сцене этой простой и грустной пьесы требовало той простоты, которую Метерлинка как будто разжевывает и в рот кладет каждому. Необычно для себя резко пишет Блок об оформлении спектакля, где пошлая декадентская красота забивает строгую красоту сцены как таковой. И вновь повторяет Блок: «...п р о щ е , п р о щ е , п р о щ е — и насколько красивее!» Блок считает, что вместо углубления трагического начала в пьесе Мейерхольда пошел на крайние формальные эксперименты. Трагедия должна была вернуться в пьесу уже в первой картине, утверждает Блок. «При такой постановке все было бы понятнее, проще и красивее, и иной постановки не допускает самый текст драмы». Мейерхольда же не интересовала человеческая позиция, с которой стоило ставить пьесу Метерлинка, ему было неинтересно «большое действие». Современный исследователь театра начала XX века Т. Родина считает, что именно в этой постановке Мейерхольда пошел по пути, предвещавшему появление кубизма и конструктивизма на русской сцене. Последовательно отстаивая свою эстетическую программу, требующую значимости искусства, Блок решительно возражает против режиссерского решения Мейерхольда: «Наконец, визжит, свиритист и раздвигается грязная занавеска. У меня чувство полученной оплеухи. Среди сцены, без того уменьшенной, стоит высокий кубик, на кубике нагромождены три утлых стенки, над ними еще какие-то декадентские цветы или чорт его знает что. Вокруг кубика — убийственная пустота...» Впечатление от спектакля Блок называет «дурным сном», а приемы, которыми он осуществлен, «дурной бесконечностью». Тревогой проникнуты слова критика о театре, на сцене которого происходит все это. «Вывод — ясен,— пишет Блок.— Театр должен повернуть на новый путь, если он не хочет убить себя. Мне горько говорить это, но я не могу иначе, слишком ясно все». Несколько позже в статье «О театре» назвал Блок современное ему состояние театра «медленной агонией», «длинным рядом компромиссов» и увидел выход из тупика в народном театре, зрительный зал которого — рабочие и крестьяне «требуют от театра не только развлечения, а чего-то более высокого, я полагаю — высокого искусства».

Пути Блока и Мейерхольда пересекались часто, и современники оставили нам ряд воспоминаний об этих двух художниках.

Интересно пишет о Блоке и Мейерхольде актриса В. П. Веригина. Слова внимательной мемуаристки, возможно, дают ключ к верной оценке взаимоотношений поэта и режиссера: «...у Блока не было слов без глубокого внутреннего содержания, поэтому он очень сердился на всех тех, кто в словах находил лишь внешнее. Когда поэт веселился и шутил, он шутил в области, где можно было быть легкомысленным, в противоположность Мейерхольду, который мог шутить всем: увлекательно развывая какую-нибудь мысль, казался влюбленным в нее, а потом, очень скоро, начинал издеваться над

этим любимым. Я знала, что Александр Александрович такого отношения не прощал, но сама я невольно прощала это Мейерхольду, потому что любила его как художника и режиссера. Блок относился к Мейерхольду по-разному. В некоторых его постановках он видел черты гениальности, другие отвергал. Мейерхольд говорил мне полушутя: «Я всегда ношу маску»,— и мне кажется, что в те моменты, когда на нем бывала маска, которой он овладевал до конца, Блок мог общаться с ним; когда же он примерял какую-нибудь новую и чувствовал себя в ней неуверенно, Александр Александрович отдалялся от него».

Дневники, записные книжки и письма Блока, мемуары, статьи и книги о театре Блока и режиссере Мейерхольде, интереснейший том переписки Мейерхольда дают нам некоторое представление о взаимоотношениях поэта и режиссера. И все же без знакомства с письмами Блока трудно с достаточной достоверностью представить картину их непростых отношений — часто, как мы видели, Блока и Мейерхольда разделяли принципиальные противоречия во взглядах на искусство, порой внешние моменты разводили их по разным лагерям. Ныне письма Блока, вернее сохранившаяся часть их, находятся в рукописном отделе Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Здесь 30 писем поэта Мейерхольду. Известно, что сам режиссер опубликовал в 1921 году адресованное ему письмо Блока, в котором Блок развивает свои взгляды на современный театр и делится впечатлениями от предгенеральной репетиции «Балаганчика». В обзоре И. С. Зильберштейна «Александр Блок — неизданное наследие» («Литературная газета», № 11, 1973) было опубликовано еще одно письмо поэта (от 15 января 1915 года) и часть письма от 7 февраля 1916 года. Мы публикуем ниже 16 писем Блока. Некоторые из них относятся ко времени, когда и в мироощущении и во взглядах на литературу Блока обнаружился отчетливый поворот к актуальным общественным темам.

Наиболее мрачные годы реакции, наступившей вслед за поражением первой русской революции, Блок оценивал как пору ужасного запустения, отсутствия каких бы то ни было звуков, что для поэта, воспринимавшего мир музыкально, было равносильно могильному тлению, губельной тишине, тоске и тьме. И выход из этой тишины для литературы, а значит, и мира видел Блок в появлении здорового, сильного писателя-реалиста. Он писал Е. Иванову: «Ненавижу свое декадентство и бичую его в окружающих, которые менее повинны в нем, чем я. Настал декадентству конец, теперь потянется время всеобщих повторений, и нечего думать о литературных утешениях, пока кто-нибудь не напишет большой и действительно нужной вещи, где будет играть роль тело не меньше, чем дух. Все переутомились и преждевременно сочили святым свой собственный большой и тонкий дух, а теперь платятся за это. О ком ни подумаешь,— все нет никого, кто бы написал освежительную вещь. Наступила Тишина — самая чертовская — несмотря на революцию... Ты не совсем тоскуешь, потому что видишь светлую точку в конце темного коридора, как пишет об этом Мережковский, хотя сам-то, пожалуй, и не видит светлой точки. Я же, если бы писал что-либо подобное,— глал бы; и как только запишу декадентские стихи (а других — не смогу) — так и нагу... А я буду писать рецензии в «Слово», мне прислали книг. Читал я много—Сологуба «Тяжелые сны» (очень хорошо), Горького («Трое» были для меня важны)...» Именно эта мировоззренческая позиция обусловила резкое изменение в литературных исканиях Блока, носивших ранее по преимуществу лирический характер. К переломному периоду первой русской революции относится развитие его публицистическо-прозаической деятельности.

Примечательно, что практически первую глубокую и положительную оценку получила проза Блока вскоре после Октября в большевистской газете «Правда», где в большой статье «Преступившим черту» критик Михаил Левидов именно в статьях Блока увидел объяснение причин, приведших поэта к принятию революции.

Но проблемы реалистического искусства, проблемы народа и интеллигенции решались Александром Блоком не только в стихах и драмах, литературно-критических, театральных, лирических статьях. К этим проблемам он обращается и в своих письмах.

Скажем еще раз: эпистолярное наследие Александра Блока — неотъемлемая часть его прозы. Оно дает возможность лучше понять сложный путь поэта, его творческую судьбу, о которой так точно сказал Блок именно в письме, посланном К. С. Станиславскому: «...стоит передо мной моя тема, тема о России (вопрос об интеллигенции

и народе, в частности). Этой теме я сознательно и бесповоротно посвящаю жизнь. Все ярче сознаю, что это — первейший вопрос, самый жизненный, самый реальный. К нему-то я подхожу давно, с начала своей сознательной жизни, и знаю, что путь мой в основном своем устремлении — как стрела, прямой, как стрела — действенный».

АЛЕКСАНДР БЛОК — ВАЛЕРИЮ БРЮСОВУ

I

Глубокоуважаемый Валерий Яковлевич. Посылаю Вам мою ноябрьскую зачетку об «Urbi et orbi». Если даже она не годна для печати, мне хочется, чтобы Вы знали мое впечатление от этой книги, хотя бы нецельно и неполно выраженное¹. Буду Вам глубоко признателен, если Вы дополните мне «Urbi et orbi» стихотворением «Приходи путем знакомым».

Обращаюсь к Вам с просьбой. Сообщите мне, пожалуйста, не имеет ли «Скорпион»² надобности в переводах с французского — каких-нибудь журнальных статей или беллетристических сочинений, классических или современных — для «Весов»³ или отдельных изданий? Если да, — то моя мать (А. А. Кублицкая-Пиоттух) охотно предложила бы свои услуги. Она работала преимущественно в изданиях «Вестника иностранной литературы» под редакцией Ф. Булгакова, где переводила Бальзака, Мопассана, Золя, Додэ, Прево, поэтов — Бодлера, Верлена, Ришпена, Гюго, Мюссе, Сюлли-Прюдома. Некоторые из 144 томов «Собрания сочинений избранных иностранных писателей» переведены ею целиком⁴.

Я был бы крайне обязан Вам, если бы Вы ответили мне на это предложение. Из основательно забытых классических сочинений моя мать могла бы предложить «Скорпиону» перевод «Stello» Виньи, который исполнила бы на тех условиях, какие Вы ей предложите.

Искренне преданный Вам
и готовый к услугам Вашим

Александр Блок.

31 января 1904.

Спб., Петерб. Набережн., Гренадерские казармы, кв. 13.

¹ Рецензию (вторую) на книгу В. Брюсова «Urbi et orbi» Блок опубликовал в июльском номере журнала «Новый путь» за 1904 год. Рецензия, посланная с этим письмом, предназначалась для журнала «Весы», который редактировал Брюсов. Напечатана не была.

² «Скорпион» — московское книгоиздательство, в работе которого принимал активное участие Брюсов. «„Скорпион“, — писал Брюсов, — сделался быстро центром, который объединил всех, кого можно было считать деятелями «нового искусства», и, в частности, сблизил московскую группу (я, Бальмонт и вскоре присоединившийся к нам Андрей Белый) с группой старших деятелей, петербургскими писателями...» Владельцем издательства был Сергей Александрович Поляков, разносторонне образованный человек, сыгравший большую роль в судьбе русского символизма (см. о нем в статье К. М. Азадовского и Д. Е. Максимова «Брюсов и „Весы“» — «Литературное наследство», т. 85. М. «Наука», 1976).

³ «Весы» — научно-литературный и критико-библиографический ежемесячник (1904) и ежемесячник искусств и литературы (1905—1909), центральный орган русских символистов. Издавался в Москве книгоиздательством «Скорпион».

⁴ Мать А. Блока — Александра Андреевна Кублицкая-Пиоттух (в первом браке — Блок), урожденная Векетова (1860—1923). Выступала как переводчица. «Ал. Ал. всегда находил, — пишет М. А. Векетова, — что мать его работает и добросовестно и талантливо»

II

Глубокоуважаемый Валерий Яковлевич.

Прошу Вас, если понадобятся рецензии для «Весов», прислать мне книги

по следующему адресу: Никол. ж. д., ст. Подсолнечная, именье Шахматово¹. Я напишу с готовностью.

Преданный Вам

Александр Блок.

1904. 4 мая.

Шахматово. Моск. губ.

¹ В подмосковном имении Шахматово Блок проводил почти каждое лето. Здесь он написал множество стихов, работал над статьями, пьесами, рецензиями.

III

Глубокоуважаемый Валерий Яковлевич.

Позвольте мне на этих днях доставить в редакцию «Весов» отчет о лекции Минского¹ «Нравственная проблема наших дней», читанной 13 ноября. На этой лекции я был и, кроме того, имею ее в руках в настоящее время. Отчет не должен превышать двух страниц (во втором отделе), постараюсь сжать ее сколько сумею.

Неизменно преданный Вам

Александр Блок.

15.XI.1904.

Спб.

¹ М и н с к и й (Виленкин) Николай Максимович (1855—1937) — поэт, драматург.

IV

Глубокоуважаемый Валерий Яковлевич.

Прилагаю только отчет о лекции Н. М. Минского, не прибавляя от себя ни слова. Боюсь, что и этот отчет мне не удалось сжать в достаточной мере; лекция длилась два часа; пришлось все-таки многое выпустить, а на многое — только намекнуть. Поэтому совсем не уверен, что выполнил задачу удовлетворительно. Может быть, отчет этот будет годен как сырой материал в том случае, если Минскому (по его собственному предположению) не удастся прочесть свою лекцию в Москве по цензурным условиям. Так как моего нет ни слова, оставляю отчет без подписи¹.

Истинно преданный Вам

Александр Блок.

18.XI.1904.

Спб.

¹ Публичная лекция Н. Минского была прочитана 13 ноября 1904 года в Петербурге, в аудитории Тенишевского училища. Запись опубликована в декабрьском номере «Весов» с подписью «А. Б.» и примечанием: «Изложена по подлинной рукописи автора».

V

Глубокоуважаемый Валерий Яковлевич.

Не могу ли я считаться, по-прежнему, сотрудником «Весов»? В близком будущем надеюсь доставить в редакцию небольшую статью общего характера. Если представится случай для рецензии или отчета, — то, конечно, и в этом отношении остаюсь

готовый к Вашим услугам

Александр Блок¹.

30.XII.1904.

Спб.

¹ В 1905 году в журнале «Весы» ни одного произведения А. Блока опубликовано не было. В этом году в «Весках» появилось несколько рецензий и статей о Блоке, в том числе полемика в форме открытых писем между А. Белым и В. Брюсовым, не согласившимся с высокой оценкой поэзии Блока, высказанной А. Белым в статье «Апокалипсис в русской поэзии».

VI

Многоуважаемый Валерий Яковлевич.

На этих днях я посылаю мой сборник стихов в редакцию «Скорпиона»¹. Прошу Вас извинить задержку, а также разные почерки и некоторые поправки в тексте; меня застигли врасплох государственные экзамены², которые отнимают все время.

Посылаю Вам сборник пока еще без заглавия, с временной нумерацией лишь по страницам, так как я собирался, если это незатруднительно, добавить стихотворений, если напишутся весной и летом. Семь отделов сборника могут оказаться также временными; я собирался, опять-таки если это не представит затруднений для редакции или типографии, прислать впоследствии окончательную нумерацию стихов и «содержание».

О внешности и частностях издания³ мне было бы очень важно впоследствии списаться, или, если я попаду в Москву, сговориться с Вами. Позвольте еще раз поблагодарить Вас за честь, которую своим согласием на издание оказал мне «Скорпион».

Истинно уважающий Вас

Александр Блок.

24 марта 1906 г.

Спб., Петербургская сторона, Гренадерские казармы, кв. 13.

¹ В январе 1906 года Блок предложил владельцу книгоиздательства «Скорпион» С. А. Полякову издать свой второй сборник стихов. Брюсов был в то время фактическим руководителем «Скорпиона». Первоначально предполагалось напечатать сборник к осени 1906 года. В свою вторую книгу Блок включил 82 стихотворения, из них 32 нигде ранее не публиковавшихся. Книга не была издана осенью 1906 года. По разным причинам ее печатание затягивалось. Сборник, получивший название «Нечаянная Радость», вышел во второй половине декабря 1906 года.

² В 1906 году Александр Блок заканчивал филологический факультет Петербургского университета.

³ На серой печатной обложке сборника заглавие «Нечаянная Радость» отпечатано зеленой краской. А. Блок придавал особое значение цвету заглавий своих книг.

VII

Многоуважаемый Валерий Яковлевич.

Я должен очень извиниться перед Вами. П. П. Перцов¹ непременно захотел напечатать в пасхальном № «Слова» мои стихи о старушке и чертенятах², которые я дал Вам для «Весов». П. П. сам обещал написать Вам об этом.

Если найдете возможным, — замените стихотворение одним из прилагаемых.

Искренно уважающий Вас

Александр Блок.

29 марта 1906.

Спб.

¹ С февраля по июль 1906 года П. П. Перцов (1868—1947) редактировал литературные приложения к газете «Слово». Произведения Блока печатались как в газете, так и в приложениях. Блок писал отцу: «Из газет я теперь имею постоянные отношения со «Словом», где мои стихи и рецензии помещаются почти в каждом «понедельнике».

² 2 апреля 1906 года в литературном приложении № 9 к газете «Слово» было напечатано стихотворение «Побывала старушка у Троицы...». Здесь было оно опубликовано без заглавия «Старушка и чертенята».

VIII

Многоуважаемый Валерий Яковлевич.

Я уезжаю в Петербург несколько раньше, чем думал, в среду 23 августа¹. Почта у нас очень неправильная: из Петербурга я могу скорее возвращать корректуры.

В Москве мне, по-видимому, уже не удастся быть. Если Вы соберетесь до 23 в Шахматово,— буду очень рад видеть Вас¹.

Искренно преданный Вам

Александр Блок.

18 августа 1906.

¹ Лето 1906 года Блок проводил в Шахматове.

² В. Я. Брюсов никогда не приезжал в Шахматово.

IX

Многоуважаемый Валерий Яковлевич.

Сегодня я уезжаю в Петербург и потому, к сожалению, никак не могу быть в Москве и поговорить с вами лично. Ужасно жаль, что Вам не удалось побывать у нас. Может быть, Вы найдете возможным написать мне о двух, важных для меня вопросах: о гонораре и о возможном количестве авторских экземпляров? Что касается обложки и остальных украшений «Нечаянной Радости»¹, то я, конечно, по-прежнему вполне полагаюсь на вкус всех руководителей «Скорпиона».

Адрес мой пока остается прежний:

Петерб. сторона, Гренадерские казармы, кв. 13.

Неизменно преданный Вам

Александр Блок.

23 августа 1906 г.

с. Шахматово.

¹ Виньетки к сборнику стихов А. Блока «Нечаянная Радость» делал В. Д. Милиоти (1875—1943), сотрудничавший в журналах «Золотое руно» и «Весы».

X

24.II.07.

Дорогой Валерий Яковлевич.

Пользуясь Вашим позволением, беру из «Весов» те три стихотворения, которые я Вам передал. Из них одно («Над черной слякотью дороги»)¹ хочу предложить «Образованию». Как только будут настоящие стихи, пришлю их Вам. Может быть, в одном из будущих номеров Вы оставите место для нескольких моих стихотворений?

Искренно Ваш

Александр Блок.

¹ В журнале «Образование» (1907, № 3) было опубликовано стихотворение «Над черной слякотью дороги...» под названием «На пути», данным ему без ведома автора редактором литературного отдела «Образования» М. П. Арцыбашевым.

XI

14.X.07.

Дорогой Валерий Яковлевич.

Вот маленький цикл из трех стихотворений «Осенняя любовь». Мне кажется, это лучше тех двух стихотворений, которые мы выбрали, хотя не могу судить определенно, потому что только что написал. Если годится, поместите, пожалуйста, в 12-й №.

Сейчас получил «Столичное утро» с моим стихотворением¹— спасибо Вам. Портрет свой я пошлю им, как только будет готов. Жду Вашего извещения о «Голосе Москвы»².

Сердечно Вам преданный

Александр Блок.

P. S. Цикл стихов и сказку я пришлю Вам, как только они у меня будут,— для будущего года «Весов».

¹ Стихотворение А. Блока «Мне битва сердце веселит...» было опубликовано в московской газете «Столичное утро» 13 октября 1907 года.

² «Голос Москвы» — газета, сотрудничать в которой Брюсов приглашал Блока. Блок опубликовал здесь несколько стихотворений.

XII

26.X.07.

Дорогой Валерий Яковлевич.

«Осенней любви» мне не хотелось бы разбивать, пусть остается она так как есть. Но, если Вам нравится «Снежная Дева», отложите ее для будущего года в «Весы»¹. Кажется, она разрастется в целый цикл, который мне хочется прислать Вам, как только будет написан. Цикл я во всяком случае обещаю Вам и прошу Вас оповестить о нем и о сказках в последнем проспекте «Весов». А вот два стихотворения взамен «Снежной Девы» для «Голоса Москвы», разместите их, как Вам угодно (кажется, в № 1 — или «Пожар», или «Подруге», а «Так было» — дальше)². О театре я совсем не думал давать отчетов, но, напротив, принципиально обсудить «мейерхольдию» и кое-что еще (антрепризы Санина, Красова) — сравнительно.

Еще одна просьба. Я предлагал Городецкому дать стихи для «Голоса Москвы», а он просит 50 коп., а не 35: как Вы думаете, можно ему это устроить? Спасибо Вам за письмо.

Ваш сердечно

Александр Блок.

¹ Цикл из трех стихотворений Блока «Осенняя любовь» («Когда в листве сырой и ржавой...», «...И вот уже ветром разбиты, убиты...», «Под ветром холодные плечи...») и стихотворение «Снежная Дева» были напечатаны в декабрьском номере журнала «Весы» 1907 года.

² В «Голосе Москвы» эти стихотворения напечатаны не были. Стихотворение «Пожар» было опубликовано в альманахе «Жизнь» в 1908 году. Отрывок «Так было» из неоконченной поэмы «Ее прибытие» Блок напечатал в журнале «Студенческая речь» № 2 22 ноября 1908 года.

XIII

31.X.07.

Дорогой Валерий Яковлевич.

Благодарю Вас, я получил оба Ваших письма и сожалею о расстройстве наших планов, но как-то отвлеченно, потому что совсем еще не думал, что писать, только сию минуту кончил переводы мистерии¹, целиком в стихах. К тому же мне приходило в голову, что Борис Николаевич² спохватится.

Цикл стихов я не назову, пожалуй, «Снежной Девой», но не могу еще придумать как. В анонсе можно оставить и это заглавие. Если можно, я рад был бы, чтобы «Снежная Дева» вошла в декабрьский № кроме тех трех стихотворений об осенней любви.

Можно? Цикл новый, не совсем согласен с нею, в нем больше смятения и октябрьской хляби³.

Ваш Ал. Блок

¹ Средневековый мистраль Риотбефа «Действо о Теофиле» (XIII в.) Блок перевел для Старинного театра.

² Бугаев (Андрей Белый) Борис Николаевич (1880—1934) — поэт, прозаик, критик, теоретик символизма.

³ Цикл «Заклятие огнем и мраком». Впервые опубликован в журнале «Весы» (1908, № 3) под заглавием «Заклятие огнем и мраком и пляской метелей».

XIV

1.XI.07.

Дорогой Валерий Яковлевич.

Пишу Вам об одном литературном деле, которое должно начаться в начале декабря. Руководитель его (или один из руководителей) — Гржебин¹, который напишет Вам на днях, вероятно, подробнее меня. Открывается издательство «Пантеон», ближайшая цель которого — издать избранные произведения «всех» замечательных писателей «всех» веков и народов в красивых и доступных изданиях, в лучших переводах и в лучшей редакции. Дальнейшая цель — издание журнала, подобного «Миру Искусств», но это — в далеком будущем, пока же им предстоит работа, быть может, на несколько лет. В начале декабря выйдет первая серия (10 книжек), куда войдут северяне (кажется, Гамсун), что-то из Андреева (не знаю подробно). Все книжки под общей обложкой Лансере, 12×16 сантим., на бумаге Верже, с набором типа «Северных Сборников», «Шиллов»

ника», по 96 стр. (или двойные), ценою по 18 коп. (или 36). Прежде всего необходимо составить план издания, причем требуется не только указание имен авторов, но и их произведений, которые достаточно выражают их. В нормальной (не двойной) книжке будет заключаться 60 000—90 000 букв. Гонорары за переводы: лист прозы (40 000 б.) — 50 рублей, строка стихотворения — 30 коп. (все это за каждые 6 000 экземпляров). За переводы «под редакцией» — та же полистная плата.

Я уполномочен Гржебиным обратиться к Вам с просьбой прежде всего дать указания относительно выбора авторов и их произведений для французской серии (испанская поручается Бальмонту, итальянская, кажется, Минскому, северная — Балтрушайтису, русская, кажется, Венгеру, но и здесь хотят просить Ваших указаний).

Из французов намечены пока: Мериме (перев. Сологуб); Мюссе, Верхарн, Метерлинк. В последних трех я лично очень не отказался бы принять участие. У Мюссе хотят взять стихи, я советовал еще взять одну из маленьких пьес, если уж нельзя взять таких прекрасных драм, как, например, «Кармозина». Мне самому хочется перевести «Декабрьскую ночь». Гржебин просит Вас сделать выбор стихов Мюссе и перевести из него то, что Вы захотите, остальное из выбранного Вами можно передать другим, я бы охотно взял несколько маленьких стихотворений сверх «Декабрьской ночи». Книжка Мюссе на 60 000 букв.

Относительно Верхарна просят указаний, конечно, у Вас. Предпочтительна, кажется, драма («Филипп, или Монастырь», потому что она не переведена еще), но не найдете ли Вы, что лучше дать стихи? То, чего Вы не захотите сделать из переводов, опять-таки с удовольствием взял бы я.

Книжку Метерлинка (и выбор и перевод) поручили мне, и я лично прошу Вас, во-первых, прислать мне «Пеллеаса» (кажется, я видел там большую библиографию, Вами составленную), а во-вторых, посоветовать мне, какую взять пьесу: мне кажется, для такого издания подходили бы «<неразб.>», или «Intérieur», или «L'Intruse», но все это слишком известно. Не взять ли, кроме того, главу из «Trésor des Humbles» и статью из «Le double Gardin», например, о новой драме и, кроме того, приниматься ли за «Serre Chaude»? И где можно найти биографию Метерлинка? (портрет и краткие очерки будут приложены ко всем книжкам). Извините, что обременяю Вас всеми этими вопросами, но не решаюсь положиться только на свой вкус. Хорошо бы потом составить для «Пантеона» книжку из трубадуров, из средневековых мистерий, V. Hugo, немецких романтиков — это первое, что приходит мне сейчас в голову. Мне кажется, задача благородная и стоит заняться этим.

Жду Вашего ответа, еще раз извините.

Ваш Ал. Блок.

Что скажете Вы о «Семи принцессах»? Мне очень улыбается.

¹ Гржебин Зиновий Исаевич (1869—1929) — издательский деятель, один из организаторов издательства «Шиповник». В 1907—1910 годах возглавлял издательство «Пантеон».

XV

Дорогой Валерий Яковлевич.

И за «Пеллеаса» и за письмо, которое я получил сейчас, благодарю Вас от души. Радуюсь, что «Снежную Деву» берете в декабрьские «Весы». Все, что Вы пишете о «Пантеоне», передам Гржебину. Кажется, поручение редакции каждого сборника одному лицу, дело установленное. И о Верлене передам Гржебину.

Преданный Вам

З.Х1.07.

Александр Блок.

XVI

Дорогой Валерий Яковлевич.

Вот — новый цикл стихов¹, или поэма, непосредственно примыкающая

14.Х1.07. Спб.

к «Снежной Маске». Заглавие составляет вместе одну заклинательную фразу, потому можно печатать стихи все сразу, если для «Весов» — слишком много уделить каждому отдельную страницу.

Очень хочется иметь это «Заклятие» в «Весех» одном из первых номеров, если это покажется Вам возможным, так как возможно, что в марте (приблизительно) я приготовлю новый сборник, куда непременно должен войти этот цикл вслед за «Снежной Маской» (она разошлась, говорят, и я думаю включить ее в книгу как отдел)².

Очень хочу знать Ваше мнение об этих стихах, а также жду от Вас инструкций, касающихся «Пантеона».

Преданный Вам

Александр Блок.

¹ Цикл «Заклятие огнем и мраком».

² Блок включил этот цикл в свой сборник стихов «Земля в снегу» (1908).

XVII

13.I.1908.

Дорогой Валерий Яковлевич.

Спасибо Вам за письмо. Искренно сочувствую Вам в Вашем горе¹. Разумеется, на денежные условия «Весов» я согласен и очень рад, что «Заклятие» пойдет в марте, потому что сборник стихов моих хотел бы выпустить в апреле, около Пасхи. Могу ли я просить корректуру? Кажется, в стихотв. «И у края бездны», в последней строке, есть грубая ошибка: вместо «большее» — «более»².

Относительно «Сказок» я еще ничего не знаю; не начинал их писать, они заслонились пока большой пьесой, над которой я мучусь вот уже год. Это — пяти- или четырехактная драма под названием «Песня Судьбы».

Работаю очень много и очень доволен работой; в «Пантеоне» у меня, кроме Метерлинка, — «Книга песен» Гейне, да еще В. Ф. Комиссаржевская заказала мне перевести к будущему сезону «Die Ahnfrau» Грильпарцера. Это — пять актов в стихах³.

Людей вижу немного. Вячеслава Ив.⁴ не видал с октября, но слышал о нем то же, что пишете Вы. На днях хочу увидиться с ним. То, что он ничего не пишет теперь, меня очень печалит.

Преданный Вам

Ал. Блок.

¹ Блок выражает соболезнование по поводу кончины отца В. Я. Брюсова.

² Последняя строфа седьмого стихотворения цикла «Заклятие огнем и мраком...».

Там воля всех вольнее воля
Не приневолит вольного,
И болей всех больше боль
Вернет с пути овольного!

³ Переводы Блока произведений Метерлинка не сохранились. Из «Книги песен» Гейне Блок перевел 13 стихотворений. Перевод драмы Грильпарцера «Праматерь» вышел отдельным изданием в «Пантеоне».

⁴ И в а н о в Вячеслав Иванович (1866—1949) — филолог, поэт, теоретик символизма.

XVIII

Дорогой Валерий Яковлевич.

Благодарю Вас за книгу от души.

Преданный Вам

А. Блок.

7.X.1910.

Никол. ж. д., ст. Подсолнечная, с. Шахматово.

XIX

24.X.1911. Спб., М. Монетная, 9.

Дорогой Валерий Яковлевич.

Спасибо за письмо. Вот стихотворение для «Русской Мысли»¹.

Стыжусь того, что так скупо проявляюсь последние годы вообще и в част-

ности мало могу посылать Вам в «Русскую Мысль», несмотря на Вашу дорогую мне память обо мне. Утешаюсь только тем, что доволен и впечатлениями от путешествия и многими подготовительными работами, которые затеял².

Заранее благодарю Вас за книгу о «Далеких и близких»³. Не забывайте меня. Прошу Вас передать мой поклон Иоанне Матвеевне⁴.

Преданный Вам

Ал. Блок.

¹ «Русская мысль» — журнал, в котором с 1910 года В. Брюсов возглавлял литературно-критический отдел. Блок послал с этим письмом стихотворение «Раздумье».

² В июле—сентябре 1911 года Блок совершил поездку в Германию, Францию, Бельгию, Голландию. Осенью 1911 года поэт работал над поэмой «Возмездие».

³ «Далекие и близкие» — книга статей и рецензий Брюсова («Скорпион», 1912). В книгу Брюсова вошли, в частности, рецензии на сборники стихотворений А. Блока «Нечаянная Радость» и «Снежная Маска».

⁴ Брюсова Иоанна Матвеевна, жена В. Я. Брюсова.

XX

25 сентября 1912. Офицерская, 57, кв. 21.

Дорогой Валерий Яковлевич.

Вот мой новый адрес¹ и моя ежегодная дань «Русской Мысли»².

Всегда Вам преданный

Александр Блок.

¹ На Офицерскую улицу, в дом, где он жил до конца жизни, Блок переехал в июле 1912 года.

² С этим письмом А. Блок послал в журнал «Русская мысль» стихотворение «Шаги командора», которое было напечатано в 11 книге журнала за 1912 год.

XXI

30 сентября 1912 г.

Дорогой Валерий Яковлевич.

Спасибо Вам за письмо относительно «мотора». Вы, кажется, правы, он и меня иногда коробил; но строфе этой уже около двух лет, а я все не сумел исправить. ничего лучшего пока не нашел¹.

Если Вы найдете время и соберетесь ко мне в один из Ваших приездов в Петербург, я, Вы знаете, буду рад Вам всегда. Так давно мы не виделись и так много произошло в это время перемен!²

Всегда Ваш

Ал. Блок.

Офицерская, 57, кв. 21 (угол Пряжки).

¹ Замечание Брюсова относилось к критиковавшейся многими современниками Блока строфе его стихотворения «Шаги командора»:

Пролетает, брызнув в ночь огнями,
Черный, тихий, как сова, мотор,
Тихими, тяжелыми шагами
В дом вступает Командор...

² Встречи поэтов были довольно редки. 29 сентября 1912 года, уезжая из Петербурга в Москву, Брюсов написал Блоку письмо с извинениями, что не смог зайти к нему. «Надеюсь,— писал Брюсов,— Вы позволите мне в один из моих приездов посетить Вас».

XXII

30.IX.1915. Петроград, Офицерская, 57, кв. 21.

Дорогой Валерий Яковлевич.

Только вчера я вернулся из деревни и нашел Ваше письмо. Спасибо за предложение, я попытаюсь переложить стихи Терриана¹.

Пока позволяйте ограничиться одною этой просьбой; звуки языка очень чужие, а содержание пока что не радует. Может быть, удастся, если взглянуть попристальнее.

Да, «Сирин» закрылся совсем; я уже давно примирился с этим обстоятельством. С изданием своих книг вернулся в «Мускет»².

Душевно Ваш

Ал. Блок.

¹ Переводы стихов В. Териана Блоком выполнены не были. Позже по заказу Брюсова он перевел стихи А. Исаакяна.

² «Сирин» и «Мускет» — книжные издательства. Блок предполагал осуществить второе издание собрания стихотворений в «Сирине», но так как издательство закрылось в связи с первой мировой войной, Блок выпустил трехтомник стихотворений и том «Театр» в «Мускете».

XXIII

Март, 1917. Спб., Офицерская, 57.

Дорогой Валерий Яковлевич,
приехав с фронта¹, нашел у себя Ваши книги с милыми надписями, сердечное спасибо Вам за память.

Ваш Ал. Блок.

¹ С июля 1916 года А. Блок был на фронте в качестве табельщика одной из инженерно-строительных дружин Союза земств и городов.

АЛЕКСАНДР БЛОК — МЕЙЕРХОЛЬДУ

I

Многоуважаемый Всеволод Эмильевич.

Большое спасибо за Ваше письмо. Спешу переписывать «Короля на площади»¹. Хотел отдать переписать на машинке, но в короткий срок не берутся, да и ошибок наделают — черновик, по которому я читал, неразборчив. Во всяком случае, доставлю Вам рукопись никак не позже субботы (21); или приходи, или сам занесу. Вас мы будем всегда рады видеть у себя, а в тот час, о котором Вы говорили (5—7), я только по исключению не бываю дома. Пожалуйста, передайте мой поклон Ольге Михайловне².

Искренно любящий Вас

Александр Блок.

17 окт. 1906.

¹ Осенью 1906 года А. А. Блок читал на одной из «суббот» в театре В. Ф. Комиссаржевской пьесу «Король на площади». В. П. Веригина вспоминала: «Этот вечер можно считать началом тесной дружбы Александра Блока с небольшой группой актеров, которая впоследствии принимала участие в его «снежных хоровах». Сразу после чтения пьесы Мейерхольда сообщил Блоку: «Театр В. Ф. Комиссаржевской решил в этом же сезоне поставить Вашу пьесу «Король на площади». Но пьеса не была пропущена цензурой и постановка ее в театре В. Ф. Комиссаржевской не состоялась».

² Мейерхольд (урожд. Мунт) Ольга Михайловна (1874—1940) — актриса, жена В. Э. Мейерхольда.

II

Дорогой Всеволод Эмильевич.

Я вернулся из Москвы. Пожалуйста, сообщите мне, когда репетиция «Балаганчика»¹ — очень хочу присутствовать. «Незнакомку»² я уже передал П. М. Ярцеву³. Очень жаль, что не застал Вас тогда в театре, хочу поговорить с Вами.

Любящий Вас Ал. Блок.

6.XII.1906.

Пет. ст., Лахтинская, 3, кв. 44.

¹ Подготовке спектакля по пьесе Блока «Балаганчик» посвящено несколько ответных писем Мейерхольда. Сам автор называл постановку «Балаганчика» в театре Комиссаржевской идеальной, заметив, что обязан этим Мейерхольду, его труппе, М. А. Кузмину, написавшему музыку, и художнику Н. Н. Сапунову. Мейерхольд был не только постановщиком пьесы, но и играл роль Пьеро. Немало болнений доставила исполня-

телю эта роль. Он пишет, приглашая Блока на предгенеральную репетицию: «Очень жалею, что Вы не получили повестки вовремя. Я так ждал Вас. Г. И. Чулькову очень понравился «Балаганчик» даже в том еще сыром виде, в каком он был на сцене сегодня». А в конце Мейерхольд замечает: «Ах, как я волнуюсь за Пьеро! Боюсь, не выйдет у меня». В ответном, опубликованном самим режиссером в 1921 году письме Блок создает целую эстетическую программу преодоления мертвенности мира силой сценического искусства. Письмо это заканчивается словами: «О Пьеро Вам нечего говорить. Вы и так очень поняли его, и знаю, что хорошо сыграете». Мейерхольд проникновенно исполнил роль Пьеро. «Занавес опускался за ним,— вспоминает В. П. Веригина,— и он оказывался лицом к лицу с публикой. Теперь он смотрел на нее в упор, совершенно просто, нисколько не смущаясь. Казалось, что он смотрит каждому зрителю в глаза. В этом взгляде было нечто неотразимое».

* «Незнакомка» — пьеса Блока, постановку которой задумал Мейерхольд на сцене театра В. Ф. Комиссаржевской.

* Ярцев Петр Михайлович (1871—1930) — театральный критик, режиссер, драматург, заведующий литературной частью в драматическом театре В. Ф. Комиссаржевской.

III

1 мая 1907. Спб.

Дорогой Всеволод Эмильевич.

За письмо Ваше спасибо. Исправлю свою банальность надписью на карточке, которую Вы у меня просили зимой¹. Если дадите мне свою — буду очень тронут и благодарен. А «многоуважаемому...» и т. д. писал, высунув язык от усталости — очень много книжек рассылал и надписей делал.

Да и вообще к концу сезона устал ужасно. Хочу остаться один и писать. Потому, не знаю, воспользуюсь ли Вашим приглашением в ближайшем будущем. А оно для меня очень заманчиво — спасибо.

Скоро перееду в казармы (Гренадерская, кв. 13, где Вы были), хочу писать пьесу² и лето почти все проведу в Спб. Если соберетесь написать, пишите туда, а если навестите, буду ужасно рад Вам. Ольге Михайловне от меня, пожалуйста, поклонитесь. А кто это — барон Унтерн³?

Любящий Вас Александр Блок.

¹ Зима 1906/07 года сблизила Блока с актерами театра В. Ф. Комиссаржевской. Изящную книжку «Снежная Маска», посвященную Н. Н. Волоховой, поэт послал Мейерхольду с надписью: «Многоуважаемому и милому Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду, Александр Блок». Режиссер ответил: «Дорогой Александр Александрович! Вы помните, у Чехова в «Чайке» Маша просит Тригорина прислать книжку его с автографом и предупреждает: «...только не пишите «многоуважаемой», а просто так: «Марье, родства не помнящей...» и т. д. Когда я открыл Вами присланную «Снежную Маску» и прочитал «многоуважаемому», мне вспомнилась Маша из «Чайки» и я пожалел, что уже поздно предупредить, чтобы Вы не писали мне «многоуважаемому», а просто так: «Всеволоду...» Крепко жму Вашу руку и крепко благодарю за память. Очень хочется посмотреть на Вас, послушать Вас. Не хотите ли приехать к нам, погулять по берегу Финского залива?»

² Блок в это время задумывает пьесу «Песня Судьбы», над которой и работал в 1907 году. В. Мейерхольд хотел впоследствии поставить «Песню Судьбы» на сцене Александринского театра, но не осуществил это намерение.

³ В ответном письме Мейерхольд пишет: «Барон Унтерн? Это режиссер Товарищества новой драмы в Тифлисе, который приглашен в качестве так называемого «режиссера-репетитора». Он будет заменять меня в те дни, когда я должен на время отойти от пьесы, чтобы не привыкать к своим ошибкам».

IV

Дорогой Всеволод Эмильевич¹.

Твердое условие мое относит. «Незнакомки»: роль ее может прочесть только Наталья Николаевна², если она согласится. А мне — «голубого». Кроме того, 5-аго никак невозможно: вечер Дункан. Стоит ли читать всю «Незнакомку», м. б., один только второй акт?³ А впрочем, как хотите. 6-аго могу. Крепко жму Вашу руку.

Любящий Вас Ал. Блок.

<Конец ноября — начало декабря 1907 г.>

¹ К концу 1907 года в театре Комиссаржевской назревал конфликт. Авторитет Мейерхольда был подорван московскими гастрольями театра, актеры устали от экспериментов режиссера. Блок отказался отдать театру «Песню Судьбы» и весьма скептически

следил за попытками режиссера вдохнуть жизнь в «неподвижный театр». Именно в эти дни Блок пишет резкую критическую статью о постановке Мейерхольдом пьесы Метерлинка «Пеллеас и Мелизанда». И все же Блок хотел доверить именно Мейерхольду постановку драмы «Незнакомка». Еще в начале 1907 года он сообщал А. В. Гиппиусу, что «Незнакомку», возможно, поставят в будущем сезоне.

² В о л о х о в а Наталья Николаевна (1878—1966) — актриса театра В. Ф. Комиссаржевской. Ей посвящены многие стихи А. Блока.

³ Постановка «Незнакомки» в театре В. Ф. Комиссаржевской не состоялась. Мейерхольд вернулся к этой пьесе и поставил ее только в 1914 году в зале Тенишевского училища.

В конце 1907 года расходятся пути Комиссаржевской и Мейерхольда, и театр на Офицерской перестает занимать в жизни Блока прежнее место. Он переводит для этого театра еще «Праматерь» Грильпарцера, ставшую последней постановкой театра на Офицерской.

V

13.VII <1908>

Дорогой Всеволод Эмильевич.

Не придете ли ко мне во вторник, 15-ого, в 8 час. вечера? Будут Городецкие¹, и я прочту «Песню Судьбы»², которую наконец переделал. Очень бы хотелось видеть Вас и слышать, что Вы скажете; если только свободны, приходите пораньше. Сегодня часов в 6 я был у Вас и не застал.

Ваш Ал. Блок.

¹ Городецкий Сергей Митрофанович (1884—1967) — поэт. Городецкая Анна Алексеевна (? — 1943) — жена С. М. Городецкого.

² Блок много работал над пьесой «Песня Судьбы». Закончив ее, он мечтает о постановке пьесы в Художественном театре и читает пьесу Станиславскому. М. А. Бекетова вспоминает: «...в период гастролей Московского Художественного театра драма была прочитана «Комитету», состоявшему из Станиславского, Немировича-Данченко и Бурджалова. Пьеса понравилась... Дело считалось почти решенным: театр берет драму». Но Станиславский спустя несколько месяцев пишет Блоку письмо, в котором, фактически отвергая пьесу, замечает, что она является переходной ступенью в творчестве Блока. Блок много раз читал «Песню Судьбы» самым различным слушателям. Состоялось и чтение, на которое он приглашал Мейерхольда. «Читал «Песню Судьбы» Городецким и Мейерхольду, — сообщал Блок матери. — Мейерхольд сказал очень много ценного — сильно критиковал. Я. опять у с у м н и л с я в пьесе».

VI

30.XI.08.

Дорогой Всеволод Эмильевич.

Я совсем было собрался к Вам сегодня вечером, и вдруг меня радикально задержали, а теперь уже 1-ый час и я не решаюсь идти¹. Не оставьте меня извещением в след. раз. Хотел бы я попасть на 1-ый вечер в клубе, да не знаю, имею ли право бесплатно?

Любящий Вас Ал. Блок.

Галерная, 41, кв. 4.

¹ 30 ноября 1908 года с пометкой «ночью» писал Блок матери: «Сегодня читал я реферат об Ибсене в каком-то поддельном высшем учебном заведении, неизвестно в чью пользу, среди каких-то... Это разозлило меня страшно. Но пришла знакомая курсистка, и мы с ней очень хорошо поговорили — на все темы».

VII

21.XII.09.

Дорогой Всеволод Эмильевич.

Я только что вернулся из Варшавы¹, уже простужен, сижу дома, на столе нашел письма — Ваше и М. А. Ведринской². Не могу решить, браться или не браться за трубадуrows, до того трудны мои дела и тяжело в семье. Самая работа привлекает меня, но, едва поправлюсь, уеду опять из Петербурга и не знаю, на сколько времени. Напишите мне, ради Бога, имя и отчество Ведринской, тогда я ей отвечу. Жму Вашу руку крепко.

Ваш Ал. Блок.

Банкетный долг отложите³ на сколько хотите времени. На письмах нет числа, может быть, это было уже давно и нашелся другой переводчик?

¹ В конце 1909 года Александр Блок ездил в Варшаву, где скончался его отец профессор А. Л. Блок. Тогда же была задумана и начата поэма, получившая позже название «Возмездие».

² В е д р и н с к а я Мария Андреевна (1877—?) — драматическая актриса.

³ В октябре—ноябре 1909 года А. Блок послал В. Мейерхольду нескрывать записок по поводу организации банкета в честь литературоведа и критика Евгения Васильевича Аничкова.

VIII

26.IV.1910.

Дорогой Всеволод Эмильевич,
простите меня за то, что не приду к Вам завтра на совещание. В том состоянии, в каком нахожусь, я не могу быть полезным. Весь этот сезон только и делаю что отказываюсь и отписываюсь, но нечего делать больше — слишком тяжело и безрадостно и во внешнем и в душе. Мы уезжаем на этих днях в деревню. Обоим вам желаем отдохнуть.

Любящий Вас Ал. Блок.

IX

24 мая 1911. С. Шахматово.

Дорогой Всеволод Эмильевич.
Спасибо за письмо, милое и тронувшее меня¹. Получил его в день отъезда. Л. Д.² уже в Берлине, а я — совсем отвык от мира, как всегда в деревне. Скучаю. В июле поеду за границу.

Целую Вас крепко.

Ваш Ал. Блок.

¹ Это ответ на письмо Мейерхольда от 16 апреля 1911 года, в котором режиссер благодарит поэта за присылку книги «Стихи о Прекрасной Даме» («Мусагет», 1911): «...книгу «Стихов о Прекрасной Даме» получил... Спешу письмом отблагодарить... А я здесь один. У меня балкон. Живу я очень высоко, и звезды близко. Будете в моих краях, рискните постучаться в мои двери. Вы и Любовь Дмитриевна. Будем пить чай на балконе. Я постараюсь быть не очень скучным. Люблю вас обонх по-прежнему. А «Стихи о Прекрасной Даме» снова взволновали меня».

² В л о к (урожд. Менделеева) Любовь Дмитриевна (1881—1939) — жена поэта, актриса.

X

29.XII.1912.

Дорогой Всеволод Эмильевич.
Спасибо Вам за книгу¹. Читаю ее медленно, думаю о ней.
С Новым годом!
Ольгу Михайловну, пожалуйста, поздравьте от меня.

Ваш Ал. Блок.

¹ Мейерхольд прислал Блоку свою книгу «О театре». Мы уже упоминали, что Блок был далеко не со всем согласен в театральной теории и практике режиссера. Свидетельствуют о том и пометы поэта на принадлежавшем ему экземпляре книги. Например, против фразы «Слова в театре лишь узоры на кайме движений» Блок написал — «NB» и «Ах, боже мой!».

XI

10 февраля <1914>

Дорогой Всеволод Эмильевич.
Сейчас я получил прилагаемые стихи от автора¹. По-моему, все довольно равноценны, не слишком самостоятельны, но приличны. Если не хотите печатать всех, можно напечатать посвященное Гнесину.

Я дочитал «Зеленое Кольцо»², очень жалел, увя. «Романа-царевича», но утешился глубоко: это подлинная Э. Гиппиус — прекрасная!

Всякий раз, говоря с Вами по телефону, забываю спросить, позволите ли Вы мне посвятить Вам «Балаганчик»³. Он, конечно, давно уже Ваш. но в новом издании, которое, может быть, будет осенью, я хотел бы это отметить.

Ваш Ал. Блок.

¹ Письма Блока Мейерхольду за 1914-й и последующие годы во многом затрагивают работу Блока в качестве редактора отдела поэзии журнала Мейерхольда «Любовь к трем апельсинам». В них видим мы явственно черты Блока — внимательного литератур-

ного крятина и взыскательного редактора. В этом письме речь идет о стихах Вал. Парнаха.

* «Зеленое кольцо» — пьеса Зинаиды Николаевны Гиппиус. Блока весьма занимало это произведение. 22 мая 1914 года он писал матери: «Ты спрашиваешь о Мейерхольде. Мне кажется, он не врал, и искренно меня любит. Мы говорили с ним тихо — о Лермонтове, о Зеленом Кольце, о цензуре Розы и Креста». А когда пьесу З. Гиппиус ставили в Александринском театре, Блок бывал с автором на репетициях. 9 февраля 1915 года он сообщал жене: «За это время побывал я, наконец, у Жени, обедал там. Потом — был с Зин. Ник. Гиппиус на репетиции «Зеленого Кольца». Очень хороша темная Александринка, сцена, артистич. фойе и коридоры. Савина на репетицию не приехала. Я говорил с Рощиной-Инсаровой. Еще из «известных» играют Петровский, Домашева и Юрьев. Мейерхольд говорил хорошую речь актерам. Все это было неприятно, но, с точки зрения «воплощения Зин. Гиппиус», пожалуй, безнадежно. Зин. Ник., как ты можешь представить, говорить с актерами не умеет, конфузится, как девочка, и цепляется за меня».

Блок был прав, говоря, что актеры не справятся с пьесой Гиппиус. «Актеры сыграли пьесу в четверть ее роста. Пьеса неумелая, с массой недостатков, и все-таки — какого она роста, какой зрелости, даже в руках актеров!» — писал он позже жене.

* Именно с «Балаганчика» начался расцвет творчества режиссера Мейерхольда. Он отвечал на это письмо Блоку: «Дорогой Александр Александрович, прежде всего благодарю за «Балаганчик». Можно ли спрашивать? Счастье мое очень велико — увидеть свою фамилию в строчке посвящения от Вас и на «Балаганчике», который доставил мне когда-то такую радость... Крепко целую Вас и буду ждать с нетерпением, когда придет этот чудесный подарок: второе издание любимого „Балаганчика“». Второму изданию «Балаганчика» были предпосланы слова автора: «Посвящается Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду».

XII

26 мая 1914. Спб.

Спасибо Вам, дорогой Всеволод Эмильевич, за хлопоты о «Розе и Кресте»¹. Стихи Бориса Пестовского² не радуют, отложим их пока, может быть, и пригодятся на какой-нибудь китайский случай. Я пробуду в деревне, верно, часть июня и июля, напишите, пожалуйста, если что будет. Николаевской жел. дор. станция Подсолнечная, селцо Шахматово. Отдыхайте, целую Вас крепко.

Любящий Вас Ал. Блок.

¹ Пьесу Блока «Роза и Крест» Мейерхольд намеревался поставить на сцене Александринского театра. Он сообщил поэту, что получил экземпляр пьесы.

² Пестовский Борис Алексеевич — поэт, печатавшийся в журнале «Любовь к трем апельсинам».

XIII

18 июня 1914 г. С. Шахматово.

Дорогой Всеволод Эмильевич.

Спасибо Вам за все хлопоты и вести. Письмо Ваше я получил уже в Шахматове. Не очень все это весело¹. Сейчас пишу Дризену, как Вы советуете, только не могу назначить приезда на июль, я думаю, можно отложить свидание с Дризенюм и до осени, если мне не удастся вернуться летом. Из трех поправок могу согласиться только на одну: «что чернеет на кресте у него?» Можно сказать: «что чернеет на груди у него?» Особенно заглавие пьесы изменить невозможно. Поговорим.

На днях я Вас увидел во сне, что Вы гостите у нас в деревне и ходите по двору во фраке, гениально сшитом, причем подкладка фрака — из нежнейшего белого атласа, который выпущен какими-то красивыми воланами из рукавов и из-за обшлагов. Только, смотря на Вашу спину, я с сожалением думал, что Вы поплотнели и у Вас сделалась актерская шея. Надеюсь, это только во сне. Целую Вас крепко.

Ваш Ал. Блок.

¹ Мейерхольд, отдавший «Розу и Крест» театральному цензору барону Дризеню, пишет, что Генрих Федорович Нотман сообщил ему, побывав у цензора, что «пьеса Ал. Блока «Роза и Крест» может быть пропущена цензурой только в том случае, если название пьесы будет изменено, а также переделаны фразы на стр. 211: «на груди твоей крест горит»; на стр. 215: «что чернеет на кресте у него», — причиной этих изменений он назвал слово «крест», который, раз он упоминается в пьесе, актер должен будет на-

деть на себя, что на русской сцене недопустимо». Блока огорчило это письмо. Получил его он в тѣхом Шахматове и с обычной пунктуальностью пометил в записной книжке 14 июня 1914 года: «...письмо от Мейерхольда (барон Дризен артачитис насчет «Розы и Креста)». Эта лучшая пьеса Блока ни на одной из ведущих сцен, ни одним из крупных режиссеров, включая увлеченных ею Станиславского, Мейерхольда и Таирова, поставлена не была.

XIV

13 января 1915.

Дорогой Всеволод Эмильевич.

Спасибо Вам за то, что пишете о Л. Д.¹ Напишу ей об этом, она будет рада. Дм. Крючков² всегда мне казался человеком литературным, умным, очень чистым и очень мало даровитым в стихах. Он гораздо лучше Парнаха, например, которого мы печатали. В этом стихотворении есть какая-то сжатость, признак движения; несмотря на то, что есть и все выше указанные свойства.

По-моему, напечатаем. Кажется, в запасе есть еще Ю. Верховский³?

Целую Вас.

Ваш Ал. Блок.

¹ Любовь Дмитриевна Блок в качестве сестры милосердия была в это время на фронте. «Я получил от Любови Дмитриевны письмо. Так рад, что наконец-то получил, — писал Мейерхольд. — Я по-прежнему тоскую по Любови Дмитриевне. Студия без нее не может жить так, как должна жить».

² Стихотворение Дмитрия Крюčkова (1887—1938) «Надела зала сумрачные латы...» было напечатано в тройном (4—5—6) номере журнала «Любовь к трем апельсинам» за 1915 год.

³ Верховский Юрий Никандрович (1878—1956) — поэт, литературовед. Ранее Блок сообщал Мейерхольду: «Лучшее из стихов Верховского, мне кажется, «Годовщина», — а 14 января 1915 года Блок писал Мейерхольду: «Давайте печатать «Годовщину»».

XV

15 января 1915.

Дорогой Всеволод Эмильевич.

Не знаю, как сказать, Б. Алперс¹ — живой и славный. В стихах же его я положительно живого места не вижу. Даже удивительно, как это может случиться. Неужели Вы не видите, что все это — банальность из банальностей: поемь из Гиппиус, Кузмина и меня. «Единый раз вскипает пеной» принято помещать в кавычки (стих З. Гиппиус); миндальничанье и жантильничанье («так неумело в прошлый раз»). Метафоры самые беспутные — ненужные, несвязные. Что это за «смешные Офелии»? О ф е л и я о д н а, и, кроме того, есть вещи, которыми не шутят. Гамлет с Шопенами — тоже легкомыслие. Нигилизм это все, и ни единому слову я тут не верю. После таких стихов я начинаю обыкновенно ждать сухого, чопорного «пушкиньянца» Верховского.

Храни нас, господа, от нигилистов и модернистов! Боюсь «апельсинства». Люблю кровь, а не клюквенный сок².

Любящий Вас Ал. Блок.

¹ Ал пер с Борис Владимирович (1894—1974) — поэт, критик, театровед, секретарь журнала «Любовь к трем апельсинам».

² Под «апельсинством» Блок подразумевал тенденции, прослеживавшиеся в редакционной политике во многом субъективного журнала Мейерхольда, игнорировавшего почти полностью общественную проблематику эпохи.

XVI

7 февраля 1916.

Дорогой Всеволод Эмильевич!

Вот что я придумал: сговоритесь с Княжниным², если лично его не видите (как и я), можно к нему позвонить в Архив Акад. наук (539—78); не согласен ли он опубликовать те стихотворения Ал. Григорьева³, которые ему удалось найти (а мне не удалось)? Если не все, то те, которые он не поместит в другом месте (например, в «Русской Мысли»). Среди них есть очень интересные. Во-вторых, не даст ли он собственное стихотворение (или несколько); кажется, у него было. Со своей стороны я бы, если Вы не имеете против, мог прибавить своего — давно написанного; у меня есть стихи совсем т. н. «непонятные», «тайнопись» своего

рода, которая, может быть, и даст нечто немногим, и именно только в журнале «для немногих» я бы это мог напечатать. Об этом я все-таки еще не отчетливо понимаю.

Еще соображение, уже не об отделе стихов. Княжнин знает ход к драме Ап. Григ. в стихах (кажется, «Отец и сын»), шедшей когда-то на александринской сцене и никогда не напечатанной. Вот если бы напечатать ее. Она, если не ошибаюсь, овеяна лермонтовским духом так же, как «Два эгоизма» («Реп. и Пантеон» 1846 в книжке, собранной мною), и написана тогда же.

А вот еще если бы вместо всех стихов, которые я имею Вам предложить, дал отрывок или отрывки Маяковский¹, было бы интереснее.

Все эти соображения, явившиеся у меня в ответ на Ваше дружеское письмо, Вам и посылаю.

Ваш Ал.Блок.

¹ Это ответ Блока на письмо Мейерхольда от 3 февраля 1916 года, в котором режиссер, выражая поэту признательность за согласие продолжать редактирование отдела поэзии, указывает на осложнившиеся отношения между Блоком и редакцией журнала «Любовь к трем апельсинам».

Блок считал, что журнал уклоняется в сторону «театральной археологии». Мейерхольд замечает: «Наш журнал отнюдь не преследует каких-либо реконструкционных задач; он только разрабатывает некоторые вопросы, связанные с проблемой формы в искусстве театра. Этим и объясняется тот теоретизм, который ставит Вас как бы в некоторое несогласие с нами. Что же касается Вашей мысли о том, что путем археологии нельзя вдохнуть новую душу в театр, то мы вполне согласны с Вами (оттого, например, мы боремся со стилизацией в театре)».

Вряд ли убедили поэта эти слова, но он высказал в ответе ряд конкретных предложений, которые не были реализованы, так как журнал «Любовь к трем апельсинам» вскоре прекратил свое существование.

* И в о й л о в (Княжнин) Владимир Николаевич (1883—1942) — поэт, литературовед. Составил сборник статей Ап Григорьева, позже написал книгу «Александр Блок».

² Г р и г о р ь е в Аполлон Александрович (1829—1864) — поэт, драматург, критик. Блок подготовил к печати сборник «Стихотворения Ап. Григорьева».

³ О каком отрывке идет речь, неизвестно. Произведения Маяковского в журнале «Любовь к трем апельсинам» не появились.



ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ



ЗВЕЗДА УМРЕТ — СИЯНИЕ МЧИТСЯ...

Эта публикация составлена из стихов, включенных в письма моей сестры Ольги Берггольц ко мне, а также в ее путевые заметки при наших совместных поездках. Все это составит книгу «Прошлого — нет».

Мария Берггольц.

I. ИЗ РАНИХ СТИХОВ

* * *

О, если б ясную. как пламя,
Иную душу раздобыть.
Одной из лучших между вами,
Друзья, прославиться, прожить.
Не для корысти и забавы,
Не для тщеславия хочу
Людской любви и верной славы,
Подобной звездному лучу.
Звезда умрет — сияние мчится
Сквозь бездны душ, и лет, и тьмы,
И скажет тот, кто вновь родится,—
Ее впервые видим мы.
Быть может, с дальним поколеньем,
Жива, горда и хороша,
Его труды и вдохновенья
Переживет моя душа.
И вот тружусь и не скрываю:
О да, я лучшей быть хочу,
О да, любви людской желаю,
Подобной звездному лучу.

Невская застава, 1927.

* * *

Чуж-чуженин, вечерний прохожий,
Хочешь — зайди, попроси вина.
Вечер как яблоко — свежий, пригожий,
Теплая пыль остывать должна...
Кружева занавесей бросают
На подоконник странный узор...
Слежу по нему, как погибает
Солнце мое меж дальних гор...
Чуж-чуженин, заходи, потолкуем,
Русый хлеб ждет твоих рук.

А я все время тоскую, тоскую,
 Смыкается молодость в тесный круг.
 Расскажи о людях, на меня не похожих,
 О землях дальних, как отрада моя...
 Быть может, ты не чужой, не прохожий,
 Быть может, близкий, такой же, как я...
 Томится сердце, а что — не знаю.
 Все кажется — каждый лучше меня.
 Все мнится — завиднее доля чужая,
 И все чужие дороги манят...
 Зажди, присядь, обопрись локтями
 О стол умытый — рассказывай мне;
 Я хлеб нарежу большими ломтями
 И занавесь опущу на окне...

1928.

.

Под ветром, под песней гулящих матросов кренился разымчивый час
 На север — на гавань, петровской эпохи еще не стряхнувшей с плеча...
 В десятом окраина вся на засовах — ворота, калитки, дома,
 А щели на днищах сырых горизонтов смолой заливают зима.
 Облуплены губы, обветрены веки, и я — совершенно одна.
 Мне смутно и радостно... Плавают в сердце легчайшие кольца вина...
 Я все вспоминаю (откуда, откуда, какую чужой стороной?)
 Охлопья поэм и заглавия песен, еще не задуманных мной.
 Обрывки рассказов, не читанных мною, обрезки картин и гравюр...
 Но я не видала суровых штрихов их, не трогала смуглый бордю...
 Окраина, гавань — откуда, откуда мне сон необычный такой?
 Не предки ль, строители Петербурга, под шагом в земле, глубоко?..
 О знаю! Всегда угадаешь ту землю, где строило племя твое,—
 Был ветер, был ветер такой же, как нынче с сырых горизонтов встает,
 И предок мой шел, как и я, отработав, на прямоугольник окна;
 Гуляющая песня печалила сердце и плавила кольца вина.

Зима 1928.

II. ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

(Вариант)

.

О, как меня завалило жгучим пеплом эпохи!
 Пеплом ее трагедий, пеплом ее души...
 Из зыбкой своей могилы — милый, кричу я, милый, спаси,
 Хотя бы внешне!..
 Из жаркой своей могилы кричу: что было, то было.
 То, что свершается, свершается не при нас...
 Но — с моего согласия!..

.

Вновь тебя увидала во сне я,
 Не просила я этого сна...
 Мне довольно того, что имею:
 Этот город, стихи и весна.
 Не смущай же меня, не забытый,
 Недостойный моей строки,
 Не оплаканный, не убитый,
 Не подавший в беде руки.

1968 (прибл.).

ИЗ КНИГИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Великое, незримое, прими мое смирение.
 Почти окостенев, благословляюсь.
 Прими терпенье и прими забвенье,
 Прими гордыню. Я — восстанавлиюсь.
 Восстанавливаю все, о чём мечталось,
 О чём нам плакалось и что хотелось.
 Восстанавливаю страх, любовь, и жалость,
 И все, что не было, и все, что вдруг имелось.
 Восстанавливаю все свои утраты
 Заветнейшие (лучших не имелось!).
 Восстанавливаю имена и даты,
 Но имя им одно — любовь и смелость.
 197...

АХМАТОВОЙ

(Из подготавливаемой книги «Великие поэты века»)

О, живущая нестерпимо,
 О, живущая неизгладимо,
 Оставляющая светоносный след.
 Что за благодать ко мне явилась?
 Божья ль это, людская милость?
 Рядом быть с твоею судьбой,
 Заслонять хоть на миг собой.
 Что ж, что это было напрасно?
 Часто робким, чаще — безгласным,
 По своим законам живем.
 По кремнистым путям идем.
 Я иду за тобою след в след.
 Я целую его свет в свет.
 Я бессонна, как ты, бред и бред.
 Знаю так же, как ты, что смерти нет.
 1975.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Л. ЛЕВИН



ЖЕСТОКИЙ РАСЦВЕТ

«А ВЕЧЕРОМ, КАК ПОЕЗД, МЧАЛСЯ ЧАЙНИК...»

Если, оказавшись в Ленинграде, вы пойдете по Невскому, свернете на Фонтанку и направитесь к цирку, то по левой стороне улицы, неподалеку от цирка увидите старый дом с балконом. Его адрес — Фонганка, семь. Теперь уже мало кто помнит, что в конце 20-х — начале 30-х годов этот дом — Дом печати — был центром литературной жизни Ленинграда. На балкон этого дома весной 1930 года (неужели прошло почти полвека?) вышел Виссарион Саянов, чтобы подтвердить собравшейся внизу толпе горестную весть о самоубийстве Владимира Маяковского.

На первом этаже Дома печати (как войдешь в вестибюль, по коридору направо), в маленькой комнате ютилась Ленинградская ассоциация пролетарских писателей (сокращенно ЛАПП). Осенью 1929 года я пришел сюда, чтобы вступить в ее ряды. Важный молодой человек с папироской в углу рта спросил, сколько мне лет, откуда я, в каком жанре работаю и каково мое, так сказать, общественное положение. Я ответил, что мне восемнадцать лет, приехал я из Перми, несколько лет состоял в местной АПП, выступал с рецензиями в пермской газете «Звезда», а теперь учусь в Ленинградском университете на втором курсе факультета языкознания и материальной культуры (сокращенно ямфак).

Выслушав меня, молодой человек погасил папиросу, неторопливо, с подчеркнутой солидностью закурил другую и важно сказал:

— Можешь считать себя членом ЛАПП. Свяжись с секретарем критической секции Тamarой Трифионовой. Я скажу ей о тебе.

Быстрота, с которой свершилось мое вступление в ЛАПП, не скрою, поразила меня. Важный молодой человек, видимо, понял это. Прощаясь, он дружески-покровительно хлопнул меня по плечу и хитро подмигнул. «Ты мне понравился, — как бы говорил он, — а это самое главное. Ведь все вопросы решаю здесь именно я».

Позже я узнал, что это был оргсекретарь ЛАПП Григорий Файвилович. Злые языки утверждали, что единственное созданное им произведение — статья «Как я работаю»...

Через несколько дней я снова пришел в Дом печати, чтобы представиться Т. Трифионовой и встать на учет в критической секции ЛАПП.

Войдя в комнату, я замер на пороге. Передо мной сидел сам Юрий Либединский. В журнале «На литературном посту» (я, разумеется, внимательно за ним следил) Кукрыниксы рисовали Либединского именно таким: черная кавказская рубашка со стоячим воротником и длинным рядом пуговиц от горла чуть ли не до живота, черная копна волос, остроконечная черная бородка. Сомневаться не приходилось: это был автор знаменитой «Недели». Еще так недавно, в школе, мы повторяли эпитафию к ней: «Какими словами рассказать мне о нас, о нашей жизни и нашей борьбе!»

Сидевшая напротив Либединского не очень молодая, как мне тогда показалось, женщина говорила что-то низким грудным голосом, вместе со словами выпуская изо рта клубы табачного дыма. На подоконнике примостилась еще одна женщина, вернее

девочка лет семнадцати на вид, тоненькая, с золотисто-льняной челкой, выбившейся из-под красного платка (возможно, платка и не было, но сейчас мне кажется, что он был, должен был быть, не мог не быть!).

— Нет, Юрий, ты не прав,— говорила женщина своим грудным голосом, затягиваясь табачным дымом, отчего ее голос казался еще более низким.— Он же явно талантливый парень.

«Видимо, это и есть Трифонова,— с невольным уважением подумал я.— Спорит с самим Либединским...»

— Конечно, талантливый. Кто же отрицает? — отвечал Либединский.— Но его губит книжность. Он лишен будущего. Печально, но факт.

Встав со своего места, он пошел к выходу, обернулся и спросил девочку, сидевшую на подоконнике:

— Ольга, ты идешь со мной или остаешься?

— Иду, Юра,— ответила девочка и, поправляя свою золотистую прядку, соскочила с подоконника. Вместе они вышли из комнаты.

Представившись Трифоновой и встав на учет в критической секции, я осторожно поинтересовался, о ком говорил Либединский, чей талант губит книжность. Оказалось, речь шла о молодом поэте Александре Гитовиче.

Как-то в том же Доме печати мне показали Гитовича. Коротко, под бокс, остриженный юноша, почти мальчик, спортивного типа, в модных тогда крагах играл на бильярде. «Несчастный парень,— с искренним сочувствием думал я, глядя на него.— Играет себе на бильярде и в ус не дует. Между тем у его таланта нет будущего».

В одной из моих первых лаповских статей (ее в феврале 1930 года напечатала газета «Ленинградский студент») я рассуждал о поэтическом сборнике «Разбег» (авторами его были А. Гитович, Б. Лихарев, А. Прокофьев и А. Чуркин). О Гитовиче в статье говорилось, что он пишет «в высшей степени книжно, рабски следуя книжным образцам»...

Может быть, в тот же день, когда я с таким состраданием наблюдал беспечно игравшего на бильярде обреченного Гитовича, кто-то показал мне Ольгу Берггольц. В ресторане Дома печати сидела за столом та самая тоненькая девочка с выбившейся из-под платка золотисто-льняной прядкой (никогда в жизни не видел такого цвета волос и такого золотисто-матового румянца). Напротив сидел «коренастый парень с немного нависшими веками над темными, калмыцкого типа глазами» (так Ольга напишет о нем почти сорок лет спустя). Сразу было видно, что обоим нелегко. Время от времени они перебрасывались короткими словами. На скуластом лице парня было мрачное выражение. Мне объяснили, что это Борис Корнилов, муж Берггольц. У них растет дочка Ирочка, но они, как говорится, не сошлись характерами.

Имя Корнилова я уже хорошо знал. Оно стало известно несколько лет назад, еще до его первой книги «Молодость», вышедшей в 1928 году. С чьей-то легкой руки он прослыл «есенинствующим». Впрочем, в ранних его стихах и впрямь слышались есенинские интонации:

Дни-мальчишки,
Вы ушли, хорошие,
Мне оставили одни слова,—
И во сне я рыженькую лошадь
В губы мягкие расцеловал.

В то же время никто не считал его эпигоном. Наоборот, о нем говорили как о своеобразном и ярком таланте, хотя еще и не нашедшем верного пути. В начале 1930 года журнал «Ленинград» напечатал его стихотворение «Русалка» с таким своеобразным примечанием: «Редакция помещает это талантливое стихотворение как характерный показатель отказа околопролетарского поэта от путей пролетарской литературы». «Околопролетарский поэт» посвятил свое стихотворение Ольге Берггольц («Живет на кухне у меня русалка, как жена»). Ольге была посвящена и книга «Молодость». А двумя годами раньше в стихотворении «Ольха» Корнилов писал:

И еще хочу прибавить только
К моему пропетому стиху,

Что порою называю — Ольга —
Розовую, свежую ольху.

Издали мне почему-то казалось, что Корнилов и Берггольц созданы друг для друга. Однако Ольга и Борис решили по-своему. Вероятно, оба были одинаково правы и одинаково виноваты. Так или иначе, их дальнейшая личная судьба определилась довольно скоро. Ольга вышла замуж за Николая Молчанова. Борис женился.

Но разлука с Ольгой все-таки далась Борису нелегко: «Не до сна мне теперь, Татьяна, года на три мне не до сна», «Милый тесть мой, Иван Иваныч, не сберег ты мою жену». Имена выбраны здесь произвольно, но горькое чувство истинно и неподдельно. Разлучаясь, поэт напутствует свою уходящую подругу: «Для твоей ноги да будет, рыжая, легким пухом рыхлая земля». Выделенные мной слова — нечто вроде похорон любви. «Просвистал и проворонил белую...», «И забуду вовсе имя, отчество той белесой, как луна, жены...»

Горюет, что «просвистал и проворонил».

Не забыл, а только обещает забыть.

Впоследствии Корнилов еще не раз грустно возвращался к той же теме: «Осторожно, рукой не трогай — расплзется бумага. Тут все о девушке босоногой — я забыл, как ее зовут»; «На память мне флакон с одеколоном и тобики с помадой губной»; «У меня была невеста, белокрылая жена. К сожаленью, неизвестно, где скитается она...»

А что Ольга? Как она пережила разлуку?

Некоторое время спустя она написала: «Все пою чужие песни о чужой любви-разлуке. О своей — неинтересно, только больше станет скуки». Не поручусь, что здесь имеется в виду разлука с Корниловым. Но уж без всякого сомнения к нему обращены полные горечи строки 1940 года: «Теперь — ты прав, мой первый и пропащий, — пою: другое, плачу о другом...» Слова, выделенные Берггольц, принадлежат Корнилову («...И все не так, и ты теперь иная, поешь другое, плачешь о другом...»).

Ольга посвятила Борису еще одно стихотворение, написанное в 1939 году, но напечатанное впервые около двадцати лет спустя. Взяв слова Корнилова в качестве эпиграфа, Берггольц уже в самом начале стихотворения прямо отвечает на них: «О да, я иная, совсем уж иная!» Кончается же стихотворение строками, проникнутыми острой, неутраченной болью:

Не стану прощенья просить я,
ни клятвы —
напрасной — не стану давать.
Но если — я верю — вернешься обратно,
но если сумеешь узнать, —
давай о взаимных обидах забудем,
побродим, как раньше, вдвоем, —
и плакать, и плакать, и плакать мы будем,
мы знаем с тобою — о чем.

Увы, к тому времени, когда писалось это стихотворение, Корнилова уже не было на свете. Встреча, о которой мечтала Берггольц, не состоялась.

Но в тот день, когда молчаливая Ольга и мрачный Борис сидели за столиком в ресторане Дома печати, до всего этого было еще далеко.

Через некоторое время, когда я познакомился и, смею сказать, подружился с Ольгой и Борисом, они уже «ходили» врозь. Ольга со своим вторым мужем Николаем Молчановым («Любовью моей. Всегдашней») жила на улице Рубинштейна, семь.

Дом, где она жила, давно известен под именем «слеза социализма». В его квартирах не было кухонь — жильцы кормились в общей столовой на первом этаже; с потолков и снаружи, по фасаду, непадно текло. Отсюда и «слеза социализма». Один из его жильцов, Александр Штейн, пишет, что это название придумал другой жилец, Петр Сажин.

Мы с моим другом Иосифом Гринбергом — тогда совсем молодые, начинающие критики — чуть ли не каждый вечер заходили туда к Юрию Либединскому, Михаилу Чумандрину, Вольфу Эрлиху. Но чаще всего бывали мы у Берггольц и Штейна.

Если говорить правду, мы зачастили в «слезу социализма» не только из жажды общения с друзьями и не только из восхищения их прекрасными отдельными квартирами (роскошь, доступная по тем временам лишь немногим). На первом этаже «слезы» в общей столовой нам никогда не отказывали в ужине. Тогда это было более чем существенно.

Друзья, конечно, видели нас насквозь. Едва мы появляясь, они спешили нас накормить. Даже саркастический Чумандрин, любивший подшучивать над нами, порой сам вел нас в столовую и хлопотал об очередном ужине.

Кто-то из бандарлогов (так по Р. Киплингу именовали себя обитатели «слезы») — то ли Чумандрин, то ли Либединский — окрестил Гринберга Фиалкой, а меня Ландышем. Нас эти прозвища, естественно, ужасали. В тех редких случаях, когда я приходил один, кто-нибудь непременно спрашивал:

— Ландыш, почему ты один? А где Фиалка?

В 1933 году Ольга написала стихотворение «Семья». В собрании ее сочинений оно посвящено И. Гринбергу.

А вечером, как поезд, мчался чайник,
на всех парах
 кипел среди зимы.
Друг заходил, желанный и случайный,
его тащили — маленькую мышь.
Друг — весельчак,
 испытанный работник,
в душе закоренелый холостяк —
завидовал пеленкам и заботам
и уверял, что это не пустяк.

Нельзя сказать, что стихи хороши, но в них отразился быт «слезы социализма» — беспорядочный, скудный, чуждый сытости и, конечно же, счастливый: ведь все мы были тогда так неправдоподобно молоды!

Обитатели «слезы» жили очень скромно, не помышляя ни о хорошей мебели, ни о дорогой посуде, ни — тем более! — о машинах и дачах. Но иные из них все же умели создать у себя некое подобие уюта. Так, например, в не вполне обычной — двухэтажной — квартире Штейна чайный стол все же накрывался скатертью, подавалась более или менее приличная посуда, в кабинете хозяина, расположенном на втором этаже, гости могли удобно устроиться в креслах или на тахте.

Не то было у Ольги. Здесь накрывали стол газетами, пили чай (или водку) из граненых стаканов, а сидели на старых венских стульях или табуретках. Причем все это делалось не от бедности (хотя денег порой и не хватало), а принципиально, пожалуй даже демонстративно. Девочка в красной косынке была уже дважды матерью, но твердо решила на всю жизнь остаться комсомолкой из-за Невской заставы. «Я буду сед, но комсомольцем останусь, юный, навсегда!» Никаких признаков мещанского уюта! Никаких диванов, кресел, скатертей, обеденных и чайных сервизов! Таким представлялся Ольге быт молодой комсомольской семьи. Она считала его обязательным не только для себя, но и для всех своих друзей, в том числе и вышедших из комсомольского возраста. К ним принадлежал, например, Либединский, который был женат тогда на Мусе Бергтольд, младшей сестре Ольги. Ему уже порядком перевалило за тридцать. К тому же он казался гораздо старше своих лет. Его естественное желание жить по-человечески возмущало Ольгу.

— Лиха беда начало! — мрачно говорила она. — Сначала шифоньеры, диваны, по утрам кофе в постель, а потом...

От этого зловещего «а потом...», должен сознаться, и мне становилось не по себе.

Однако жизнь молодой комсомольской семьи складывалась отнюдь не так идиллически, как это выглядит в стихотворении. Через несколько лет в жизни Ольги, избородавшей горестными испытаниями, случилось одно из самых горестных: умерла маленькая Ирочка

Вскоре после ее смерти Ольга написала:

Сама я тебя отпустила,
сама угадала конец,
мой ласковый, рыженький, милый,
мой первый, мой лучший птенец...

Недолго прожила и вторая дочка Ольги, Майя, отцом которой был Молчанов. Да и у него самого оставалось не так уж много лет впереди...

Но пока все шло своим чередом: почти каждый вечер мы отправлялись в «слезу», где всегда былолюдно и всегда интересно. У Штейна молодой Иракий Андроников исполнял свои тогда еще мало кому ведомые устные рассказы. Мы восхищались ими и пророчили Иракийю блестящую будущность. У Эрлиха часто бывал Борис Чирков, еще не сыгравший своего знаменитого Максима, но уже и тогда неотразимо талантливый.

В апреле 1932 года «слеза» бурно переживала постановление ЦК партии о ликвидации РАПП — для всех нас, теперь уже бывших рапповцев, оно явилось полной неожиданностью. Кое-кому из нас — в том числе, а может быть, и в первую очередь мне, успевшему напечатать немало вульгарных, типично рапповских, «проработочных» статей,— предстояло доказать свое право на работу в литературе. Впрочем, нас — и меня, в частности, — это не слишком смущало. Мы были молоды, полны энергии и верили в свои силы.

«...НО БЫЛ КОГДА-ТО СИНИЙ-СИНИЙ ДЕНЬ...»

Кроме нас, частенько наведывался в «слезу» сначала сам по себе, а затем вместе с нами Юрий Герман, молодой писатель, сравнительно недавно появившийся в Ленинграде. Несмотря на свою молодость — ему было тогда года двадцать два, — Герман уже выпустил две книги: «Рафаэль из парикмахерской» (ее он стыдился) и «Вступление» (эта последняя широко читалась и обсуждалась).

Герман обитал на Васильевском острове в огромной коммунальной квартире, где по соседству с его комнатой шипело и чадало полтора десятка примусов и керосинок. Меня привел к нему Владимир Беляев, молодой рабочий с завода «Большевик». Он ходил тогда в кожаном шлеме, писал рассказы и не думал, что станет автором книги, которую будут зачитывать до дыр многие поколения советских мальчишек.

После того как М. Горький в беседе с турецкими литераторами одобрительно упомянул «Вступление» — это произошло в мае 1932 года, — Герман стал появляться в «слезе» особенно часто. Бывал он главным образом у Чумандрина, который обещал ему устроить — и действительно устроил — свидание с Горьким.

Подружившись с Германом, мы стали приходить к Ольге втроем. Затем встречались и у Германа — вскоре он получил квартиру в так называемой надстройке, писательском доме на канале Грибоедова. Однако дружеское сближение Берггольд и Германа шло совсем не так гладко, как нам хотелось. Люди ярко одаренные, ровесники (тогда несомненно «лидировал» Герман: в активе Берггольд числилось, в сущности, всего несколько маленьких книжечек для детей), оба не хотели идти ни на какие уступки в спорах и отстаивали свои точки зрения яростно, ожесточаясь и нередко переходя на личности.

Герман в свои двадцать с небольшим держался солидно и поражал зрелостью взглядов на литературу. Наши ночные бдения на канале Грибоедова часто прерывались тем, что он подходил к книжной полке, брал наугад любой из томов Толстого или Чехова и с восхищением читал из «Войны и мира», «Смерти Ивана Ильича», «Попрыгуньи», «Дамы с собачкой»...

Берггольд, конечно, понимала, что такое Чехов и Толстой, но была полна комсомольского, кумачового задора, помноженного еще на рапповские железные лозунги создания Магнитостроя литературы, призыва ударников, одемьянивания поэзии (один из руководителей РАПП в свое время остроумно оговаривался, что одемьянивание не означает обеднения, но никакие оговорки, разумеется, не меняли сути дела). Что греха таить, эти лозунги еще не потеряли тогда смысла и для меня.

Вполне соглашаясь, что Герман чертовски, дьявольски талантлив, Ольга тем не менее твердила:

— Конечно, «Вступление» — прекрасная книга, но все-таки это книга попутчика, а не пролетарского писателя. Вечная проблема — принимать или не принимать строительство социализма. Да эта проблема уже давно решена! Ее решали и Федин, и Леонов, и Сельвинский, и Олеша. Молодым писателям нужно быть ближе к жизни, к тому, что каждый день совершается на фабриках и заводах, в совхозах и колхозах.

Она была не из тех, кто думает одно, а говорит другое. Свои мысли она высказывала Герману в лицо. А он яростно защищался и, в свою очередь, переходил в атаку, обвиняя Ольгу в упрощенчестве, рапповском схематизме, профанации искусства. Ярость, с которой он оборонялся, объяснялась еще и тем, что именно тогда в «Литературной газете» была напечатана статья, озаглавленная «Вступление попутчика». «Преодолеть ошибки своего мировоззрения,— говорилось в этой статье,— нечеткость своего политического мышления — наследие идейного и литературного прошлого автора — задача, к разрешению которой он должен подойти на очередном этапе своего творческого пути». Автор, видимо, полагал, что имеет дело с пожилым и опытным писателем-попутчиком, чье мировоззрение отягощено «наследием идейного и литературного прошлого»...

Когда на каком-нибудь писательском собрании слово предоставлялось Берггольц и она шла на трибуну, поправляя свою золотистую прядку, Герман шептал мне на ухо:

— Сейчас опять обзовет меня попутчиком. Или начнет выдавать про успехи нашей промышленности. Неужели кто-то всерьез думает, что это и есть знание жизни? Это же просто цитаты, надерганые из газетных передовиц!

При всем том нельзя было не заметить, что Герман и Берггольц пристрастно и ревниво интересуются друг другом, что их яростные споры нужны обоим, что силы притяжения могущественнее сил отталкивания.

Летом 1935 года Герман и я оказались в группе ленинградских писателей, поехавших в Грузию. К тому времени Герман стал близким моим другом, одним из самых близких за всю жизнь.

Вернуться в Ленинград мы задумали через Одессу и в Батуми погрузились на теплоход. Хотя на руках у нас были билеты первого класса, но по стечению обстоятельств ехать пришлось на палубе. Мы с Германом решили дотянуть до Коктебеля и там в писательском Доме творчества восстановить силы, вконец подорванные неудачным морским путешествием. К нам присоединился Евгений Шварц.

Когда теплоход приближался к Феодосии, Герман как бы между прочим объявил, что Берггольц сейчас в Коктебеле и, вероятно, нас встретит. Я обрадовался, но Герман охладил мой пыл:

— Тебя, видимо, давно никто не воспитывал. Приготовься к очередной лекции о передовиках производства.

Однако в тоне его на этот раз не было раздражения.

В феодосийском порту нас действительно встретила Ольга. Покрытая особым, только ей одной присущим нежно-золотистым загаром, такая же нежно-золотоволосая («Мой послушный мягкий волос масти светло-золотой!»), она весело рассказывала, как добиралась сюда из Коктебеля в кузове грузовика, среди катавших бочек с бензином, нефтью и чем-то еще, как чуть не вывалилась на крутом повороте, как еще из грузовика увидела наш теплоход и боялась опоздать... Я на правах старого уже приятеля обнял ее. Герман поцеловал ей руку вежливо и несколько счужденно.

В Доме творчества нас, как выяснилось, ждали — об этом позаботилась Ольга — и уже приготовили комнату на троих. Тогда это считалось верхом комфорта.

Десять дней, проведенных нами в Коктебеле, как принято писать в таких случаях, слились в один нескончаемо длинный день, полный солнца, моря, беззаботного отдыха, веселого дружеского общения. Однако каким бы длинным этот день ни был, кончился он все же очень скоро. Настало время садиться в пыльный, душный вагон и ехать восвояси.

Ольга, еще оставшаяся в Коктебеле, провожала нас. Она шутила, пыталась улыбаться, но глаза были грустные. Герман смотрел по сторонам и молча покуривал.

Поезд тронулся. Наше лето 1935 года кончалось. Выглянув из вагона, я еще долго видел тоненькую фигурку, одиноко стоявшую на перроне.

В Ленинграде мы продолжали встречаться то у Берггольц в «слезе», то у Германа в «надстройке».

Герман печатал тогда в журнале «Литературный современник» свой новый роман «Наши знакомые». В 1936 году, когда роман был опубликован полностью, вокруг него сразу возникли ожесточенные споры. Читательский успех «Наших знакомых» превзошел все ожидания, но многие критики обвиняли молодого писателя в мелкотемье, беллетристической легковесности, в бытописательстве. Выступивший в Ленинграде Виктор Шкловский обрушился на Германа. На том же собрании Вениамин Каверин спорил со Шкловским и защищал от него «Наших знакомых». Многие считали, что в «Наших знакомых» виден зрелый художник, далеко оставивший позади и «Вступление» и «Бедного Генриха» (этот роман, примыкавший к «Вступлению», вышел в 1934 году), не говоря уж о «Рафаэле из парикмахерской».

Высказала свое мнение о «Наших знакомых» и Ольга. Она работала тогда в газете «Литературный Ленинград». На страницах газеты появлялись ее статьи. Большой частью они носили весьма боевой, воинствующий характер. Вот заголовки некоторых из них: «Бесстрастная печать» (о книге стихов В. Лифшица «Долина»), «За героинку в детской книге», «Поменьше самоуспокоенности». В «Литературном Ленинграде» была напечатана и ее статья о «Наших знакомых». Ольга назвала ее «Жизнь, которая остановилась».

В день, когда статья была напечатана, Герман позвонил мне раньше обычного.

— Читал статью своей подруги? — спросил он тем ласково-задушевым голосом, который появлялся у него в минуты наивысшего раздражения.

Я ответил, что еще не видел газет.

— Почитай, почитай, — тем же елеинным голосом посоветовал Герман. — Крайне поучительно.

«Много говорят и пишут о том, — заявляла Берггольц, — что роман Германа — это роман на тему о советском гуманизме. Основание — тот факт, что Сидоров, Женя приютили у себя Антонину, помогли ей встать на ноги, отнеслись к ней с подлинной человечностью. Споры нет, внимание и забота о человеке как массовое явление — одна из существенных сторон советского гуманизма. Но уничтожение кулачества как класса, беспощадная борьба с троцкистскими террористами и т. д. — все это такие факты, без которых гуманизм не существует». Далее Берггольц писала: «Я вовсе не хочу сказать, что Герман должен был все это «отобразить» в романе. Но я хочу сказать, что, например, «Поднятая целина» с несравненно большим основанием может быть названа первым настоящим романом о советском гуманизме».

Германа, как ни странно, особенно взбесила не столько содержащаяся в статье общая оценка «Наших знакомых» и не столько более чем неожиданная параллель с «Поднятой целиной», сколько фраза о том, что в романе «подробно описывается пошловатая история Антонины с актером». Эту «историю» Герман очень любил и считал, что она ему удалась. Он готов был признать приоритет Шолохова-гуманиста (хотя сопоставление «Наших знакомых» с «Поднятой целиной» справедливо казалось ему искусственным и неуместным), но никак не мог принять упрека в пошлости. Тем более что именно пошлость ненавидел больше всего на свете.

Мы не согласились со статьей Ольги и объявили ей об этом, но она, смеясь, сказала, что ничего другого от нас и не ждала и что приятельские отношения, видимо, дороже нам, чем истина...

Много лет спустя мой друг Дм. Хренков, читавший дневники Берггольц (как оказалось, Ольга вела их почти всю жизнь), рассказал мне о ее записи, относящейся к 1936 году: печатая статью о «Наших знакомых», она заранее знала, что статья не понравится «мальчишкам» — так она порой называла Гринберга и меня.

Статья о «Наших знакомых» не могла не осложнить и без того «гамсуновских» отношений Берггольц и Германа. Они продолжали встречаться, но споры, по-прежнему возникавшие между ними, особенно обострились. Самого ничтожного повода хватало, чтобы они с внезапно вспыхнувшим раздражением яростно бросались в бой. Казалось бы, проще было вообще не встречаться, но, как я уже говорил, их непреодолимо влекло друг к другу, без постоянного общения они не могли обойтись.

С тех пор прошло очень-очень много лет. Страшно сказать — больше сорока! Моих дорогих друзей Оли и Юры уже нет на свете. И вот я сижу в комнате, где последние годы жил и работал Герман, в его квартире на Марсовом поле, семь. Разбираю архив: неоконченные повести и рассказы, планы ненаписанных пьес и сценариев, выписки из самых разных книг от Монтеня до Пирогова, дневниковые записи, заметки для памяти, немногие случайно сохранившиеся письма (Герман не раз говорил, что его архив не представляет никакого интереса для человечества, и принципиально не хотел ничего хранить). Чудом сохранилось несколько писем. В том числе два письма от Ольги Берггольц. Одно из них относится к 1956 году, другое к 1966-му. Оба написаны в больнице. Оставаясь наедине с собой, Ольга, видимо, испытывала потребность в общении со старым другом, с которым все реже встречалась в каждодневной житейской суете. Чем старше мы становимся, тем меньше времени остается у нас на все: и на работу, и на отдых, и на встречи с друзьями...

Первое письмо целиком посвящено пьесе Германа «За тюремной стеной» (о молодом Дзержинском), Ольга только что прочитала ее. Высоко оценивая пьесу, Ольга высказывает при этом некоторые общие мысли о современном театре: «В Александринке (то есть в Ленинградском театре драмы имени А. С. Пушкина.— Л. Л.) идет «Оптимистическая», ставят твою трагедию о Дзержинском, предположим, ставят мою «Верность» — трагедию нашего времени; из классики — великолепный козинцевский «Гамлет», затем — «Заговор Фiesко»; понимаешь, получается единственный в Союзе театр с определенным профилем — театр высокой трагедии... В репертуаре, при многообразии пьес, обязана быть ведущая, главная линия, и в Александринке она, может быть, наилучшая, наивысшая — трагедия».

Действие пьесы «За тюремной стеной» происходит в дореволюционные годы. Берггольц хвалит ее, но заканчивает письмо несколько неожиданно: «Ах, как я мечтаю о том, чтоб ты написал большую современную вещь, — ведь ты же весь до потрохов современный писатель, ты один из самых лучших наших современных писателей».

Современных, то есть пишущих о современности. Нет ли в этих словах позднего пересмотра того, что было сказано в статье «Жизнь, которая осталась»? И не оказалась ли именно такой «большой современной вещью» широко известная трилогия Германа «Я отвечаю за все»?

Второе письмо я приведу полностью:

«Мой дорогой Юрик! Кажется, второй раз в жизни я пишу тебе столь пространное письмо (хотя постараюсь, чтобы оно не было очень уж пространным) — и представь, снова из хирургического отделения, где вновь лежу с покалеченной ногой, — и вновь собираюсь закончить письмо стихами (в предыдущем письме Берггольц целиком привела стихотворение «Обещание»: «Я недругом смертью своей не утешу...» и т. д.— Л. Л.) — в общем, все как тогда, в 1956 году, т. е. ровнехонько десять лет назад!

...А письмо тебе я начала писать еще в Коктебеле. Старость, наверное, но почему-то ожило все вдруг давно прошедшее, столь давно прошедшее — тридцать один год все же, и ожило с силой необычайной, и все вокруг спрашивало меня: «А помнишь?» — и я все вопрошала тем же вопросом, но больше всего хотелось спрашивать мне об этом тебя, потому что — не знаю почему — я знала, что ты «все помнишь».

...Если бы ты знал, как временами жжет и томит меня жизнь, как изумляет, — резче, чем в юности, почти как в детстве. Вещи и события словно окружены тонким сверкающим спектром... Но уже и из больницы я не смогу написать тебе всего (точно это можно высказать вообще!), — я ведь дня через два уйду домой, и мы увидимся, и, может быть, получится разговор.

Я напишу тебе стихотворение о Феодосии, написанное в 1947-м и один раз напечатанное в книге сорок восьмого года, которой у тебя нет, а двухтомник выйдет еще не скоро.

С той же обостренностью, с какой вспоминала я Коктебель 1935 года, я вспоминала его и в 1944 и в 1947 годах, когда первый раз приехали туда с Юркой (имеется в виду Г. Макагоненко.— Л. Л.). Ну, вот оно:

...Когда я в мертвом городе искала
ту улицу, где были мы с тобой,

«С ОГНЕМ И КРОВЬЮ ПОПОЛАМ»

6 ноября 1941 года мой товарищ по курсам младших лейтенантов при 1-м учебном запасном минометном полку известный ленинградский кинооператор Анатолий Погорелый и я патрулировали по Невскому. Мы ходили взад-вперед по его левой стороне, если стоять спиной к Адмиралтейству, от Садовой до Московского вокзала. Заступили в шестнадцать часов. Должны были патрулировать до двадцати четырех.

В полночь пришла смена. Закоченевшие и, как всегда в те дни, голодные, мы затопились домой. Наши курсы помещались в одном из больших казарменных зданий неподалеку от Витебского вокзала. Когда мы поравнялись с улицей Рубинштейна, я увидел на другой стороне, возле хорошо известного ленинградцам рыбного магазина дворничиху, сгребавшую снег (тогда его кое-где еще убирали). Немного думая я попросил Погорелого минутку подождать, нацарапал короткую записку и передал дворничихе, с тем чтобы она завтра утром как можно раньше отнесла ее на улицу Рубинштейна, семье Ольге Федоровне Берггольц. Я написал, что завтра с восьми до шестнадцати буду патрулировать по левой стороне Невского, если стоять к Адмиралтейству спиной, и попросил Ольгу, если это возможно, хотя бы ненадолго появиться на Невском в эти часы.

— В чем дело?— вяло поинтересовался Погорелый, когда мы пошли дальше.

Я рассказал. Погорелый с сомнением покачал головой.

— Вряд ли Берггольц придет,— сказал он.— Да и не стоило ее тревожить. Уверю вас, ей сейчас не до свиданий с друзьями.

Я стал горячо возражать. С Ольгой, говорил я, меня связывает десятилетняя дружба, а это кое-что да значит.

— Посмотрим,— усмехнулся Погорелый.— Завтра увидим, кто из нас прав.— Он помолчал.— Если, конечно, дворничиха вообще передаст вашу записку, что, как говорится, вряд ли. Очень ей нужно в такое время бегать по чужим квартирам.

Тем временем мы подошли к казарме, поднялись по зашарканной лестнице, добрались до нар и не раздеваясь повалились на них.

— Спать!— приказал Погорелый.— Завтра подъем чуть свет.

Он повернулся ко мне спиной и вскоре уже похрапывал.

А я, несмотря на усталость, заснул не сразу. «Придет Ольга или не придет?— гадал я.— Вероятно, ей сейчас и в самом деле не до меня. Силенок, конечно, маловато. Да и откуда им взяться? Живет наверняка на тех же правах, что и все остальные. Так же голодает».

Встали мы с Погорелым действительно чуть свет, похлебали редкого блокадного супа, взяли винтовки, противогазы и пошли на Невский.

Было ясно, что с утра Ольга, во всяком случае, не появится. Но я все-таки приглядывался к каждой женщине, попадавшейся навстречу. Погорелый молчал, но поглядывал на меня насмешливо.

Время шло, а Ольга все не появлялась. До конца дежурства оставалось не так уж много времени. Погорелый поглядывал на меня уже с явным сожалением.

Я столько раз ошибался, принимая за Ольгу незнакомых женщин, что, когда она на самом деле появилась, чуть не прошел мимо.

Ольга пришла с Колей Молчановым. Прежде всего меня поразила перемена, происшедшая в нем. Когда я видел его последний раз — это было еще до войны,— он производил впечатление полного сил, цветущего молодого человека. Я знал, что он серьезно болен — у него была эпилепсия,— но на щеках его всегда играл румянец, он казался бодрым и даже физически сильным. Сейчас в лице его не было, что называется, ни кровинки, глаза потухли, он улыбался вялой улыбкой, больше похожей на гримасу. Ольга тоже заметно осунулась и побледнела, но была неестественно оживлена. Обняв меня и обхватив при этом холодный приклад винтовки, Ольга ткнулась лбом в мое ухо и неожиданно сказала:

— Здравствуй, Ландыш. А где Фиалка?

Это так вопиюще противоречило всему нас окружавшему, что я онемел. Ольга же, блестя глазами и коротко похохатывая, рассказывала, какими молодцами оказались наши старые друзья. Женя Шварц, например. Как много работает и она сама, сколько

стихов написала. Среди них есть, между прочим, и такие, которыми она, в общем, довольна.

— Читал? Может быть, по радио слышал?

Пришлось признаться, что не читал и по радио не слышал.

— Э, братец, так ты, видно, про меня ничего не знаешь,— засмеялась Ольга.— Я ведь теперь нечто вроде ленинградской богородицы. Значит, ты и мое письмо Муське не слышал? Я его еще в сентябре написала. «Машенька, сестра моя, москвичка!» Не слышал?

Пришлось признаться, что не слышал. Не объяснять же ей было, что, обучаясь на своих курсах, я после полевых занятий с непривычки падал на нары или просто на пол и засыпал мертвым сном. Откуда мне было знать, что за эти месяцы в жизни Ольги произошли разительные перемены, что она стала поэтом борющегося Ленинграда, что судьба ее отныне и навсегда связана с судьбой осажденного города, что в ее стихи с болью и надеждой вслушиваются люди не только в кольце блокады, но и далеко за его пределами. Короче говоря, я не знал, что случилось настоящее чудо: война и блокада подняли Ольгу на самый гребень трагических событий, разом проявили то, что годами копилось и зрело в ее душе, превратили ее в истинного поэта-гражданина, чей искренний, чуждый ложного пафоса, живой человеческий голос уверенно и властно звучал над опустевшими улицами и площадями Ленинграда, в оледеневших пещерных жилищах, в землянках и блиндажах переднего края. Это был неожиданный для многих, но глубоко оправданный и выстраданный поэтический расцвет. Сама Ольга назвала его же с т о к и м: «Я счастлива. И все яснее мне, что я всегда жила для этих дней, для этого жестокого расцвета»; «Благодарю ж тебя, благословляю, жестокий мой, короткий мой расцвет...» Ничего этого я еще не знал и потому пропустил мимо ушей слова Ольги насчет ленинградской богородицы.

Между тем Ольга не умолкала ни на минуту. То и дело она со скрытой тревогой поглядывала на Молчанова. Он стоял молча, с равнодушным видом и явно не прислушивался к нашему разговору.

— Коля у нас белобилетчик,— предвосхищая возможные расспросы и как бы оправдываясь, говорила Ольга.— Но тоже пошел на фронт. Правда, его очень скоро комиссовали. Теперь он без дела не сидит. Много работает в ПВО. Пишет большую статью «Лермонтов и Маяковский». А потом будет писать книгу «Пять поэтов». Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Блок и Маяковский. Правда, здорово?

— Очень здорово.— Я глядел на по-прежнему отсутствующего Молчанова и с грустью думал, что вряд ли ему удастся все это написать.

— Вчера передавали по радио мое праздничное письмо. В это время поднялся страшный шум. Немцы стреляли, бомбили, ты же слышал. Но письмо все-таки пошло в эфир. У меня есть копия. Хочешь, подарю? Кроме того, стихи написала. Прочешь?

Мы шли по Аничкову мосту. Ольга и я впереди, Молчанов и Погорелый немного сзади. Молчанов так и не сказал еще ни слова.

— «И мы справляли как могли,— читала Ольга,— великий день... И как дерзание в бомбоубежищах прошли торжественные заседания. Сюда, под землю, принесли мы наши гордые знамена. А бомбы с грохотом рвались, и с пением мешались стоны...» Это я вчера написала. Что скажешь?— Не дожидаясь ответа, она наклонилась ко мне и быстро зашептала:— Ты не представляешь, как я боюсь за Колю. Он не выдержит. У него участились припадки. Есть возможность уехать, увезти его. Но я не могу. Понимаешь, не могу, Ленинград — моя судьба. Понимаешь?

— Оля,— вдруг сказал Молчанов незнакомым хриплым голосом.— Мы опоздаем. Это были единственные слова, которые он произнес за все время нашей встречи.

— Да-да,— зашептала Ольга.— Нужно идти. Меня ждут в Радикомитете. Готовим переключку с Севастополем. Боже мой, но ты-то как?

Мы обнялись, и вот они уже заскользили по заснеженному Невскому, издали помахали мне — Молчанов нехотя и вяло, Ольга с улыбкой и от души,— заговорили о чем-то, видимо уже забыли о нашей встрече, скрылись за поворотом.

— Все-таки пришла,— негромко сказал Погорелый.— Честно говоря, не ждал. О дружба, это ты!— Он шутил, но тон у него был виноватый.— А муженек ее долго не протянет. По всему видно, что не жилец...

Увы, Погорелый оказался прав: после нашей встречи Коля Молчанов прожил немногим больше двух месяцев — он умер от голода в январе 1942 года.

Через тридцать с лишним лет Ольга прислала мне трехтомное собрание своих сочинений. Во втором томе в разделе «Говорит Ленинград» я нашел праздничное письмо, то самое, о котором она рассказывала на Невском 7 ноября 1941 года и копию которого предлагала подарить.

«В этом году,— писала Ольга накануне нашей встречи,— мы ничем не украшаем наш город. Не будет ни знамен, ни огней. Деревянными ставенками, фанерными листами прикрыты окна жилищ. Праздничный стол ленинградцев будет скуден — разве немного погуще суп. Как и вчера, на улицах Ленинграда будут ходить только ночные патрули,— и шаг их на пустых улицах будет звучать гулко и мерно».

«ЕДИНЕНИЕ ФРОНТА С ТЫЛОМ»

Через неделю после встречи на Невском наше пребывание в запасном минометном полку закончилось. Мы с Погорелым получили назначение в 10-ю стрелковую дивизию. На ходу формируясь и обучаясь, дивизия двигалась к передовой и в начале декабря вышла на Невскую Дубровку. Однако пробыл я здесь всего месяца полтора — в конце января 1942 года меня отозвали в редакцию армейской газеты, где я и прослужил до конца войны.

Выбраться из приладожских болот в Ленинград мне удалось только летом 1943 года. Редакции понадобились стихи ленинградских поэтов. Мне было поручено их «организовать».

Задание я выполнил: В. Инбер, Б. Лихарев, А. Прокофьев, В. Саянов дали мне стихи, написанные специально для нашей газеты. Но повидаться с Ольгой и получить у нее стихи не удалось — именно тогда она ненадолго уехала в Москву. Встреча с ней откладывалась на неопределенное время.

Состоялась она только в конце 1944 года.

24 ноября 1944 года на первой полосе нашей газеты «Ленинский путь» появился крупный заголовок: «Доколотили!» Это означало, что войска нашей армии уничтожили наконец фашистскую группировку, окопавшуюся на полуострове Сырве (западная оконечность острова Сааремаа). Война на Ленинградском фронте закончилась.

В декабре мне было разрешено на несколько дней съездить в Ленинград. Поехали мы вдвоем с Дм. Хренковым, дружба с которым сыграла большую роль в моей жизни и работе фронтового журналиста.

Приехав в Ленинград, мы расположились в уютном номере гостиницы «Европейская» (это после волховских-то землянок!). Жили в свое удовольствие. Кому-то из нас пришла в голову идея пойти в цирк. Сказано — сделано! В тот же вечер мы были в цирке. Правда, это чуть не кончилось драматически: мы пришли в цирк несколько навеселе и — каждый сам по себе, независимо друг от друга — были задержаны военным комендантом. Я за то, что шел в расстегнутой шинели, а Хренков за пререкания. Когда меня привели к коменданту, Хренков был уже там и встретил меня с энтузиазмом. Это не вызвало сочувствия у коменданта, но испортить нам вечер он все-таки не захотел...

На следующий день мы были приглашены в гости к Берггольц.

Она жила на той же улице Рубинштейна, но уже не в «слезе», а в другом доме, неподалеку от Пяти углов.

За то время, что я не видел Ольгу, мы обменялись несколькими письмами. К сожалению, они не сохранились. Хорошо помню, что писал ей, узнав о смерти Коли Молчанова, и получил ответ. Но встретились мы за все время войны лишь второй раз.

Кроме нас с Хренковым, по моей просьбе был приглашен Малюгин. Насколько я знаю, Ольга никогда с ним особенно не дружила, но рада была видеть его вместе с нами.

Вечер, проведенный нами вчетвером (Макагоненко почему-то не было), я вспоминаю как один из самых счастливых и веселых в моей жизни.

Все мы были еще молоды: самому старшему из нас, Малюгину, исполнилось тридцать пять. Страшная война, участниками которой мы оказались, шла к концу. Исход ее не вызывал уже никаких сомнений. Каждый из нас честно выполнил свой долг. Осо-

бенно это относилось, конечно, к Ольге. Она не просто выполнила свой долг. Она совершила подвиг. Тоненькая девочка в красном платке, сидевшая когда-то на подоконнике в Доме печати, писавшая книжки для детей и, в сущности, только начинавшая работу во «взрослой» поэзии, стала вдохновенным певцом осажденного героического Ленинграда! В своем знаменитом «Февральском дневнике» Берггольц писала:

Я никогда героем не была,
не жаждала ни славы, ни награды.
Дыша одним дыханьем с Ленинградом,
я не геройствовала, а жила.

Все годы блокады она жила счастливой — да, да, именно счастливой! — жизнью. Под угрюмым небом блокадного Ленинграда, в его, по выражению Н. Тихонова, «железных ночах» Берггольц действительно не геройствовала, а жила полной жизнью, не щадя свое сердце «ни в песне, ни в горе, ни в дружбе, ни в страсти». Вот как она писала об этом: «Такими мы счастливыми бывали, такой свободой бурною (в одном из ранних вариантов было «дикою». — Л. Л.) дышали, что внуки позавидовали б нам». Вся предыдущая жизнь казалась Ольге лишь закономерным подступом к ее жестокому короткому расцвету.

Летом 1942 года она прочитала по радио стихотворение «Мы шли на фронт...»:

Да. Знаю. Все, что с детства в нас горело,
все, что в душе болит, поет, живет,—
все шло к тебе, торжественная зрелость,
на этот фронт у городских ворот.

Торжественная зрелость — как это сказано!

Но дело не только в том, что пришла зрелость. Случилось нечто еще более торжественное — обновилась душа: «У каменки, блокадного божка, я новую почувствовала душу, самой мне непонятную пока». В поэме «Твой путь», откуда взяты эти слова, Берггольц вспоминает, как задолго до войны она стояла на Мамиссоне, одном из самых высоких кавказских перевалов: «О девочка с вершины Мамиссона, что знала ты о счастья?» «Девочка с вершины Мамиссона», глядящая на мир широко открытыми, наивными глазами, — это и есть довоенная Ольга Берггольц, которая демонстративно застлала стол газетами, обвиняла Либединского в мещанском перерождении, а Германа называла попутчиком...

Поэму «Твой путь» Берггольц написала в апреле 1945 года, в пору «торжественной зрелости». Мечтая о счастье, «девочка с вершины Мамиссона» не знала, что «оно неласково, сурово и бессонно и с гибелью порой сопряжено». В том, что это именно так, автор поэмы «Твой путь» убедился на собственном нелегком жизненном опыте минувшего десятилетия.

После этого особым, вещим смыслом исполняются строки из поэмы, которые я частично уже цитировал:

Я счастлива.
И все яснее мне,
что я всегда жила для этих дней,
для этого жестокого расцвета.
И гордости своей не утаю,
что рядовым вошла в судьбу твою,
мой город,
в званье твоего поэта.

В декабре 1944 года, когда мы собрались у Ольги, она была в зените своей торжественной зрелости, своего жестокого расцвета.

В тот вечер все мы нежно любили друг друга и были счастливы. Самый молодой из нас, двадцатипятилетний Митя Хренков, впервые видевший Ольгу вблизи, смотрел на нее и слушал ее с восхищением. Да и я смотрел на нее новыми глазами. Это была другая Ольга. Не та, которую я знал до войны. Не та, с которой встретился на Гневском 7 ноября 1941 года.

Ольга, разумеется, не могла не чувствовать нашего восхищения, понимала, что сегодня все мы влюблены в нее, и это делало ее особенно обаятельной и веселой. Она была так же счастлива, как и мы.

Не помню уж, кто из нас первым произнес эти слова, но тотчас после того, как они были сказаны, мы хором повторяли их, они стали как бы девизом этого счастливого вечера:

— Единение фронта с тылом!

Привычная газетная фраза вдруг прозвучала по-особому, наполнилась жизненной плотью, приобрела неожиданный личный смысл.

Фронт представляли мы с Хренковым просто потому, что на нас была военная форма. Штатская Берггольц не хуже нас знала, как рвутся снаряды и бомбы. Тем не менее она представляла тыл. Впрочем, дело было вовсе не в том, кто что представляет. Мы от души веселились, потому что война кончалась, победа была не за горами и каждого из нас еще ждала длинная-длинная жизнь...

Мы ели, пили, пели песни, танцевали. Кто-то засыпал, просыпался, снова садился к столу. Ольга читала стихи. Мы захлебывались от восторга, благодарили ее от имени фронтовиков, тыловиков, от имени советского народа, всего передового прогрессивного человечества...

Прощаясь, мы никак не могли расстаться и клялись друг другу в вечной любви и преданности.

Впоследствии Ольга часто вспоминала нашу встречу и никогда не упускала случая помянуть добрым словом «единение фронта с тылом». Как-то — это было, видимо, в 1965 году — я получил от Ольги подарок: недавно вышедшую книгу «Узел». На ней была надпись: «Леве Левину за единственное и блистательное единение фронта с тылом. Всегда твоя Ольга».

«СКАЖИ, ЧТО МЫ ПРИШЛИ ВМЕСТЕ»

9 мая 1945 года я провел в Таллине. Кто-то сказал, что есть приказ: в течение этого дня пьяных военнослужащих не задерживать. Разумеется, и я был пьян, но не столько от водки, сколько от сознания того, что пришла победа и что мне посчастливилось дожить до нее.

А потом наступили гарнизонные — уже не фронтовые, а именно гарнизонные — будни.

Штаб нашей 8-й армии расформировали и перебросили из Таллина в Раквере. Мы попали в резерв. Офицеров обязали являться на ежедневные военные занятия: стрелковый полк в наступлении, в обороне, бои в лесисто-болотистой местности...

В один прекрасный день поползли слухи, что пребывание в резерве на исходе и вскоре нам предстоит двинуться в дальний путь. К тому времени капитулировала уже и Япония. Между тем упорно говорили, что нас собираются перебросить на Дальний Восток.

Услышав об этом, я, честно говоря, пришел в отчаяние. Теперь, когда война кончилась и пушки отгремели, я ужасался, что могу оказаться на гарнизонной службе где-нибудь за много тысяч километров от дорогого моему сердцу Ленинграда. Оставаться в армии я не собирался, да и данных для этого у меня не было. Я мечтал вернуться к литературной работе.

Прекрасным летним утром, хотя на дворе была уже середина сентября, я приехал в Ленинград, чтобы попросить Прокофьева (он был тогда одним из руководителей Ленинградской писательской организации) помочь мне. С Балтийского вокзала я позвонил Берггольц. Изложить суть дела по телефону не удалось.

— Сейчас же приезжай, — приказала Ольга. — Дома все расскажешь.

Я поехал. За чашкой кофе Ольга выслушала меня.

— Пойду с тобой к Прокофу, — решительно сказала она. — Он со мной считается, хотя и не бог весть какой поклонник моей музыки.

(В своих записках «О моей жизни, книгах и читателях» В. Панова рассказала, как на одном из пленумов правления Союза писателей, проходившем еще во время

войны, Прокофьев бранил поэму «Февральский дневник» и как сразу после его выступления Берггольц прочитала отрывки из поэмы с поистине триумфальным успехом. «Стало ясно,— подчеркнула Панова,— что победа эта и не была бы столь явной, не выступи Прокофьев против ее поэмы». Там же Панова дала и портрет Ольги: «Берггольц была очень хороша собою — тоненькая, в черном платье, с головкой золотой, как подсолнечник».)

Ольга стала звонить в Союз писателей, чтобы узнать, когда будет Прокофьев. Ее, видимо, спросили, кто говорит.

— Берггольц,— негромко ответила она и с внезапно вспыхнувшим раздражением тут же повторила по слогам: — Берг-гольц. Вы что, оглохли? Ну да, да. Конечно, Ольга Федоровна.

«Это что-то новое,— невольно подумал я.— Раньше она так не разговаривала».

Выяснилось, что Прокофьев придет часа через два. Велев мне никуда не отлучаться и отвечать на телефонные звонки, Ольга ушла по своим делам.

Я остался один в ее большой, новой, хорошо обставленной квартире, бродил из комнаты в комнату, перебирал книги (у Ольги никогда не было такой библиотеки, но значительную ее часть теперь составляли книги Макагоненко), листал читательские письма. Они в беспорядке лежали на столе, на стульях, на подоконниках, на вешалке.

То и дело звонил телефон. Незнакомые мужские, женские и даже детские голоса настойчиво требовали Ольгу Федоровну, хотели точно знать, куда она ушла — не в Союз ли писателей, не на радио ли, не в редакцию ли «Ленинградской правды» — и когда должна вернуться. Особенно настойчиво звонил молодой мужской голос с характерными армейскими интонациями. Я готов был поручиться, что он принадлежал младшему лейтенанту, самое большее лейтенанту.

— Ольга Федоровна еще не прибыла?

— Еще нет.

— Разрешите позвонить через десять минут?

— Пожалуйста.

Ровно через десять минут:

— Ольгу Федоровну.

— Еще не пришла.

— Просим прощения, а вы кто будете? Ее супруг?

— Нет, не супруг. Старый знакомый.

— Товарищ старый знакомый, а вы не в курсе, какой у нее сегодня распорядок дня?

— К сожалению, не в курсе.

— Ах ты мать честная! — Пауза. — Разрешите обратиться к вам с просьбой.

— Пожалуйста.

— Доложите Ольге Федоровне, что сегодня в восемнадцать ноль-ноль у нее выступление в воинской части номер...

Отвечая на телефонные звонки, я вновь и вновь думал о том, как изменилась Ольга, какое чудо произошло в ее жизни за четыре года войны. Отныне она неотделима от Ленинграда, как Исаакиевский собор, как Медный всадник, как Летний сад...

Наконец Ольга вернулась. Я немедленно доложил ей, что сегодня в восемнадцать ноль-ноль и т. д.

— Да что ты говоришь? — с досадой воскликнула Ольга. — Я же их предупредила, что сегодня не смогу. Ну да ладно, как-нибудь выкручусь.

Для храбрости мы опрокинули по рюмке водки и поехали в Союз писателей.

Прокофьев принял меня ласково (в рапповские времена я не раз атаковал его и, в свою очередь, был объектом его резких нападков, в том числе и в стихах, но во время войны он ко мне заметно переменился). Я рассказал, зачем приехал. Ольга хотела было произнести монолог в мою поддержку, но Прокофьев мягко остановил ее:

— Не надо, Ольга Федоровна, все ясно. Сейчас попробую позвонить одному товарищу.

Звонить он стал по вертушке. Меня это, не скрою, обнадежило. Но далее произошло нечто совершенно неожиданное.

— Дмитрий Иванович,— сказал Прокофьев в трубку,— это говорят Прокофьев

Александр Андреев сын. Как живы, здоровы? — Пауза. — Дмитрий Иванович, я к вам с покорнейшей просьбой. У меня в кабинете сидит некто Левин Лев Ильич, член Союза писателей, наш старый товарищ. Всю войну был на фронте, служил минометчиком, потом военным журналистом. Недавно их редакцию расформировали. Сейчас они стоят в Раквере, но, говорят, их перебрасывают на Дальний Восток. Вот он и просит...

Тут Прокофьев внезапно умолк. Собеседник, видимо, перебил его. Последовала новая пауза, на этот раз весьма длительная. Во время нее Прокофьев поглядывал на меня с испуганным видом.

— Дмитрий Иванович, — пытался он вставить словечко, — минутку, Дмитрий Иванович. Он мне этого не говорил. Это мое предположение. Да, да, мое собственное. Просто у меня создалось такое впечатление. А он мне ничего не говорил... Слушаю, Дмитрий Иванович... Понимаю. Есть. Всего хорошего. До свидания. — Положив трубку, Прокофьев расстроено сказал: — Вот ведь как неладно получилось. Я с ним по-своему, а он со мной официально. Что это еще, говорит, за проситель такой, который военные тайны выбалтывает? Кто ему сказал, что штаб Восьмой армии перебрасывают на Дальний Восток? Пусть немедленно явится в Политуправление. Мы с ним поговорим.

Ольга смотрела на меня с ужасом. Да и я, откровенно говоря, испугался не на шутку.

— Что же делать? — растерянно спросила Ольга.

— Придется идти в Политуправление, это прямой приказ, — со вздохом сказал Прокофьев. — Снизу позвонишь подполковнику... — Он назвал фамилию, которую я тут же со страху забыл.

Когда мы вышли на улицу, Ольга сказала:

— Я пойду с тобой. В случае чего, — она многозначительно на меня посмотрела, — скажи, что мы пришли вместе. Они меня знают. И не вешай носа!

От улицы Воинова, где и поныне находится Ленинградское отделение Союза писателей, до Главного штаба, где помещалось Политуправление, путь не такой уж близкий. Но мы с Ольгой почему-то пошли пешком. Вероятно, нам обоим надо было хоть немного прийти в себя, опомниться, остыть. В то же время мы страшно торопились, почти бежали. Я уговаривал Ольгу идти домой, но она и слышать об этом не хотела.

— В случае чего, — твердила она, — обязательно позови меня.

Когда мы подошли к Главному штабу, отправка на Дальний Восток уже не страшила меня, как прежде. Стояла отличная, совсем летняя погода, всюду светило солнце, а я с тоской думал, как счастлив был всего какой-нибудь час назад, когда разговаривал по телефону с настойчивым лейтенантом.

Ольга осталась на улице, а я вошел в мрачный, как мне показалось, вестибюль Главного штаба и снял трубку висевшего на стене внутреннего телефона.

— Товарищ подполковник... Докладывает капитан административной службы Левин.

— Ах, это Левин. Послушайте, капитан Левин, каким образом вы оказались в Ленинграде?

— У меня командировка.

— Ах командировка. Так вот что. Немедленно отправляйтесь к месту службы. Ваша часть где сейчас находится?

— В Раквере, — ответил я с некоторой опаской: уж не выдаю ли я еще одну военную тайну?

— Вот и отправляйтесь сегодня же в Раквере. И благодарите судьбу. С вами могло быть гораздо хуже. У меня все.

Подполковник повесил трубку, а я еще некоторое время держал ее в руках, не веря своему счастью.

Когда я вышел на улицу, Ольга кинулась ко мне:

— Ну что? Что тебе сказали?

Узнав, что меня с миром отпустили и приказали немедленно убираться восвояси, Ольга была, по моему, даже разочарована. Она уже приготовилась за меня бороться, драться, пустить в ход все свое влияние... И вдруг все кончилось такими пустяками! Впрочем, она тут же от души расхохоталась:

— Эх ты, недотепа! Даже болтун — находка для врага и тот из тебя не получил...

ся! Но неужели ты в самом деле сегодня уедешь? Как глупо! Кроме того, что же все-таки делать с твоей отправкой на Дальний Восток?

Но меня это уже не волновало. В тот же день, нежно распрощавшись с Ольгой и поблагодарив ее за истинную дружбу, я уехал в Раквере.

А еще через некоторое время воинский эшелон, состоявший из множества теплушек, в которых разместились бывший штаб 8-й армии, повез меня на Восток. Но довез только до Новосибирска. Здесь мне было суждено пробыть еще год — на той самой гарнизонной службе, которой я так опасался.

«И ТОЛЬКО ОЧЕНЬ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ...»

Летом 1946 года пришел приказ о демобилизации и я простился с Новосибирском. В родную Пермь, где я ненадолго задержался по пути в Ленинград, пришла телеграмма от Прокофьева и Друзина: «Срочно выезжай для работы критическом отделе «Звезды». Мне оказывалось лестное доверие: после памятного постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» редакции обоих журналов обновлялись.

Осенью 1946 года я вернулся в Ленинград. Единственное окно моей комнаты на Геслеровском было забито фанерой. Я вставил стекла, отремонтировал комнату, запасся дровами (когда я сюда переехал, комната вообще не отапливалась, пришлось ставить печку; как жили здесь до меня Прокофьев, а затем Гитович, оставалось загадкой).

24 октября 1946 года мне выдали паспорт. Начиналась так называемая гражданская, иными словами — обычная человеческая жизнь. В первые же дни ее я познакомился с милыми старыми друзьями — Германом, Добиньим, Берггольц, Шварцем. Не вернулся в Ленинград Гринберг, Штейн, Беляев, Малюгин. До войны я общался с ними каждодневно.

Приближался новый, 1947 год. Мне предстояло встретить его снова в Ленинграде и наконец в штатском костюме. Было решено собраться у Ольги в той самой квартире, где два с лишним года назад демонстрировалось «единственное и блистательное единение фронта с тылом». Ольга пригласила Германа с женой Татьяной Александровной, Шварца с женой Екатериной Ивановной и меня.

Нужно ли говорить, с каким волнением ждал я этой встречи. Нетерпение мое было столь велико, что я пришел на улицу Рубинштейна неприлично рано. Вероятно, не было еще и десяти часов. Ольга и Макагоненко хлопотали вокруг стола, и без того заставленного бутылками, вазами, блюдами с закусками. Понадобилась и моя помощь: я все время таскал что-то из кухни в столовую и обратно. На Ольгу никак нельзя было угодить — то ей казалось, что салат плохо заправлен, то поданы не те бокалы, то рано вынули из духовки некое изысканное блюдо, которым она собиралась поразить в самое сердце даже такого искусного кулинара и требовательного гастронома, как Юрий Павлович Герман.

По поводу этого блюда между Ольгой и Макагоненко внезапно возникла перепалка. Макагоненко, скажем, утверждал, что на стакан молока достаточно яйца и ложки сахарного песка, а Ольга, ссылаясь на Елену Молоховец и прочие авторитеты, доказывала, что ограничиться этим значит погубить все дело. Одна сторона (Макагоненко) защищала свою точку зрения, в общем, довольно вяло, зато другая сторона спорила с непритворным и, скажу по совести, немало удивившим меня воодушевлением. Я вновь и вновь вспоминал «слезу социализма», стол, накрытый газетами, чай из толстых стаканов, продавленные венские стулья... Передо мной сегодня была опять другая Ольга, словно спешившая наверстать все, что упустила в молодости.

Наконец пришли Германы и Шварцы. Когда сели за стол, Ольга погасила электричество и зажгла свечи.

— Посмотри, Танюша, что наша Слечка устроила! — медовым голосом воскликнул Герман. — Как тебе это нравится? — Он указал на то блюдо, которым Ольга собиралась его поразить. — Фантастика!

Ольга сияла. Видно было, что она счастлива принять нас в своем доме, где так празднично горят свечи, накрыт такой новогодний стол, где так парадно, чисто, уютно, светло. То и дело она вскакивала и бежала на кухню, чтобы принести еще одно впопыхах забытое блюдо. Ее лицо светилось счастьем хозяйки, принимающей своих дру-

зей так, как ей хочется и как они, по ее мнению, того заслуживают. Х о з я й с т в е н н а я Ольга! Это было непохоже на девочку с вершины Мамиссона...

Само собой получилось так, что руководил нашим немногочисленным застольем, конечно, Шварц. Каждому из нас он посвящал короткие юмористические спичи.

После смерти Шварца Ольга написала о нем: «Изумительный драматург и, несомненно, последний настоящий сказочник в мире, человек огромного, щедрого, чистого, воистину сказочного таланта». Но и при жизни Шварца она отзывалась о нем с любовью и восхищением. Ко дню его шестидесятилетия она написала:

Не только в день этот праздничный —
в будни не позабуду:
живет между нами сказочник,
обыкновенное Чудо.
...Есть множество лживых сказок —
нам ли не знать про это!
Но не лгала ни разу
мудрая сказка поэта.

В очерке «Доброе утро, люди!» Берггольц рассказала, как в 1948 году в «Астории» писатели Ленинграда принимали немецких гостей. Я был на этом приеме, и мне, как и Ольге, навсегда запомнилось, с каким прелестным юмором вел Шварц встречу с немецкими друзьями. В своем очерке Ольга точно воспроизвела комические застольные речи, которые Шварц произносил на уморительном воляпюке: «Их бин дер Шварц... Их шрейбе ди пьесы... Дас ист поэтессен Ольга Берггольц, она шрейбен ейне стихи».

В том же духе Шварц вел и наш новогодний стол. Для каждого он находил смешные и веселые слова. Только про Германа говорил весело, но осторожно: они очень любили друг друга, но нередко ссорились — почти всегда из-за пустяков. Это было совсем иначе, чем у молодых Германа и Берггольц. То Шварцу казалось, что Герман что-то не так сказал, то наоборот. Причем Шварц относился к этим ссорам, в общем, юмористически, а Герман порой обижался не на шутку. Видеть же его обиженным такой нестерпимо: он мрачнел, умолкал, замыкался в себя и вид у него становился такой несчастный, что невольный обидчик уж и не знал, как заглядеть свою вину.

Когда, кажется, все тосты были произнесены и очередь дошла до меня, Шварц сказал:

— Помните ли вы, друзья мои, как я некогда говорил: слушай, Левка, не взять ли тебе ди винтовка?.. Это было задолго до войны. И что же вы думаете?..

В разгар застолья я заметил, что Ольга и Макагоненко о чем-то переговариваются. Оказывается, речь шла о том, чтобы пойти за Анной Андреевной Ахматовой. Это было условлено заранее и известно всем, кроме меня.

Ахматова жила неподалеку в так называемом Фонтанном доме. Макагоненко скучно было идти одному, и он предложил мне прогуляться с ним до Фонтанного дома.

— Но удобно ли это? — возразил я.— Мы с Анной Андреевной незнакомы.

— Чудак! — ответил Макагоненко.— Вот тебе прекрасный случай познакомиться.

Короче говоря, мы отправились на Фонтанку. Подойдя к дому, где жила Ахматова, Макагоненко оставил меня на улице, а сам вошел в дом. Через некоторое время он вернулся, ведя под руку Анну Андреевну.

Обратно мы шли гораздо дольше. Хотя Ахматовой еще не было шестидесяти, шла она нелегко, не могла справиться с дыханием. Мы с Макагоненко то и дело замедляли шаг.

Ольга встретила Анну Андреевну, что называется, с королевскими почестями. Когда Ахматова вошла в комнату, все стояли с бокалами в руках. Анна Андреевна опустилась на подготовленное для нее место (не села, а именно опустилась). Шварц сказал тост в ее честь — на этот раз серьезно, без тени юмора.

Новогодняя встреча продолжалась.

Но течение ее неуловимым образом изменилось.

Мы были те же, что час назад, и в то же время как будто совсем другие. Все было по-прежнему и в то же время совсем иначе.

Я подумал, что это ощущение возникло, быть может, у меня одного: я впервые видел Ахматову вблизи и не мог не чувствовать себя при ней несколько скованно. Но

и остальные вели себя сейчас не совсем так, как раньше. В чем состояла разница, я не взялся бы определить, но что она была, мог поручиться.

Только в поведении Ольги не ощущалось никакой перемены. Она вела себя с полной естественностью и свободой. Хлопотала вокруг Ахматовой, то накладывая ей салат, то наливая коньяк или водку. По всему видно было, что общение с Анной Андреевной давно стало для нее бытом и сегодняшняя встреча за новогодним столом — лишь одна из многих других.

Потом я понял, что поведение Ольги определялось не только тем, что она привыкла к встречам с Ахматовой. Она вела себя непринужденно главным образом потому, что чувствовала себя с ней на равной ноге. За нашим столом сидели Шварц и Герман — писатели, чей талант Ольга, как мы знаем, ценила достаточно высоко. Но под стать Ахматовой все-таки была здесь она одна. Являлось это осознанным убеждением или подсознательным чувством — не все ли равно? Важно, что Ольге так казалось.

Право на равенство с Ахматовой Ольга завоевала тем, что было пережито ею за последнее десятилетие, и тем, что было создано на почве пережитого. Ахматова всегда была одной из достопримечательностей Петербурга-Петрограда-Ленинграда. Теперь такой же достопримечательностью стала Берггольц.

Если бы кто-нибудь в эту минуту сказал Ольге, что она ощущает себя наравне с Ахматовой, Ольга — не сомневаясь! — стала бы яростно возражать. Но независимо от сознания и воли это ощущение до самого конца неистребимо гнездилось в душе, «в ее немых глубинах», как — по совсем другому поводу — удивительно точно сказала Берггольц.

Было уже очень поздно — или очень рано? Наставала пора расходиться. Казалось, все тосты за здоровье Ахматовой сказаны. Вдруг Герман потребовал, чтобы мы вновь наполнили бокалы.

— Дорогая Анна Андреевна, — сказал он, вставая и вслед за собой поднимая всех нас. — Мы вас очень любим и хотим, чтобы вы слышали это еще и еще раз. Вы для нас всегда были и навсегда останетесь великим русским поэтом. В русской поэзии были Пушкин, Лермонтов, а теперь есть вы. Вы законная наследница их славы.

С повлажневшими глазами Герман подошел к Ахматовой и с нежной почтительностью поцеловал ей руку. Анна Андреевна поистине царским жестом полуобняла его и поцеловала в лоб.

Новогодняя ночь кончалась. За окном занималось первое утро 1947 года.

«ДРУГУ ЮНОСТИ, ЗРЕЛОСТИ И НЫНЕШНИХ ЛЕТ»

После того как я летом 1948 года переехал в Москву, встречи со старыми ленинградскими друзьями волей-неволей стали сравнительно редкими.

С Берггольц я встречался теперь то в Кисловодске, то в Коктебеле, то во время ее наездов в Москву. Однако прежних близких душевных контактов, по правде говоря, не возникало.

Вокруг Ольги часто толпились теперь случайные люди. Они всегда были готовы разделить с ней очередное застолье. Сама по себе она их мало интересовала. Им льстило ее общество, их привлекали ее остроты — ведь потом они небрежно пересказывались в кулуарах Центрального дома литераторов: «Знаешь, старик, как здорово сказала мне Ольга Берггольц...» Подчас Ольга не знала толком даже фамилии того, кто позволял себе на нее ссылаться.

Как-то в ЦДЛ я увидел ее в компании еще недавно молодых, но уже успевших сильно состариться поэтов. Усердно наполняя ее бокал, они с жадностью ловили каждое сказанное ею слово. Я попытался увести Ольгу. Сначала она просто отмахивалась, а затем раздраженно попросила оставить ее в покое:

— У меня и в Ленинграде нянек хватает.

Эту раздраженную реплику я вспомнил 29 мая 1970 года на банкете в день шестидесятилетия Ольги. Поскольку я сидел рядом, Вера Кетлинская поручила мне оберегать Ольгу от юбилейных излишеств. Эта вынужденная опека раздражала Ольгу.

— Если ты от меня не отстанешь,— в конце концов пригрозила она,— я сейчас же уеду домой.

Я испугался и отстал.

Вообще же юбилейный вечер удался на славу. Ленинград чествовал своего поэта. Все то высокое и гордое, что говорилось про Ольгу, было ею поистине заслушено и выстрадано.

Председательствовала Кетлинская, в кратком вступительном слове подчеркивая, что именно она в свое время направила Ольгу на радио. С. Орлов и С. Ботвинник читали телеграммы (их было великое множество; Ольгу коллективно поздравили писатели почти всех братских республик, а также М. Бажан, Ю. Завадский, А. Твардовский, Н. Тихонов; Р. Гамзатов почему-то прислал даже две телеграммы!).

Секретарь райкома партии Б. Андреев рассказал о том, как в 1942 году семнадцатилетним мальчиком впервые читал стихи Берггольц и какое огромное впечатление они на него произвели. Представитель «Электросилы» сообщил, что Ольге присвоено звание почетного электросилодца, и подарил ей модель гидрогенератора, изготовленного заводом для Красноярской ГЭС. Внучка легендарного И. Андреевского — это он в годы войны выдавал ленинградцам «сто двадцать пять блокадных грамм» — преподнесла Ольге роскошный букет желтых роз и с необыкновенной грацией сделала книксен (потом во время банкета он несколько раз повторялся по просьбе юбиляра). От имени Дома писателей имени Маяковского Ольге был подарен гигантский торт «в шестьдесят свечей» (зал скандировал, как на стадионе: «Мо-лод-цы!»). Сотрудница ленинградского радио Н. Паперная рассказала, что когда-то во время блокады, встретив ее на лестнице в здании Радиокомитета, Ольга протянула ей луковичку: «Возьми, тебе нужней, у тебя дети». Теперь, почти через тридцать лет, внук Н. Паперной решил вернуть Ольге старый долг и принес... большую корзину с луком.

Известный ленинградский радиожурналист Л. Маграчев только что побывал в бывшей «слезе социализма» — на улице Рубинштейна, семь. Оказалось, что по этому адресу до сих пор продолжают приходить письма на имя Ольги Федоровны Берггольц. Одно из них он тут же вручил Ольге. Потом включил старую магнитофонную запись. Мы услышали глухой, донесшийся из самых недр блокады голос Ольги, читавшей свои знаменитые строки: «Ленинград в декабре, Ленинград в декабре! О, как ставенки стонут на темной заре...»

Когда пленка кончилась, Антокольский со слезами на глазах вскочил со своего места и энергичным жестом поднял зал. Все встали. Раздалась громовая овация.

В заключение выступила Ольга.

— Сегодня я должна поклониться моим учителям — Маршаку, Чуковскому, Ахматовой и, конечно, Горькому. Горький учил меня требовательности к себе, Ахматова — мужеству. Многому я научилась у Пастернака. На сегодняшнем празднике нет моих дорогих друзей Корнилова, Германа, Шварца, Зощенко. Низко кланяюсь им. С Германо-м мы очень много спорили и очень дружили...

Поминая добром одного из своих ушедших дорогих друзей — Германа, Ольга и здесь не могла не вспомнить, как много спорила с ним (ведь и в стихотворении «Когда я в мертвом городе искала...» тоже есть строка: «Я знала все! Уже ни слов, ни споров...»).

Заканчивая выступление, Ольга прочитала несколько стихотворений: «Борису Корнилову» («О да, я иная, совсем уж иная»), «Перебирая в памяти бывшее...», «Михаилу Светлову» («Девочка за Невскою заставой...»), «Стихи о херсонесской подкове».

Почему она выбрала именно эти стихи?

Глубокой, неизбывной грустью прозвучали последние строки «Стихов о херсонесской подкове»:

Дойду до края жизни, до обрыва,
и возвращусь опять.
И снова буду жить.
А так, как вы,— счастливой
мне не бывать.

Я много раз бывал на юбилеях, но такой искренности, такой нежной и благодарной любви к юбиляру, такого единомыслия и одиночества с ним, пожалуй, никогда не наблюдал. Вся так называемая торжественная часть — на этот раз она была вовсе

не торжественная, а глубоко человеческая и трогательная в самом лучшем смысле слова — я просидел с мокрыми глазами.

На банкете Ольга разместила нас с Гринбергом, как самых старых друзей, ошую и одесную.

Когда пришла моя очередь выступить, я сказал:

— Собравшиеся здесь друзья Ольги Федоровны были ее верными спутниками на том или ином этапе жизни. Одни до войны, другие — таких, видимо, особенно много — в дни блокады, третьи — в послевоенные годы. Все они могут многое рассказать о прожитом совместно. Но кто из присутствующих может рассказать, как Ольгу Федоровну вместе с ним исключали из Союза писателей и совместно восстанавливали?

Ответа, естественно, не последовало.

— Расскажи, как восстанавливали, — улыбаясь, попросила Ольга.

И я рассказал.

Со времени нашего исключения прошел год. Как мы его прожили — это другая тема.

Мы подали заявления и по предложению тогдашних руководителей Ленинградской писательской организации Б. Лавренева, М. Слонимского и Н. Тихонова были восстановлены так же единодушно, как год назад были исключены.

Но тут — скажу по совести, это было для меня неожиданно — слово попросила Ольга.

Председательствующий посмотрел на нее с раздражением: он знал ее и догадывался, что она хочет выступить не для того, чтобы поблагодарить за принятое решение.

— Не знаю, как Левин, — начала Ольга неприятным скрипучим голосом (откуда только он у нее взялся!), — но я не удовлетворена решением, которое вы приняли. Обвинение, предъявленное нам, не подтвердилось. Поэтому в решении должно быть сказано, что мы восстановлены в Союзе писателей в связи с необоснованностью предъявленного нам обвинения. Короче говоря, должно быть сказано, что наше исключение было ошибочным.

Заложив за ухо упавшую на лоб золотистую прядку, Ольга с невозмутимым видом села на место. При этом она успела мне подмигнуть...

Ну Ольга!

Немедленно попросив слово, я заявил, что целиком поддерживаю Берггольц, что собирался настаивать на том же самом, но она меня опередила.

Этот демарш привел председательствующего в замешательство. Последовало короткое совещание членов президиума. Затем было объявлено, что наше исключение из Союза писателей признается ошибочным (зпоследствии об этом сообщалось и в печати).

Мы с Ольгой учтиво поблагодарили за принятое справедливое решение, с достоинством поклонились и покинули зал.

Выйдя на набережную и вдохнув полной грудью невшкую речную прохладу, мы поздравили друг друга, расцеловались и... пошли в Летний сад пить пиво. Сколько кружек мы выпили, не помню. Никогда в жизни я не пил такого вкусного, такого замечательного пива.

Рассказав обо всем этом на юбилейном банкете, я предложил тост за твердый характер Ольги Федоровны Берггольц.

— Что же, я возражать не буду, — с улыбкой отозвалась Ольга.

Мне осталось рассказать о последней встрече с Ольгой.

Это было в январе 1974 года. Ленинград отмечал тридцатилетие того знаменательного дня, когда была полностью снята вражеская блокада.

Накануне торжественного вечера я позвонил Ольге. Мне говорили, что какое-то время назад она сломала ногу, но я надеялся, что на т а к о й вечер ей все-таки удастся выбраться.

— Рада бы, но не могу. Просто физически не могу, — ответила на мой вопрос Ольга. — Я и по квартире-то еле ковыляю.

Передав ей привет от Александра Крона — он был в числе гостей, приехавших на праздник из Москвы, — я спросил, можно ли нам навестить ее.

— Конечно, — ответила Ольга. — Привезите бутылочку вина...

В назначенное время, купив по дороге вина, мы с Кроном поехали на Черную речку.

Вышедшая на звонок немолодая женщина — это была Антонина Николаевна, домоправительница Ольги, — впустила нас только после того, как Ольга из своей комнаты услышала наши голоса и разрешила нас впустить. Видимо, здесь ждали и остерегались нежелательных визитов.

Ольга переехала на Черную речку сравнительно недавно. Новая квартира была много хуже той, где происходили «единение фронта с тылом» и встреча 1947 года. Пожалуй, она напоминала «слезу социализма». Кроме того, здесь царил полнейший беспорядок. Кругом громоздились книги, лежали газеты, стояли флаконы, пузырьки и коробки с лекарствами. Чувствовалось, что хозяйке сейчас решительно не до квартиры, не до забот о порядке и чистоте.

— Вот ведь какая петрушка, — сказала Ольга, приподнимаясь на постели. — Нога вроде срослась, можно ходить, а я боюсь. Не могу как следует встать на ноги. Боюсь, и все. Хоть плачь.

Я не видел Ольгу около четырех лет. Она катастрофически переменялась. Передо мной лежала старая женщина, почти ничем не напоминавшая прежнюю Ольгу. Разве только смеялась она еще по-прежнему. Мы с Кроном незаметно переглянулись. По выражению его лица я понял, что он думает о том же самом.

В один голос мы стали уверять Ольгу, что она прекрасно будет ходить, рассказывали о якобы известных нам случаях такого рода. Ольга слушала невнимательно. Видимо, все говорили ей одно и то же.

Она распорядилась, чтобы мы открыли нашу бутылку, но пить вино не стала. Вместо вина она велела Антонине Николаевне дать ей коньяку. Антонина Николаевна пыталась возразить, но Ольга властно на нее прикрикнула.

— Ну рассказывайте, мальчики, — по старой памяти обратилась она к нам. — Как праздновали, как веселились?

Крон заговорил о том, что ему удалось повидать кое-кого из старых друзей-моряков, а я смотрел на Ольгу и с ужасом думал, что она ведь так и не встанет.

После нескольких глотков коньяка Ольга оживилась, на лице появился слабый румянец. Она едко иронизировала по поводу некоторых наших общих знакомых. На мгновение возникала прежняя Ольга — умная, острая на язык.

Бутылка вина, выпитая вдвоем, помогла и нам с Кроном более оптимистически смотреть на вещи.

Когда настала пора уходить, мы с жаром убеждали Ольгу немедленно встать с постели, завтра же, нет, сегодня, сразу после нашего ухода непременно встать, теплее одеться и выйти на улицу. Да и Ольга выслушивала наши советы более снисходительно и терпеливо. В эти минуты, может быть, и она верила, что встанет, выйдет на улицу, вернется к жизни.

На прощание Ольга подарила каждому из нас свою пластинку, недавно выпущенную фирмой «Мелодия».

Придя в гостиницу, я прочитал надпись: «Другу юности, зрелости и нынешних лет». «Нынешних лет», — невольно повторил я. Употребить более уместное в данном случае слово «старость» Ольга не захотела. С одной стороны бумажного футляра, в который была упакована пластинка, на меня смотрела Ольга времен нашей юности и зрелости — золотоволосая, с умным и веселым взглядом, с неповторимой, единственной на свете золотисто-лняной прядкой, падающей на высокий и чистый лоб.

Такой запечатлел ее в 1950 году Натан Альтман.

Такой я помню и буду помнить ее до конца моих дней.

Ольгу «нынешних лет», лежавшую в январе 1974 года в своей квартире на Черной речке, я всячески стараюсь забыть.



В МИРЕ НАУКИ

И. ЗАБЕЛИН



ПОМПЕИ ГЕНИАЛЬНОГО УМА

*«Размышления натуралиста» В. И. Вернадского
и современная наука*

Разъяснительные статьи, сопровождающие предпоследнюю, посмертно изданную книгу Вернадского¹, содержат не только хвалебные, но и весьма критические ноты. Авторы их — а я имею в виду прежде всего ныне покойного доктора философских наук И. В. Кузнецова и академика Б. М. Кедрова — приложили немало усилий к тому, чтобы книга «Научная мысль как планетное явление» вышла в свет. Их глубокое уважение к памяти и трудам Вернадского сомнению не подлежит. Значит, они усмотрели в сочинениях выдающегося ученого и недостатки?.. Да, и справедливо усмотрели. Парадокс, впрочем, в том, что недостатки эти не помешают книге Вернадского занять достойное место среди творений классиков мировой науки.

В 1963 году, когда отмечалось столетие со дня рождения Вернадского, один из издателей его рукописей, К. Флоренский, писал: «Столетний юбилей со дня рождения крупнейшего естествоиспытателя академика Владимира Ивановича Вернадского застает нас в значительной степени неподготовленными, неподготовленными в разработке его научного наследия»². Так и было на самом деле... «Виноват» же в этом был сам Вернадский с его необычайно сложным и широким спектром идей.

При жизни Вернадский пользовался весьма широкой известностью. Академик, он опубликовал более 450 работ, среди которых солидное место занимали объемистые монографии. Всеобщее признание в научном мире он заслужил как один из основателей геохимии, радиогеологии, учения о биосфере, как создатель биогеохимии, как организатор и руководитель многих научных учреждений. Заслуги его отмечались правительственными наградами и Государственной премией. Значительно меньшим признанием и пониманием пользовались наиболее широкие, граничащие с философией воззрения Вернадского. Такие, например, как учение о природных телах (все в мире — их комбинации), о пространстве и времени (точнее, «пространстве-времени», он рассматривал их в единстве), учение о научной мысли и ноосфере («ноос» — разум в переводе с греческого) и обобщающие представления о единстве планетно-космическом процессе. Двум последним проблемам в основном и посвящена книга «Научная мысль как планетное явление».

Комментаторы книги справедливо отмечают, что работа Вернадского осталась незаконченной: практически он почти не занимался ею после 1938 года. Опубликованная лишь через сорок лет, книга эта своего рода научные помпеи, с кото-

¹ Вышли следующие, ранее не публиковавшиеся книги Вернадского: «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения» (М. «Наука», 1965) и две книги «Размышлений натуралиста» — кн. 1, «Пространство и время в неживой и живой природе» (М. «Наука», 1975) и кн. 2, «Научная мысль как планетное явление» (М. 1977), о которой в основном и пойдет речь; цитаты, которые даны без библиографических ссылок, взяты из этой книги. В 1978 году вышла в свет еще одна книга — «Живое вещество», в которую включены ранние (начала 20-х гг.) разработки учения о биосфере.

² К. П. Флоренский, «В. И. Вернадский — натуралист, естествоиспытатель». Бюллетень МОНП, отд. геологии, изд-во МГУ, 1963, вып. 3, стр. 111.

рых только теперь убрана архивная пыль, эта мастерская, в которой внезапной смертью прервалось творчество гениального ума. Этим книга по-своему интересна и по-своему сложна. Знакомясь с ней, нельзя, например, не обратить внимания на повторения одних и тех же мотивов, высказываний... В комментариях к книге повторы, содержащиеся в тексте, объясняются тем, что «мысль В. И. Вернадского развивается как бы по расширяющейся спирали», но это скорее элегантно, чем точно объяснение, тем более что в книге немало и взаимоисключающих суждений. Так, Б. Кедров, автор статьи «К вопросу об эволюции мировоззрения В. И. Вернадского», помещенной в той же книге, не соглашается с мнением Вернадского, что «можно быть философом, и даже хорошим, без всякой научной подготовки». Такое высказывание действительно имеется у Вернадского на странице 73. Но на странице 117 он утверждает противоположное: «...философский анализ требует выучки... Он требует эрудиции и трудного размышления. требует всей жизни» — и Вернадский даже отдает первенство философу перед учеными в познании наиболее широких и сложных явлений мироздания. что без научной подготовки просто невысказуемо. На одной странице сказано: «В ходе геологического времени наблюдается, по-видимому, процесс непрерывного расширения границ биосферы...» А на другой странице утверждается иное: биосфера «имеет строго определенные размеры, почти неизменные или неизменные в геологическом времени». Количество таких примеров можно было бы увеличить.

Обычно в конце жизни ученые пишут обобщающие труды, подводя итоги сделанному. Вернадский не исключение. Но в поздние свои годы он не только обобщал. Он вышел к барьеру, за которым лежала неизвестность, и, понимая, что может не хватить ни сил, ни времени, все-таки пошел на штурм неизвестного нового. Читая книгу, реально чувствуешь, как билась мысль Вернадского у подножья грандиозных высот, как вынужденно отходил он назад, чтобы получше разглядеть вершины, как искал к ним новые подходы, попадая подчас в тупики... Да, в книге не все прояснено до конца, кое-что вообще не удалось свершить, не удалось преодолеть все преграды. Но —

...где,
когда,
какой великий выбирал
путь,
чтобы протоптанней
и легче?

Книга «Научная мысль как планетное явление» — это прежде всего поиск, прерванный поиск великих истин. И непреходящими ценностями книги навсегда останутся не только бесспорные обобщения, но и те непростые вопросы естествознания, которые Вернадский поставил — и оставил — грядущим поколениям ученых³.

В теоретических работах Вернадского, как правило, нет категоричных определений (например, научная мысль как планетное явление не имеет строгого определения в книге того же названия); вообще мышлению его не были свойственны диалектически резкие переходы (скачки). Вероятно, это объясняется многоплановостью его видения мира, ощущением бесчисленности взаимопереходов, светотеней; судя по текстам, его увлекало прослеживание бесконечно длительной преемственности во всем сущем. Все это относится и к науке и к научной мысли, и эта особенность мышления определяла историчность всех важнейших работ Вернадского, такую историчность, что в саму их ткань включена мысль предшественников — они живут в его книгах, потому что научный процесс непрерывен, он включает и уцелевшее, и устаревшее, и даже ошибочное. Сам Вернадский нечасто выступал с прямой критикой своих коллег. Непререкаемым судьей в утверждении истины он считал лишь историческое время. Самый же про-

³ В 1970 году по просьбе дирекции Института истории естествознания и техники АН СССР я ознакомился с подготовленной к публикации рукописью «Научная мысль как планетное явление» и докладывал ученому совету о ее готовности, тогда же ученый совет рекомендовал рукопись в печать. За семь лет, которые рукопись провела в издательстве «Наука», она была урезана более чем на четверть — в тексте отмечено около сотни труднообъяснимых купюр. Как видишь, помпей Вернадского не только не раскопаны до конца (архив его чрезвычайно богат), но частично погребены вновь.

цесс познания у него — качественно-преемственный, эволюционирующий процесс, и потому вполне «по Вернадскому», мне кажется, будет звучать разговор о его книге, как бы включенной в живое научное творчество.

БИОСФЕРА И БИОСФЕРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Широкому читателю более всего известны представления Вернадского о биосфере. Нередко ему приписывают и открытие этого специфического объекта в структуре планеты, но последнее неверно. У открытия этого несколько авторов, оно не сразу вошло в сознание ученых, и Вернадский, конечно же, ссылаясь на своих предшественников. Он вспоминал живших на столетие раньше французов Ж. Бюффона и Ж. Ламарка, немца А. Гумбольдта, более близкого по времени австрийца Э. Зюсса. О биосфере писали старшие современники и соотечественники Вернадского географы Д. Анучин и Э. Петри, почвовед Н. Сибирцев (как и Вернадский, творчески связанный с В. Докучаевым), агрометеоролог и географ П. Броунов, историк и популяризатор географии Н. Лебедев. Несомненная же заслуга Вернадского в том, что он создал биогеохимическое учение о биосфере, которое по глубине и полноте значительно превзошло труды его научных предшественников.

Термин «биосфера» трактуется в современной науке неоднозначно. Часто под биосферой понимается все живое на планете (бактерии, растительность, животные), ее выходящая на «дочеловеческом» уровне эволюционная ступень; такому толкованию биосферы близко (но не тождественно, о чем я еще скажу) понятие «живое вещество», введенное Вернадским. Сам же Вернадский определял биосферу как комплексную земную (геологическую) оболочку, образованную лито-, атмо- и гидросферой и переработанную живым веществом.

Как научное понятие биосфера стала тем основанием, на котором развились все планетно-космические концепции Вернадского, созданные им в последний период творческой деятельности. И книга «Научная мысль...» тоже как бы базируется на этом понятии. Без биосферы как естественнонаучной категории картина мира теперь не может быть полной. Но сам же Вернадский, утвердивший такое положение в науке, ряд биосферных проблем общеметодологического значения описал в своей книге под знаком вопроса.

Одна из них — появление жизни на Земле. Именно появление. Вернадский не разрабатывал специально тему происхождения жизни. Более того, он вообще так не ставил вопрос. Еще в начале 20-х годов он прочитал ленинградским писателям лекцию «О начале и вечности жизни» и до конца своих дней — иногда, правда, допуская некоторые отклонения — считал, что научно лишь признание самого факта существования жизни, а как она появилась — это область догадок, пока находящаяся за пределами науки. Следует, впрочем, отметить, что Вернадский был не одинок в такого рода суждениях. Автор наиболее известной теории происхождения жизни академик А. Опарин, именно тогда приступивший к ее разработке, вспоминает, что в те годы «возникновение жизни на Земле представлялось какой-то редчайшей, неповторимой «счастливой случайностью», событием, недоступным объективному научному анализу, областью скорее веры, нежели знания»⁴ (разрядка моя.— И. З.).

Это свидетельство во многом проясняет позицию Вернадского, но следует помнить, что и в последние свои годы он писал о существовании «целой пропасти» между косной, как он говорил, и живой материей и весьма критически высказывался о философских попытках утвердить идею абиогенеза, то есть возникновения живого из неживого. В такой позиции Вернадского нет логического (для него) противоречия. Наоборот. Он начал свою научную деятельность как кристаллограф и минералог, и различия в глубинном строении живого и неживого были для него неоспоримым фактом, который и сейчас не отрицается (даже открытие сложных органических соединений в космосе ничего принципиально не изменило). Для понимания же мировоззрения Вернадского важно следующее: он был не просто выдающимся минералогом — он был создателем эволюционной,

⁴ Джон Вернал. Возникновение жизни. М. «Мир». 1969, стр. 6 (А. И. Опарин, «Предисловие к русскому изданию»).

генетической минералогии. Современные его биографы считают, что он сыграл в минералогии такую же революционную роль, как Дарвин в биологии⁵. В отличие от биологии минералогия никогда не была ареной идеологической борьбы, и этот переворот, совершенный в конкретной науке, не имел сколько-нибудь заметного резонанса в развитии и формировании общественной мысли. Сам же Вернадский, условно говоря «ожививший» минералы, как кристаллограф ясно видел отличие кристаллического кода, определяющего строение минералов, от того неизвестного, что могло бы определять строение живых молекул, становление организмов. Он пользовался понятием «ген», но генетика как наука на том уровне, на котором она находилась в его время, особого внимания Вернадского не привлекла. Теперь же мы можем сказать, что от кристаллического кода до генетического один шаг в эволюционном смысле. В истории нашей планеты это два взаимосвязанных звена, а генетическая минералогия находит естественное продолжение в сегодняшней генетике, раскрывшей секреты передачи наследственной информации⁶. В сущности, генетический код — это тот же кристаллический код, приобретший способность к самоумножению в бесчисленных потомках, тот же код, но с резко усиленной эволюционной подвижностью... Эволюционный скачок, конечно, колоссален, но несомненна и преемственность.

Более того, известна группа простейших (одноклеточных) и в то же время древнейших морских животных, у которых кристаллический и генетический коды сосуществуют, дополняя друг друга. Это так называемые радиолярии, или лучевики. Их насчитывается 7—8 тысяч видов, и почти все виды имеют внутри клетки кристаллические скелеты из окиси кремния или сернокислого стронция. Каждому виду свойствен скелет особой формы, часто геометрически правильной и многоузорчатой (с человеческой точки зрения они очень красивы; пожалуй, точнее всего будет сравнить их с кристалликами-снежинками, погруженными в полупрозрачную капельку протоплазмы). Размножаются радиолярии делением надвое. При этом скелетные элементы либо распределяются между дочерними особями, а потом вновь как бы монтируются в них, либо образуются заново в комочке протоплазмы. Последнее обстоятельство свидетельствует, что генетическому коду принадлежит ведущая роль. При описании же и определении радиолярий приходится пользоваться биологическими, и кристаллографическими, и даже геометрическими критериями.

Домысливать за других — занятие щекотливое. Но все-таки мне кажется, что создатель генетической минералогии на современном этапе развития науки обратил бы внимание на эволюционную взаимосвязанность кристаллического и генетического кодов⁷.

Во всяком случае, мне представляется принципиально важным высказывание Вернадского, что эмпирически ненаблюдаемый переход неживого в живое, может быть, и происходит, но он «глубже нам известных физико-химических явлений». С этим положением нельзя не согласиться.

Следующая не менее сложная проблема связана с представлениями Вернадского о возрастной роли живой материи или живого вещества в бытии Земли. Суть дела вот в чем. В разных работах, так же как и в той, о которой ведется речь, Вернадский постоянно подчеркивал количественное постоянство биомассы Земли, называл ее одной

⁵ И. И. Мочалов. В. И. Вернадский — человек и мыслитель. М. «Наука». 1970, стр. 6.

⁶ Следует, видимо, напомнить, что это выдающееся достижение современной науки касается именно передачи наследственной информации от одних организмов к другим, будущим. Но как эти будущие организмы становятся реальностью (процесс онтогенеза) это открытие не объясняет. В статье «Предназначена ли эволюция?», опубликованной в журнале «Природа» в № 8 за 1974 год, биолог А. Яценко-Хмелевский свидетельствует: «... что онтогенез закономерен и программирован, знает каждый... И вместе с тем онтогенез — это самая темная область современной биологии... мы даже и не знаем, где этот ответ (о принципе реализации. — И. З.) искать».

⁷ Известный английский физик и историк науки Дж. Бернал в упомянутой книге «Возникновение жизни» пишет, что «новая мысль здесь заключается в том, что обобщенная кристаллография дает нам ключ к молекулярной биологии». А Бернал, как и Вернадский, начинал свою научную деятельность с кристаллографии, и потому его констатация взаимосвязи кристаллографии с биологией в широком смысле особенно интересна и показательна.

из планетных констант⁸. Эта точка зрения разделяется не всеми, хотя и признается, что с выходом жизни на сушу биомасса должна была относительно стабилизироваться. Вернадский, однако, по-своему логичен и в данном случае, ибо полагал, что каким-то образом оказавшаяся на Земле жизнь «могла охватить всю поверхность планеты» в «немного дней»⁹. Но невольно возникает вопрос: если с первых же дней биомасса на планете постоянна, то за счет чего же возрастала ее роль в жизни планеты?

Очевидно, за счет каких-то внутренних изменений в самой биомассе. Вернадский выделял следующие моменты: а) «...эволюция видов в ходе геологического времени — резкое изменение самих живых природных тел»; б) «живое вещество является пластичным, изменяется, приспосабливается к изменениям среды, но, возможно, имеет и свой процесс эволюции, проявляющийся в изменении с ходом геологического времени, вне зависимости от изменения среды. На это, может быть, указывает непрерывный... рост центральной нервной системы животных, ее значение в биосфере и глубина отражения живого вещества в окружающем»; в) «эволюция биосферы связана с усилением эволюционного процесса живого вещества»; г) «биосфера перешла, или, вернее, переходит, в новое эволюционное состояние — в ноосферу, перерабатывается научной мыслью социального человечества». Картина, как видим, и логична и стройна. И все-таки кое-что в ней требует некоторого уточнения. Начать в данном случае разговор целесообразно с конца — с научной мысли.

В редакционном предисловии говорится, что в книге Вернадского «научная мысль, наука рассматривается и анализируется как важнейшая материальная сила преобразования и эволюции планеты». Авторы затронули проблему, долгое время волновавшую Вернадского. Еще в 1928 году он писал: «Сознание и мысль не могли быть, несмотря на усилия поколений мыслителей и ученых, сведены ни на энергию, ни на материю в каком бы то ни было из разнообразных пониманий этих основ научного мышления о природе. Как же может сознание действовать на ход процессов, как будто целиком сводимых на материю и энергию?»¹⁰. Вопрос этот звучит и в посмертно изданных книгах — Вернадский так и не нашел для себя приемлемого ответа. Но, видимо, был близок к этому. Во всяком случае, в данной его книге понятия «научная мысль» и «труд» значительно чаще, чем прежде, соседствуют и понимаются во взаимосвязи.

Следует напомнить, что Вернадского при жизни иной раз обвиняли в идеализме. Так, наш философ академик А. Деборин в статье «Проблема времени в освещении акад. В. И. Вернадского»¹¹ прямо утверждал, что мировоззрение Вернадского глубоко враждебно материализму. В предисловии к книге «Биогеохимические очерки» (они были написаны в 20-х — самом начале 30-х годов) имеются такие строки: «Редакционно-издательский совет Академии наук СССР считает необходимым отметить, что ряд основных методологических вопросов... В. И. Вернадский трактует с позиций философского идеализма, хотя сам автор считает, что никогда не был философским идеалистом...» И у автора, то есть Вернадского, были все основания так считать (сейчас даже трудно понять, на чем основывались эти упреки) — Вернадский был убежденным материалистом. Полемизуя с Дебориным в том же номере журнала, Вернадский утверждал: «В основе научного знания стоит проникающее всю сущность науки — аксиома — сознание реальности объектов изучения, сознание реальности для нас проявляющегося мира. Только в этих пределах наука существует и может развиваться»¹². Это же положение подчеркивается Вернадским и в книге «Научная мысль...». «Для научного мыслителя, — писал он, — вся реальность, весь космос, научно строяемый, есть естественное тело, находящееся в пространстве-времени. Иначе ученый не может работать, не может научно мыслить. Для ученого, очевидно, поскольку он работает и мыслит как ученый, никакого сомнения в реальности предмета научного исследования нет и быть не может».

В том же мировоззренческом плане необходимо, однако, обратить внимание вот на

⁸ См. В. И. Вернадский. Биогеохимические очерки. М.—Л. Изд-во АН СССР. 1940, стр. 13.

⁹ Там же, стр. 208.

¹⁰ Там же, стр. 146.

¹¹ «Известия АН СССР», VII серия. ОМЭН, 1932, № 4.

¹² Там же, стр. 517 (статья В. И. Вернадского «Проблема времени в современной науке»).

что. Вернадский часто и весьма неблагосклонно высказывался о философии. Редакторы книги правы, что за некоторым исключением он имел в виду метафизическую и, главным образом, идеалистическую философию, что лишний раз подчеркивает его неприятие всякого рода идеалистических концепций. Можно даже предположить, что именно скептическое отношение к ней и помешало ему прямо и четко ввести в свою картину мира наряду с природными телами идеальные явления. Дialeктический материализм и в этом вопросе шире, богаче, объективнее идеалистических и натуралистических концепций, ибо, утверждая первичность материального, недвусмысленно признает и реальность идеального, взаимопереходы между ними, способность идеального материализоваться, овеществляться — вот так, материализуясь в производственной деятельности, научная мысль и преобразует окружающий мир.

Четко утверждая, что мысль не есть материя, Вернадский как бы признавал, что природа больше, чем следует из его концепции естественных тел (наверное, поэтому он иногда писал «тел и явлений»). Но научно эта сторона бытия в его концепции не проявлена. Она была чужда ему как ученому. И это имело свои последствия.

Вернадский очень ценил им же, как уже отмечалось, введенное понятие «живое вещество».

«Во избежание всяких недоразумений я буду во всем дальнейшем изложении избегать понятия «жизнь», «живое», — писал он, — так как, если бы мы исходили из них, мы неизбежно вышли бы за пределы изучаемых в науке явлений жизни в область... науке чуждую...

Я буду поэтому избегать слов и понятий «жизнь» и «живое», ограничивая область, подлежащую нашему изучению, понятиями «живого природного тела» и «живого вещества». Каждый живой организм в биосфере — природный объект — есть живое природное тело. Живое вещество биосферы есть совокупность живых организмов, в ней живущих.

«Живое вещество», так определенное, представляет понятие вполне точное и всецело охватывающее объекты изучения биологии (разрядка моя.— И. З.) и биогеохимии».

Несложно обратить внимание на то, что ни один живой организм не сводится к «живому веществу», что он наделен и идеальными формами бытия — психикой, инстинктами, — наделен жизнью, которую Вернадский как раз и выводит за пределы науки; выпадают при таком подходе и особенности жизнепроявления организмов, особенности поведения их, иначе говоря, выпадает все то, что делает живой организм больше чем «живым веществом». Именно поэтому понятие «живое вещество» не охватывало и не могло «всецело охватить» объекты изучения биологии. Во времена Вернадского довольно успешно развивалась, например, зоопсихология, которую советская Философская энциклопедия определяет как «науку, изучающую психические явления (инстинкты, навыки, эмоции, ощущения, восприятия, представления, память, мышление) у животных». Некоторым направлениям в зоопсихологии был свойствен излишний антропоморфизм, но и упрощение не способствовало развитию науки. В наши дни успешно развивается этология — наука о поведении животных: Моллюски-осьминоги, складывающие на дне океана правильные квадраты (неизвестно для чего), и «живое вещество»?.. И нет ли тут параллели с необъяснимыми пока конструкциями древних людей? Сейчас формируется даже цитозология, наука о поведении клеток в организмах, которое оказалось неожиданно сложным... Термином «живое вещество» за пределами биогеохимии (где он, очевидно, действительно удобен) мало кто пользуется теперь.

Иначе говоря, Вернадский в соответствии со своей концепцией естественных тел явно сужал проблематику биологии — науки о жизни, а не о живом веществе. Кстати, самое понятие «живое вещество» возникло у Вернадского под впечатлением известия о перелете сверхгигантской тучи саранчи над Красным морем. Не мог же Вернадский не знать, что этим «живым веществом» управляли инстинкты. Впрочем, дело не только в сужении задач биологии: сужалось мировидение самого Вернадского, несколько искажалась картина мира, им создаваемая. Это все-таки не совсем понятная особенность мышления великого ученого, хотя его подход к явлениям жизни, если иметь в виду дальнейший общий ход развития науки, может быть определен и как пророческий. Механистичность в объяснении сути жизни, селений жизни в биологии не новость. Но

дело в том, что, по мнению некоторых физиков и даже биологов, такие объяснения получили дополнительные обоснования с помощью физико-химических методов, что и позволяет толковать жизнь упрощенно. Дж. Бернал, например, сводит жизнь к электронному состоянию атомов; его соотечественник англичанин К. Уоддингтон убежден, что все проблемы биологии в конечном счете будут сформулированы в молекулярных терминах; француз Ж. Моно полагает, что суть жизни — в последовательности радикалов полипептидных волокон, и т. п.¹³, то есть жизнь в прямом смысле сводится к живому веществу в понимании Вернадского, хотя термин этот и не употребляется.

Итак, за счет чего же живое вещество, оставаясь константой биосферы, постоянно усиливало свое воздействие на нее?.. При общем постоянстве массы (пусть с некоторыми колебаниями) что-то должно было количественно возражать, подготавливая качественные изменения, — иначе быть не может. Вернадский писал о росте центральной нервной системы, и такой рост действительно происходил (так называемая цефализация). Но представлять себе, что нервная система своей массой подавляла или изменяла остальную природу, было бы, конечно, наивно. Дело, очевидно, в продукции нервной системы, в повышении интенсивности и эффективности проявления комплекса идеальных явлений, которые Вернадским не принимались во внимание, то есть в том, что превращает живое вещество в жизнь во всей ее сложности и многообразии. Изучение идеального не только с философских, но и с естественноисторических позиций, раскрытие особенностей, роли, значения природно-идеальных законов, образующих особую группу, — это актуальнейшая проблема современной науки. И хотя Вернадский так не формулировал проблему, объективно труды его подводят именно к такой постановке вопроса и стимулируют начатые работы.

В статье «Идеальное», помещенной в Философской энциклопедии, выделена в его определении следующая черта: «Идеальное... сугубо диалектично. Это то, чего нет и вместе с тем — есть». Про идеальное, которое и нематериально и бестелесно, так действительно можно сказать. С естественноисторической же точки зрения это свойство идеального особенно важно тем, что идеалей, то есть конкретных идеальных явлений, может быть сколько угодно на сколь угодно малой площади и они способны к бесконечному количественному и качественному изменению при неизменной материальной матрице. Известно, что живое чрезвычайно разнообразно. Однако любой наисложнейший организм начинается с двух микроскопических клеток, в каждой из них может поместиться — и помещается — любое количество генетической информации, необходимой для последующего роста организма. Секрет онтогенеза, о котором упомянуто выше, и следует искать в самораскрытии генетического кода как идеального явления, при котором каждая новая ступень служит плацдармом и стимулом для возникновения следующей ступени. Этот процесс можно уподобить течению мысли, управляющей физической деятельностью, строящей материальную реальность во внешнем бытии человека. Самораскрытие генетического кода при формировании человеческого тела и начальной психики и дальнейшая духовно-умственно-производственная деятельность человека — это и логически и по существу преемственно-взаимосвязанные явления, причем первое в немалой степени направляет второе, определяя умственные и физические способности.

Одно из самых глубинных эволюционных проявлений биосферы — это обогащение генетического фонда планеты. В ходе геологической истории мир становился разнообразнее, сложнее, динамичнее и при неизменной биомассе. Это способствовало все более полному поглощению солнечной энергии, увеличению «энерговооруженности» биомассы. А при росте нервной системы повышалась и дееспособность живых организмов. Сначала это выражалось в усложнении инстинктов и, следовательно, форм поведения, причем особенно важное значение имели, очевидно, коллективно-наследственные навыки животных типа муравьев, термитов с индивидуально распределенными обязанностями. Затем лидирующая роль перешла к такой структуре нервной системы, как разум, ответственный за процесс отражения, за выработку приобретаемых навыков, сигнальных си-

¹³ Эта проблематика критически рассматривается в статье академика В. Соколова, С. Мейена и Ю. Шрейлера, в целом посвященной герою повести Д. Гранина «Эта странная жизнь» биологу А. Любищеву (она опубликована в «Вестнике АН СССР», 1977, № 10).

стем общественных животных, образов и мыслей. Совершив скачок в область общественного, человеческий разум обрел способность к чрезвычайно активному мышлению, к целеустремленному познанию и преобразованию действительности, что и привело к возникновению таких феноменов, как религия, искусство, а также наука. Последнее и означало, что в биосфере появилась научная мысль, правда, сначала как локальное, а не планетное явление.

Вернадский, раньше многих других уловивший начало взрывоподобного развития науки его времени, определенно писал, что взрыв «научной мысли в XX столетии подготовлен всем прошлым биосферы и имеет глубочайшие корни в ее строении». Строго говоря, у науки нет корней в биосфере — наука сугубо социальна. Но если употребить это понятие с известной долей условности, то в эволюционном плане «корни» научной мысли в биосфере могут быть усмотрены в более ранних идеальных пластах бытия; природно-идеальный преемственный процесс (со своими закономерностями и переходами на различные, все более высокие качественные уровни) и приводил к росту «мощности выявления живого вещества в биосфере».

В последние же десятки или сотни тысячелетий «мощность выявления живого» стала определяться уже и социальными факторами, причем не только усовершенствованием орудий производства. Вернадский это сформулировал так: «...нет никакого сомнения, что разум человека из палеолита... не может выдержать сравнения с разумом современного человека. Отсюда следует, что разум есть сложная социальная структура, построенная как для человека нашего времени, так и для человека палеолита, на том же самом нервном субстрате, но при разной социальной обстановке, слагающейся во времени (пространстве-времени по существу)».

Может быть, точнее говорить о «биосоциальной структуре», но важно, что именно социальное стало обогащать и раскрывать новые возможности одного и того же нервного аппарата. Кроме того, это высказывание Вернадского обладает ретроспекцией — оно прямо связывается со способностью нервной системы увеличивать «выпуск продукции», расширять «производство идеального» под влиянием и саморазвития и внешних условий, о чем говорилось выше.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДОЙ

В приведенных ранее соображениях Вернадского о факторах, способствовавших выявлению мощности живого в биосфере, на последнем, эволюционно самом высоком месте обозначена проблема перехода всей биосферы в качественно новое состояние, в ноосферу, под влиянием «научной мысли социального человечества». Это один из наиболее важных для Вернадского вариантов его долгих раздумий о взаимодействии человека с природой. Тема эта буквально пронизывает всю книгу «Научная мысль...», и потому на ней следует остановиться особо.

У Вернадского имеются высказывания, из которых как будто бы следует, что самый факт появления человека на планете может служить вехой, обозначающей начало новой, психозойской или антропогенной, геологической эпохи. Но высказывания эти скорее дань мнению других, в чем-то близких Вернадскому ученых (американца Ч. Шухерта и советского геолога А. Павлова прежде всего), чем его собственное мнение. Вернадский прекрасно понимал и в разной форме писал, что человек как особый феномен должен был не только появиться, но и осуществиться, реализоваться как нечто качественно новое в биосфере. Он отмечал такие черты процесса осуществления: на ранних этапах человек «чужаком выходил из ряда других кишчинок стадного характера»;

«...геологическое действие человечества в перестройке биосферы сказалось только много времени спустя после его появления в биосфере»;

«По-видимому, в развитии ума человека мы видим проявление не грубо анатомического, выявляющегося в геологической действительности изменением черепа, а более тонкого изменения мозга, связанного с социальной жизнью в исторической ее длительности. Тогда понятна необходимость долгих смен поколений для того, чтобы научное знание, характерное для Homo sapiens, оказало влияние на работу человека, меняющего

поверхность планеты. Прошли десятки тысяч поколений после появления человека в биосфере, прежде чем это его проявление стало заметным».

Главное в этом чрезвычайно длительном процессе — становление человеческого разума. «Стремление к проявлению власти над окружающей природой» как основная черта подлинно человеческого сознания должно было реализоваться в производстве и должно было проявиться и зафиксироваться в общественном сознании. Исторически это произошло почти одновременно. Человек, по словам Вернадского, совершил «великое открытие» — овладел огнем; и возникла магия, которая при всей ее иллюзорности явилась первой в истории живого попыткой навязать свою волю природе непосредственными действиями — заклинаниями, колдовством и т. п.

Весь долгий первый период взаимоотношений человека с природой может быть определен как экстенсивный. Качественно человек сколько-нибудь серьезно на природу не влиял, а унаследованный от животных инстинкт защиты своей территории, преобладание сил отталкивания во взаимодействии человеческих сообществ вели к рассеиванию людей по земле. В этих условиях огонь стал в буквальном смысле путеводным огнем и позволил человеку, по выражению Вернадского, осуществить «захват всех континентов и пересечение Тихого и Атлантического океанов».

Появление скотоводства и земледелия, то есть наступление неолита, означало и переход от экстенсивного взаимодействия человека с природой к интенсивному (локально-интенсивному), причем интенсивность как характерная черта процесса непрерывно, по экспоненте, увеличивалась с тех пор и обрела все новые грани. Земледелие, скотоводство, первый демографический взрыв привели к изменению и тенденций во взаимоотношениях человеческих сообществ. Их характерными особенностями Вернадский считал стихийное стремление к единству, общению и «стремление овладеть окружающей природой», они, эти особенности, «проникают и создают всю историю человечества, в последние десятки тысяч лет по крайней мере. Они подготовили новое современное стремление осознать их идеологически как основу человеческой жизни».

Переход от экстенсивности к интенсивности был пережит людьми в разных частях света и относится, безусловно, к важнейшим событиям человеческой истории. Не одновременно, но постепенно в Азии и Африке, в Европе, в Центральной и Южной Америке возникли крупные государственные объединения, аппарат которых мог контролировать, направлять деятельность больших подневольных народных масс. Нередко эта деятельность выражалась в создании грандиозных культовых сооружений. Но гораздо существеннее то, что шумеры, египтяне, майя, ацтеки, инки умели с большой степенью рациональности использовать природные особенности своих стран, перешли от стихийно-интенсивного взаимодействия с природой к разумно-интенсивному. Случались и крупные просчеты, конечно, но все-таки новым по отношению к периоду неолитической революции явилась активизация антропогенных процессов на территориях этих государств, их локальная сравнимость с естественными процессами по масштабу, а также появление устойчивых культурно-антропогенных ландшафтов в природе.

Время, в которое жил Вернадский, то есть вторая половина XIX столетия и первая половина XX, было ознаменовано, кроме всего прочего, постепенным переходом от локальных форм взаимодействия с природой к глобальному, всепланетному процессу. Это и означало, что человечество стало новой реальной геологической силой — сюжет этот занял большое место в сочинениях Вернадского по крайней мере с начала 20-х годов.

Как уже говорилось, и до Вернадского были ученые, писавшие о человечестве как явлении геологического масштаба — начиная с 80-х годов XVIII столетия, во всяком случае (Ж. Бюффон). Заслуга Вернадского не только в том, что он, называя своих предшественников, вернулся к разработке этой проблемы, углубил и расширил ее, стал ее настойчивым пропагандистом. Великая заслуга Вернадского в том, что глобальное решение этой проблемы он прямо связал с наукой, разумом, гуманизмом. Такая постановка вопроса никто и никогда не сможет оспорить, ее можно лишь (и нужно) дополнить социальными факторами.

Сложнее обстоит дело с конкретной попыткой Вернадского дать теоретическое решение этого вопроса.

ПРОБЛЕМА НООСФЕРЫ

В первой книге «Размышлений натуралиста» у Вернадского имеется несколько неожиданное и странное высказывание. «Научно мыслящий наблюдатель,— писал он,— на нашей планете появился в конце плейстоцена, несколько миллионов лет назад». Но ему же принадлежит утверждение, что «научная мысль есть социальное явление»; и это действительно так: и наука и научная мысль социальны; они не просто нечто свойственное виду *Homo sapiens*, но проявления уже достаточно высокой общественной организованности. Неужели несколько миллионов лет назад на Земле уже сложилась ситуация, при которой в биосфере появилась научная мысль?

Вопрос так поставлен не случайно. Он прямо связан с чрезвычайно важным для «позднего» Вернадского тезисом «биосфера переходит в ноосферу». Повторенный множество раз, этот тезис при любой трактовке и датировке предполагает одно: биосферу в ноосферу преобразует научная мысль.

Я вышел на самый трудный участок разговора о книге Вернадского «Научная мысль как планетное явление», но с позиций психологии творчества он, может быть, и самый интересный: помпеи гениального ума оказались, помимо всего прочего, и лабиринтом, весьма сложно ориентированным в пространстве-времени.

В разных местах своих многочисленных книг и статей Вернадский приводил различные даты возникновения науки и научной мысли. Он называл и период первых рабовладельческих государств, и античность, и эпоху Возрождения... Несовпадения в датировке вовсе не свидетельствуют о непоследовательности великого ученого — в его работах они прямо связаны с роковой проблемой, проблемой ноосферы... Не красного словца ради я назвал проблему роковой: в том виде, в каком ее поставил и пытался решать Вернадский, она неразрешима.

Сначала как будто о формальном, о времени возникновения ноосферы. Не будем касаться «научного наблюдателя» — там термин «ноосфера» отсутствует. Вот другие следы поиска: а) «Начало ноосферы связано с... борьбой человека с млекопитающими за территорию» — это, что очевидно, глубочайшая древность; б) имея в виду неолитическую революцию (15—20 тысяч лет назад), Вернадский писал: «Большие геологические изменения пережил человек в этот героический период создания ноосферы»; в) «Можно считать, что в пределах 5—7 тыс. лет, все увеличиваясь в темпах, идет непрерывное создание ноосферы...»; г) «...в XX в. научная мысль охватила всю планету... Это—первая основная предпосылка перехода биосферы в ноосферу»; д) «Мне кажется возможным, что эта война (вторая мировая.— И. З.) явится началом новой эры — в буре и грозе родится ноосфера».

И еще про формальное. В книге «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения» содержится обещание заключить книгу специальным очерком о ноосфере. Это обещание реализовано не было. Такие же обещания — специально описать ноосферу — содержатся на страницах книги «Научная мысль...». И эти обещания не были выполнены, но — что самое главное — и не могли быть выполнены.

Быть может, это редчайший случай, но сейчас мы все невольны являемся свидетелями того, как мучительно бился гениальный ум над им же самим неправильно поставленной проблемой.

Напомню, что, по Вернадскому, биосфера — конкретная земная комплексная оболочка, четко ограниченная в пространстве и образованная взаимодействующими компонентами — косными (горные породы, вода, воздух) и живым веществом (микроорганизмы, растения, животные).

Видимо, при анализе проблемы предполагаемого перехода биосферы в ноосферу целесообразно выделить ее неоднозначные аспекты: логико-терминологический, например, историко-практический, содержательный, футурологический...

В первом случае переход биосферы в ноосферу («ноос», как уже говорилось, в переводе означает разум) не может означать ничего иного, как некоего «оразумления» геологической оболочки со всеми ее живыми и неживыми компонентами. Но гипотетический этот процесс действительно не поддается естественноисторическому описанию — он антиестествен и потому антилогичен. Богу — богово. Разум природен, но не всеобщ. «Панразумности» все-таки быть не может.

Трудом и мыслью человек преобразует (пусть локально) уже несколько тысячелетий, о чем говорилось выше, окружающую природу. Однотипно, очень интенсивно человек не менее шести тысячелетий хозяйничает в низовьях долины Нила. Сельскохозяйственные работы на берегах Нила способствовали развитию науки — геометрии, астрономии прежде всего, — но сами берега ничего научного не обрели... Известны оазисы в пустынях, постоянно существующие многие столетия, — там все осмысленно обработано. Без постоянного ухода оазисы, вероятно, поглотила бы пустыня. Это антропогенные ландшафты, которые при желании можно назвать и ноогенными — ошибки не будет. Но в любом случае речь может идти лишь о причинах их появления, а не о изменении содержательной сути природы (в местах с постоянными водными источниками подобные ландшафты, кстати говоря, могут существовать и вполне самостоятельно).

На глазах нашего поколения Волга стала иной, чем была еще в 40-х годах, — плотины изменили ее очертания, гидрологический режим, ход биологических процессов, микроклимат вокруг, иначе происходит размыв и намыв берегов, дренаж и болотообразование на окрестных территориях. Теперь Волга не просто река — это озерно-речной гидрологический объект, но все-таки гидрологический (физико-географический, если все брать в комплексе), а не ноосферический: измененная, она продолжает жить по законам природы. Изменялась хозяйственная обстановка на реке и у реки, и, стало быть, изменился природно-социальный характер взаимодействия человека с рекой, но ни разум, ни социальное не стали при этом новыми качественными чертами Волги.

Проводя аналогии между предполагаемой ноосферой и прошлыми периодами в истории биосферы, Вернадский выстраивал биогеохимические ряды. Аналогами грядущей ноосферы он считал период появления животных со скелетами, богатыми кальцием, период появления современных лесов... И ноосфера у него — это прежде всего биосфера, химически измененная человеком. Антропозимизацию ноосферы Вернадский представлял себе как процесс естественный, необратимый и необходимый. И тут он, великий провидец, ошибся уже в конкретном. Сегодня почти всем очевидна недопустимость подобной изысканной «ноосферизации» окружающей природы: человечество, наука практически приступила к борьбе за ее первозданную (или, в худшем случае, минимально нарушенную) природно-химическую чистоту, являющуюся залогом здорового развития последующих поколений и людей и живых созданий вообще...

Человек уже (я имею в виду положительный опыт) управляет природой локально и будет управлять во всепланетном масштабе — управлять с тонким пониманием ее законов. Но сами природные процессы — пусть управляемые — все равно останутся природными. Социально разумное не станет их новыми качественными чертами. Стало быть (и к счастью), биосфера ни теперь, ни в будущем не перейдет в ноосферу. И вполне можно согласиться с Дж. Берналом, который еще в 1967 году писал, что в некоторых работах ноосфера «совершенно необоснованно ассоциируется с физически четко очерченными литосферой, гидросферой и биосферой Земли»¹⁴.

В последнее десятилетие проблема ноосферы привлекла внимание многих ученых самых различных специальностей и трактуется чрезвычайно разноречиво — от фактического отождествления с коммунистическим строем до распространения этого понятия чуть ли не на всю обозримую вселенную. Ортодоксально за Вернадским почти никто не следует. Но важно подчеркнуть, что в мучительных своих раздумьях о ноосфере Вернадский и сам отходил от изначального постулата, интуитивно он в чем-то (хотя трудно сказать, в чем именно) не устраивал его.

Так, Вернадский называл ноосферой «область человеческой культуры и проявления человеческой мысли» — это, как видно, нечто иное, чем «переход биосферы в ноосферу».

Как синонимы употреблял Вернадский понятия «ноосфера» и «царство разума», но при сколь угодно вольной трактовке «царство разума» трудно отождествить с геологическим объектом. Кроме того, как и в первом случае, речь идет о представлениях, понятиях охватывающих безграничные области, что, кстати, вполне соответствует мыслям Вернадского о выходе человека в космос и что, как известно, осуществилось.

Определял Вернадский ноосферу и как синоним человеческого разума. Между про-

¹⁴ Джон Бернал. Возникновение жизни, стр. 226.

чим, автор одного из послесловий Б. Кедров пишет о «человеческой мысли, называемой особым термином „ноосфера“». Наконец, Вернадский определял ноосферу и как «оболочку разума». Он не раскрыл это определение, но по сути своей оно тождественно понятию «научная мысль как планетное явление»; в таком понимании речь, видимо, должна идти о синонимах, ибо научная мысль, охватившая всю планету, это в самом точном смысле «сфера разума»...

Итак, Вернадский потерпел с ноосферой неудачу?.. Да. Но плодотворнейшую неудачу, как ни парадоксально это звучит. Эта «неудача» позволила Вернадскому логически завершить раздумья о глобально-космическом процессе, охватившем нашу планету; убедила его в неизбежности грядущего социального единства мира, человечества; привела к выдающемуся обобщению — представлению о научной мысли как планетном явлении; а поиск разумности в окружающем мире, размышления о неизбежности «оразумленного» бытия в будущем неотвратимо вели его к приятию идей научного социализма, что стало своего рода апофеозом долгого и непростого жизненного пути Вернадского.

СТАНОВЛЕНИЕ ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКОМ

Научное предчувствие грядущих коренных изменений в бытии землян пришло к Вернадскому задолго до написания «Размышлений натуралиста». Еще в 1925 году он прямо заявлял о существовании в биосфере «великой геологической, быть может космической, силы», действие которой проявляется и «вне земной коры, в бытии самой планеты».

«Эта сила, — продолжал он, — есть разум человека, устремленная и организованная воля его как существа общественного».

«Общество становится в биосфере... единственным в своем роде агентом, могущество которого растет с ходом времени со все увеличивающейся быстротой... Оно становится все более независимым от других форм жизни и эволюционирует к новому жизненному проявлению»¹⁵. Следует особо подчеркнуть, что, высказываясь таким образом, Вернадский вовсе не выступал как некий, так сказать, фантазер-«идеалист»: человечество действует в его представлениях не только как единое целое (одиночки не смогли бы стать силой геологического и тем более космического масштаба), но и опирается на «единую и организованную мировую технику»¹⁶.

Естественно, что в книге «Научная мысль...», подводящей итоги всей его жизни, Вернадский вернулся к этой важнейшей для него теме и постарался еще раз, по возможности строже и объективнее, сформулировать основные свои представления о ходе планетно-космического процесса, проявляющегося не только в истории развития человеческого общества, но и в бытии планеты. Вот как это звучит у него:

«Человечество закономерным движением, длившимся миллиард-другой лет (имеется в виду вся эволюция жизни.— И. З.), со все усиливающимся в своем проявлении темпом охватывает всю планету, выделяется, отходит от других живых организмов как новая небывалая геологическая сила. Со скоростью, сравнимой с размножением, выражаемой геометрической прогрессией в ходе времени, создается этим путем в биосфере все растущее множество новых для нее косных природных тел (то есть формируется и развивается техносфера.— И. З.) и новых больших природных явлений (антропогенные формы в природе.— И. З.).

На наших глазах биосфера резко меняется. И едва ли может быть сомнение в том, что проявляющаяся этим путем ее перестройка научной мыслью через организованный человеческий труд не есть случайное явление. Его корни лежат глубоко и подготовлялись эволюционным процессом, длительность которого исчисляется сотнями миллионов лет» (очевидно, имеется в виду длительность формирования разума; разрядка моя.— И. З.).

И еще одно. Имея в виду ход планетно-космического процесса, давая ему оценку и, естественно, пользуясь своей терминологией, Вернадский утверждал следующее:

¹⁵ В. И. Вернадский. Биогеохимические очерки, стр. 47.

¹⁶ Там же, стр. 44.

«...создание ноосферы из биосферы есть природное явление, более глубокое и мощное в своей основе, чем человеческая история. Оно требует проявления человечества как единого целого. Это его неизбежная предпосылка. (Как видно, здесь мы встречаем еще один вариант начала ноосферы — примерно XVIII век.— И. З.) Это новая стадия в истории планеты, которая не позволяет пользоваться для сравнения, без поправок, ее историческим прошлым. Ибо эта стадия создает по существу новое в истории Земли, а не только в истории человечества»¹⁷.

Надо признать, что на определенных этапах развития нашей общественной и философской мысли соображения Вернадского о включенности человеческой истории в историю природы, о идущем на Земле процессе, имеющем планетно-космический масштаб и эффект, то есть более грандиозном, чем собственно человеческая история,— эти соображения великого ученого не пользовались признанием и не получали поддержки. Более того, скорее всего именно они и служили поводом для обвинения Вернадского в идеализме, как это было сделано необозначенными авторами предисловия к «Биогеохимическим очеркам» (выход в свет этой очень важной в творческой биографии Вернадского книги задержался на восемь лет). Как уже говорилось, для причисления Вернадского к идеалистам не имелось никаких оснований — он нигде и никогда не писал о примате идеального перед материальным и даже, что тоже отмечалось, исключал идеальные явления из своей картины мира.

Но теперь мы можем констатировать и другое — чрезвычайную близость высказываний Вернадского к мыслям Маркса, сформулированным почти на сто лет раньше и о которых Вернадский не мог знать. В последние годы в статьях и книгах довольно часто приводятся следующие положения Маркса: «Сама история является *действительной частью истории природы, становления природы человеком*» (эти слова и вынесены в подзаголовок статьи.— И. З.). Или: «...вся так называемая *всемирная история* есть не что иное, как... становление природы для человека», «становящаяся в человеческой истории... природа»¹⁸. Разве не очевидно, что у Маркса, как и у Вернадского, история человечества и история природы выступают в единстве как грани природно-социального процесса, ведущей силой которого, конечно, является человечество? Маркс писал о становлении природы человеком и для человека, а Вернадский — напомню — о том, что «стремление овладеть окружающей природой проникает и создает всю историю человечества».

Вернадский даже задумывался о написании так понимаемой всемирной истории. В другой своей посмертно изданной книге, «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения», он, затрагивая тот же вопрос, не без сожаления констатировал: «Дать в настоящее время научно историю этого процесса значило бы написать всемирную историю в этом аспекте. Это непосильно одному человеку, особенно моего возраста... тем более что подготовительная работа не сделана» (стр. 273).

Что касается управленческой функции человека в планетно-космическом процессе, то об этом Маркс писал, пожалуй, даже более категорично, чем Вернадский. Вот один из примеров: всеобщий труд «является напряжением человека не как определенным образом выдрессированной силы природы, а как такого субъекта, который выступает в процессе производства не в чисто природной, естественно сложившейся форме, а в виде деятельности, управляющей всеми силами природы»¹⁹ (разрядка моя.— И. З.). И еще: «...если отбросить ограниченную буржуазную форму, чем же иным является богатство... как не полным развитием господства человека над силами природы?»²⁰ (разрядка моя.— И. З.).

¹⁷ Цитирую по журналу «Природа», 1973, № 6, стр. 32 (В. И. Вернадский, «Размышления натуралиста»). В книге первые три фразы, заключающие в себе основополагающие для Вернадского мысли, заменены тремя точками, взятыми в квадратные скобки.

¹⁸ К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М. Политиздат. 1956, стр. 596, 598, 595.

¹⁹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 46, ч. II, стр. 110.

²⁰ Там же, ч. I, стр. 476.

Что Маркса не могла удержать (и не удержала) «ограниченная буржуазная форма» — это известно всем. Но то же самое — и с полным на то основанием — мы можем сказать и о Вернадском: буржуазная ограниченность никогда не была свойственна его духу и мысли. Он сам останавливался там, где (как ему казалось или как было на самом деле) недоставало эмпирического материала для убедительных обобщений.

Вполне логично предположить, что социально-природный глобальный процесс должен изучаться особой наукой. Правда, Вернадский как будто так вопрос не ставил. А Маркс не только поставил, но и сформулировал в утвердительной форме: «Впоследствии естествознание включит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой наука о человеке включит в себя естествознание: это будет *одна наука*»²¹. Мне кажется, что это положение Маркса не следует абсолютизировать в том смысле, что все естествознание «очеловечится», а все человечествоведение «оестествознанится»; на мой взгляд, произойдет и содержательное и действенное сближение этих двух пока не очень тесно смыкающихся областей знания и выделится центральная, осевая дисциплина, изучающая натуросоциальные, общие для человечества и остальной природы законы, особенности локального, глобального и космического взаимодействия и человека и человечества с остальным миром. Я называю эту дисциплину натуросоциологией и полагаю, что о ней уже можно говорить как о реальном явлении в общей системе наук²². Вернадский, сам создавший биогеохимию, относился к появлению новых наук с глубоким пониманием их необходимости. «Чрезвычайно важно, что одновременно с новой методикой, — писал он, — наблюдаются еще большие явления, может быть ее вызывающие, — создание новых областей знания, новых наук». Необходимость научной дисциплины типа натуросоциологии прямо вытекает из его теоретических построений, но менее обостренное и четкое понимание значимости социального в природных процессах, чем у Маркса, видимо, помешало ему сделать окончательный обобщающий вывод. Не предвидел Вернадский и темпов нарастания интенсивности во взаимодействии человека с природой, зависящего, в частности, и от роста народонаселения: он предполагал к концу нашего столетия «значительное превышение 2-х млрд.», но нас уже более четырех.

Неточность Вернадского в оценке темпов роста численности населения Земли, строго говоря, не является его ошибкой: он писал то и так, как писали и думали специалисты-демографы 30-х годов. Но представления об относительно плавном (хотя и быстром) увеличении населения наряду с глубокой верой в человеческий разум определяли, очевидно, его спокойную тональность в рассуждениях о взаимодействии человека с природой; ту экологическую ситуацию на планете, которая возникла всего через полтора-два десятилетия после его смерти, он не предугадал (как, впрочем, и другие ученые тех лет).

О более же далеком, о выходе человека в космос, Вернадский писал уверенно, и науку он представлял себе не геоцентричной, а антропокосмичной, даже, казалось бы, сутубо земные ее отрасли он и выводил в космос и проверял космосом. Констатируя, что человеческой деятельностью уже охвачена вся Земля, Вернадский писал: «Мы видим сейчас как ясную и исполнимую задачу ближайшего будущего захват человеком Луны и планет»²³. Предполагал Вернадский и безграничное проникновение человека в космос, что в свою очередь предполагает постоянное увеличение человеческих ресурсов.

²¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, стр. 396.

²² В этой статье я, естественно, не имею возможности останавливаться на проблемах натуросоциологии. Развернутые соображения об этой дисциплине изложены мною в книгах «Теория физической географии» (М. 1959), «Физическая география и наука будущего» (М. 1963. 2-е, доп. изд.—1970), «Физическая география в современном естествознании. Вопросы истории и теории» (М. 1978). Журнальный вариант первого издания книги «Физическая география и наука будущего» был опубликован «Новым миром» под названием «Человек коммунизма, природа и наука» (1963, № 1) — там тоже кратко изложены основы натуросоциологии. В необходимости же такой научной дисциплины сейчас фактически никто не сомневается, предлагаются лишь разные названия: геодемология, геосоциология, ноогеника, общая теория взаимодействия природы и общества (ТВОП) и др. Всем памятен и призыв с трибуны XXV съезда КПСС развивать фундаментальные исследования на стыке общественных и естественных наук.

²³ И. И. Мочалов. В.И. Вернадский — человек и мыслитель, стр. 135.

В бесконечном пространстве-времени теоретически возможно и бесконечное возрастание людской численности. Но Земля конечна, и потому есть предел числу людей, способных на ней реально обитать, — через какое-то количество поколений население Земли стабилизируется, «человекомасса» станет такой же планетной константой, как биомасса после выхода жизни на сушу. Но как усиливалось «выявление живого в биосфере» при постоянной биомассе путем усложнения нервной системы и роста идеальной продукции, так же будет увеличиваться и мощность, разнообразие проявления человеческого в космосе при относительно постоянной численности людей на Земле (причины этих феноменов неожиданны, и потому параллель между ними справедлива только в эволюционно-преемственном плане).

Вернадский пользовался такой формулой: «биокосмические воздействия высших форм жизни». Едва ли у кого-нибудь есть серьезные основания сомневаться в дальнейшем стремительном развитии науки и техники (а это позволит посылать в космос аппараты, способные выполнять все больший и больший объем работы); социальные преобразования на планете приведут к высвобождению человеческой энергии, сейчас направленной на преодоление внутренних противоречий общественного характера, вполне реально значительное повышение в относительно недалеком будущем среднего уровня общечеловеческого интеллекта (очевидно, это будет качественный скачок, в принципе аналогичный скачку «человек палеолита — современный человек»). Эти обстоятельства, мне кажется, и обусловят в первую очередь непрерывное, по экспоненте, усиление биокосмического воздействия высших форм жизни на остальную природу. Стало быть, увеличение производства знаний, интенсификация овеществления знания при одновременном изменении направленности овеществления — вот очевидные резервы, которыми будет располагать временно стабильное в количественном отношении человечество.

Итак, «мы живем на переломе, в исключительно важную, по существу новую эпоху жизни человечества, его истории на нашей планете... Впервые человек охватил своей жизнью, своей культурой всю верхнюю оболочку планеты... Научной мыслью и государственно организованной, ею направляемой техникой, своей жизнью человек создает в биосфере новую биогенную силу... Теоретически мы не видим предела его возможностям...» (в последней фразе разрядка моя.— И. З.).

НАУЧНАЯ МЫСЛЬ КАК ПЛАНЕТНОЕ ЯВЛЕНИЕ И НООСФЕРА

Собственно говоря, что было новым в бытии планеты, о чем Вернадский неоднократно писал в разных своих работах? Ответить на этот вопрос можно вполне четко: человечество, проявившееся как геологическая сила (антропосфера), созданная человечеством «мировая организованная техника», или техносфера, как говорим мы сейчас, и... научная мысль как планетное явление. В книге, вокруг которой строится разговор, наибольшее внимание уделено последнему понятию, и о нем следует сказать поподробнее, тем более что это отнюдь не самая простая биосферная или ноосферная проблема, оставленная нам Вернадским.

М. Ярошевский, автор книги «Психология в XX столетии», свидетельствует следующее: «Предпринимая первые попытки добыть экспериментальные данные о человеческой душе, естествоиспытатели (физиологи) сталкивались здесь с ощущениями, чувствованиями — «материей», в реальности которой сомневаться было невозможно и которая вместе с тем требовала для своего описания собственного психологического языка. Непонятной оставалась возможность перевода с этого языка на привычный язык естествознания. Действительно, как соотносить субъективные, непространственные и бестелесные (разрядка моя.— И. З.) порождения внутреннего мира с внешними явлениями, которые можно объективно наблюдать, варьировать путем применения экспериментальных приборов, измерять и т. д.? Эта проблема — центральная для понимания путей развития психологии как науки»²⁴. Вернадский, подчеркивавший, что в психологии «огромную роль играет внутренний опыт, размышление о самом себе», писал также, что психология как область явлений «столь же безбрежна и бесконечна,

²⁴ М. Г. Ярошевский. Психология в XX столетии. М. Политиздат. 1971, стр. 24.

глубока, как окружающая нас реальность». Но окружающая нас реальность уже объективно включает в себя продукцию человеческой психики и человеческого разума.

Несмотря на отсутствие у Вернадского четкого определения научной мысли как планетного явления, можно — и притом совершенно не противореча текстам Вернадского — ответить на два таких основополагающих вопроса. Во-первых, какова природа научной мысли как планетного явления? Во-вторых, какие виды разумной человеческой деятельности могут и должны быть включены в это понятие?

Ответ на первый вопрос, собственно говоря, уже содержится в статье: поскольку, как писал сам Вернадский, мысль несводима ни на материю, ни на энергию, то она, стало быть, идеальна — другого просто не дано; как и явления, изучаемые психологией, она бестелесна, а вот с остальными их признаками совпадение не будет полным.

Теперь второй вопрос. В одном из послесловий сказано, что, «как правило, в глазах В. И. Вернадского естествознание и наука были синонимами». У Вернадского есть высказывания, которые позволяют именно так характеризовать его взгляды. Но все-таки наиболее полное и, на мой взгляд, наиболее удачное определение науки звучит у него иначе: «Наука есть проявление действия в человеческом обществе совокупности человеческой мысли». Совокупность человеческой мысли — это, конечно же, больше чем естествознание, понятие это закономерно включает в себя гуманитарные науки, которым, кстати, уделено немало места в книге, общественные науки, философию; для нас же такое толкование науки и научной мысли просто бесспорно. Можно допустить, что искусство тоже подразумевалось Вернадским в единении с другими видами творческой деятельности. Во всяком случае, в одном из писем жене Вернадский отмечал, что не отделяет от науки тех, кто стремится к истине и в искусстве.

И все равно как понятия «научная мысль» и даже «наука» звучат ограничительно по отношению к феномену, отражающему и охватывающему всю духовно-мыслительную творческую деятельность человечества, включая политическую и техническую мысль, художественное и производственное творчество. В развитие идей самого же Вернадского этот реальный природно-социальный феномен предпочтительнее именовать не «научная мысль как планетное явление», а ноосфера, памятуя при этом о ее идеальной природе. Учение о ноосфере²⁵ больше, шире, богаче, многограннее любого варианта учения о научной мысли как таковой.

Ноосфера возникала, формировалась не быстро и не просто. Изначальным условием ее будущего появления было становление и развитие человеческой речи, которая привела к первому в истории живого обобществлению мысли внутри относительно изолированных коллективов людей и стимулировала их умственную деятельность, облегчив обмен опытом и знаниями.

Второй важный момент — изобретение письменности, с помощью которой, что не вызывает сомнения, возможности обобществления, распространения индивидуальной мысли значительно возросли — мысль становится общественным достоянием в полном смысле слова, охватывая города и государства; это время формирования древнейших цивилизаций, возникновения науки и появления письменно зафиксированных произведений искусства. В книгах Вернадского содержится немало размышлений о Древнем Египте, Индии, государствах Месопотамии, о Греции и Риме. Все эти культурные центры древнего мира уже можно определять как очаги ноосферы — то разгорающиеся, то затухающие, существующие то изолированно, то взаимосвязанно.

Третий этап — распространение книгопечатания; с помощью книг очаги ноосферы расширяются, инфильтруются, возникают противоречивые, подчас резко обостренные взаимодействия и внутри очагов и между ними. Вернадский писал, например, о «средневековом единстве реального, но не оформленного векового интернационала философов

²⁵ В истории современной науки известен «казус», происшедший с отцом кибернетики Н. Винером, который именно так окрестил свое детище, не подозревая, что одноименная наука была провозглашена А. Ампером за сто лет до него. В данном случае очень соблазнительно как название для учения о ноосфере термин «ноология», и он уже предлагался (см. сборник «Природа и общество». М. «Наука». 1968, стр. 140). Вы! Тот же Ампер ввел этот термин в науку еще в 1830 году.

и ученых», то есть о межгосударственном состоянии и надгосударственном существовании философии и научной мысли.

Но статья действительно планетным явлением ноосфера смогла лишь, по выражению Вернадского, с помощью технических средств почти мгновенной связи (телеграф, радио, телевидение и т. п.). В этом смысле ноосфера — детище современной техники, от которой зависят и функциональные возможности, да и самое существование ноосферы именно как глобального, всепланетного явления (техника ввела некоторые грани ноосферы даже в быт пока неграмотных людей, обитающих в удаленных уголках планеты). Таким образом, техносфера — это то материальное «тело», которое, подобно нервным тканям у живых организмов, обеспечивает существование и функционирование идеального. Но не в субъективной форме, а в объективизированной, отвлеченной от конкретного мозга. Это во-первых. А во-вторых, одновременное проявление с помощью техники одних и тех же сведений, мыслей, образов в разных районах планеты придает им специфические черты «пространственности». Как глобальное явление ноосфера включена в свою систему пространства-времени и изолированно от нее не существует.

Сложность структуры ноосферы определяется двумя ее особенностями. Если рассматривать ее ретроспективно, то нельзя не заметить, что при своем возникновении ноосфера вобрала в себя все сколько-нибудь существенное из идейно-духовного мира прошлого, да и после возникновения продолжалось ее хронологическое распластывание, вызванное углубленным изучением человеческой истории, включением в сферу интересов современных людей забытых образов и некоторых идей минувшего, сведений об исторических событиях и выдающихся личностях. Иначе говоря, в известном смысле ноосфера — сверхвременное образование, это не синхроническая, а, пользуясь лингвистическим выражением, диахроническая система.

И второе обстоятельство. Ноосфера, как и человечество, пока лишена подлинного единства — в ней отражены и запечатлены социальные, политические, классовые противоречия, причем противоречия подчас непримиримые. В этом смысле в ноосфере могут быть выделены авангардные (прежде всего научный коммунизм) и арьергардные (идеология исторически исчезающих формаций) блоки. Своеобразным исключением в ноосфере являются выдающиеся, ставшие классикой достижения науки и искусства: они едины в ноосфере и в конечном счете едины для всего человечества. В этом своеобразии, в достигнутом уже теперь единстве отдельных (но относящихся к числу важнейших) элементов ноосферы — ее будущее, как и будущее всего человечества.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Если попытаться в двух словах выразить главную черту мировоззрения Вернадского, то, пожалуй, точнее, чем глубокий оптимизм, не скажешь, хотя формально это, вероятно, не лучшее словосочетание. Вернадский действительно был убежденным оптимистом, и никакие грозные и трагические события, свидетелем которых ему довелось стать, не смогли поколебать его. Например, он писал: «Исторически длительные печальные и тяжелые явления, разлагающие жизнь, приводящие людей к самоистреблению, к обнищанию, неизбежно будут преодолены»²⁶. Эти строки взяты мною из статьи, впервые опубликованной в 1923 году. Но тот же оптимизм сохранял Вернадский и в годы Великой Отечественной войны, до конца которой он не дожил четырех месяцев.

Своеобразие оптимистического миропонимания Вернадского заключалось в том, что оно следовало, вытекало из представлений о ходе развития научной мысли как о планетно-космическом процессе, объективно определяемом самой природой — биосферой на конкретном этапе. А научная мысль, по его мнению, в конечном итоге могла привести только к торжеству человечности и разумности, к гуманизации жизни — этот процесс Вернадский считал необратимым. Поэтому он и закончил свою последнюю прижизненную публикацию — статью «Несколько слов о ноосфере» (она увидела свет в 1944 году) — гордыми и светлыми словами: «...идеалы нашей демократии идут в уни-

²⁶ В. И. Вернадский. Биогеохимические очерки, стр. 44.

сов с стихийным (то есть не зависящим от человека.— И. З.) геологическим процессом, с законами природы, отвечают ноосфере. Можно смотреть поэтому на наше будущее уверенно. Оно в наших руках. Мы его не выпустим»²⁷.

Начиная процесс «оразумления» бытия с глубин геологической истории, Вернадский, конечно, понимал (и об этом говорилось), что в настоящее время лидирующую роль в природно-социальном процессе играет человек, или, точнее, человечество. В этой ситуации сложность положения Вернадского заключалась в том, что своей социологической теории он не разработал и не разрабатывал. А выход между тем имелся, ибо таковая теория существовала и находилась, что называется, рядом — я имею в виду научный социализм. Сейчас очевидно, что только в соединении с научным социализмом представления о глобально-космическом процессе могли обрести цельный научный характер, обрести законченность. Вернадский, видимо, это чувствовал, но шел он на сближение как бы окольным путем — через научную мысль, ее анализ, понимание ее роли в прогрессе. Шел небыстро, да и нелегко ему было продвигаться вперед. И вот отчасти почему.

С 1905 года Вернадский был членом конституционно-демократической партии, кадетом, и не рядовым членом: он постоянно избирался в центральный комитет этой партии. Об этой стороне деятельности Вернадского можно прочесть в уже неоднократно упоминавшейся книге И. Мочалова. Для нас же важно следующее. Нет никаких оснований проводить прямые параллели между Вернадским и такими политическими деятелями, как, скажем, Милоков. Но нельзя и не замечать принципиальных идеологических различий между кадетами, взгляды которых в той или иной степени Вернадский разделял, и большевиками. Октябрьскую революцию он воспринял не без тревоги, но способность к трезвому анализу отнюдь не изменила ему, о чем свидетельствуют дневниковые записи, сделанные в первые же дни и недели после Октябрьской революции: «Развертывается небывалое в истории... новое мировое явление... Невольно вновь поставил себе вопрос — что делать мне?... В сущности, массы за большевиков... очень ясно чувствую силу русской нации... Несомненно, в большевистском движении очень много глубокого, народного»²⁸.

На вопрос «что делать?» — вечный для русской интеллигенции — Вернадский ответил для самого себя довольно быстро и решительно: в 1918 году он вышел из кадетской партии и в дальнейшем отказывался от каких бы то ни было контактов с ее членами. Революцию он принял — это точный биографический факт. Но столь же достоверно, что не все шло у него одинаково гладко в осмыслении отдельных сторон революционного процесса. Так, признавая, что социалистическая революция — «новое мировое явление», он все-таки не сразу осознал глубину и размах этого явления. Подлинно научным Вернадский первоначально считал не современный ему, а утопический социализм.

Тем примечательнее и показательнее дальнейшая эволюция социального мировоззрения Вернадского, приведшая его к пониманию и глубины научных основ социализма и того, что Ленин был человек, «глубоко понимавший ход событий... исторически стоявший на правильном пути»²⁹, — в этих словах явно обнаруживается признание непа как исторически необходимого этапа, то есть правильности ленинской политики.

Характерны и такие строки из работы «Научная мысль...»: «Маркс, Энгельс, Ленин были крупными мыслителями и не менее крупными политическими деятелями. Для них характерен широкий размах их научного знания и научных интересов... Они стояли на уровне науки своего времени и в то же время были волевыми личностями, организаторами народных масс... Социальное благо являлось целью и смыслом их жизни...»³⁰.

И в другом месте: «Маркс и Энгельс реально положили основы научного социализма, так как путем глубокого научного исследования экономических явлений они, главным образом К. Маркс, выявили глубочайшее социальное значение научной мысли,

²⁷ В. И. Вернадский. Биосфера. М. «Мысль». 1967, стр. 358.

²⁸ И. И. Мочалов. В. И. Вернадский — человек и мыслитель, стр. 155.

²⁹ Там же, стр. 149.

³⁰ Эта мысль содержится в рукописи В. И. Вернадского, но в книгу не вошла. Цитируется по книге Мочалова, стр. 149.

которая философски интуитивно выявилась из предшествующих исканий «утопического социализма».

В этом отношении то понятие ноосферы, которое вытекает из биогеохимических представлений, находится в полном созвучии с основной идеей, проникающей „научный социализм“ (разрядка моя.— И. З.).

Вероятно, одно из отличий гения от обыкновенных смертных заключается, в частности, в том, что ни один из гениев не успевал сделать все, что мог бы сделать. Гений на заслуженном отдыхе — это нечто из ненаучной фантастики. Сколько бы ни прожил гениальный человек, смерть всегда наступает его в пути...

Так случилось и с Вернадским.

Я выделил последние строки в приведенной цитате потому, что они могут служить еще одной прекрасной иллюстрацией к известному высказыванию Ленина о том, что в отличие от подпольщиков-пропагандистов, литераторов ученые будут приходить к признанию коммунизма «через данные своей науки... по-своему»³¹ — по-своему придет агроном, лесовод и т. д.

По-своему пришел и биогеохимик Вернадский. При всем том, что он весьма резко противопоставлял живое и неживое (имея в виду происхождение жизни), созданная им биогеохимия — это прежде всего наука о взаимопереходах неживого в живое и обратно на атомном уровне. Человек, естественно, тоже участвует в этих процессах, но не только (и не столько) как биологическое явление, а прежде всего как социальное, обладающее все возрастающим техническим могуществом. Совершенно очевидно, что Вернадский не мог не задумываться над тем, как человек будет вмешиваться в биогеохимические процессы, и притом не в частные, а глобальные. С позиций Вернадского этот вопрос локализовался таким образом: будет это вмешательство научным или ненаучным, плановым или анархическим. Разумеется, Вернадский ратовал за научный подход, и поэтому он с внутренней неотвратимостью должен был и умом и сердцем принять тот социальный строй, который научный подход ко всему существу сделал своей государственной политикой, то есть должен был принять — и принял — социализм. Для очень немолодого ученого, сформировавшегося в совершенно другой социально-политической обстановке (ему было пятьдесят четыре года, когда произошла Октябрьская революция), это немало.

Но еще не все. Следующей логической ступенью должно было стать творческое сращивание естественноисторической концепции с научным социализмом. Но... смерть застала Вернадского в пути. Разработка на основе диалектического материализма теории развития геоуниверсума с учетом и природного и социального — это, безусловно, самая сложная проблема, оставленная Вернадским будущим поколениям ученых. Она тем более сложна, что решение ее в конечном итоге должно иметь практическое значение: гармонизацию взаимоотношений человечества с «прежней» и «новой» (техносфера, ноосфера) природой, что в свою очередь приведет к введению стихийной планетной эволюции в рамки разумной управляемости.

...Имея в виду состояние науки в древнейших государствах, Вернадский писал, что научный застой в них был связан с отсутствием «революционного дерзания личности». Вернадский жил в эпоху, когда революционно дерзающих личностей — и в науке, и в технике, и в политике — было как никогда много. Он и сам был такой революционно дерзающей личностью, по-своему пришедшей к убеждению в неизбежности возникновения управляемого разумом бытия. Революционное дерзание Вернадского ныне реально сливается с революционными преобразованиями, к которым сознательно стремятся прогрессивные силы планеты.

³¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 42, стр. 346.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ВСЕВОЛОД ОВЧИННИКОВ



КОРНИ ДУБА

Впечатления и размышления об Англии и англичанах

УМЫВАЛЬНИК БЕЗ ПРОБКИ И ВАННА БЕЗ ДУША

Мы обедали в английской семье, которая собиралась в двухнедельную поездку по Советскому Союзу. Разговор шел о Москве, Ленинграде, Сочи, о том, что лучше всего посмотреть в этих городах за считанные дни. После пудинга, как водится, подали сыр, а потом пригласили гостей пить кофе к камину.

Улучив минуту, хозяин отвел меня в сторону и сказал, что хотел бы доверительно поговорить на одну щекотливую тему. Может ли он рассчитывать, что я, во-первых, правильно пойму мотивы его вопроса, а во-вторых, отвечу на него вполне искренне? Я, разумеется, кивнул, хоть и не представлял, что может последовать за подобным предисловием.

— Видите ли,— продолжал хозяин после нерешительной паузы,— мы с женой едем в СССР впервые. И все, кто там бывал, советуют нам непременно захватить с собой пробку для умывальника. Говорят, что в гостиницах у вас тепло, даже есть горячая вода. Но вот раковину затыкать нечем — так что ни умыться, ни побриться. Какого же диаметра вести пробку? Одинаковы ли они в разных городах? И не подумайте, что нас пугают какие-то мелкие неудобства. Дело не в них, каждый друг Советского Союза понимает, что всего сразу не напасешься: революция, война... Но почему пробок для ванн давно хватает, а с пробками для раковин дело так затянулось?

Умывальник без пробки. Сколько раз вопросами о нем меня ядовито дожимали наши недруги, сколько раз недоуменно спрашивали о нем наши друзья! Сколько раз при публичных выступлениях и в частных беседах мне доводилось объяснять, что привычка умываться под струей воды — это не суровое наследие революции и войны, а национальный обычай, сложившийся с незапамятных времен, что еще задолго до появления водопровода у нас было принято поливать на руки из ковша или набирать воду в ладони из рукмойника. Именно поэтому, добавлял я, советский турист так же сетует в Англии на ванну без душа, как английский турист в СССР — на умывальник без пробки. Останавливаясь в английской гостинице, всякий раз негодуешь и недоумеваешь: во-первых, как раздеваться при таком холоде; во-вторых, как ополоснуть ванну, если нет ни таза, ни гибкого шланга; и, в-третьих, как ополоснуться самому, если нет ни душа, ни смесителя — только краны с холодной и горячей водой.

Ночуя в английских семьях, убеждаешься, что это общее явление. В квартире, которую снял для лондонского корпункта «Правды» еще предшественник моего предшественника, домовладелец лишь после многолетних просьб установил в ванне душ с гибким шлангом. Однако умывальник по традиции не имеет смесителя, так что воду из двух кранов можно смешивать только в закупоренной пробкой раковине. А поскольку плескаться в умывальнике, как это делают англичане даже в гостиницах, поездках и общественных туалетах, я так и не полюбил, мне приходится после бритья споласкивать лицо теплой водой из кружки.

В отличие от нас англичане никогда не умываются под струей. Не имеют они обыкновения и окатываться водой после ванны, а прямо в мыльной пене начинают вытираться. Но еще труднее, пожалуй, свыкнуться с тем, что этот обычай распространяется и на мытье посуды. Помнится, я был впервые поражен этим на дне рождения у одной лондонки. Когда гости встали из-за стола, хозяин объявил, что по случаю юбилея жены он сам соберет тарелки и бокалы. Мужчины из солидарности отправились за ним на кухню. По рукам пошел графин портвейна, начались анекдоты. Хозяин тем временем наполнил мойку, добавил в воду жидкого мыла, а потом принялся просто окунать туда тарелки, проводить по ним щеткой и тут же ставить их на сетку. Тогда я, грешным делом, подумал, что он, будучи навеселе, просто забыл сполоснуть посуду под краном, прежде чем высушить и протереть ее. Однако впоследствии убедился, что это было не исключение, а общее правило. Именно так — и только так — моют бокалы и кружки, тарелки и вилки во всех английских пабах и ресторанах.

Я отнюдь не намерен утверждать, что у московской продащицы газированной воды вымытые в струях стаканы всегда чище, чем пивные кружки у содержателя лондонского паба, который их окунает и протирает. Я хочу лишь подчеркнуть, что сам подход к гигиене может основываться на разных врожденных привычках и представлениях.

Умывальник без пробки и ванна без душа — лишь один из множества подобных примеров. Все они иллюстрируют непреложную истину: если мы привыкли делать что-то именно так, другие иной раз предпочитают делать это совершенно иначе. Сталкиваясь за рубежом с чем-то необычным и непривычным, мы подчас превратно судим о нем из-за инстинктивной склонности мерить все на свой аршин. Мораль сказанного выше, пожалуй, исчерпывающе выражена в известном четверостишии:

Лошадь сказала, увидев верблюда:
«Какая нелепая лошадь-ублюдок!»
Верблюд подумал: «Лошадь разве ты?
Ты же просто верблюд недоразвитый...»

Чтобы понять незнакомую страну, важно преодолеть привычку подходить к другому народу со своими мерками. Подметить черты местного своеобразия, описать экзотические странности — это лишь шаг к внешнему знакомству. Для подлинного познания страны требуется нечто большее. Нужно приучить себя переходить от вопросов «как?» к вопросам «почему?», то есть, во-первых, разобраться в системе представлений, мерок и норм, присущих данному народу; во-вторых, проследить, как, под воздействием каких факторов эти представления, мерки и нормы сложились; и, в-третьих, определить, в какой мере они воздействуют ныне на человеческие взаимоотношения и, стало быть, на современные социальные и политические проблемы.

Всякий, кто впервые начинает изучать иностранный язык, знает, что куда легче запомнить слова, чем осознать, что они могут сочетаться и управляться по совершенно иным, чем у нас, правилам. Грамматический строй родного языка давит над нами как единственный, универсальный образец, пока мы не научимся признавать право на существование и за другими. Это в немалой степени относится и к национальному характеру, то есть грамматике жизни того или иного народа, которая труднее всего поддается изучению.

Нередко слышишь: правомерно ли вообще говорить о каких-то общих чертах характера целого народа? Ведь у каждого человека свой нрав и ведет он себя по-своему. Это, разумеется, верно, но лишь отчасти. Ибо разные личные качества людей проявляются — и оцениваются — на фоне общих представлений и критериев. И лишь зная образец подходящего поведения — общую точку отсчета, — можно судить о мере отклонений от нее, можно понять, как тот или иной поступок предстает глазам данного народа. В Москве, к примеру, положено уступать место женщине в метро или троллейбусе. Это не означает, что так поступают все. Но если мужчина продолжает сидеть, он обычно делает вид, что дремлет или читает. А вот в Нью-Йорке или Токио притворяться нет нужды: подобного рода учтивость в общественном транспорте попросту не принята.

Нередко слышишь также: можно ли говорить о национальном характере, когда жизнь так насыщена переменами, а стало быть, непрерывно меняются и люди? Споры

нет, англичане сейчас не те, что во времена королевы Виктории. Но меняются они по-своему, по-английски. Подобно тому как постоянный приток новых слов в языке укладывается в устойчивые рамки грамматического строя, национальный характер меняется под напором новых явлений тоже весьма незначительно.

Освоив грамматику жизни того или иного народа, зная, в какие формулы надлежит подставлять пестрые и противоречивые факты его современной действительности, легче разобраться в текущих социальных и политических проблемах данной страны. Этой мыслью мне довелось в свое время завершить книгу о японцах, и с нее же хочется начать теперь книгу об англичанах. Хотя, разумеется, судить о характере человека, и тем более целого народа, дело весьма субъективное. Так что я смогу поделиться лишь своими личными впечатлениями об обитателях туманного Альбиона и опять-таки личными размышлениями о них.

Национальный характер повсюду живуч. Но ни к какому народу это не относится в большей степени, чем к англичанам, которые, судя по всему, имеют нечто вроде патента на живучесть своей натуры. Такова первая и наиболее очевидная черта англичан. Стабильность и постоянство их характера. Они меньше других подвержены влияниям времени, преходящим модам. Если авторы, пишущие об англичанах, во многом повторяют друг друга, объясняется это прежде всего неизменностью основ английского характера. Важно, однако, подчеркнуть, что при своей стабильности характер этот составлен из весьма противоречивых, даже парадоксальных черт, одни из которых весьма очевидны, другие же трудноуловимы; так что каждое обобщение, касающееся англичан, тут же может быть оспорено.

Материалистический народ — кто усомнится в этом? — англичане дали миру щедрую долю мистиков, поэтов, идеалистов. Народ колонистов, они проявляют пылкую приверженность к собственной стране, к своему дому. Неумомимые мореплаватели и землепроходцы, они одновременно страстные садоводы. Их любознательность позволила им познакомиться с лучшим из того, чем обладают другие страны, и все-таки они остались верны своей собственной. Восхищаясь французской кухней, англичанин не станет имитировать ее у себя дома. На редкость законопослушный народ, они обожают читать о преступлениях и насилии. Являя собой воплощение конформизма, нет большего греха, чем делать то, что делать не принято, — они в то же время заядлые индивидуалисты, и среди них полно эксцентриков.

Все это парадоксы, к которым, пожалуй, следует добавить еще один: при всей своей парадоксальности английский характер редко бывает загадочным и непредсказуемым. Его главные черты достаточно ясны, они проходят сквозь все классы общества и почти не поддаются воздействию времени. У англичан гораздо больше тех качеств, которые их объединяют, чем тех, которые их разъединяют.

Генри Стил Комманджер (США), «Британия глазами американцев» (1974).

Ничего, казалось бы, не скрывает о себе Англия. Ни в каких, казалось бы, выражениях не стесняется она, открывая свое лицо. И никто так не умеет смеяться над ней, как сама она над собой...

Но... что, собственно, знаем мы глубоко об Англии, как представляем себе ее лицо, казалось бы совершенно открытое чужому взгляду?

Мне думается, нет маски более загадочной, чем это открытое лицо. И нет более интересной задачи сейчас для журналиста-международника, нежели разгадать эту загадку Англии, разгадать так, чтобы можно было представить себе ее будущее, верней представить себе желательность того будущего, которое было бы не только наилучшим для нее, но и органичным, отвечающим ее самым глубоким национальным корням.

Марнетта Шагинян, «Зарубежные письма» (1971).

КАПЛИ НА ПЛАЩЕ

С чего начинаешь, впервые попав в чужую, незнакомую страну? Присматриваешься и прислушиваешься. Спешешь слиться с уличной жизнью. Как губка впитываешь

впечатления, жадно ловишь звучащую вóкрут речь. Пытаешься разговаривать с случайными встречными: с попутчиком в автобусе, с соседом на садовой скамейке. Словом, окропляешь животворной влагой личных впечатлений сухие зерна заочных знаний о стране.

Все это довелось изведать уже не раз. И до приезда в Лондон я был убежден, что процесс вживания пойдёт в Англии быстрее и глаже, чем в Китае или Японии. Все-таки там, думалось мне, передо мной был куда более труднопостижимый мир, а уж насчет языкового барьера и вовсе не может быть сравнения.

И вот первая неожиданность, первое открытие: к английской жизни, оказывается, отнюдь не легче подступиться, чем к японской, а может быть, и труднее. Это непросто объяснить словами; вроде бы постоянно находишься среди англичан, а непосредственного контакта с ними почти не имеешь. Кажется, будто вместо человеческих лиц к тебе повернуты спины.

Как всякому новичку, не терпится окунуться в английскую жизнь. Но, оказывается, не тут-то было. Впечатление такое, словно на тебя надели некий скафандр, из-за которого, как глубоко ни опустишь, все равно остаешься для окружающих инородным телом. Это как бы погружение без соприкосновения.

Волей-неволей убеждаешься, что в английскую жизнь нельзя разом окунуться с головой. Ею можно лишь постепенно пропитываться, капля за каплей, как намокает плащ путника под неторопливо морозящим английским дождем.

Над английской толпой всегда как бы приспущена завеса молчания, она приспущена не до конца, не настолько, чтобы превратить массовую сцену в кадр из немого кинофильма. И все-таки не можешь отделаться от ощущения, что некий невидимый звукооператор убавил регулятор громкости до каких-то минимальных и непривычных нам пределов. На перроне вокзала или в универмаге, в переполненном пабе или театральном фойе чувствуешь себя будто отделенным от скопления людей незримой звуконепропускаемой стеной.

Эта приспущенная над английской толпой завеса молчания (или, на худой конец, полумолчания) особенно поражает потому, что люди вокруг отнюдь не молчат, а разговаривают друг с другом. Да-да! Дело не в том, что англичане немногословны (хотя данная черта присуща им куда больше, чем другим народам). Дело в том, что эти островитяне разговаривают каким-то особым голосом: приглушенным, почти усталым. Они беседуют так, словно каждый из них в одиночестве выражает вслух собственные мысли.

Мы, по-видимому, так привыкли без нужды повышать голос, что перестали замечать это. Когда, привыкнув к полубезмолвию английской толпы, вновь попадаешь на континент, например во Францию или к себе домой, ловишь себя на мысли, что человеческая речь режет ухо, люди кажутся излишне шумливыми.

Но вернемся к нелегкому процессу вживания. Торопишься слиться с уличной жизнью и вскоре задаешься вопросом: а существует ли она? Мало-помалу убеждаешься, что английская улица не живет сама по себе. Это лишь русло, по которому протекает жизнь. Это лишь поток безучастных друг к другу людей, каждый из которых спешит по своим делам или торопится попасть домой.

Английская улица не предназначена быть местом встреч, споров, свиданий или прогулок. Она не служит для того, чтобы развлечься, побродить без цели, побеседовать с приятелем, поглазеть по сторонам. Люди, которые собираются группами на тротуаре или праздно слоняются туда-сюда, мешая потоку пешеходов, привлекают взгляды, в которых сквозь английскую сдержанность сквозит неодобрение.

Англичанин молчаливо шагает по своим делам, словно не замечая уличной толпы, не являясь ее частью. Никогда не увидишь, чтобы он обернулся, проводил кого-то взглядом. Отчасти потому, что незнакомцы не существуют для него, отчасти потому, что это было бы недопустимым вторжением в чужую частную жизнь.

Считается, что улицы существуют не для человеческого общения, а для того, чтобы без помех добраться из одного места в другое. Поэтому попытка вступить в разговор с незнакомым человеком на улице, на взгляд англичанина, столь же неуместна и даже антиобщественна, как попытка завязать флирт с водительницей соседней автомашины на перекрестке перед светофором.

Английская улица — это лишь русло, по которому протекает жизнь, ибо англича-

КОРНИ ДУБА

нин живет дома, а не на улице. Причем даже на людях он умудряется сохранять собственное одиночество и охранять одиночество других.

Если четыре англичанина входят в пустой вагон, они инстинктивно рассядутся по разным купе. И каждый новый пассажир непременно обойдет весь вагон, прежде чем решится подсесть к кому-либо из них.

Как об удивительной экзотике далеких стран рассказывают лондонцы о москвичах, которые успевают разговориться с иностранцем даже на станции метро — хотя интервалы между поездами не превышают пяти минут, — причем ухитряются довести беседу до вопросов о том, чем занимается их новый знакомый, что у него за семья и сколько он зарабатывает.

Находясь на людях, англичанин способен мысленно изолировать себя от окружающих. Сотни незнакомых людей ежедневно обедают вместе в одних и тех же закусочных. Но даже если соседи по столику знают друг друга в лицо, отчужденность сохраняется. И когда один из них просит другого передать ему соль или перечницу, голос его столь же безукоризненно вежлив, сколь холодно-безличен. Соседство с незнакомым человеком не стесняет англичанина. Но уже самым тоном обращения к нему он как бы отстаивает свое право на одиночество среди других людей.

Куда ни кинь, а Британия действительно царство частной жизни, что заведомо ставит приезжего в невыгодное положение: он чаще видит перед собой ограду, чем сад, который она обрамляет. Впрочем, в этой изгороди, скрывающей от посторонних взоров частную жизнь загородных островитян, есть, пожалуй, две отдушины, позволяющие наблюдать их как бы на воле, будто львов в вольерах Виндзорского зоопарка. Первая из этих отдушин — английский парк. Вторая — английский паб.

Да, английские парки — это не только заповедники сельской природы внутри городов, это поистине оазисы в пустыне безжизненных улиц. В парке англичанин становится иным. Его отчужденность разом сменяется непринужденностью. Здесь не только можно, но и нужно освободиться от пут подобающего поведения, снять с себя бремя забот, дать волю своим порывам. В английском парке человека ничто не стесняет. Он может резвиться, как ребенок, или мечтать, сидя под развесистым дубом. Он может бродить по лужайкам, валяться на траве, он может играть в мяч или заниматься любовью (хотя последнее я, пожалуй, отнес бы к способности англичан игнорировать окружающих, абстрагироваться от них).

Что же касается английского паба, то для людей, которые волей-неволей обрекли себя на одиночество, возведя в культ понятие частной жизни, эти питейные заведения призваны, по-моему, играть ту же роль, что отведена острому вустерскому соусу среди пресного однообразия английской пицци.

Английский паб представляется мне неким антиподом французского кафе. Идеал парижан — сидеть за столиком на тротуаре, перед потоком незнакомых лиц. Идеал лондонца — укрыться от забот, чувствуя себя в окружении знакомых спин. Разумеется, паб служит и для общения. Но прежде всего он способен дать каждому посетителю радость уединения в той мере, в какой он сам того пожелает.

Англичанин ценит паб прежде всего как место встречи соседей, далее по важности как место отдыха коллег и лишь затем как приют для незнакомцев. Для новичка же эти три функции обычно раскрываются в обратном порядке.

Прежде всего постигаешь, что паб незаменим как оазис, дающий приют путнику в пустыне городских улиц. Как выручает он, когда хочешь дать отдых ногам после осмотра лондонских достопримечательностей — хождения по Вестминстерскому аббатству и залам парламента, по Национальной галерее и Британскому музею! Как выручает паб в чужом городе, когда на улице дождь, а до поезда еще полтора часа или когда неожиданно удалось удачно запарковать машину и надо скоротать время до начала приема или спектакля! Как выручает паб, когда требуется наскоро перекусить, или назначить место встречи, или, наконец, когда (прошу прощения) не знаешь, где находится ближайшая общественная уборная. Не дай бог только, чтобы подобная потребность возникла после трех дня и до шести вечера, когда пабы закрываются (даже в разгар лета, когда весь Лондон умирает от жажды, а иностранные туристы тщательно мечтают о глотке пива и на чем свет клянут английские традиции).

Многие из загородных пабов с незапамятных времен соседствуют с божьими хра-

мами, к общему удовольствию их содержателей и благочестивых прихожан. Кстати сказать, именно эти загородные пабы с их пылающими каминами, дубовыми стропилами под потолком и старинной медной утварью в наибольшей степени хранят уют старой английской таверны, воспетой Сэмюэлом Джонсоном. По достоинству оценить их очарование редко удается мимолетному туристу. Ведь для этого нужно не только время, чтобы их разыскать, но и знакомство с кем-то из местных жителей, который ввел бы своего гостя в круг завсегдатаев. Только тогда можно осознать незаменимую роль паба как универсального центра общинных связей, как место, где можно получить дельный совет насчет ремонта крыши или прививки яблонь, по случаю приобрести подстреленных на охоте зайцев или удачно сбыть подержанную автомашину.

Возможности да и потребности заставляют иностранного журналиста раньше познакомиться с той категорией пабов, где посетителей объединяет не место жительства, а место работы. Как заманчиво, например, воспользоваться приглашением соотечественника из Московского народного банка и посетить после полудня один из пабов Сити, где можно вблизи наблюдать загадочных обитателей «квадратной мили» — того города в городе и государства в государстве, каковым является крупнейший в мире финансовый центр. (Бываешь лишь чуть разочарованным, что немногие из них носят традиционные котелки, точно так же как мои московские гости в Токио сокрушались, что не все японки на улицах одеты в кимоно.)

На вечерней Шафтсбери-авеню после спектакля «Иисус Христос — суперзвезда» можно оказаться в пабе, где Мария Магдалина пьет джин с тоником, а Иуда заказывает себе вторую шину темнейшего ирландского «Гиннеса». Однако, оказавшись среди людей с общими профессиональными интересами, не следует обольщаться. Если не считать пабов на Флит-стрит, профессионализм этот почти не проявляется в разговорах. Москвичи когда-то шутили, что если французы в кофторе ведут речь о делах, а в кафе о женщинах, то русские подчас поступают наоборот. Англичанам же, пожалуй, не свойственно ни то, ни другое. Даже о политике в пабах спорят меньше, чем в любом питейном заведении на континенте.

В пабе, где собираются актеры, тебя знакомят с двумя драматургами. Думаешь: вот счастливейший шанс войти в курс театральной жизни! А собеседники весь вечер толкуют о новой системе обогрева теплиц для цветочной рассады или о том, как выступает нынче в Индии английская сборная по крикету. Менее всего вероятно, чтобы кто-нибудь из них упомянул о недавней премьере шумевшей пьесы, о чем как раз и хотелось бы узнать их мнение.

И это не досадная случайность, а роковая для иностранца местная особенность, которая изрядно досаждала ему и на последующем этапе тернистого пути к познанию страны — когда она наконец обретает долгожданную возможность переступить порог английского дома.

Уже отмечалось, что с англичанами, во-первых, трудно разговариваться на улице, что их жизнь, во-вторых, наглухо скрыта от посторонних взоров тем, что они именуют «мой дом — моя крепость». Обзаведясь наконец первыми знакомствами и вписавшись в ритуальную схему взаимных представлений и приглашений, без которых личные контакты тут вообще невозможны, с горечью убеждаешься, что есть еще и в-третьих: даже разговор со знакомым англичанином, который представлялся таким желанным и недосягаемым, на поверку дает гораздо меньше, чем от него ждешь.

Начать с того, что, подав в гости в английский дом, обычно остаешься в неведении: с кем, кроме хозяев, свела тебя судьба под одной крышей? Тут не принят обмен визитными карточками, непременный у японцев, стремящихся получить при встрече максимальный набор сведений друг о друге. Тем более чужд здесь американский обычай прикалывать приглашенным на грудь именные таблички.

Знакомя гостей, хозяйка прежде всего представляют их друг другу просто по имени: «Это Питер, это Пол, а это его жена Мери». Если и добавляется какая-то характеристика, то чаще всего шуточного характера: «Вот наш сосед Джон, принципиальный противник мытья автомашин». Или: «Позвольте представить вам сэра Чарльза, который не живет в Лондоне, так как его ирландский терьер предпочитает свежий воздух». Тут, само собой, завязывается длительная беседа о последней собачьей выставке, о родословной призера, о новом виде консервированного корма для щенков, который недав-

но начали рекламировать по телевидению. И, может быть, уловив, что чужеземца не так уж волнует собачья жизнь, сэр Чарльз из вежливости осведомляется, сохранилась ли еще в России псовая охота на зайцев и лисиц.

Лишь недели три спустя, упомянув при новой встрече с хозяином, что «давешний седой собаковод на удивление хорошо знает Тургенева», с досадой узнаешь, что сэр Чарльз — известный писатель, побеседовать с которым о литературе было бы редкой удачей, ибо он почти не бывает в Лондоне.

— Что же вы не сказали мне об этом раньше! — упрекаешь своих знакомых.

Но даже когда в другой раз тебе шепнут пару слов о собеседнике, результат бывает тот же самый. Директор банка в Сити уклонится от расспросов о невидимом экспорте и заведет речь о коллекции старинных барометров или об уходе за розами зимой. А телевизионный комментатор по проблемам рабочего движения проявит жгучий интерес к методам тренировки советских гимнастов.

Несколько упрощая, можно сказать, что англичанин будет скорее всего разговаривать в гостях о своих увлечениях и забавах, искать точки соприкосновения со своим собеседником именно в подобной области и почти никогда не станет касаться того, что является главным делом его жизни, особенно если он на этом поприще чего-то достиг. Так что при знакомстве нечего рассчитывать на серьезную беседу о том, что тебя в этом человеке больше всего интересует, услышать о вещах, которые прежде всего хотелось бы выяснить.

Англичанин придерживается правила «не быть личным», то есть не выставлять себя в разговоре, не вести речи о себе самом, о своих делах, профессии. Более того, считается дурным тоном неумеренно проявлять собственную эрудицию и вообще безапелляционно утверждать что бы то ни было (если одни убеждены, что дважды два — четыре, то у других на сей счет может быть иное мнение).

На гостя, который страстно отстаивает свою точку зрения за обеденным столом, в лучшем случае посмотрят как на чудака-эксцентрика, а в худшем — как на человека плохо воспитанного. В Англии возведена в культ легкая беседа, способствующая приятному расслаблению ума, а отнюдь не глубокомысленный диалог и тем более не столкновение противоположных взглядов. Так что расчеты блеснуть знаниями и юмором в словесном поединке и завладеть общим вниманием не сулят лавров. Каскады красноречия разбиваются об утес излюбленной английской фразы: «Вряд ли это может служить подходящей темой для разговора». Остается лишь нервно звякать льдинками в бокале джина с тоником (завидуя тем, кто может солидно набивать или выколачивать трубку) и размышлять: как же все-таки проложить путь к сердцам собеседников сквозь льды глубокомысленного молчания и туманы легкомысленного обмена ритуальными, ни к чему не обязывающими фразами?

Почему же все-таки так мучительно труден процесс вживания в эту страну? Ведь здесь не ощущаешь, как на Востоке, труднопреодолимого языкового барьера. И дело не только в том, что выучить английский куда легче, чем китайский или японский. Каждый проявляет тут поразительное терпение, сталкиваясь с неуклюжими попытками иностранца говорить по-английски. Никто никогда не улыбнется, не проявит раздражения, пока ты с трудом подыскиваешь нужное слово. Видимо, считая себя вправе не говорить ни на одном языке, кроме своего собственного, англичанин честно признает за иностранцем право говорить по-английски плохо (хотя в отличие от японца он никогда не сочтет долгом отметить, что ты владеешь его языком хорошо). Словом, нет нужды опасаться ошибок или извиняться за плохое произношение. То, как ты говоришь по-английски, попросту не бывает темой обсуждения. Но, с другой стороны, англичанин никогда не станет упрощать свою речь ради иноязычного собеседника, как это порой инстинктивно делаем мы. Он не представляет себе даже отдаленной возможности, что его родной язык может быть непонятен кому-то.

Отсюда следует отнюдь не утешительный вывод: в стране, где языковой барьер не служит помехой, не сможет стать подспорьем и языковой мост. В Китае или Японии порой достаточно было прочесть иероглифическую надпись на картине, процитировать к месту или не к месту какого-нибудь древнего поэта или философа, чтобы разом расположить к себе собеседников, вызвать у них интерес к «необычному иностранцу», — словом, навести мосты для знакомства. Разве способен сулить подобные дивиденды анг-

лийский язык, на котором, как тут считают, говорят все нормальные люди? Или знание сонетов Шекспира (в переводе Маршака), если, ко всему прочему, первой заповедью для поведения в гостях у этого народа могли бы быть слова «не выкаблучивайся!»?

Англичане не то чтобы чужаются иностранцев, но и не проявляют к ним особого интереса. Они относятся к чужеземцам не то чтобы свысока, но несколько снисходительно, словно к детям в обществе взрослых.

Вряд ли можно сказать, что быть иностранцем в Лондоне значит обладать какими-то преимуществами. Скорее наоборот. Его приглашают домой, присматриваются к его необычному поведению, прислушиваются к его прямолинейным высказываниям. Но если заморский гость проявляет себя в чем-то как личность явно незаурядная, окружающие отнесутся к его талантам и достоинствам с чуть изумленным любопытством — скажем, как к эскимосу, который неведомо как и неведомо зачем выучился играть на арфе.

Чем глубже вживаешься в английскую действительность, тем труднее становится дать односложный ответ на простой вопрос: дружелюбны ли в целом англичане по отношению к иностранцам? С одной стороны, постоянно убеждаешься, что способность не замечать, игнорировать незнакомых людей вовсе не означает, что англичане черствы, безразличны к окружающим. Отнюдь нет! При всей своей замкнутости и отчужденности они на редкость участливы, особенно к существам беспомощным, будь то потерявшие хозяев собаки или заблудившиеся иностранцы. Можно остановить на улице любого лондонца и быть наперед уверенным, что он, не считаясь со временем, окажет любое возможное содействие. Там, где японец или француз предпочтет не ввязываться в дело, которое его не касается, англичанин без колебания придет на помощь незнакомцу, если почувствует, что в этом есть нужда. И чем затруднительнее положение, в котором вольно или невольно оказался человек, тем больше участия проявят к нему окружающие. Если в незнакомом поселке у тебя сломалась машина, тут же найдутся люди, готовые съездить за механиком в ближайшую автомастерскую. Если ребенок в дождливый день не может попасть домой из-за того, что потерял ключи, незнакомые соседи тут же уведут его к себе, согреют, напоят чаем. Но, с другой стороны, вновь и вновь с сожалением отмечаешь и другое — что всякая подобная услуга (полученная или оказанная) отнюдь не разбивает лед отчужденности, не служит мостом к более близкому знакомству. Соседи, к которым ты преисполняешься благодарности, подчеркнуто держатся так, словно никакого сдвига в отношениях с ними не произошло.

Как часто туристов с континента, особенно итальянцев, испанцев, французов, вводит в заблуждение легкость, с которой им удается завязать уличный разговор с английской девушкой. Она отвечает на вопросы без смущения, просто и дружелюбно, словно хорошему знакомому. Но не нужно обманываться: это просто долг участия в отношении иностранца, к которому она чувствует себя обязанной помочь, как слепому старику, которого нужно перевести на другую сторону улицы. Она охотно покажет приезжему дорогу, она может даже довести его до нужного театра, ресторана или отеля. Но тиснетно приглашать ее разделить компанию и чаще всего бесполезно пытаться выяснить ее имя, телефон или договориваться о встрече.

Повествуя о других народах, путешественники любят начинать с фразы: «Что меня больше всего поразило в них с первого взгляда, так это...» Для рассказа об англичанах такая строчка, пожалуй, меньше всего подходит, ибо их самой типичной чертой является как раз отсутствие чего-либо характерного, броского, нарочитого. Можно довольно долго жить в Британии, не увеличивая и не убавляя того арсенала предубеждений об этой стране, с которыми в нее приехал. Раньше чем что-либо другое замечаешь, впрочем, что англичанам, в свою очередь, тоже свойственны контрпредубеждения в отношении иностранцев, и именно они оказываются, как правило, первым предметом наблюдений и размышлений новичка.

Здесь улица — самое скучное место, тут вы не увидите тысяч захватывающих зрелищ и не столкнетесь с тысячами приключений. Это не то место, где люди свистят или дерутся, любезничают, отдыхают, сочиняют стихи или философствуют, где заводят интрижки на стороне и пользуются жизнью, острят, занимаются политикой и собираются по двое, по трое, в группы, в толпы, в революционную грозу. У нас,

в Италии, во Франции улица — нечто вроде большого трактира или общественного сада, площадь, место сборищ, стадион и театр, продолжение дома или завалянки. Здесь она не принадлежит никому и никого не сближает; вы не встречаете здесь ни людей, ни вещей, вы только проходите мимо них.

Карел Чапек (Чехословакия), «Письма из Англии» (1924).

На этом острове не считается грубым хранить молчание; наоборот, грубым считается слишком много говорить, то есть силой навязывать себя другим. В Англии никогда не нужно бояться молчать. Можно ничего не говорить годами, не опасаясь сойти за слабоумного. Зато если вы говорите слишком много, у шокированных этим англичан тут же появляется основание не доверять вам. И если они не разговаривают с вами, то не от злой воли или от дурных манер, а из боязни втянуть вас в беседу, которая может вас не заинтересовать.

Паоло Тревес (Италия), «Англия — таинственный остров» (1948).

Они не любят раскрывать свое положение. Я встречал выдающихся людей, но не зная наперед, кто они, никогда не догадался бы, что они вообще чего-то достигли. Если это писатели, они не говорят о своих книгах. Если это мыслители, они не говорят о своих теориях. Если они политики, они не раскрывают своих программ. Проще говоря, они как бы считают свою трудовую жизнь чем-то отгеленным от своей жизни в обществе.

Нирад Чаудхури (Индия), «Путь в Англию» (1950).

СТРАНА ЗЕЛЕННЫХ ЛУГОВ

Итак, в английскую жизнь нельзя разом окунуться с головой. Когда после первых месяцев лондонской жизни убедишься в этом, когда поймешь, что к англичанам не так-то легко подступиться, поневоле начинаешь пристальнее смотреть вокруг: не даст ли сама природа страны ключ к характеру ее народа?

Англия встает из морских волн как подернутая загадочной дымкой бело-зеленая линия на горизонте. Такой она представляла взорам завоевателей, что волна за волной накатывались с юга на ее берега. Именно эти меловые обрывы побудили легионеров Юлия Цезаря дать острову имя Альбион, то есть Белый. Но даже пришедших с юга римлян поразила щедрость растительного покрова, способность английской травы круглый год сохранять изумрудную свежесть. Даже они, пришельцы из солнечного Средиземноморья, назвали Англию страной зеленых лугов.

Сочетание ухоженности и безлюдья, умеренности и покоя — вот чем впечатляет Англия, когда впервые воочию знакомишься с ней. Причем на первое место следует, пожалуй, поставить именно умеренность.

Не краски, а оттенки составляют портрет этой страны. Такую приглушенную гамму полутонов лучше всего передает акварель. И, видимо, не случайно именно она заняла столь важное место в английской живописи.

Пологие склоны холмов, расчерченные живыми изгородями; одинокие дубы на сочных лугах; привольно пасущиеся стада овец; шпиль сельских церквей на пригорках; опрятные домики, белеющие среди зелени роц. Есть много стран, способных похвастать более величественными панорамами, более яркими красками, более определенным настроением всего ландшафта: крутизна и сверкание альпийских вершин, утрюмое величие скандинавских фиордов, солнечная щедрость Средиземноморья.

Природа Англии помогает понять одну из ключевых черт английского характера: недосказанность. В ней нет ничего нарочито броского, грандиозного, захватывающего дух. Не патетическая страстность, а затаенный лиризм — вот тональность английского пейзажа, которая чем-то роднит его с природой средней полосы России. И не случайно Констебл столь же почитаем англичанами, как у нас Левитан.

Природа Англии столь же не склонна к крайностям, как и ее продукт — англичанин. Отсутствие резких контрастов, то есть опять-таки умеренность, — вот ключевая характеристика не только английского ландшафта, но и английского климата.

При всей неустойчивости английской погоды ей свойственны хоть и частые, но незначительные перемены. Такой климат способствует уравновешенности, даже флегматичности характера: стоит ли сетовать на перемены, если они, во-первых, недолговечны, а во-вторых, не сулят больших отклонений от того, что было до них?..

— Климат-то у нас неплохой, вот если бы только погода была получше,— шутят англичане.

Нужно прожить в Лондоне хотя бы год, чтобы до конца осознать смысл этих слов.

Незадолго до приезда в Англию я смотрел в Москве советский телевизионный фильм «Чисто английское убийство». Действие этого детектива происходило на рождество в загородном доме, утопавшем в снежных сугробах. Случилось так, что день моего прилета в Лондон пришелся как раз на рождество. Никакого снега в английской столице не было и в помине. Вместо него на зеленых лужайках Гайд-парка кое-где белели россыпи ромашек.

— Январь у вас тут будто апрель или октябрь,— подивился я в разговоре с домоладельцем.

— Да, действительно, погода в январе бывает очень похожа на апрельскую или октябрьскую,— охотно согласился лондонский старожил.

Лишь впоследствии я понял, что слова мои были восприняты не только как точка зрения москвича. Оказывается, погода в Англии действительно как бы не зависит от климата, то есть не зависит от календаря, от времен года.

Если мое первое лондонское рождество оказалось по-весеннему солнечным и теплым, то разгар календарной весны ознаменовался «белой пасхой». Хотя на дворе был апрель, все вокруг засыпало снегом. Зеленый газон под окном застлал белый ковер, из которого торчали желтые нарциссы, припудренные снегом. Даже поздней осенью, в конце ноября, в Лондоне может выдаться совершенно летний день, когда на шезлонгах парка Сент-Джеймс люди даже умудряются загорать. А бывает, что и в середине лета найдется такое ненастье со свинцовыми облаками, пронизывающим ветром и обложным дождем, что, несмотря на июль, в квартире волей-неволей приходится включать отопление.

Небо над Англией редко бывает безоблачным. Эти напоенные влагой Атлантики быстро бегущие облака создают переменчивое, своеобразное освещение. Английский пейзаж всегда подернут голубовато-серой дымкой, которая, словно ретушь, приглушает краски и придает расплывчатость очертаниям. Можно сказать, что такая туманная мгла имеет свою параллель и в английском мышлении. Избегая предельной четкости и категоричности, оно предпочитает сохранять как бы известный допуск на неточность, простор для домысливания, возможность компромисса.

Зрительный образ Англии — страны зеленых лугов — впечатляет прежде всего сочетанием ухоженности и безлюдья. Как трудно увязать это с заочным представлением об одном из самых густонаселенных государств, о родине промышленной революции, которая слыла мастерской мира!

С Японией в этом смысле дело обстоит как раз наоборот. Приезжего там обычно поражает и даже удручает, насколько задымлена заводскими трубами страна цветущих вишен и старинных пагод. Большинство иностранцев судят о Японии лишь по узкой полоске ее тихоокеанского промышленного пояса. В Британии же дымный север лежит в стороне от туристских маршрутов. А живописность буржуазных предместий в юго-восточных графствах Кент, Сассекс, Суррей запоминается больше, чем неприглядность лондонского Ист-Энда.

К тому же хотя Япония в полтора раза больше Британии по территории и в два раза больше по населению, пять шестых японской земли занято горами. Поэтому первое, что ощущаешь в Англии, это то, что она отнюдь уж не так перенаселена. Поражает бескрайность и безлюдность ее сельских просторов.

Сельский ландшафт Англии с его живыми изгородями на плавных изгибах холмов, хорошо ухоженными лугами и рощами, с извилистыми, как встарь, но одетыми в асфальт и бетон проселочными дорогами — это ландшафт цивилизованный, созданный руками человека. Тем не менее он в очень незначительной степени служит практическим нуждам. Здесь редко увидишь пахаря за плугом, тем более человека, который, согнувшись, копался бы в земле.

Сельский ландшафт Англии можно назвать бесполезным, если употребить это слово в том смысле, который имел в виду Оскар Уайльд, называя бесполезность одним из критериев искусства. В узкоутилитарном смысле от этих расчерченных изгородами лугов и заботливо сохранных рощ не больше проку, чем от заповедного лесопарка.

Став родиной промышленной революции, центром крупнейшей колониальной империи, некогда сельскохозяйственная страна избавилась от необходимости производить хлеб насущный. Она могла позволить себе стать красивой и действительно стала таковой. Загородная Англия, по существу, стала тем, что мы привыкли называть английским парком, то есть заповедником не первозданной, а в меру облагороженной человеком природы. Она предназначена служить «для услаждения взора». И в этом, увы, то и дело убеждаешься, натываясь в самых живописных местах на лаконичные таблички: «Частное владение». Здесь не пишут: «Посторонним вход строго воспрещен». Не грозят штрафом. Всего два слова — и тенистая дубовая роща или спускающийся к реке лут разом становятся недостижимыми, как мираж в пустыне.

Статистика бесстрастно свидетельствует, что население Великобритании в своем подавляющем большинстве является городским, а не сельским промышленным и не сельскохозяйственным. Хотя страна обладает высокопродуктивным земледелием и животноводством, доля рабочей силы, занятой в сельскохозяйственном производстве, свидетельствует, что Британия стала одним из наиболее урбанизированных государств в мире.

И тем не менее основополагающие черты английского характера доныне коренятся не в городе, а на селе. Англичанин не стремится жить в Лондоне, как француз мечтает жить в Париже. В душе он так и не сделался горожанином, хотя его тягу к земле отнюдь не назовешь крестьянской. Предел мечтаний для него состоит не в том, чтобы быть земледельцем, а в том, чтобы стать землевладельцем. Именно владение землей издавна служило тут вершиной человеческих амбиций, мерилом социального положения.

Идеал англичанина — жить за городом, то есть иметь загородный дом. И чем состоятельнее человек, тем настойчивее стремится он к этому идеалу, недостижимому для бедноты. Роскошные сельские поместья и леденящие душу городские окраины образуют контраст, не имеющий себе равных за Ла-Маншем.

Даже в самом своеобразии английского города сквозит преклонение перед сельской жизнью. Лондон, в котором многоквартирные жилые корпуса, в сущности, так и не привились, который большей частью представляет собой скопление двух-трехэтажных домиков с палисадниками, — этот Лондон, хоть и перестал быть самым крупным городом мира, доныне остался самым большим в мире селом.

Сельская Англия с ее усадьбами и парками, лугами и охотничьими угодьями несет в своем облике несомненную печать быта и нравов старой земельной аристократии. В течение многих веков она была единственным правящим классом в стране, но в отличие, скажем, от французской аристократии никогда не тяготела к жизни в столице. Если в соседних странах знать было привычно ассоциировать с городом, а «чернь» — с селом, структура английского общества зиждется на том, что идеалом человеческого существования и, стало быть, привилегией избранной касты является жизнь в загородном поместье. Нетрудно проследить, что первоисточником морального кодекса джентльмена послужила спортивная этика, а наиболее традиционные, так сказать, классические виды спорта — верховая езда, гольф, теннис, крикет — в свою очередь родились в Англии как развлечения обитателей таких поместий, как формы досуга для людей, которые любят находиться на воздухе, но в условиях английского климата должны постоянно двигаться, чтобы получать от этого удовольствие.

Городская жизнь не стала в Англии центром притяжения для правящей элиты по ряду исторических причин. Из-за раннего объединения страны английские провинциальные города не обрели той роли, которую играли на континенте Любек и Авиньон, Веймар и Флоренция. Они не стали центрами политической, культурной или хотя бы светской жизни.

С другой стороны, стремительно разбогатевшая буржуазия, выдвигая на авансцену промышленной революции, отнюдь не помышляла о том, чтобы сделать новые

индустриальные города средоточием национальной жизни. У фабрикантов и заводчиков, определявших лицо Манчестера и Ливерпуля, Бирмингема и Шеффилда, не было ни времени, ни охоты сочетать погоню за прибылью с какими-то иными, особенно эстетическими соображениями. Отсюда унылое, удручающее однообразие, или, точнее сказать, безобразие, рабочих предместий и горячковых поселков; эти бесконечные и безрадостные шеренги жалких жилищ, прижатых друг к другу, словно доски забора; эта подавляющая душу безысходность прокопченных кирпичных стен.

Воротилы промышленной революции спешили перебраться куда-нибудь за город, подальше от «черных сатанинских мельниц» (мельницами англичане поначалу называли любые цехи с механическим приводом), едва лишь чувствовали, что урвали достаточно денег для этого. Образ жизни старой земельной аристократии остался в Англии непререкаемым идеалом. Промышленная и коммерческая элита не создала собственных традиций, способных соперничать с ним. Новые города, стало быть, не влекли к себе ни тех, по чьей воле они родились, ни обитателей загородных поместий.

Британия заплатила дорогую цену за то, что именно она явилась родиной промышленной революции. Где еще увидишь более разительный контраст между красотой облагоустроенного трудом многих поколений сельского ландшафта и вопиющей безобразностью и удручающей безысходностью пролетарских предместий! Трудно поверить, что и то и другое создано одним и тем же народом. Кажется, что здесь приложили руку совершенно разные породы людей.

Можно сказать, что сельская жизнь олицетворяет собой для англичанина поэзию человеческого существования, в то время как городская жизнь — его прозу. Англия своеобразна тем, что город и село больше, чем где-либо, олицетворяют здесь противоположные полюсы социального апартейда.

Подробнее об этом еще пойдет речь ниже. Но, возвращаясь к зрительному образу Англии, который складывается из первых впечатлений, хочется повторить, что это все-таки прежде всего страна зеленых лугов, а не край черных сатанинских мельниц; страна более красивая — более благоустроенная и в целом менее обезображенная человеком, — чем ожидаешь ее увидеть.

Сельская, или, точнее сказать, загородная, Англия помогает понять сущность национального характера, суть подхода к жизни, природе, соотношению естественного и искусственного. Англичанам не свойственно совершать излишнее насилие над природой, чрезмерно подчинять ее воле человека, навязывать ей геометрическую правильность форм. Они стремятся сохранить в облике природы естественные черты, но до такой степени, чтобы она при этом была удобна для обитания.

В Англии редко попадешь в непроходимую лесную чащобу. Но, пожалуй, реже, чем в других странах, видишь здесь и аллеи, где деревья росли бы строго в шеренгу да еще были подстрижены на один манер. Здесь более типичны рощи, перелески, отдельные деревья, разбросанные там и тут среди лугов. Потому что чаща — это нечто уж слишком первозданное, а аллея — нечто уж чересчур искусственное. Сельская Англия являет собой поистине английский компромисс между природой и искусством.

Англия — остров. Но из этого отнюдь не следует, что об английской жизни больше всего способны рассказать ее порты. Куда более обильную пищу для размышлений о национальном характере дают здесь дороги. Нередко узкие, чаще всего извилистые, но всегда покрытые асфальтом и снабженные безукоризненной системой указателей, английские дороги — не магистральные, а местные — способны оказать неоценимую помощь в познании страны.

Человека, свыкшегося с бездушной прямолинейностью современных автострад, поначалу удивляет и даже раздражает, что в Англии вроде бы никто не стремится попасть из одной точки в другую кратчайшим путем. Изгибы здешних дорог вроде бы игнорируют не только законы геометрии, но и логики.

Английские дороги чаще всего бывают рождены не воображением инженеров, а историей страны. Они редко прорезают холмы и перекрывают эстакадами равнины. Они петляют, огибая чьи-то давно исчезнувшие владения или соединяя переставшие существовать села. И по ним, как по линиям руки, можно не только прочесть прошлое страны, но и многое узнать о характере ее народа.

Английские дороги предпочитают не противоборствовать с природой, а следовать ее чертам. Они воплощают скорее терпимость к местным особенностям, чем попытку навязать некое единообразие. Они отражают склонность скорее подправить то, что уже есть, чем создавать что-то заново, скорее найти компромисс со старым, чем отказаться от него ради нового.

Английская дорога похожа на тропинку в английском парке. Она не рассекает естественного узора, который время оставило на лице земли. Она приближает путешественника к тому исконному руслу, по которому в этих местах издавна текла жизнь.

Если бы у меня спросил совета человек, желающий изучить Англию, я бы сказал: «Ходи по дорогам, проселкам и тропинкам, постарайся сначала ощутить эту страну, а потом уже познать ее, избавившись от прегубеждений».

К этой стране нет волшебного ключа, она не поддается никакому единому и всеохватывающему объяснению. Но ее можно почувствовать. И я убежден, что ее легче всего почувствовать изнутри; оттуда, где коренятся ее самые ранние, самые подлинные и менее всего видоизмененные черты.

Пьер Мейллод (Франция), «Английский образ жизни» (1945).

Но куда же подевались люди? Неужели все они остались в Лондоне, Бирмингеме или Оксфорде? За полдня пути я насчитал из окна вагона больше домов и наверняка больше овец, чем человеческих фигур. Однако при этом все так ухожено, так облагорожено столетиями труда, что незримое присутствие человека создает своеобразное чувство уединенности без одиночества.

Прайс Кольер (США), «Англия и англичане — с американской точки зрения» (1912).

Англия раскрывает свое лицо не как ярко раскрашенная карта. Ничто четко не обозначено, границы не оттенены. Это земная твердь, но солнце и туман придают ей смутное очарование. Стоит исчезнуть солнечному свету, как все вокруг становится серым, выглядит угрюмым и промозглым. Стоит туману исчезнуть полностью, как земля предстает обнаженной в потоках солнечного света и наступает конец очарованию. Такова, стало быть, и английская душа, где радость и печаль играют, как свет и тени, как солнце и туман. Душа, которая без этой туманно-золотистой дымки полностью лишается очарования, являя нам англичанина со свинцовыми глазами, которого изображают сатирики.

Джон В. Првстли (Англия), «Английский юмор» (1929).

У того, кто видит англичанина только в городе, скорее всего сложится неблагоприятное представление о его характере. Такой англичанин обычно поглощен своим бизнесом, разрывается между тысячами дел и потому несет на себе отпечаток спешки и рассеянности. Где бы он ни был, он спешит куда-то еще. И когда он говорит об одном, то думает уже о чем-то другом. В огромном Лондоне люди выглядят поэтому замкнутыми и неприветливыми. Но в своем загородном доме англичанин расковывается от холодных формальностей города, отбрасывает привычку к сдержанности, становится жизнерадостным и открытым.

Вашингтон Ирвинг (США), «Записная книжка Джеффри Крейсона» (1816).

Если бы вам вздумалось вскрыть сердце англичанина, вы обнаружили бы в самой середине его клочок подстриженной лужайки. При первой же возможности англичанин любого общественного класса стремится усесться под деревом, или растянуться на траве, или неторопливо и безмолвно шагать под зеленым шатром дубов с сосредоточенным, слегка грустным выражением лица.

Рай англичанина украшен газонами. И по этим газонам разгуливают британские праведники, покуривая свои трубки и держа свои неразлучные зонтики.

Нижос Казандзакис (Греция), «Англия» (1965).

ВЗГЛЯД ЗА ИЗГОРОДЬ

Немец живет в Германии.
 Янки живет в Оклахоме.
 Испанец живет в Испании.
 Но англичанин — дома...

Этот популярный куплет вспомнился мне во время беседы с журналистом-парижанином, которому выпала судьба провести полжизни в Лондоне. Речь у нас шла о том, что понятие патриотизма имеет на каждом из берегов Ла-Манша свои нюансы. Если француз, утверждал мой собеседник, любит свою землю за то, что она полита потом и кровью поколений, за тот труд, который с ней связан, — труд пахаря и труд воина, то англичанин любит свою землю прежде всего как родной дом, как то место, с которым у человека связаны не тяготы повседневного труда, а радости досуга. Образ родины для него — это обнесенный живой изгородью палисадник под окнами, который он охорашивает, радуясь воскресному дню. Именно эту изгородь, а не розу и не античную деву с трезубцем владычицы морей следовало бы считать национальным символом англичан.

Действительно, Англия — это царство частной жизни, гербом которого могло бы стать изображение изгороди и девиз: «Мой дом — моя крепость». Хотя каждый иностранец многократно слышал эту фразу еще до приезда в Англию, он убеждается, что подлинный смысл ее очень емко и понимается за рубежом далеко не полностью.

Англичанин подсознательно стремится отгородить свою частную жизнь от внешнего мира. И порог его дома служит в этом смысле заветной чертой. «Мы любим быть сами по себе» — гласит излюбленная фраза. Какие бы отношения ни сложились между соседями, каждый из них строго держится своей стороны изгороди. Даже если смежные участки не разгорожены, граница их все равно соблюдается словно глухая стена. Когда дети по неведению пересекают эту невидимую межу, их тут же с извинениями забирают обратно. (Правом экстерриториальности пользуются в подобных случаях лишь такие священные для англичанина существа, как собаки и кошки.)

С соседями принято держаться приветливо, предупредительно, но без какой-либо фамильярности, способной показаться непрошеным вторжением в частную жизнь. Первая заповедь тут: не лезь в чужие дела. Как живет сосед, какие обычаи и порядки заводит он в своем доме — не касается никого другого.

Англичанин инстинктивно относится к своему дому как к осажденной крепости. Жилище его как бы повернуто спиной к улице. И если хозяин вздумает летом погреться на солнышке, он всегда усядется позади дома, а не перед ним.

Окружающий мир должен оставаться за порогом. С незнакомцами или незваными посетителями обычно разговаривают только через дверь, не приглашая их внутрь. Это вовсе не означает, что англичане негостеприимны. Однако гостей приглашают только заблаговременно (обычно за две-три недели) и на определенный час. Заявиться к знакомым запросто, без приглашения или известив их перед приходом по телефону, здесь не принято. Неожиданный звонок у входной двери — большая редкость в Лондоне. Если такое и случается, то обычно под Новый год, когда это могут быть либо сборщики пожертвований на благотворительные цели, либо рождественские визитеры — разносчик газет, молочник, мусорщик, рассчитывающие на чаевые к празднику.

Дом служит англичанину крепостью, где он может укрыться не только от непрошенных посетителей, но и от надоевших забот. Переступить этот порог значит для англичанина переместиться в совершенно другой мир, абсолютно не связанный с миром его повседневного труда.

Когда японец возвращается домой, с ним тоже происходит некое магическое перевоплощение. Он словно порывает с современностью ради мира своих предков. Именно за порогом жилища вступает в силу традиционный домострой с его догмами предписанного поведения. Англичанин же за порогом своего жилища полностью освобождается не только от повседневных забот, но и от постороннего нажима. В этих стенах он волен вести себя как ему вздумается, допускать любые странности при единственном условии — что его эксцентричные выходы не будут причинять беспокойства соседям.

Об умении англичан чувствовать себя дома словно в ином мире и в то же время

уважать домашнюю жизнь других мы как-то разговорились с одной лондонской журналисткой, которая много лет работала в США.

— В американцах,— говорила она,— меня больше всего поражала и угнетала их неспособность отключаться. Даже свободные вечера, даже выходные дни они, как правило, проводят в обществе тех же людей, с которыми ведут дела. И это неизбежно ведет к тому, что и дома и в гостях они продолжают думать и говорить о том же, что волнует их на работе. Англичанину это отнюдь не свойственно. Приходя домой, он разом отключается от всего, чем были заняты весь день его мысли. Люди, с которыми он общается, чаще имеют с ним общие интересы не в труде, а в досуге... У меня муж поляк. Но, прожив полвека среди англичан, он так и не научился отключаться от того, чем он увлечен на службе. Если в субботу утром его вдруг осеняет какая-то инженерная идея, он тут же порывается обсудить ее по телефону со своими сослуживцами. И мне каждый раз приходится удерживать его, ибо звонить по делу домой ни подчиненному, ни начальнику в Англии не принято. Это допустимо лишь в каких-то исключительных, экстренных случаях: то ли загорелся завод, то ли ограблен банк, то ли перед операцией заболел хирург...

Примечательно, что англичане с их щепетильным отношением к частной жизни друг друга вообще считают телефон менее подходящим каналом общения, чем почту. Телефонный звонок может неудачно прервать беседу, чаепитие, оторвать от телевизора. К тому же он требует безотлагательной реакции, не оставляя возможности продумать и взвесить ответ. Почту же получатель может вскрыть, когда ему удобно, и ответить на каждое письмо с учетом содержания других. (Мой домовладелец, живущий этажом ниже, имеет золотое правило: не прикасаться к тому, что приносит почтальон, с пятницы до понедельника: «Незачем забивать себе голову делами под выходной день».)

Именно письменно, а не по телефону принято, например, договариваться о деловой встрече. Депутат парламента, директор банка, адвокат, врач и даже портной предпочитают письменную форму обращения, так как она помогает им более гибко планировать свое время.

Было бы, однако, неверно считать, что склонность предпочитать письменное обращение устному, то есть почту телефону, умножает в Англии бюрократическую волокиту. Хотелось бы подчеркнуть другое: англичане умело используют почту для того, чтобы избавлять человека от хождения по конторам. Если, к примеру, нужно зарегистрировать автомашину, англичанин посылает в соответствующее ведомство письменный запрос, что требуется для этого сделать, прилагая конверт с маркой и собственным адресом. В ответ он получает по почте бланк для заполнения, а также инструкцию, какие документы должны быть к ним приложены (например, товарный чек, водительские права, свидетельство о страховке). Все это заказным письмом снова посылается в бюро регистрации, и через пару дней документы по почте же приходят обратно вместе с выписанным на их основе удостоверением.

Всякий раз, когда у меня кончался срок аренды телевизора, или страховки квартиры, или сезонного билета на право держать автомашину перед домом, меня заблаговременно извещали об этом по почте с приложением нужных бланков, чтобы я мог по почте же оформить соответствующие платежи.

Первые месяцы работы в Лондоне меня очень угнетала необходимость возить в министерство иностранных дел нотификации о каждом выезде за тридцать пять миль от столицы. Мало того что эти бумаги нужно заполнять в четырех экземплярах, подробно указывая маршрут поездки и места ночлега, еще обременительнее возить их на Уайтхолл, ибо там, в центре, негде даже на пять минут оставить машину. Когда я посоветовал на это одному чиновнику из МИДа, тот пожал плечами:

— Но почему вы решили, что должны привозить эти нотификации лично? Заклейте их в конверт, бросьте в почтовый ящик — и они завтра же будут у меня на столе.

С тех пор я стал поступать именно так. И когда через полгода рассказал об этом своим коллегам, все мы посмеялись тому, что никому из нас, советских журналистов в Лондоне, такой простой способ попросту не пришел в голову.

Англичане, как известно, кичатся своим свободолобием. Но думается, что куда более определяющей в их характере является другая черта: они домолюбивы. Домашний очаг и досуг, который с ним связан, занимает в их жизни огромное место. Дом для

них — поистине центр существования. И самым убедительным материальным подтверждением этому служит семейный бюджет.

Англичане весьма неприятны к повседневной пище. Деньги, израсходованные на питание, кажутся им потраченными впустую. Тут они готовы идти на самую жесткую и скрупулезную экономию. Они, безусловно, не делают культа и из одежды — во всяком случае, отнюдь не считают ее мерилом человеческого благосостояния. Собственный кров — вот предел мечтаний английской семьи, вот цель, ради которой она готова из года в год отказывать себе во всем, идти на любые жертвы.

Любая, даже неприятная работа становится дома отрадным досугом. Когда соседи в воскресенье встречаются в пабе и один задает другому традиционный вопрос: «Что ты сделал за эту неделю?» — под этим имеется в виду не работа в лаборатории, не игра на бирже и не участие в предвыборной кампании. Каждый понимает, что речь идет о ремонте крыши, или о смене обоев в спальне, или о поездке за компостом для клумбы.

Считая дом центром своего существования, англичанин, разумеется, хочет, чтобы он был комфортабельным, однако не стремится делать из него некую витрину. Как святилище частной жизни, английский дом предназначен поражать гостей, а быть удобным для хозяев. Англичане приглашают домой не так уж много людей. А тем, кто бывает у них — родственникам или близким друзьям, — нет нужды пускать пыль в глаза.

Англичанин любит жить в окружении хорошо знакомых вещей. В убранстве дома, как и во многом другом, он прежде всего ценит старину и добротность (часто отождествляя эти понятия). Когда в семье заходит речь, что пора, пожалуй, обновить обстановку, под этим словом имеется в виду реставрация, а не замена того, что есть, сохранение, а не изменение общего стиля комнаты.

Будучи в Соединенных Штатах, я как журналист всегда радовался тому, что каждый американец, который приглашал меня в гости, сам, не дожидаясь моей просьбы, перво-наперво принимался показывать дом.

В английском доме редко увидишь что-нибудь, кроме гостиной. И уж вовсе нечего ждать, что гостям станут демонстрировать какую-нибудь круглую ванну с золочеными кранами, которая была бы предметом гордости хозяев на другом берегу Атлантики. (Зато весьма вероятно, что они похвалятся перед гостями своей теплицей, продемонстрируют горшки с рассадой и покажут, как хорошо разрослась на кирпичной стене вьющаяся роза.)

Англичане склонны сурово относиться к собственной плоти, и их жилища во многом отражают эти спартанские нравы. К началу 70-х годов лишь 15 процентов жилищ в Британии имели центральное отопление — в два-три раза меньше, чем в европейских странах такого же климатического пояса. Отапливать спальни, например, у англичан до сих пор считается чуть ли не аморальным. Да и ванны по-настоящему вошли в быт лишь перед войной. Для многих, особенно для детей и подростков, их заменяло холодное обливание губкой из таза. Как знать, может быть, при английской погоде такая суровая закалка с малых лет действительно необходима. В промозглые зимние дни всегда поражаешься, как много лондонцев почтенного возраста разгуливает без пальто, а то и в одной рубашке.

Многие американцы среднего достатка, чтобы не возиться с домашним хозяйством, предпочитают доживать свой век в пансионатах или отелях. Англичанин же держится за собственное жилье до конца дней. Это для него самый надежный пенсионный фонд, не обесценивающийся при инфляции. Женив или выдав замуж детей и уйдя на пенсию, англичанин при нужде продаст дом или квартиру и купит жилье подешевле, но постарается любой ценой избежать кабальной участи квартирсыемщика.

Фраза «мой дом — моя крепость» была когда-то рождена обитателем особняка. Конечно, иметь теперь отдельный дом в городе — недостижимая мечта даже для весьма состоятельной семьи. Английский горожанин обычно называет домом то, что, в сущности, представляет собой вертикально расположенную квартиру: внизу жилая комната, выше спальня, а над ней, под самой крышей, помещают детей или сдают такую мансарду холостякам.

Поскольку каждый хозяин красит свой фасад и наличники как ему вздумается,

уличная застройка подчас напоминает глухой забор из вертикально сбитых разноцветных досок. Зато собственный номер (причем номер дома, а не квартиры!), свой палисадник, своя входная дверь с улицы и, наконец, своя внутренняя лестница, которая почему-то особенно мила сердцу англичанина. Лондон донныне остался в основном трехэтажным именно из-за предубежденного отношения англичан к многоквартирным и особенно высотным домам. (Ряды трехэтажных квартир, тянущиеся иногда во всю длину улицы, называются здесь террасы.) О людях, живущих где-то на восьмом этаже, принято говорить с неким сочувствием: на такой, мол, высоте и к окну не подойдешь — голова закружится. Даже в благоустроенных и удобно расположенных многоквартирных корпусах Вест-Энда чаще предпочитают жить не англичане, а состоятельные иностранцы.

Каждый год в лондонском зале «Олимпия» проходит выставка «Идеальный дом». Фирмы, выпускающие отделочные материалы, мебель, ковры, бытовую электротехнику, посуду, демонстрируют свои новинки, изощряются в поисках все новых способов сделать жилище удобнее, уютнее, красивее. Покидая павильон, переполненные впечатлениями и нагруженные глянцевыми рекламными проспектами посетители видят у выхода людей с пачками листовок. Их лаконичный текст как бы перечеркивает все то, что оставляет в памяти этот храм благополучия, проповедующий культ домашнего очага: «Знаете ли вы, что в Британии около ста тысяч бездомных? Что на каждого из них приходится по десять пустующих домов или квартир? Справочная служба комитета сквоттеров».

Людей, которые в поисках крыши над головой самовольно вселяются в пустые дома, или, как их здесь называют, сквоттеров, в Великобритании свыше 30 тысяч. Есть два момента, делающие их социальным явлением, от которого нельзя отмахнуться. Это, во-первых, наличие в стране бездомных людей, которые не могут найти жилье по доступной для себя цене. И, во-вторых, наличие безлюдных домов. Сочетание того и другого олицетворяет ту вопиющую социальную несправедливость, к которой сквоттеры стремятся привлечь внимание своим протестом.

Разумеется, проблема бездомных стоит в Лондоне иначе, чем, скажем, в Калькутте: все относительно. Англия веками богатела за счет империи. По ее земле больше тысячи лет не ступала нога завоевателей. Перед второй мировой войной Великобритания располагала лучшим жилым фондом в Западной Европе. В послевоенные годы к тому же существенно изменилась его структура. Важным завоеванием рабочего и демократического движения явилось существенное расширение общественного жилищного строительства. В домах, принадлежащих местным муниципалитетам, проживает сейчас третья часть семей — в шесть раз больше, чем до войны.

Более чем удвоилось количество домов и квартир, принадлежащих самим жильцам, чаще всего купленных в рассрочку. В них сейчас проживает половина английских семей. Однако и в довоенные и в послевоенные годы неуклонно сокращается число жилищ, которые сдаются внаем частными домовладельцами. До первой мировой войны они составляли девять десятых, после второй мировой войны — две трети, а теперь — лишь одну шестую жилого фонда.

Таблички с надписью «Сдается внаем» стали редкостью на улицах английских городов. А нужда в недорогом, хотя бы временном пристанище обостряется. Для людей малообеспеченных, еще не ставших на ноги или, наоборот, выбитых из колеи — разнорабочих, живущих на случайные заработки, студентов, молодоженов, пенсионеров — жилищная проблема становится еще более мучительной и неразрешимой, чем она когда-нибудь была. Автор книги «Бездомные» Дэвид Брэндон приходит к выводу, что в английской столице и других городах «существует настоятельная необходимость возродить тип жилищ по образцу существовавших в XIX веке ночлежных домов для одиноких».

Предпринятая в свое время лейбористским правительством попытка обуздать произвол домовладельцев и ограничить рост квартирной платы в условиях частнособственнической стихии привела к последствиям, которые не улучшили, а, наоборот, ухудшили положение тех социальных слоев, которые больше всего страдают от жилищного кризиса.

Снять недорогую квартиру, а тем более комнату, стало неизмеримо труднее. Дело

в том, что домовладельцы предпочитают теперь не сдавать, а продавать жилье в рас-срочку на двадцать пять—тридцать лет по взвинченным ценам, да еще с высокими процентами, преспокойно обходя, таким образом, установленные правительством ограничения. Они умышленно не заселяют пустующие квартиры, дожидаясь, пока освободится все здание, чтобы целиком переоборудовать или вовсе снести его — словом, найти наиболее прибыльную форму спекуляции своей недвижимостью. Так растет число безлюдных, необитаемых домов — явление, которое депутат-лейборист Фрэнк Оллаун назвал в парламенте национальным позором. Он обратил внимание палаты общин на то, что в Великобритании пустует втрое больше домов или квартир, чем ежегодно строится новых.

Фрэнк Оллаун предложил предоставить местным властям право временно реквизи-ровать и заселять жилые помещения, пустующие более шести месяцев. Законопроект Оллауна отнюдь не покушался на ниспровержение основ. В нем было оговорено, что право собственности на землю и строение остается за домовладельцем. Муниципалитет реквизирует бы лишь право распоряжаться жилыми помещениями, провести там самый необходимый ремонт и сдать их наиболее нуждающимся семьям из списка оче-редников. Причем квартирную плату по муниципальным ставкам получал бы (за вы-четом расходов на ремонт) сам домовладелец. Однако законопроект не был поддержан. Судя по всему, весьма влиятельные круги на Британских островах заинтересованы в том, чтобы нынешнее парадоксальное положение сохранялось. Головокружительный рост цен на недвижимость, далеко обгоняющий общий рост дороговизны, открыл совершенно новые возможности для спекулятивных махинаций в этой области. Теперь не-редко бывает, что владельцу недвижимости выгоднее какое-то время держать участок или даже заново построенный дом незанятым, довольствуясь тем, что цена его ежегодно повышается чуть ли не на треть, чем получать от съемщиков арендную плату и вносить с нее налог в казну. Причем понятие «какое-то время» весьма растяжимо. Для сотен тысяч квадратных метров жилой и служебной площади в тридцатипятиэтажном лон-донском небоскребе Сентр-пойнт оно составило, например, целое десятилетие.

Лондон богат историческими памятниками. Каждая страница истории страны воплощена здесь в бронзе и мраморе. Но что может сравниться по выразительной силе с монументом, в котором воплотил свои черты современный английский капитализм,— с необитаемым небоскребом Сентр-пойнт на оживленнейшем перекрестке столицы?

Он возвышается над потоками людей и машин, безразличный к архитектурному облику Лондона, к пропорциям окружающих зданий, к заботам города, задыхающегося от тесноты. Десять лет на этажах этого здания обитала гулкая тишина. Не раз у стен небоскреба бушевали возмущенные демонстрации. В него в знак протеста вселялись сквоттеры.

Всякий раз, когда заходит речь о жилищной проблеме в Англии, у меня встает перед глазами контур небоскреба, дерзко вклинившегося своими стремительными вер-тикалями в панораму английской столицы, а на его фоне шеренги демонстрантов — каменщиков, землекопов, бетонщиков с самодельными плакатами: «Бездомные люди, безлюдные дома, безработные строители — этот безумный, безумный, безумный мир!»

Входя в дом англичанина, прежде всего отмечаешь, как хорошо этот дом приспособлен к своему хозяину. Он как бы вырос вокруг него, воплотив черты его харак-тера, как поношенное пальто облегает фигуру своего владельца. Входя в дом амери-канца, прежде всего замечаешь, как хорошо он приспособился к своему жилищу.

Прайс Кольер (США), «Англия и англичане — с американской точки зрения» (1912).

Бесконечный дом, извивающийся вголь улиц, напоминая гофр или гармошку, наверху увенчан острыми пиками высоких, тонкошеих, как у жирафы, труб: почти каждая комната каждого дома через свой отдельный камин разговаривает с небом своей собственной трубой на крыше. Полчища одинаковых домов, слитых друг с дру-гом, устрашающе однообразны. Но полчища труб на крышах играют, как ноты на пяти линейках, разными высотой и долготой: то они встают, как пегушные гребешки, на середине крыш, то скопляются, как клыки допотопного зверя, на одной ее части, то обрамляют ее стайками с двух сторон. Это первое впечатление от обычной жилой

английской архитектуры действует на вас сразу же с огромной силой, порождая десятки мыслей, пока движутся и плывут перед вами бесконечные узкие коридоры улиц с лентами и полукругами сплошных стен... «Мой дом — моя крепость», — говорит англичанин, гордый недоступностью своего частного жилья, и вы по этой поговорке представляли себе дом англичанина чем-то изолированным, отделенным от соседей... и вдруг это неприступное жилье англичанина, его «крепость», оказывается ребрышками в неисчислимом костяке других одинаковых ребрышек, связанных с соседями, как страницы одной книги или пальцы одной руки.

Мариэтта Шагинян, «Зарубежные письма» (1971).

ЛЮБИТЕЛИ И ПРОФЕССИОНАЛЫ

Культ частной жизни, возвеличение домашнего очага — осевые координаты национальной психологии англичан. Именно «домоцентризм» часто дает ключ к пониманию своеобразных черт их характера.

Взять, к примеру, излюбленное ими противопоставление любителей и профессионалов. Понятия эти, сохранившие свой первоначальный смысл, пожалуй, лишь в области канадского хоккея, донные остаются на Британских островах важным этическим водоразделом. Многие традиционные взгляды англичан кажутся необъяснимыми, даже парадоксальными, пока не доберешься до их общей исходной точки. Принято считать или хотя бы делать вид, что более важное место в жизни человека занимает то, чем он увлекается в часы досуга, а не то, чем он занимается во время работы. Стало быть, любительское отношение к делу ценится выше специальных знаний, а любитель почитается больше, чем профессионал.

Деление на любителей и профессионалов идет из крикета. А крикет — поистине святая святых для англичан, национальная игра, которую они считают праматерью не только спорта, но и морали. Именно от крикета ведут свою родословную те принципы спортивной этики, которые стали для англичан основами подобающего поведения, мерилом порядочности. Когда оксфордский проректор говорит, что его цель — научить юношей играть прямой битой, смысл этой фразы выходит далеко за пределы спорта.

Иностраный журналист, работающий в Лондоне, должен знать термины и эпитеты, принятые при описании крикетных матчей, так же хорошо, как популярные библейские выражения или латинские поговорки: без этого нельзя понять ни полемики в парламенте, ни газетных передовиц.

Крикет явился первым видом спорта, где деление на любителей и профессионалов было официально зафиксировано в правилах. Причем предпочтение первой из этих категорий выражено в них совершенно недвусмысленно. Капитанами ведущих команд, например, до недавних пор могли быть только любители. И хотя в наши дни соблюдать этот принцип уже не удается, прежняя градация продолжает сохранять силу в мелочах. Раздевалки для любителей по традиции оборудуются отдельно от раздевалок профессионалов и отличаются от них так же, как корабельные каюты первого класса отличаются от кают второго. Достаточно взять программу любого крикетного матча, чтобы увидеть, кто из игроков любители, а кто профессионалы: если у первых значатся фамилии и инициалы, то вторых принято перечислять лишь по фамилиям.

Помимо любителей и профессионалов, в крикете существуют еще и параллельные термины: джентльмены и игроки. Это второе противопоставление помогает понять, почему любительское отношение к делу стало отождествляться с принадлежностью к избранному классу. Статус джентльмена, как и владение землей, был вершиной человеческих амбиций. Считалось, что хозяин загородного поместья если и пробовал свои силы на каком-то поприще, то не ради корысти, а из чувства долга перед обществом или для собственного удовольствия.

Принадлежность к регулярной рабочей силе считалась следствием экономической или социальной зависимости. Так что даже если джентльмен трудился по необходимости, он все равно старался делать вид, что относится к работе как к некоему побочному увлечению, то есть изображал из себя любителя.

Эта своеобразная шкала социальных ценностей дает больше престижа тому, кто

может оставаться дома, чем тому, кто вынужден уходить по делам. Поэтому англичанин подсознательно склонен считать, что дом занимает в его жизни более существенное место, чем работа, независимо от того, так ли это на самом деле. Принижая роль труда за счет досуга, он как бы приподнимает собственный социальный статус. В этом, пожалуй, его самое разительное отличие от заокеанского кузена. Дело не только в том, что американец, как правило, раньше уходит по утрам, позже возвращается, — он даже дома не может расстаться с мыслями о том, что волнует его на работе. Англичанину же с его культом частной жизни и домашнего очага скорее свойственно обратное.

У американцев принято считать, что чем больше дел держит в своих руках человек, тем выше его престиж и в собственных глазах и в глазах окружающих. Миллионер из Калифорнии, принимающий гостей на своей загородной вилле с бассейном, будет лишь рад, если во время купанья ему поднесут телефонный аппарат и доложат о срочном звонке откуда-нибудь из Цюриха или Сингапура. Английский же аристократ, даже если он отдает работе не меньше времени и сил, предпочитает выглядеть на людях ленивым бездельником.

Заниматься своим делом не ради денег или карьеры, а, так сказать, из любви к искусству, для собственного удовольствия — вот в представлении англичан кредо истинного джентльмена. Отсюда же произрастает его глубоко укоренившееся недоверие к профессионалам, врожденная привычка смотреть на советников и экспертов, как средневековые рыцари взирали на алхимиков, то есть как на обладателей таинственных знаний, готовых служить не то богу, не то сатане.

Склонность предпочитать любителя профессионалу не только в спорте или искусстве, но даже в таких областях, как политика, оказалась поразительно живучей. Вся изощренная система воспроизводства правящей элиты — от так называемых публичных школ до Оксфорда и Кембриджа, о чем подробнее пойдет речь ниже, — ныне запрограммирована на воспитание джентльмена, то есть просвещенного дилетанта, а не специалиста-профессионала.

Таким политиком-универсалом приходится быть в Британии члену кабинета, который возглавляет на год-два то одно, то другое, то третье министерство. С одной стороны, министр, который представляет свое ведомство перед парламентом и общественностью, с другой — постоянный секретарь, который остается фактическим руководителем чиновничьего аппарата независимо от сменяющихся министров и даже партий, приходящих к власти, — они, в сущности, олицетворяют собой пример взаимоотношений между любителем и профессионалом.

Превосходство дилетанта над специалистом утверждает в целой галерее своих героев английская литература. Достаточно вспомнить Шерлока Холмса, который, будучи любителем, неизменно оказывался проницательнее профессиональных сыщиков Скотланд-Ярда.

Присущая англичанам склонность предпочитать любителя профессионалу сложилась, разумеется, у определенного класса в определенную историческую эпоху. Имея за плечами колониальную империю и промышленный потенциал мастерской мира, можно было позволить себе относиться к труду с аристократической легкостью и свысока смотреть на тех, кто с фанатической одержимостью лез из кожи вон, чтобы выбиться в люди.

Однако любительский подход к делу, которым когда-то кичились джентльмены, наложил свой отпечаток на национальный характер в целом. Отличительная черта англичан — их презрительное отношение к так называемым крысиным гонкам, то есть к готовности отказаться от любимого досуга ради дополнительного заработка, принести радости жизни в жертву голой выгоде.

Англичане не демонстративны в своем отношении к труду, как не демонстративны они в проявлении своих чувств вообще. Поначалу может показаться, что они делают все с прохладцей, шалаяй-валяй, спустя рукава. Но постепенно начинаешь понимать, что их неторопливость, привычка избегать вытаращенных глаз и потного вдохновения отражает общий ритм жизни. Сочетание раскованности с отлаженностью — характерная черта английского быта.

Приезшему поначалу часто кажется, что он словно по инерции ломится в откры-

тую дверь. Он привык, что дела делаются лишь в том случае, если проситель проявляет энергичную напористость, а исполнитель — подчеркнутое старание. И его сбивает с толку, что оказывать какой-то нажим, добиваться, настаивать в Англии нет нужды, что люди тут привыкли делать свое дело без показной нарочитости и лишней спешки.

В этом англичанин чем-то схож с опытным игроком на теннисном корте: он не мечется из угла в угол, доняя семь потов, а легко, будто даже небрежно отбивает посылаемые ему мячи. Да, англичане работают, пожалуй, именно так: без перенапряжения, раскованно, но четко. И даже если водитель автобуса остановится по пути, чтобы купить себе пачку сигарет, то это еще не значит, что график движения ему безразличен.

Неприязнь английского труженика к «крысиным гонкам» проявляется и в том, что он очень неохотно идет работать к конвейеру. Трудовые конфликты наиболее часты именно в таких отраслях, как автомобилестроение, хотя зарплата там выше, а рабочий день короче, чем в устаревших мелких мастерских. Хотя Англия была родиной промышленной революции, современное массовое производство, где движения хронометрированы и человек безоговорочно подчиняется ритму машин, плохо приживается на местной почве. Вспомним о луддитах, которые ломали новые ткацкие станки, чтобы сохранить традиционные текстильные промыслы. Ланкаширские и Йоркширские ткачи зарабатывали мало. Но они не хотели, чтобы новые машины лишили их возможности быть хозяевами своего времени. В погожий день они могли бросить дело и пойти ловить форель, чтобы потом возместить это время трудом до глубокой ночи. Протест против власти машин над человеком, который в свое время наивно выразили луддиты, присущ их соотечественникам до сих пор.

Водораздел между двумя полюсами человеческого существования — трудом и досугом — в Британии очень четок. Англичане обладают завидной способностью отключаться от повседневных забот, находить от них убежище в заповеднике частной жизни. Именно они родоначальники забавных увлечений, которые нынче принято называть ими же изобретенным словом «хобби».

Хобби для англичанина не только отдушина от повседневной рутины, но и возможность блеснуть мастерством в любимом деле. А любитель, ставший мастером в избранной им области, скорее обретет уважение в этой стране, чем удачливый бизнесмен, которого больше ничто в жизни не интересует. Побывав полдюжины раз в гостях у англичан, убеждаешься, что именно поиски общих склонностей и интересов, связанных с досугом, составляют канву социального общения.

Чем большего достиг человек в своей профессии, тем меньше склонен он касаться в разговоре каких бы то ни было вопросов, связанных с данной областью. Но если говорить о своей служебной карьере считается нескромным, то похвалиться мастерством в каком-то любительском увлечении вполне допустимо. Хобби для англичанина — единственный дозволенный путь продемонстрировать свою индивидуальность, привлечь к себе внимание и даже открыто похвалиться собственными успехами.

Знакомясь с людьми на лондонских приемах, сначала поражаешься их неразговорчивости, когда, выяснив перво-наперво профессию человека, начинаешь расспрашивать врача о государственной системе здравоохранения, а промышленника — о взаимоотношениях труда и капитала. Лишь со временем понимаешь, что естественное, на наш взгляд, направление беседы тут ошибочно, что нужно, образно говоря, не бесцеремонно стучаться в главный подъезд, а осторожно нащупывать боковую калитку. Ибо тот же неразговорчивый лондонец способен увлеченно беседовать с первым встречным о выращивании голубей или золотых рыбок, о коллекционировании каминных шницлов или тропических бабочек.

По части хобби фантазия англичан поистине неисчерпаема. Не будет преувеличением назвать Британию страной коллекционеров. Где еще в мире есть столько магазинов, специально предназначенных для филателистов и нумизматов? Но, кроме марок и монет, существует множество, так сказать, «оригинальных жанров» в области коллекционирования, рассчитанных на любой вкус и достаток. Лорд Монтегю, например, увлекается старыми автомобилями начала века. Но, видимо, не меньше горд своей коллекцией его соотечественник, который собирает бляхи носильщиков с названиями

вокзалов на давно закрытых железнодорожных линиях. Ходишь по лондонским рынкам и дивишься эксцентричности подобных увлечений. Вот лоток, возле которого толкуются собиратели наперстков. Рядом продают только корабельные штурвалы и рынды, дальше — только старинные плотницкие инструменты, а там — медные грелки на длинных деревянных ручках, с которыми англичане до недавних пор укладывались под одеяло в своих нетопленных спальнях.

Страна коллекционеров, Британия в еще большей степени является страной садоводов. Это излюбленное хобби и для биржевого брокера и для шахтера, для адвоката и для почтальона. Среди англичан насчитывается свыше 20 миллионов активных садоводов-любителей. Далеко не все они, разумеется, обладают возможностью иметь сад. Часто это просто крохотный палисадник под окном. А уж если нет и его, остается выращивать цветы в ящике на подоконнике.

Садоводство — национальная страсть англичан, ключ к пониманию многих сторон их характера, их отношения к жизни. Сама английская погода, по поводу которой принято так много ворчать, служит, безусловно, лучшим другом садовода, позволяя жителям туманного Альбиона круглый год иметь досуг, куда менее доступный народам других стран.

Благодаря влажному, умеренному климату в Лондоне круглый год зеленеет трава и почти всегда что-то цветет. Так что садовод может не только трудиться на свежем воздухе, но и любоваться плодами своего труда. Розы и хризантемы продолжают цвести в открытом грунте чуть ли не до рождества, и уже в конце февраля о приходе весны напоминают бутоны крокусов и нарциссов.

Таким же важным событием традиционного летнего календаря, как скачки в Эскоте, теннисный турнир в Уимблдоне или гребная регата в Хенли, служит ежегодная выставка цветов в Челси — на нее съезжаются селекционеры-любители со всей страны.

Подчеркивая, что англичане на редкость домолюбивы, порой даже трудно сказать, к чему прежде всего относится эта страсть — к домашнему очагу или к палисаднику под окном. Физический труд в саду, практические навыки в этом деле одинаково чтимы во всех слоях британского общества. Искусство выращивания цветов считается признаком принадлежности к избранному классу. Один латиноамериканский финансист как-то навестил в Лондоне своего знакомого — бывшего британского посла — и был изумлен, что этот видный дипломат, вместо того чтобы нанять себе садовника, собственноручно копался в земле. Но фигура джентльмена, который в макинтоше и резиновых сапогах под дождем работает в саду, подправляя край клумбы, может служить истинным воплощением английского духа.

Наконец, третьим излюбленным увлечением англичан наряду с коллекционированием и садоводством следует назвать домашних животных. Однако их пылкую любовь к собакам и кошкам было бы кощунственно относить к числу хобби. В силу местных особенностей тема эта вторгается в область семейной жизни и потому речь о ней пойдет в следующей главе.

В Англии у людей больше забав, увлечений и интересов вне рутинных повседневных дел, чем у нас, американцев. Процент тех, кто, кроме забот, связанных со своим бизнесом или профессией, имеет какое-то хобби, несравненно выше, чем у нас. Здесь поразительно велико число людей, которые разводят лошадей, или собак, или свиней, или овец, или коров; которые играют в крикет, гольф, теннис или занимаются греблей; которые коллекционируют книги, гравюры, автографы, японские безделушки или фарфор; которые изучают какой-то древний язык или совершают путешествия в неведомые страны; которые увлекаются охотой, рыбной ловлей или ботаникой; которые изучают какую-то область археологии или исследуют корни своего генеалогического древа.

Прайс Кольер (США), «Англия и англичане — с американской точки зрения» (1912).

Садоводство для британца — это больше чем хобби, даже больше чем страсть. Это кодекс моральных ценностей, почти религия. Именно в такие моменты он раскрывает себя и свою подлинную сущность. Именно в саду англичанин отбрасывает свою

тщательно привитую сдержанность, позволяет своей жесткой верхней губе расплыться в улыбку, как бы снимает свой застегнутый на все пуговицы мундир. Его вкусы, его поведение в саду говорят о его личности и характере гораздо правдивее, чем любая автобиография. Он проявляет здесь свою глубокую любовь к природе, которая, на его взгляд, должна быть поправлена и облагорожена как можно меньше.

Энтони Глин (Англия), «Кровь британца» (1970).

СОБАКИ, КОШКИ И... ДЕТИ

Лондонские парки хочется назвать краем непуганых птиц. Их многочисленные пернатые обитатели нисколько не боятся человека. Это особенно заметно в будни, когда людей мало: гордые лебеди устремляются со всех концов пруда к случайному прохожему, а утки даже вылезают из воды и вперевалку ковыляют вслед за ним.

Стоит присесть на скамейку, как к ней тут же слетаются вездесущие космополиты — воробьи, желтоногие скворцы и множество другой пернатой твари, которая тут, в центре Лондона, совершенно беззастенчиво лакомится прямо из человеческих рук. По части попрошайничества с ними активно конкурируют белки: они могут взобраться человеку на колени, даже на плечо, нахально и требовательно заглядывая в глаза.

Не только птицы в парках — любая живность в Англии привыкла видеть в человеке не врага, а друга и благодетеля. Пушистый сиамский кот из соседнего дома, взобравшийся на подоконник нашей кухни, был явно удивлен, когда его ничем не угостили, а прогнали прочь. Даже незнакомая собака, встреченная в лесу, вместо того чтобы залаять, тут же начинает приветливо вилять хвостом.

Если верно, что на свете не сыщешь травы зеленее английской, то еще бесспорнее, что нигде в мире собаки и кошки не окружены таким страстным обожанием, как среди сльвущих бесстрастными англичан. Собака или кошка для них — это любимый член семьи, самый преданный друг и, как порой поневоле начинаешь думать, самая приятная компания.

Когда лондонец называет своего терьера любимым членом семьи, это вовсе не метафора. Французских или немецких студентов обычно поражает, что в английских семьях домашние животные явно занимают более высокое положение, чем дети. Это проявляется и в моральном плане (ибо именно собака или кошка служат центром всеобщих забот) и в плане материальном. Девушка с континента, гостящая в лондонской семье ради практики в языке, с удивлением замечает, что если бульдогу или сеттеру дают хороший мясной ужин, то дети, обедающие в школе, получают вечером лишь кусок хлеба с консервированными бобами да чашку чая.

Австралийские чиновники не могут взять в толк, почему семьи британских эмигрантов готовы пойти на невысказанные хлопоты, связанные с карантинном для своих кошек и собак, вместо того чтобы оставить их в Англии, а в Австралии приобрести других. Однако англичанину подобная мысль попросту не может прийти в голову. Для него это все равно что бросить на произвол судьбы собственное дитя.

Чтобы не задавить щенка или котенка, лондонский водитель без колебания направит машину на фонарный столб или, рискуя жизнью, врежется в стену. Гуляя в дождливый день, англичанин часто держит зонтик не над головой, а несет его на вытянутой руке, чтобы капли не попадали на собаку.

Человеку, который не любит домашних животных или которого, упаси бог, не влюбят они, трудно завоевать расположение англичан. И наоборот. Если приходишь в гости и огромный дог бросается тебе лапами на плечи, не стоит горевать о выпачканном костюме. Англичане убеждены, что собака способна безошибочно распознать характер человека, которого видит впервые. Можно почти не сомневаться, что хозяин разделит как симпатию, так и антипатию своего пса. Если тот же дог вдруг проявит неприязнь к кому-то из гостей, в доме станут относиться к нему настороженно.

Человек, впервые попавший в Англию, отметит, как безупречно воспитаны здесь дети и как бесцеремонно, даже нахально ведут себя собаки и кошки. И с этим хочешь не хочешь — надо мириться. Вот назидательный пример, рассказанный японским диктором из Би-би-си. Пригласив сослуживцев к себе на новоселье, он с удивлением

почувствовал, что после этой встречи английские коллеги стали относиться к нему более холодно, чем прежде. Причина, выясненная лишь много времени спустя, оказалась самой неожиданной: предлагая кому-то есть, японец бесцеремонно выдворил прочь кота, дремавшего в хозяйском кресле (совершить такое в чужом доме было бы вовсе святотатством).

Выступая перед английской аудиторией, мне неоднократно доводилось рассказывать о том, что пережила наша семья во время ленинградской блокады. Слушая о копилках и снарядах, о 125 граммах хлеба и трупях на детских саночках, кто-нибудь всякий раз спрашивал:

— Как же переносили голод кошки и собаки, особенно те, что остались без хозяев? Выдавались ли на них продовольственные карточки?

Рассказывать англичанам о том, как мы с братом ловили одичавших кошек на рыболовный крючок, носили их усыплять в соседний госпиталь, а из освеженных тушек варили суп, можно было лишь с оговоркой, что это избавляло от страданий бездомных животных, обреченных на неминуемую гибель.

Уже в Лондоне я прочел остроумную, меткую и в целом доброжелательную к жителям туманного Альбиона книгу под интригующим заголовком «Люди ли они — англичане!». Ее автор голландец Г. Реньер рассказывает об эксперименте, который он провел, задавая различным группам англичан один и тот же гипотетический вопрос. Путешественник встречает нищего с собакой, умирающих с голоду. В сумке у него один-единственный кусок хлеба, которого никак не хватит на двоих. Кому же его отдать: нищему или собаке? Житель континента в такой ситуации наверняка накормит нищего. Но трудно сказать, как тут поступит англичанин... Реньер ожидал, что ему будут возражать, обвинять его в преувеличении. Но собеседники были на диво единодушны: «О чем тут говорить! Конечно, нужно прежде позаботиться о собаке! Ведь бессловесная тварь неспособна даже попросить за себя!»

Настоятель соседней церкви посетовал мне однажды на своих прихожан: воскресный сбор пожертвований в пользу бездомных собак и кошек неизменно составляет куда большую сумму, чем сбор в пользу беспризорных детей. Я, признаться, усомнился: типично ли это? Решил навести справки. Мой историческо-статистический экскурс выявил две примечательные даты:

1824 год — создание Королевского общества по предотвращению жестокости к животным;

1884 год — создание Национального общества по предотвращению жестокости к детям.

Второе общество родилось, стало быть, на шестьдесят лет позже первого, да к тому же под менее уважаемым именем (в такой стране, как Англия, все «королевское» котируется куда выше, чем «национальное»). А о том, сколь нужна была подобная организация, свидетельствует «Доклад комиссии по детскому труду» 1842 года. Потрясенная им британская общественность впервые осознала тогда, какой ценой далось стране превращение в мастерскую мира, услышала о семилетних детях, по двенадцать часов ползавших на четвереньках в темных штольнях. Первое местное общество для защиты детей от побоев было создано в 1882 году в Ливерпуле в освобожденном помещении дома для бездомных собак.

Национальному обществу по предотвращению жестокости к детям донныне хватает дела. В середине 70-х годов оно ежегодно регистрировало и расследовало 60—70 тысяч случаев жестокости (в 50-х — более чем по 100 тысяч).

Однако Королевское общество по предотвращению жестокости к животным имеет куда более основательную материальную базу: три тысячи местных отделений, добрая сотня клиник, свои ветеринарные госпитали, а главное — штат инспекторов, по докладу которых весьма легко угодить под суд и даже попасть в тюрьму.

Меры против тех или иных форм жестокого обращения с животными — излюбленная тема так называемых частных законопроектов, которые вносятся в парламент от имени отдельных депутатов.

При каждом политическом затишье газеты возобновляют дебаты о том, как положить конец китобойному промыслу, избавить от смерти новорожденных ягнят, чьи

шкурки идут на выделку каракуля, или как уговорить английских туристов бойкотировать бой быков в Испании. Когда в качестве пассажира одного из первых спутников советские ученые отправили в космос Лайку, заранее зная, что она не сможет вернуться на Землю, это вызвало в Британии поистине бурю протестов.

По мнению англичан, многие зарубежные народы (в частности, итальянцы) слишком жестоки с животными и слишком мягки с детьми. Итальянцам же свойственно упрекать англичан как раз в обратном: в том, что они чересчур обожают животных и чересчур суровы к детям.

Во всяком случае, не подлежит сомнению, что любой случай жестокого обращения с животными вызывает в Британии более сильные протесты, чем случаи жестокого обращения с детьми. Проблема эта отнюдь не нова. Диккенс одним из первых привлек к ней внимание в своем романе «Дэвид Копперфилд».

Разумеется, со времен Диккенса многое изменилось. Эксплуатация детского труда запрещена законом. И все-таки не будет преувеличением сказать, что англичане меньше, чем другие народы, стыдятся случаев жестокого обращения с детьми. Факты избиения малолетних осуждаются (а статистика Национального общества по предотвращению жестокости к детям показывает, что число лишь зарегистрированных случаев такого обращения исчисляется десятками тысяч ежегодно), но осуждаются они с упором на то, что это несправедливая или несправедливо суровая мера. Что же касается телесных наказаний в учебных заведениях, то они до сих пор не отменены.

В глубине души англичане убеждены, что родителям лучше быть чересчур строгими, чем чересчур мягкими, что «пожалеть розгу — значит испортить ребенка» (распространенная поговорка). В Британии принято считать, что наказывать детей — это не только право, но и обязанность родителей, что даже если порка травмирует психику ребенка, она в конечном счете идет на пользу и что гораздо больше достойны порицания родители набалованных детей.

Итак, баловать детей — значит, на взгляд англичан, портить их. И самыми разительными примерами таких испорченных детей служат, разумеется, дети иностранцев.

Мне теперь достаточно издали бросить взгляд на семью, гуляющую воскресным днем в Гайд-парке. Если ребенок восседает на плечах у отца или цепляется за подол матери, если он хнычет, чего-то просит, словом, требует внимания к себе, или же если, наоборот, родители поминутно обращаются к детям, то понукая, то одергивая их, — я на сто процентов убежден, что это семья не английская.

В Лондоне с его многонациональным населением подобный контраст особенно бросается в глаза. Привычка итальянских и испанских матерей шумно чмокать и тискать своих малышей, то и дело брать их на руки отнюдь не свойственна англичанам. А об ирландских и еврейских семьях здесь принято саркастически, как о чем-то зазорном говорить, что они не в меру любвеобильны к своим отпрыскам.

Англичане считают, что проявление родительской любви и нежности приносит вред детскому характеру, что лишний раз поцеловать ребенка значит испортить его. В их традициях относиться к детям сдержанно, даже прохладно. Такой подход к воспитанию заставляет родителей обуздывать свои чувства, а детей — волей-неволей свыкаться с этим. Даже коляска с младенцем принято ставить так, чтобы плач его не был слышен матери и не рождал у нее соблазна подойти к ребенку и успокоить его.

В Холланд-парке, неподалеку от дома, где я живу, есть детская площадка. Там можно ходить по бревну, лазать по канату, взбираться по вантам на корабельную мачту, сидя съезжать с крутой горки. Перед входом на площадку красуется неожиданная, на взгляд москвича, надпись: «Взрослым вход воспрещен». Надпись эта, судя по всему, адресована иностранцам, которых вокруг обитает довольно много. Это им нужно напоминать, что естественная потребность детворы карабкаться, взбираться, съезжать и прыгивать способствует формированию самостоятельности и что если мальчуган сорвется и заработает пару синяков, он извлечет для себя поучительный урок на будущее.

Если наши матери подчас одергивают детей без нужды, то англичанки избегают вмешиваться в их поведение, даже когда это, казалось бы, необходимо. Помню молодую мать, сидевшую с книгой на соседней скамейке. Ее старший сын лет четырех маршировал в резиновых сапожках вдоль и поперек по луже. Причем шлепал так, что

брызги летели не только на его куртку, но и на годовалого брата-ползунка, которого высадили из коляски и поставили стоять у скамейки. Когда этому еще не научившемуся ходить малышу надоело делать шаги влево и вправо, держась за скамейку, он уселся на сырую землю, начал размазывать по себе грязь, а потом на четвереньках полез в лужу. Я следил за этой сценой затаив дыхание и, видимо, с выражением ужаса на лице, потому что женщина, оторвав на секунду глаза от детектива Агаты Кристи, улыбнулась мне и сказала:

— Просто удивительно, до чего они всегда любят лезть в самую лужу...

И после этого невозмутимо продолжала читать.

Важно подчеркнуть, однако, что подобное отношение к детям отнюдь не означает, что они растут в атмосфере вседозволенности. Напротив, дисциплинирующее воздействие родителей оказывается на них уже с очень раннего возраста. Но оно четко нацелено против определенных задатков и склонностей, которые считается необходимым беспощадно подавлять. Если ребенок вздумает мучать кошку или собаку, если он обидит младшего или нанесет ущерб чужому имуществу, его ждет суровое, даже жестокое наказание. Однако внутри ясно обозначенных границ запретного дети свободны от мелочной опеки и стороннего вмешательства, что приучает их не только к самостоятельности, но и к ответственности за свои поступки.

Едва научившись ходить, английский ребенок уже слышит излюбленную в этой стране фразу: «Возьми себя в руки!» Его с малолетства отучают лнуть к родителям за утешением в минуты боли или обиды. Детям внушают, что слезы — это нечто недостойное, почти позорное. Малыш, который плачет потому, что ушибся, вызывает откровенные насмешки сверстников и молчаливое неодобрение родителей. Если ребенок свалится с велосипеда, никто не бросится к нему, не проявит тревоги по поводу кровавой ссадины на колене. Считается, что он должен сам подняться на ноги, привести себя в порядок и, главное, ехать дальше.

Поощряемый к самостоятельности, английский ребенок мало-помалу свыкается с тем, что, испытывая голод, усталость, боль, обиду, он не должен жаловаться, беспокоить отца или мать по пустякам. Ему надо действительно серьезно заболеть, чтобы решиться сказать об этом родителям.

Английские дети и не ждут, что кто-то будет кудахтать над ними, потакать их капризам, окружать их неумеренной нежностью и лаской. Они понимают, что живут в царстве взрослых, где им положено знать свое место, и что место это отнюдь не на коленях у папы или мамы.

Независимо от семейных доходов одевают детей очень просто — младшие донашивают то, что когда-то приобреталось для старших. А в восемь часов не только малышей, но и школьников безоговорочно и бескомпромиссно отправляют спать, чтобы они не мешали родителям, у которых на вечер могут быть свои дела и свои планы. Детей до пятилетнего возраста сажать за общий стол вообще не принято, даже когда в доме нет гостей.

Однажды мы с женой гостили на севере Англии в семье преподавателя русского языка. Супруги проходили практику в СССР, неплохо знали наш быт и учили говорить по-русски своего шестилетнего сына.

— Ну-ка, Тони, иди сюда. Расскажи нам, как ты себя ведешь, как ты кушаешь? — обратилась к нему моя жена.

Эта привычная нам фраза заставила хозяев весело смеяться.

— Нас всегда удивляло и даже забавляло, — говорили они, — что в представлении советских родителей хорошо кушать — значит, хорошо себя вести. Если ребенок вышел из младенческого возраста и может сам держать ложку, английской матери вряд ли придет в голову обращать внимание на его аппетит. Как и сколько он ест — его дело. Тем более что дети, как правило, съедают все, что им дают, ведь их куда чаще недокармливают, чем перекармливают...

Действительно, англичанам свойственно считать голод одним из рычагов воспитания. эффективным средством закалки воли и формирования твердого характера, равнодушию к лишениям и невзгодам. Предполагается, что обладатель подобных качеств должен быть худощавым, поджарым. И подчас кажется, что английских родителей больше всего беспокоит, как бы их дети не переели.

Когда итальянская мать хочет похвалиться своим ребенком, она с гордостью показывает его пухленькие ручки и ножки. Но при виде их английская туристка с трудом скроет неодобрительную гримасу. Пухлый ребенок считается здесь перекормленным и нездоровым. А полные дети — поистине несчастные существа в условиях английской школы. Их не только дразнят, но, прямо сказать, травят. В Лондоне редко увидишь не то чтобы полного, а действительно упитанного ребенка, а если и бывают исключения, то, как правило, не в английских семьях.

Пищу для размышлений дает и такой парадокс. Англичане большие сластолюбивы, причем бросается в глаза, что реклама шоколада или конфет адресована в этой стране не детям, а именно взрослым. Чтобы подобное пристрастие не повлияло на стройность фигуры, мужчинам и женщинам на каждом шагу внушают есть больше овощей и фруктов, исключая из рациона хлеб и мучные изделия. Однако когда речь заходит о детях, которым тоже полагается быть худощавыми и стройными, никто уже не вспоминает о витаминах и соках и упор делается на «простую», то есть преимущественно мучную пищу.

В стране Оливера Твиста детей отнюдь не балуют в смысле лакомств. Телевизионная реклама куда чаще, чем мороженое или леденцы, восхваляет консервированный корм для кошек и собак. И если содержание домашних животных — неприкосновенная статья в семейном бюджете, то экономить на питании детей считается вполне допустимым.

Английские школьники возвращаются домой в половине пятого. Многие из них весь день имеют горячую пищу только в школьной столовой. Прославленный английский завтрак из овсяной каши и яичницы с беконом сохранил свое существование в большинстве семей лишь в выходные дни. Матери туманно полагаются на то, что дети как следует обедают в школе. Но нередко бывает, что подросток предпочитает не передавать по назначению плату за школьные обеды, а оставляет эти деньги себе на карманные расходы.

И все-таки взгляд на то, что голод не только воспитывает характер, но и идет на пользу детскому организму, по-прежнему преобладает, как и представление о том, что полный ребенок — это испорченный ребенок, которого родители должны стыдиться. Худощавость же служит признаком и крепкого здоровья и хорошего воспитания.

Набалованные дети, которые постоянно требуют внимания к себе, то и дело чего-то просят или на что-то жалуются, — большая редкость в английских семьях. Ребенок здесь, повторяю, с малолетства сознает, что окружающий его мир — это царство взрослых. Он привык быть предоставлен самому себе и как можно реже напоминает родителям о своем существовании. Пока дети растут дома, их не должно быть слышно. А со школьного возраста их в идеале не должно быть и видно. Это характерная черта английского уклада жизни. Непосредственное влияние родителей в воспитании школьников и тем более студентов сказывается здесь куда меньше, чем в других странах. Считается, что давняя традиция отсылать детей учиться подальше от дома отражает не суровость родительского сердца, а, наоборот, боязнь, что оно окажется слишком мягким. По мнению англичан, дети ведут себя среди чужих людей лучше, чем под родительским кровом, скорее приучаются стоять на собственных ногах.

Для состоятельных родителей главные заботы и волнения сводятся к тому, чтобы устроить сына в «подобающую школу», то есть в частный интернат. Это требует расходов, связей, хлопот. Но с благополучным зачислением подростка родители как бы откупаются от дальнейших забот о его воспитании.

Однако платой за такое раскрепощение неизбежно становится отчуждение собственных детей. Проводя большую часть года лишь в окружении своих сверстников и воспитателей, лишаясь возможности регулярно общаться с родителями на семейной основе, дети начинают чувствовать себя как бы чужими в доме. Приезжая на каникулы, они относятся к отцу и матери, к братьям и сестрам почтительно и вежливо, но подчас тяготятся родительским кровом и с облегчением возвращаются в интернат.

В рабочих семьях, которым не по карману частные школы, дети растут ближе к родителям. Но и тут они чувствуют себя в царстве взрослых, отнюдь не являясь центром семейных забот. Уже говорилось, что английские школьники приходят домой в половине пятого. И этот продленный день, как бы его у нас назвали, существует преж-

де всего для удобства родителей. По той же самой причине в английских школах нет, как у нас, продолжительных летних каникул. Детей было бы попросту некуда девать, ибо у многих из них работают не только отцы, но и матери. А летние лагеря и дачи здесь такие же неведомые понятия для детей, как дома отдыха и санатории для взрослых. Трудовая семья имеет, как правило, лишь двухнедельный отпуск и проводит его, снимая комнату где-нибудь на побережье или в сельской местности.

И наконец, еще одна примечательная черта английского уклада жизни. Дети часто покидают здесь родительский дом даже раньше того, как женятся или выйдут замуж. Будучи любителями птиц, англичане сложили на сей счет поговорку: птенцов нужно выкидывать из гнезда, чтобы они быстрее выучились летать.

Независимо от доходов родителей и независимо от того, есть ли практическая нужда в переезде, юноши и девушки после завершения среднего образования, то есть в шестнадцатилетнем возрасте, обычно поселяются отдельно и начинают жить самостоятельной жизнью. Они, разумеется, навещают родителей в выходные дни и уж непременно на рождество или пасху, но отпуск, как и вообще свой досуг, проводят не с родственниками, а с друзьями.

При этом хочется отметить еще один парадокс, или, вернее сказать, компромисс, попирающий незыблемые каноны частной жизни. Обычай обитать под одной крышей грем поколению сразу, свойственный большим патриархальным семьям в Японии или Италии, где дети привыкли жить на людях, в той же комнате, что и родители, а еще чаще с бабушкой или дедушкой, представляется англичанам немыслимым и недопустимым посягательством на неприкосновенность частной жизни. Английские дети со школьного возраста имеют, как правило, свою комнату. Однако те самые подростки, которые, как принято считать, не могут жить вместе с другими членами семьи, ничуть не страдают от казарменного быта в школах-интернатах и преспокойно уживаются со своими сверстниками, деля с ними кров после того, как они покинули родительский дом.

Страна, где собаки не лают, а дети не плачут,— так хочется порой назвать Англию на основе первых впечатлений. Позднее понимаешь, что это сходные следствия разных причин. Не следует думать, что собаки тут слишком выдрессированы, чтобы лаять, а дети слишком окружены заботой, чтобы иметь повод заплакать. Вернее, пожалуй, сказать, что дело обстоит как раз наоборот.

Впору, однако, задать вопрос, не связаны ли между собой две своеобразные черты характера англичан, проявляющиеся в отношении к домашним животным и в отношении к детям? Преувеличенная любовь к «бессловесным друзьям», видимо, свойственна им по той самой причине, по которой питают особую страсть к собакам и кошкам старые девы. Вынужденные подавлять или маскировать открытые проявления любви и нежности друг к другу, родители и дети поневоле делают неким эмоциональным громоотводом домашних животных.

Если бы домашние животные — бессловесные грузья англичан — вдруг были наделены гаром речи, им было бы не на что пожаловаться. Во всяком случае, нет сомнения, что доживать свой век в нужде куда чаще приходится в Англии престарелым людям, чем кошкам и собакам.

Страна, которая все еще нуждается в существовании Национального общества по претовращению жестокости к детям, вряд ли вправе преклоняться перед животными. Впрочем, джентльменам, которые делят свое время между псовой охотой на лисиц и заседаниями Королевского общества по претовращению жестокости к животным, не свойственно пристрастие к логике. Английские публичные школы не выщипывают Гамлетов.

Г. Реньер (Голландия), «Люди ли они — англичане?» (1932).

Существует заблуждение о том, что англичане добрее и вообще милосерднее, чем другие народы. Многие англичане — и среди них прежде всего женщины, — охотно воспринимающие эту легенду, думают прежде всего о лошадях, собаках и кошках, но вовсе не о людях и отнюдь не о детях. Жестокость из давня была, да и поныне, пожалуй, остается чертой, присущей характеру англичан.

Джон Б. Пристли (Англия), «Англичане» (1973).

Чтобы познать англичан, видимо, лучше быть зоологом, чем психологом. После большого снегопада диктор не преминет объявить по радио: «Не забудьте, что птицам стало труднее добывать корм. Разбросайте возле дома хлебные крошки». В лесах вокруг Лондона то и дело видишь кормушки для птиц и белок. Однако в зимнее ненастье вряд ли кто вздумает объявить по радио: «Вспомните о бездомных под мостом Чэринг-кросс». Когда учителя ломают розги о спины школьников, им никто не говорит ни слова. Но если ударить собаку, которая вас укусила, можно оказаться в тюрьме.

Пьер Данинос (Франция), «Майор Томпсон и я» (1937).

ОДИНОКИЕ ДЕРЕВЬЯ

Оправданна ли английская система воспитания? Идет ли она в конечном счете на пользу психологии и характеру детей? На сей счет могут быть разные мнения. Но вряд ли вызовет споры вывод о том, что система эта не проходит бесследно для самих родителей. Подавлять естественные проявления чувств к собственным детям, сдерживать душевные порывы уздой самоконтроля — все это неизбежно влечет за собой различные последствия, наиболее очевидной и безвредной из которых является страсть к домашним животным.

В родительском сердце кто-то должен занять место отчужденных детей. Чувства эмоциональной привязанности должны получить какую-то отдушину. Ведь если нежность к собственному ребенку не принято открыто выражать даже наедине с ним, то самое бурное и необузданное проявление любви к собаке даже на людях не считается зазорным. Но может ли пристрастие к домашним животным служить равноценной заменой?

Думается, что сознательное охлаждение родительских чувств, преднамеренное ужесточение сердец к собственным детям сказывается в конечном счете и на других формах личных отношений в семье, включая отношения между мужем и женой. Возводя в культ понятие частной жизни, независимости и самостоятельности человека, который должен полагаться лишь на свои силы, англичане обрекают себя на замкнутость и стало быть, на одиночество.

Крепостные стены для защиты от непрошенных вторжений не только опоясывают домашний очаг, но и разделяют его обитателей. Если японская семья замкнута для посторонних, то английская семья замкнута еще и внутри — каждый из ее членов куда больше сохраняет неприкосновенность своей частной жизни. Словом, душа англичанина — это его крепость в не меньшей степени, чем его дом.

Англичанин традиционно чурается излишней фамильярности, избегает проявлений душевной близости. В его духовном мире существует некая зона, куда он не допускает даже самых близких. Между личностью и семьей в Англии существуют, пожалуй, более высокие барьеры, чем между семьей и обществом.

Муж и жена здесь меньше вмешиваются в дела друг друга, чем это обычно свойственно супружеским парам в других странах. Внутрисемейную атмосферу отличает сдержанность как своего рода самооборона от чрезмерной фамильярности. Но если открытые проявления симпатий подавляются, то так же подавляются и знаки раздражения, обиды, гнева. В английских семьях почти не бывает шумных сцен, а стало быть, и демонстративных примирений. Там, где супружеская пара в другой стране предпочла бы добрую ссору, которая, подобно грозе, разрядила бы атмосферу и прояснила какие-то претензии или подозрения, англичане постараются как бы не замечать, игнорировать повод для размолвки.

Для англичан обычно существует два ярлыка: их принято считать либо по-детски сентиментальными, либо бесчувственно невозмутимыми. Истина лежит, пожалуй, ближе к первому из этих стереотипов. Англичане болезненно чувствительны к обиде, но эту черту они глубоко прячут от окружающих. Вместо того чтобы возмутиться, поднять шум, устроить сцену, они предпочтут затаить обиду в сердце. А поскольку не было ссоры — не может быть и примирения, так что разлад остается безмолвным, скрытым и бесконечным.

Не удивительно, что главными человеческими достоинствами в супружеской жиз-

ни три четверти англичан назвали понимание, тактичность, предупредительность, а главной помехой для нее свыше половины опрошенных сочли плохой характер. Эти данные, основанные на результатах авторитетного социологического исследования, приводит автор книги «Английский характер» Джеффри Горер. При всей относительности любых анкетных опросов результаты их во многом показательны. Горер, в частности, обобщил мнение тысяч опрошенных о том, какие качества они ценят в своих супругах выше всего. Отвечая на вопрос о мужьях, 33 процента английских жен назвали понимание, 28 — заботливость, 24 — юмор, 23 — честность, 21 — верность, 19 — щедрость, 17 — любовь, 14 — терпимость. По мнению английских мужей, жена прежде всего должна быть хорошей хозяйкой (29 процентов), за чем непосредственно следуют такие качества, как уживчивый характер (26), понимание (23), любовь (22), верность (21), внешность (21), умение готовить (20), ум (18).

С другой стороны, английские мужья больше всего осуждают в своих женах такие черты, как сварливость (29 процентов), глудость (24), сплетничанье (21), мотовство (17), эгоизм (16). Жены же считают наиболее нетерпимыми недостатками мужей эгоизм (56 процентов), недостаток ума (20), инертность, нежелание помогать жене по дому (18), неопрятность (17), нечестность (16).

Приведенные цифры дают пищу для размышлений. Они, во-первых, позволяют судить о слагаемых хорошего характера в представлении англичан. Во-вторых, они выявляют главенство этических критериев счастливого брака над эмоциональными: отметим, что ни любовь, ни верность не оказались на первых местах ни в одном из списков.

В целом английский образ жизни акцентирует нормы подобающего поведения, что, конечно, трудно совмещается с распущенностью нравов. Любовные интриги, супружеские измены — всего этого в беседах попросту не принято касаться. Не потому, что разговоры о сексе считаются непристойными. Англичане уклоняются от них по той же причине, по которой избегают говорить со знакомыми о своих делах и доходах. Привлекать внимание к любовным похождениям своим или чужим в Лондоне столь же неуместно, как хвастаться новой автомашиной или интересоваться, сколько собеседник зарабатывает. В представлении англичан область интимных отношений — как внутри семьи, так и вне ее — лежит по другую сторону священных рубежей частной жизни.

В представлении японцев, итальянцев и многих других народов семья — это как бы гавань, откуда человек отправляется в самостоятельное плавание и куда он вновь возвращается во время жизненных бурь. Англичане же не рассчитывают на поддержку со стороны близких родственников в случае каких-либо трудностей, но, с другой стороны, не испытывают по отношению к ним чувства долга или ответственности. Это, впрочем, скорее английская, чем британская черта, менее присущая многосемейным ирландцам, а также шотландцам с их кланами.

Семейные связи, понятие родственного долга ослаблены в Англии правом первородства. Все имущество (а в аристократических семьях и титул) издавна переходит по наследству одному лишь старшему сыну. Его остальные братья и сестры в принципе не получают ничего и должны устраивать свою судьбу самостоятельно. Не в пример французам или немцам англичане всегда меньше заботились о приданом для дочерей. Родители здесь и теперь редко делают какие-либо сбережения специально для того, чтобы впоследствии предоставить их потомству. Они прежде всего стремятся обеспечить детям хороший старт в жизни и выталкивают птенцов из гнезда, как только чувствуют, что они могут учиться летать самостоятельно.

Примечательно, что в японской семье, где также существует право первородства, дело обстоит совершенно иначе. Отчий дом, а на селе семейный надел играют там роль некоего страхового фонда, к которому при необходимости вправе обращаться все родственники. Целиком наследуя отцовское имущество, старший сын одновременно принимает на себя роль и ответственность главы семьи, причем не только по отношению к престарелым родителям, но и к младшим братьям. Если кто-то из них остался без работы, он может рассчитывать, что его жену и детей всегда приютят в родительском доме.

В Англии же сама идея о том, чтобы несколько поколений жили под одной крышей, представляется совершенно не совместимой с канонами частной жизни. Английские бабушки могут очень любить своих внуков, они с удовольствием будут угощать

их по субботам и воскресеньям, они охотно возьмут их к себе на пару недель во время отпуска родителей. Но они никогда не согласятся быть для них постоянными бесплатными няньками, слишком ценя свою независимость.

Английская семья меньше ограждает ребенка от внешнего мира. И влияние родителей, стало быть, сознательно уступает свой приоритет влиянию социальной среды. Ребенка воспитывают так, чтобы он чувствовал себя в компании своих сверстников и наставников в такой же степени дома, как в собственной семье. Он с малолетства чувствует себя не только самостоятельной, но и социально ответственной личностью.

Английский подросток обычно обладает меньшим багажом знаний, но большим опытом человеческих взаимоотношений, большим умением вести себя в обществе взрослых, чем его зарубежные сверстники. Его подчиненность собственной семье меньше связывает его. Но зато он полнее сознает свои права и обязанности в собственном социальном окружении. Если умственное и эмоциональное развитие молодого англичанина, возможно, идет медленнее, чем у юношей в других странах, он, как правило, бывает раньше подготовлен к участию в общественной жизни, лучше оснащен необходимыми для этого навыками.

Англичанам присущ практический подход к морально-этическим проблемам. Другими словами, им свойственно вкладывать сугубо практический смысл и в такие вопросы, которые у других народов рассматриваются только в духовном плане. Школа, религия, правосудие — все эти силы делают в Британии упор на поведение человека, а не на его побуждения, все они направлены прежде всего на утверждение определенных общественных норм.

Английская система воспитания ставит во главу угла характер, а не интеллект. Причем считается, что о характере человека общество судит по его поступкам, а не по его взглядам. Отсюда та роль, которую английская школа придает воспитанию норм поведения.

Примечательно, что не столько на духовную, сколько на нравственную сторону религии делает упор и английская церковь. Она прежде всего стремится воздействовать не на личное сознание людей, а на их поведение. Она считает, что утверждение моральных норм — более действенный путь к совершенствованию человека, чем такие средства воздействия на личность, как, например, исповедь у католиков.

Не будет преувеличением сказать, что Англия является христианской страной главным образом в этическом смысле, где роль религии во многом подобна той, какую играет конфуцианство в Китае или Японии. Хочется подчеркнуть, что сходство это подметил еще не кто иной, как Джон Голсуорси. В своей трилогии «Конец главы» он писал: «Большая часть английской привилегированной касты не христиане, а конфуцианцы: вера в предков и традиции, почтение к родителям, честность, сдержанность в обращении, мягкость с животными и подчиненными, непритязательность в жизни и стойкость перед лицом болезни и смерти».

Стражем общепринятой этики служит в Британии и правосудие. Как и само общество, оно исходит в своих оценках только из поступков, а не из побуждений. Если адвокат будет строить защиту обвиняемого на объяснении мотивов или обстоятельств, которые толкнули его на подобный шаг, он вряд ли выиграет дело в Лондоне, где куда надежнее исходить из какого-то сугубо технического пункта закона.

Насыщенные о терпимости англичан, многие иностранцы ошибочно трактуют ее как способность одного человека понять побуждения и тем самым оправдать действия другого. На деле же англичане понимают под терпимостью невмешательство в чужую частную жизнь, предполагая в свою очередь, что каждый должен так же уважать частную жизнь окружающих.

Воспитание социальной ответственности считается в Британии важной частью формирования человеческого характера. С детства привыкший не замыкаться в семейной атмосфере, англичанин уверенно чувствует себя на общественном поприще, вступая на него естественно, без усилий. Навыки общественно-политической деятельности даются ему не в результате какой-то специальной тренировки. Они приходят к нему сами, из его собственного жизненного опыта как благодаря направлению английского образования, так и благодаря широкому распространению различных форм добровольного труда.

Общественная жизнь в Англии замешана на дрожжах любительства. В ее основе лежит традиционное представление, что всякий человек, помимо основных дел или занятий, обязан отдавать часть своего времени и сил какой-то деятельности, лежащей вне его личных, грубо говоря, своекорыстных интересов.

Вера в ценность добровольного труда на общественных началах глубоко присуща англичанам; и такого рода деятельность весьма распространена, многообразна и уважаема. Англичане, по их словам, гораздо охотнее берутся за любое дело, если видят в нем не служебную обязанность, а общественный долг, так сказать, «социальное хобби».

Многие виды социальных услуг организуются в стране на добровольных началах и осуществляются безвозмездно. В свое время это касалось и народного просвещения, когда на пожертвования состоятельных людей открывались школы для сирот. Такими же методами были созданы первые бесплатные больницы для нуждающихся.

Самая распространенная черта общественной деятельности в Британии — это комитеты, которые создаются буквально по любому поводу. Трудно встретить англичанина, который не стремился бы учредить комитет или стать членом комитета содействия чему-то, а еще чаще против изменения чего-то. Именно здесь совершенствуются навыки общественно-политической деятельности, заложенные чуть ли не со школьной скамьи. Бесчисленные комитеты, общества, ассоциации служат ареной предложений, отводов, компромиссов, голосований, докладов меньшинств, предвыборных соглашений. Именно здесь немногословная нация сполна отводит душу в словопрениях.

Умение излагать и отстаивать свои взгляды публично, не теряться перед большой и даже недружественно настроенной аудиторией присуще представителям всех классов британского общества. При этом англичане настороженно относятся к ораторской риторике, к людям, которые говорят слишком цветисто и гладко, а больше всего ценят непринужденность и простоту изложения.

Своеобразная черта общественно-политической жизни в Британии — это как бы ее естественность. Несмотря на обилие традиционных ритуалов, которые прежде всего бросаются в глаза иностранцу, англичанин не считает политику и повседневность чем-то раздельным, изолированным друг от друга. Политика у него, что называется, в крови. В парламентской атмосфере он целиком чувствует себя в своей тарелке. Когда впервые попадаешь в палату общин, больше всего поражает не парик спикера, а какая-то неофициальная, почти домашняя атмосфера дебатов.

Если в личном плане англичане в противоположность японцам возводят в культ независимость и самостоятельность человека, освобождая его от бремени родственного долга, то в общественном плане англичане, точно так же как и японцы, дорожат чувством причастности. Наряду с общественным началом их натуре свойственно желание принадлежать к небольшой, избранной группе людей с аналогичными интересами, взглядами или стремлениями.

Эта жажда причастности, которую на первый взгляд вроде бы трудно совместить с индивидуализмом, видимо, во многом порождена разобщенностью семьи. Это форма бегства от одиночества, на которое волей-неволей обрекает англичан их культ частной жизни. Если семья перестает быть центром человеческого общения, остается полагаться на круг людей, которых объединяет то ли общий интерес к коллекционированию марок, то ли общие воспоминания о школе, то ли общее стремление не допустить строительства химического завода на берегу живописного озера.

В Лондоне часто слышишь, что если француз склонен мыслить категориями семьи и государства, то более привычными координатами для англичанина служат личность и общество.

Чувство личной независимости — важный фактор человеческих взаимоотношений в Британии. Не только друзья и родственники — даже родители и дети не чувствуют себя связанными долгом или ответственностью друг перед другом. Такое отсутствие моральных обязанностей являет собой полную противоположность японскому образу жизни с его понятиями долга признательности и долга чести, с его неразрывными путями общинных связей. Дело тут не в пережитках феодальной патриархальщины. И в Соединенных Штатах человек постоянно испытывает на себе различные формы морального нажима со стороны родственников, соседей, сослуживцев и подчас вынужден подчинять им свое поведение. В Англии же личные склонности и даже личные странности

людей не вызывают противодействия со стороны окружающих. Невмешательство в частную жизнь друг друга, невмешательство, которое, конечно, строго обоюдно,— вот краеугольный камень английской этики.

Однако такая раскрепощенность от родственного долга, от бремени моральных обязательств имеет, разумеется, свою оборотную сторону. Это палка о двух концах, одна из главных причин той отчужденности, на которую человек бывает столь часто обречен в Англии. Из-за того, что детей принято поселять отдельно, родителям приходится доживать свой век в одиночестве, а порой и в забвении. Эти одинокие старики, беспомощные в случае болезни и беззащитные перед лицом инфляции, старики, щепетильная гордость которых заставляет их скрывать от детей свою нужду и лишения, представляют собой одну из самых мучительных социальных проблем современной Британии. Проблема эта, разумеется, присуща и другим странам. Но здесь она особенно остра именно из-за предубеждения, что дети не несут ответственности за судьбу престарелых родителей и что с ними достаточно встречаться лишь раз-другой в год, на рождество или пасху.

Может быть, именно английский подход к воспитанию детей и породил нацию индивидуалистов? Когда у человека с малолетства развивают чувство самостоятельности, когда ему внушают, что он не должен рассчитывать на других, он учится полагаться на самого себя. Одних такая система воспитания действительно закаляет, помогает им потом сносить любые невзгоды. Другим же она подчас калечит жизнь. Люди тут нередко жалуется, что испытывают неловкость и натянутость в отношениях с собственными детьми. Поскольку никто не поощрял их к искренности, к душевному контакту, они не смогли воспитать этих качеств и в следующем поколении.

Англичане любят повторять изречение Черчилля: если одинокое дерево выживает, оно вырастает крепким. Но все ли такие деревья выживают? Почему столь неизменным успехом пользуется у читателей газетная рубрика «Одинокие сердца»? Откуда в Лондоне столько бюро знакомств, клубов для неженатых, брачных контор с их газетными объявлениями и компьютерами? Словом, откуда столько разнообразных и, судя по их числу, бесполезных средств борьбы с одиночеством?

Американцев, попадающих в Англию, поражает, что это страна мужчин. (Погобным же образом англичане, посещающие Америку, поражаются тому, что это страна женщин.) Эта страна, послушная привычкам, удобствам и капризам мужчин, а не женщин. Здесь, как и в мире птиц, в ярком оперении щеголяет самец. Мужчины в этой стране наряжаются, женщины же лишь одеваются. Чтобы судить о процветании семьи, здесь скорее посмотрят на мужа, чем на жену.

В Англии уклад жизни прежде всего имеет в виду удобства мужчины, что в равной степени относится и к бедным и к богатым, ко всем слоям общества. В Америке уклад жизни прежде всего имеет в виду удобства женщин.

Английские мужчины проводят больше времени с мужчинами как в делах, так и в увлечениях, которым они посвящают свой досуг, чем это делают американцы. Американка ожидает, требует и получает больше внимания со стороны мужчины, чем англичанка. Сыну в английской семье с малолетства отдается предпочтение перед дочерью. Его воспитанию уделяется больше энергии и сил, на него затрачивается больше средств. В результате английские мужчины с детства привыкают считать себя обладателями особых прав и привилегий по сравнению с женщинами. Атмосфера английской семьи предполагает, что девочки смотрят на мальчиков снизу вверх, и большинство англичанок уже никогда не избавляются потом от этой привычки.

Прайс Кольер (США), «Англия и англичане — с американской точки зрения» (1912).

Когда парижский ажан делает выговор девушке за рулем, нарушившей правила уличного движения, он ведет себя с ней иначе, чем с мужчиной. Когда парижский продавец помогает покупательнице выбрать перчатки, он выражает к ней свое отношение как к женщине. Англичанин же способен думать лишь о чем-то одном — либо о выговоре, либо о перчатках, либо о любви и никогда не смешивает одно с другим.

Пьер Данинос (Франция), «Майор Томпсон и я» (1957).

Уважение к частной собственности побуждает мужчин в Лондоне с уважением относиться к чужим женам. Здесь, конечно, имеют место супружеские измены. Но в целом и чаще всего к замужним женщинам в Лондоне проявляется куда более осмотрительное отношение, чем где-либо еще. Флиртовать с ними попросту не принято. Это неспортивно, это противоречит правилам, это попросту не крикет. А играть по правилам — основной принцип поведения в Лондоне.

Муж, которому наставили рога, никогда не становится в Англии предметом насмешек, как это бывает в соседних странах. Он, в конце концов, стал жертвой обмана в том, что ему принадлежит. А когда дело касается преступлений против собственности, шутки в Англии считаются неуместными.

Уолтер Генри Нэлсон (США), «Лондонцы» (1975).

Англичане отличаются от американцев большей независимостью в личных привычках. Не только уклад, но и физические условия жизни в Соединенных Штатах имеют тенденцию как бы стричь всех под одну гребенку. Англичанин недоуменно раскроет глаза, если ему предложат в чем-то отказаться от его привычек, ссылаясь на то, что все другие поступают иначе. Американец же в подобной ситуации будет склонен уступить, хотя так называемые общие склонности на поверку часто отражают чью-то личную корысть. Англичанин инстинктивно сопротивляется любой попытке посягнуть на его независимость. И ничто, пожалуй, не способно вызвать больших возражений с его стороны, чем довод, что другие думают иначе.

Фенимор Купер (США), «Англия: зарисовки об обществе и городах» (1837).

Британцы, наверное, самый одинокий народ в мире. Многие из них живут в одиночестве физически. Другие даже у себя дома или в школе одиноки эмоционально и духовно. Это страна, где разрыв между поколениями не только признается, но и одобряется, где человеку некому открыть душу, кроме как занятому доктору или автору колонки «Одинокие сердца» в местной газете.

Энтони Глин (Англия), «Кровь британца» (1970).

ЗАКОНОПОСЛУШНЫЕ ИНДИВИДУАЛИСТЫ

Когда живешь среди англичан, на каждом шагу убеждаешься, что они, во-первых, на редкость законопослушный народ и, во-вторых, заядлые индивидуалисты. Как же сочетаются в их национальном характере две такие, казалось бы, несовместимые черты?

Думается, что ключ к этому парадоксу, более того — ключ к пониманию английской природы вообще нужно искать в словах «правила игры», в той особой смысловой нагрузке, которую они несут на Британских островах. Англичанам присуще смотреть на нормы поведения как на своего рода правила игры. Спортивная этика служит стержнем их общественной морали.

Хотя олимпийский факел был впервые зажжен в древней Греции, именно Англия, по существу, явилась родиной современного спорта. Об этом напоминает вся международная спортивная терминология, которая, можно сказать, от старта до финиша заимствована из английского языка, включая, кстати, и слово «спортсмен».

В «Ветке сакуры» я попытался начать распутывать клубок противоречивых черт японского национального характера с главы «Религия или эстетика?». В рассказе об англичанах подобную же роль могла бы сыграть глава «Религия или спорт?». Заимствовав из спортивной этики такие понятия, как честная игра, командный дух, умение проигрывать, англичане придали им характер моральных критериев, основ подходящего поведения. Они привыкли уподоблять систему человеческих взаимоотношений правилам игры.

Жизнь, считают англичане, — это игра, как теннис или футбол. И каждый участник ее должен признавать и соблюдать определенные правила. Даже если они выглядят устаревшими, запутанными, нужно подчиняться им, иначе игра теряет смысл. Тенни-

сист. получает удовольствие не только потому, что отбивает мяч ракеткой, но и потому, что существует сетка и что границы площадки четко очерчены.

Как в спорте, так и в жизни правила следует безоговорочно соблюдать, а нарушителей их строго наказывать. Однако в рамках этих правил человек должен чувствовать себя так же раскованно, как игрок в пределах площадки.

На зеленых английских лугах круглый год привольно пасутся стада коров и овец, которым неведом кнут пастуха, так как свободу их ограничивает лишь живая изгородь. Этим в представлении англичанина породистый домашний скот отличается от диких зверей. И этим же, на их взгляд, то есть правами в рамках правил, личной свободой в пределах общественного порядка, цивилизованный человек отличается от дикаря.

Такова, стало быть, заимствованная из спорта концепция общественной морали, позволяющая сочетать в английском национальном характере, с одной стороны, законопослушность, а с другой — индивидуализм. Понятие правил и понятие прав англичане воспринимают как некое органическое, нерасторжимое целое.

«Бог и мое право» — гласит девиз на британском государственном гербе (по давней традиции он до сих пор пишется по-французски, на языке Вильгельма Завоевателя). Что касается бога, то англичане вряд ли более религиозны, чем их соседи за Ла-Маншем, скорее наоборот. Но вот обостренное сознание собственных прав действительно можно назвать английской национальной чертой.

Чтобы вести себя должным образом, гласит английская мораль, человек должен хорошо знать как касающиеся его правила, так и принадлежащие ему права. И осведомленность англичан в каждой из этих областей поистине поразительна.

Оказавшись в новой, непривычной обстановке, англичанин прежде всего стремится сориентировать себя относительно действующих в ней правил. Впервые переступив порог школы, фирмы, клуба, парламента, он думает не о том, как привлечь к себе внимание каким-то своеобразным поступком, а о том, как вписаться в сложившийся там порядок. Иными словами, он видит свою цель не в том, чтобы выделиться, а в том, чтобы уподобиться.

Новобранец начинает службу в армии с лекции о правилах поведения, которые касаются не только обязанностей солдата, но и его прав. И он с первых же дней точно знает, что сержант может и чего не может приказать рядовому. Высокий уровень правосознания можно считать характерной чертой всех слоев британского общества. Говорят, что даже преступники в этой стране немногим хуже юристов разбираются в английском праве: каждый из них точно знает, что может и чего не может сделать в отношении него полицейский, следователь, прокурор, тюремщик.

В детском гомоне на лужайках лондонских парков то и дело слышатся слова: «Это нечестно! Так не играют!» Люди тут с малолетства привыкли инстинктивно обращаться к подобным фразам. Осуждая тот или иной поступок, англичанин прежде всего скажет: «Это неспортивно!» — или: «Это попросту не крикет». Дать понять человеку, что он нарушает принципы честной игры, что он, стало быть, не порядочен, несправедлив, — значит, предъявить ему самое серьезное обвинение.

— Скажите англичанину, что он глуп, — он лишь снисходительно улыбнется. Скажите ему, что он упрям, замкнут, черств, малообразован, невежествен, — он лишь пожмет плечами. Но заикнитесь, что он несправедлив, как он тут же покраснеет и разозлится. — остроумно подметил один венгерский сатирик.

Англичане — законники до мозга костей. Подобная черта порой воспринимается на наш взгляд как бюрократическая черствость. Если они считают, что поступают по правилам, нечего пытаться разжалобить их ссылками на какие-то исключительные обстоятельства личного характера.

Однажды из-за непредвиденной поездки по стране я не успел вовремя продлить свой железнодорожный билет (в отличие от авиационного, который выписывается на год, обратный билет на поезд, купленный в Москве, приходится каждые три месяца продлевать, доплачивая в Лондоне определенную сумму). Хотя я явился всего на пару дней позже, чем следовало, и кассир и директор касс были в самом полном смысле слова неумолимы, то есть умолять их оказалось бессмысленно: «По существующим

правилам просроченный билет считается недействительным и, стало быть, продлению не подлежит».

На счастье, я вспомнил, что когда нужно было продлевать билет в прошлый раз, меня попросили зайти неделей позже, так как предстояло повышение железнодорожных тарифов и еще не было известно, какую следует брать доплату. Именно за это я и попробовал ухватиться:

— Если в прошлый раз оказалось возможным оформить продление моего билета позже положенного срока по особым обстоятельствам, касающимся железной дороги, я вправе ожидать, что это может быть сделано вновь в силу особых обстоятельств, имеющих отношение ко мне. Иначе — где же тут честная игра? Это, как у вас говорят, попросту не крикет...

К собственному удивлению, такая сугубо английская логика возымела действие. После продолжительных консультаций с вышестоящим начальством было сочтено, что прецедент, на который сослался клиент, может служить основанием, чтобы пойти ему навстречу.

Зато без ссылки на принципы честной игры любые уговоры и просьбы сделать что-то в порядке исключения совершенно бесполезны. Бывает, мчишься, будто герой фильма с погонями, чтобы успеть в какой-нибудь замок или музей в отдаленном городе, а служитель буквально перед носом запирает дверь.

— Очень прошу вас, пропустите меня хоть на полчаса. Поверьте, что у меня больше никогда в жизни не будет возможности попасть сюда...

Даже если подобные увещевания растрогают хранителя музея, он все равно холодно ответит:

— Весьма сожалею, но ничего не могу поделать. Не я ведь устанавливаю правила.

Услышав этот довод, англичане тут же смиряются с ним, ибо в глубине души убеждены, что никаких исключений действительно не может и не должно быть. Зато ни один владелец паба не рискнет вывесить на двери записку «Уехал получать пиво» в часы, когда его заведение должно быть открытым. Не дай бог англичанину почувствовать себя как-то ущемленным в том, что он считает не привилегией, а правом. В первом случае он готов корректно просить. Во втором он тут же превращается в гневного требователя, прямо-таки в разъяренного кабана.

Помню, как, прилетев однажды в Лондон из Дублина, мне пришлось вместе с другими пассажирами ждать четыре минуты, пока пришел чиновник паспортного контроля. Толпа прямо-таки готова была растерзать его на части.

— Нас здесь двадцать шесть человек, и вы обокрали нас в общей сложности на сто четыре минуты, — ледяным тоном отчитывал клерка представительный джентльмен, постукивая своим зонтиком.

Англичанин не только законопослушен. Он с уважением относится к закону. Он соблюдает те или иные правила не ради блюстителей порядка и не потому, что иначе может подвергнуться наказанию. Он поступает так, будучи убежденным, что от этого выигрывает как он сам, так и окружающие. Самая наглядная иллюстрация этого — уличное движение в Лондоне. Кроме автоматических светофоров и белых полос на асфальте, его вроде бы никто не регулирует. Полицейских-регулировщиков практически нет. Случай, когда патруль остановит водителя за нарушение правил, бывает крайне редко. И тем не менее на улицах Лондона царит образцовый порядок. Его начинаешь по достоинству ценить, лишь оказавшись на несколько дней в Дублине или Париже.

Мало сказать, что водители неукоснительно соблюдают правила, даже когда им представляется возможность безнаказанно их нарушить. Они к тому же проявляют отменную предупредительность друг к другу, завидную сдержанность и терпимость к тем, кто допустил оплошность и невольно стал помехой для других.

Увидев машину, которая дожидается возможности выехать из боковой улицы на главную, английский водитель сочтет долгом притормозить и мигнуть ей фарами. Это означает: хоть право преимущественного проезда принадлежит мне, я как привилегию уступаю его вам. В ответ положено с благодарностью поднять ладонь и без промедления воспользоваться оказанной услугой.

Когда какой-нибудь иностранный турист застревает на лондонском перекрестке, не зная, куда и как ему поворачивать, и преграждает дорогу сразу двум автомоби-

ным потокам, никто не торопит его, как в Париже, возмущенными гудками, не вращает указательным пальцем, приставленным ко лбу. Все вокруг проявляют сдержанность, понимание, готовность прийти на помощь. И, поездив по Лондону год-два, начинаешь получать удовольствие не только оттого, что тебе уступают дорогу другие, но и от собственной снисходительной галантности к какому-нибудь старику за рулем фургона, одарив его возможностью выехать из переулка на загруженную магистраль.

Как личность англичанина можно назвать человеком непокладистым. Однако английской толпе присуще врожденное чувство общественного порядка. Диву даешься, как дружно и споро повинуется она безмолвным жестам нескольких полицейских, когда нужно освободить проход для какой-нибудь торжественной процессии. Можно ли представить себе, чтобы на бейсбольном матче в США или на велогонках во Франции кассир пропускал людей на трибуны без билетов, с тем чтобы они могли выбрать себе место по своему вкусу и уже потом вернуться, чтобы оплатить его? А на стадионе «Лордз», который считается Меккой английского крикета, такое возможно, даже когда желающих посмотреть финальную игру втрое больше, чем билетов.

Туристы с континента часто шутят, что бесстрастные обитатели туманного Альбиона одержимы одной-единственной страстью — стоять в очередях, что, появившись на пустой автобусной остановке, англичанин инстинктивно образует аккуратную очередь из одного человека. Англичане действительно склонны тут же выстраиваться в очередь, как только это представляется возможным (я не решаюсь сказать — необходимым). Вереницы людей терпеливо мокнули под дождем, и никто даже не вытянет шею, чтобы посмотреть, куда же это, в конце концов, запропастился автобус. В дни распродаж в универсаме «Харродз» очередь перед его открытием опоясывает весь квартал и змеится по соседним переулкам.

Очередь, на взгляд англичанина, как бы приподнимает человека в его собственных глазах. Это повод продемонстрировать свою гражданственность. Ведь очередь наглядно олицетворяет собой идею о том, что соблюдение определенных правил дает человеку гарантию определенных прав. Англичанин с готовностью пропускает тех, кто пришел раньше него, будучи убежденным, что его подобным же образом пропустят те, кто пришел позже. Все, стало быть, следует принципам честной игры. И можно представить себе, какое осуждение вызывает всякий, кто пытается нарушить этот священный и незыблемый ритуал!

На автострадах, ведущих из Лондона к аэропорту Хитроу и паромным переправам Фолкстона и Дувра, порой образуются длинные пробки. Бывает, что кому-то приходится в голову словчить — объехать по обочине бесконечную вереницу скопившихся впереди автомашин. И когда полицейский патруль в наиздание поворачивает нетерпеливого обратно, английские водители многозначительно переглядываются: подобная машина чаще всего имеет иностранный номер.

Характерно, что во время войны и в первые послевоенные годы, когда в Великобритании существовала карточная система, в стране практически не получил распространения черный рынок, процветавший по другую сторону Ла-Манша. Люди жили на карточки. В одной состоятельной семье близ Ноттингема мне рассказали, как местный лавочник из чувства симпатии к постоянной и к тому же самой доходной покупательнице — жене адмирала и матери двух офицеров в действующем флоте — послал ей на рождество двойной рацион бекона, который был тут же возвращен обратно с гневным выговором.

Краеугольным камнем законопослушности англичан служит убеждение, что закон должен быть обязательным для всех и никакие исключения здесь недопустимы.

Подобно тому как даже участники пьяной драки стараются тут не бить ниже пояса, англичане считают себя ревнителями определенных правил ведения войны, особенно в том, что касается пленных и раненых. (Отрицательное отношение к японцам, например, порождено бесчеловечным обращением с английскими военнопленными во время японской оккупации Сингапура.)

Поскольку законопослушность почитается как добродетель, полицейский, как страж закона, служит для англичан фигурой, вызывающей скорее уважение, чем неприязнь. Величественно-неторопливый, доброжелательно-корректный и безоружный лондонский бобби — до чего же он не похож на лихого шерифа из американских вес-

тернов, на прототип, из которого вырос быстрый, пружинистый нью-йоркский коп с пистолетом наголове и наручниками на поясе!

Всеобщее уважение к бобби, который донныне остается незаоруженным, не имеет параллели ни за Атлантикой, ни за Ла-Маншем, ни даже за Ирландским морем. Королевская полиция Ольстера воспринимается населением уже не как страж закона и порядка, а как оружие репрессий.

Однако уважение к закону, к правилам игры, инстинкт безоговорочно подчиняться решению судей не следует смешивать с чиновничеством, с покорностью власти как таковой. Англичанин исходит из того, что любые законы и правила обязательны для всех, в том числе и для властей, что законопослушность несовместима с девизом «государство — это я». Обладая высоким уровнем правосознания, англичанин убежден, что законы существуют как для того, чтобы держать в узде недисциплинированную часть населения, так и для того, чтобы люди могли опираться на них в случае несправедливости властей.

Одной из сильных сторон правящего класса Великобритании является умение поддерживать во всех слоях общества эту убежденность, чтобы спекулировать на ней в своих интересах.

Именно законопослушность подчас заставляет англичан мириться со многими правилами и установлениями, которые они не одобряют или которые давно изжили себя и приносят не пользу, а вред. В то время как американец смотрит на любое правило как на вызов, а на любой запрет как на сигнал к протесту, англичанин считает сильной чертой характера способность подчиняться им.

Англичане могут ворчать по поводу непомерных налогов, устраивая бурные манифестации за отмену их. Но как только налог стал законом, они считают долгом выполнять его безотлагательно и целиком. В прежние времена в газете «Таймс» существовала специальная колонка, посвященная «деньгам совести». В ней помещались сообщения о том, что канцлер казначейства благодарит анонимного посылателя такой-то суммы. Каждый подобный перевод воплощал утрызения совести англичанина, который в чем-то уклонился от уплаты причитающегося с него налога.

Искусство правящих кругов спекулировать на законопослушности населения обретает и более прямые, непосредственные формы. Достаточно было, например, объявить незаконной всеобщую стачку 1926 года, чтобы вызвать смятение и раскол в ее руководстве. Или достаточно было верховному суду в наши дни сослаться на стародавний закон о посягательствах на королевскую почту (принятый при королеве Анне, когда разбойники с большой дороги совершали нападения на почтовые кареты), чтобы сорвать участие британских почтовиков в международном профсоюзном бойкоте южноафриканских расистских режимов.

С другой стороны, в сознании обывателя умело культивируется иллюзия беспристрастности и надклассовости закона, который, мол, ни для кого не делает исключений. Когда дочь королевы принцесса Анна была задержана на автостраде за превышение скорости, газеты сделали из этого сенсацию, подробно муссировали вопрос о штрафе, о письменном извинении в адрес суда. А если вдуматься, вся эта шумиха принесла британскому истеблишменту куда больше пользы, чем вреда.

— Люблю англичан: каждый третий из них чудак, — говорил когда-то Самуил Яковлевич Маршак.

Чудаков в Англии действительно немало. Причем, попав в эту страну, отмечаешь не только самые неожиданные формы чудачества, но и терпимость, с которой окружающие относятся к эксцентрикам. Важно, однако, понять, что английский эксцентрик — это не мятежник, а именно безвредный чудак. Индивидуализм в этой стране проявляет себя как бы боковыми путями. И если Англии, видимо, принадлежит первое место в мире по числу эксцентриков на душу населения, то по числу заядлых курильщиков она занимает, наверное, одно из последних мест.

Английский образ жизни обладает способностью рождать индивидуалистов, которые не бросают вызова общепринятому порядку, но предпочитают отличаться от других людей какими-то специфическими склонностями или безвредными странностями. Разнообразие и своеобразие этих склонностей свидетельствует о том, что, делая упор

на незыблемых правилах поведения, английское общество оставляет известную отдушину и для индивидуализма.

Английский эксцентрик платит неизбежную дань общественному порядку, но в рамках его делает что ему заблагорассудится. Таким образом, человек, который не хочет поступать как все, в условиях английского общества чаще становится чудачком, чем ниспровергателем основ.

— Эксцентричность в Англии допустима лишь в рамках закона или, во всяком случае, в тех пределах, которые отведены для нее обществом. Как только эти границы оказываются нарушенными, эксцентрик становится преступником, — без обиняков заявляет в сборнике «Характер Англии» член парламента Ричард Лоу.

Такова, стало быть, концепция свободы, как ее понимает законопослушный индивидуалист. Это свобода овец, которые привольно пасутся на английском лугу, не зная, что такое кнут пастуха, и не ведая иных преград, кроме живой изгороди, которой обнесено их пастбище.

Каждый такой баран может быть индивидуалистом, он может, например, есть одни одуванчики или одиноко пастись в стороне от других овец. Но если такой баран-эксцентрик вздумает бодать рогами изгородь и рваться за ее пределы или тем более увлекать за собой все стадо, он быстро угодит на бойню. Ибо, как сказано выше, английский эксцентрик превращается в преступника, как только он дерзнет посягнуть на устон.

В Англии законы почти всегда являются отростками обычаев и традиций. Те самые нравы и обычаи, из которых сложились законы, создали и тех, кто должен им подчиняться; так что люди воспринимают законы как привычные, разношенные домашние туфли. В отличие от французов англичане не испытывают к законам ревнивого чувства, ибо убеждены, что они существуют для общего блага и имеют одинаковую силу для всех. Они не испытывают к ним пренебрежения в отличие от американцев, для которых многие новоиспеченные законы подобны тесной, еще не разносившейся фабричной обуви. В этом один из секретов законопослушности англичан.

В Англии, как ни в какой другой стране, можно делать что угодно, не подвергаясь расспросам, упрекам, не вызывая сплетен и даже не привлекая удивленных взглядов. Зато при любом правонарушении путь от полицейского до суда и от суда до тюрьмы здесь куда короче, чем где-либо еще.

Прайс Кольер (США), «Англия и англичане — с американской точки зрения» (1912).

Переходы «зебра» есть и в других странах. Но достаточно сравнить, как пользуется ими немец и англичанин, чтобы понять всю разницу. Немец ступает на «зебру» со страхом в глазах, сознавая, что это смертельная ловушка, ибо ни один водитель и не подумает тормозить из-за пешехода. В Англии же человек на «зебре» — это не просто лицо, переходящее улицу. Это британец, пользующийся своим неотъемлемым правом. Он шагает медленно, с достоинством, как торжественная процессия. И действительно, каждый лондонец, переходящий улицу по «зебре», — это торжественная процессия из одного человека. Какую уверенность излучает его лицо, когда, чтобы остановить поток машин, он поднимает руку и повелительно помахивает ею! Мне в этом случае кажется, что в руках у него Великая хартия вольностей.

Джордж Минеш (Венгрия), «Как объединять нации» (1963).

(Продолжение следует)



А. КОГАН



ВОСПОМИНАНИЙ ВЗРЫВЧАТАЯ ЗОНА

Из наблюдений над фронтовой поэзией

1

(О)бращали ли вы внимание, что в замечательных строках «Пулковский меридиана» слышится скрытая (возможно, даже для самого их автора) цитата из О'Генри? Цитата, «опротестованная» контекстом, цитата-полемика.

У О'Генри: «Нельзя писать чернилами и нельзя писать кровью своего сердца, можно писать только кровью чужого сердца».

У Инбер:

Смертельно ранящая, только тронь,
Воспоминаний взрывчатая зона...
Боюсь ее, боюсь в ночи бессонной.
И все же, невзирая на огонь,
Без жалости к себе, без снисхожденья
Иду по этим минным загражденьям

Затем, чтобы перо свое питала
Я кровью сердца. Этот сорт чернил...
Проходит год — они все так же алы,
Проходит жизнь — им цвет не изменил.
Чтобы писать как можно ярче ими,
Воспользуемся ранами своими.

Своими, а не чужими!

Можно поручиться: когда Инбер в тяжелых условиях блокады писала «Пулковский меридиан», она и в мыслях не держала никакого О'Генри и уж тем более никакой полемики с ним: слишком далека казалась та жизнь от этой, запечатлевшейся в пронзительных строках поэмы.

И все же думаю, что горькие раздумья героя О'Генри когда-то запали в душу поэтессы — может быть, и потому, что соотносились как-то с ее собственным ранним литературным опытом... А потом пришел новый — суровый и героический — опыт войны, блокады. Из скрещенных опытов —

старого и нового, своего и чужого, жизненного и литературного — родились строки о крови сердца, питающей перо поэта.

Конечно, и за формулой О'Генри вовсе не одна любовь к парадоксам, а обобщение некоторых действительных сторон творческого процесса, тех, что отразились и в известной пушкинской формуле: «Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной».

И Флобер говорил о том, что писатели глядят на своих персонажей как естествоиспытатели. И это есть в творческом процессе.

И все же... Пусть Толстой не сражался на Бородинском поле — он, по известному определению Шкловского, увидел горящую Москву с горящей Сапун-горы в Севастополе; «Былое и думы» выстраданы Герценом; без жизненных университетов Горького не было бы и всего его творчества; да и Флобер, будь он и впрямь холодный натуралист, не рыдал бы над судьбой Эммы Бовари как над своей собственной, повторяя: «Госпожа Бовари — это я!»

Спору нет, есть художники — и достаточно крупные художники — подчеркнуто нейтральные, объективные, беспристрастные до бесстрастия; мы отдаем должное тонкости их наблюдений, точности эпитета; но их эстетика проходит по касательной к этике, к живому чувству читателя. Для художника же, одержимого чувством гражданственности, слиянности судеб искусства и общества, неразрывности этики и эстетики, истины, добра и красоты (русской литературе в силу особенностей ее исторического развития эта неразрывность особенно свойственна), — для такого художника не

могло и не может быть «чужой» беды и «чужого» горя!

«Я — поэт, я разницу стер между лицами своих и чужих» (В. Маяковский).

«Где бы в человека ни стреляли, пули — все! — мне в сердце попадали» (Э. Межелайтис).

В литературе Великой Отечественной войны это единство сказалось с особой силой. Советские писатели на фронте и в тылу разделяли одну судьбу со своими героями. Именно из чувства «соучастия в добрых человеческих делах» (Н. Асеев) рождались лучшие фронтовые стихи. Рождались порой даже вопреки не раз возникавшему в те дни ощущению, «что нет искусства, а есть железо, хлеб и кровь» (М. Львов).

Это тогдашнее чувство, но, как показало время, оно было обманчивым. И Алексей Недогонов, начавший еще на финской с категорического утверждения: «Поэт, покинь перо и музу, вставай и слушай гул брони», позже с полным правом скажет о себе и своих сверстниках и товарищах по фронту и по поэзии: «Шел солдатом и поэтом — Муза рядом шла со мной».

Фронтовая муза в своем классическом, античном облике не появится в стихах военной поры: другая жизнь, другая и муза... Не отрешенная, надмирная, нет: скорее она близка некрасовской музе, разделяющей с народом и радости и беды. Черты ее мы находим в строках Веры Звягинцевой: «Это давнишние узы: делит с поэтом судьбу наша военная муза с гневною складкой на лбу».

2

Единство судьбы поэтической и народной едва ли не ярче всего проявилось в разработке темы родины — сквозного мотива фронтовой поэзии. Общеизвестны примеры творческой переключки поэтов разных национальностей и народностей СССР в ее решении. Переключки, по-своему свидетельствующей о рождении новой исторической общности, о том чувстве семьи единой, говоря словами П. Тычины, которое в дни войны не только выдержало проверку на прочность, но и оказалось во сто крат обострено, усилено величайшими испытаниями, выпавшими на долю всех наших народов. Понятия родина и дружба народов оказываются неразрывны в поэзии войны. Об этом красноречиво сви-

детельствуют сборники фронтовой поэзии¹. Показательны даже названия некоторых стихотворений. О родине пишут Х. Алимджан («Россия»), Т. Балаев («Родина»), И. Барбарус («Сон о родине»), И. Бауков («Говори мне о России...»), А. Венцова («На Волге»), А. Прокофьев («Россия»), М. Рылский («Слово о матери-родине»), Я. Судрабкалн («Русскому народу»), Г. Цадаса («Жизнь и родина») и многие другие. Традиции и современность, национальные истоки и черты новой, советской России с ее интернациональной миссией спасения всего человечества от фашистского варварства предстают в едином сплаве.

Тут важно понять диалектику соотношения общего и особенного, отдельного. В иных статьях последнего времени, справедливо полемизирующих с тенденциями ложной, холодной монументальности, проявляется порой другая крайность: их авторы объявляют движение поэзии от общего к конкретному не только важной, характерной, в ряде случаев и впрямь преобладающей, но и едва ли не нормативной чертой всей военной поэзии. Между тем в действительности дело обстоит куда диалектичней. В поэзии войны встречается множество тенденций — порой взаимопересекающихся, порой взаимоотталкивающихся. Картину надо видеть в сию, не скрывая своих симпатий и антипатий, но и не подгоняя под них всю сложность жизни. А действительная картина, повторяю, была куда многоцветней. Вот лишь один пример тому.

Еще перед большой войной, но уже на опыте войны «малой» (Халхин-Гол) Симонов написал строки о том, что в трудную минуту расставания, уезжая на войну, от-

¹ См., например: «Сквозь время» (М. «Советский писатель». 1964), «Двадцать лет спустя» (Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 1965), «Имена на поверке» (М. «Молодая гвардия». 1965), «Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне» (М.—Л. «Советский писатель». 1965), «Победа» (Лениздат. 1970), «Помнит мир спасенный» (Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 1970), «Строки, добытые в боях» (М. «Детская литература». 1973), «Пять обелисков», вып. 1—4 (М. «Советская Россия». 1968, 1970, 1972, 1975), «Великий снег на вечерней заре» (М. Воениздат. 1975), «Великая Отечественная» (в 2-х тт.: М. «Художественная литература». 1975), «Присягаем Победой» (М. «Детская литература». 1975), «Ради жизни на земле» (М. «Современник». 1975), «Строка, оборванная пулей» (М. «Московский рабочий». 1976) и многие другие.

куда можно и не вернуться, человек вспоминает «не всю землю, а только клочок земли, не всех людей, а женщину на вокзале».

Но за этим,
ширясь,
не зная преград,
встает Родина,
сложенная из этих клочков земли.

(«Далеко на Востоке»)

В сущности, уже здесь была четко сформулирована взаимосвязь общего и частного, «большой» и «малой» родины. То, «с чего начинается родина» и во что она вырастает.

Вернувшись в годы войны к этой теме, Симонов, ничего не меняя в решении по существу, считает, однако, необходимым переставить акценты, ударения, поменять порядок «слагаемых». Необходимым настолько, что делает это не однажды, в разных жанрах. И в монологе Вали (пьеса «Русские люди»): говорят о родине — и вспоминают, наверное, что-то большое-большое, а вот она, Валя, первым делом вспоминает свою деревню, и дом свой, и две березы около речки... И в известном стихотворении, так программно и названном — «Родина»: «касясь трех великих океанов, она лежит, раскинув города...».

Но в час, когда последняя граната
Уже занесена в твоей руке,
И в краткий миг припомнить разом надо
Все, что у нас осталось вдалеке,

Ты вспоминаешь не страну большую,
Какую ты изъездил и узнал,
Ты вспоминаешь родину — такую,
Какой ее ты в детстве увидал.

Вспоминаешь «клочок земли, припавший к трем березам», «речонку со скрипучим перевозом» и т. д.

Была ли подобная «рокировка» общего и частного, подобная «перестановка слагаемых» (по сравнению с предвоенной поэмой) моментом лишь поэтической технологии? Нет, за ней — движение мысли, переосмысление, а иногда и открытие, постижение новых граней мира, новых поворотов старой истины. От «нет, Родина — не там, где ты родился, а там, где будут помнить о тебе» («Первая любовь», 1936—1941) к «ты знаешь, наверное, все-таки Родина — не дом городской, где я празднично жил, а эти проселки, что дедами пройдены...» («Ты помнишь, Алеша...», 1941).

Переакцентовка на предельно личное, кон-

кретное, хочется сказать — интимное восприятие родины (в противовес холодно-абстрактному, декларативному), характерна в годы войны не для одного Симонова. В стихах Д. Алтаузуна родина смотрит на поэта «глазами белокурого ребенка», убитого фашистами, пишет ему «чистым почерком верной жены», «в трубке лейтенанта Куртукова» он слышит «твердый голос Родины своей». С пяди, суглинка начинается родина для лирического героя стихотворения В. Казина «Проводы». И наоборот: «Опавшее родину пламя опалило и душу мою» (Ю. Смуул). Своя родина воспринимается как часть общей «во имя правды, большей, чем твоя» (П. Антокольский, «Сын»).

Поэзия военных лет остро ощущала взаимосвязь «большой» и «малой» родины, выявляла ее в разных формах, разными способами, делая акцент не на одном, а на обоих звеньях цепи. «Большая» и «малая» родина оказываются на страницах поэзии военных лет в нерасторжимом единстве.

3

«И все уж не мое, а наше, и с миром утвердилась связь...» В годы Великой Отечественной войны связь поэзии с миром не просто утвердилась — она обострилась, усилилась стократ. Это сказывается и на поэтической структуре. Известно, что детали, как бы ни были они хороши, эффектны, удачны сами по себе, в поэзии не существуют обособленно, отдельно, они отражают в себе целое, как капля — мир. Так и в поэзии войны. В конкретном, чувственном воплощении предстают в ней не только радость, счастье — синее небо над родиной, белые березы под окном; беда остается в памяти детскими куклами или лошадками, о которых и в отступлении болит душа у героя замечательной поэмы А. Кулешова «Знамя бригады», или блокадной пилой «с искривленными, слабыми зубами, как будто бы и у нее цинга» (В. Инбер, «Пулковский меридиан»). Таково восприятие жизни, такова открытость сердца, ранимость души, накал чувств.

Противоречивость жизни на стыках мира и войны обуславливает порой поразительную, парадоксальную несочетаемость «частей», деталей художественной структуры, их, казалось бы, невозможное — и все же в условиях войны такое реальное! — единство. В том же «Пулковском меридиане» роскошь зимы, «ее великолепья и щедро-

оказался тяжким переходом. Для поэтов это был разрыв не только со старыми представлениями о войне, но и со старым арсеналом образных средств, облюбленных и не раз опробованных при привычном, апробированном решении темы.

До войны, к примеру, герой Юрия Яковлева (ныне известного детского прозаика, а тогда начинавшего как поэт) видел себя въезжающим во вражеские города на белом коне. Но пришла война — и «нагрузили меня самого, как коня». «Оказалась война некрасивой и грязной», на смену белым коням из легенды пришла суровая реальность окопа.

Но любопытно: чем дальше мы отходим от таких грандиозных исторических событий, как война, тем больше возрождается потребность в романтизированных представлениях о них... Не таких, какими они были вчера, а какими хотелось бы видеть их сегодня. И Павел Корчагин лихо скачет на экранах телевизоров в шестисерийном фильме — пусть он не совсем таков, каким изображен у Н. Островского... И Юрий Яковлев кончает свое стихотворение «Белые кони» неожиданной вроде бы строкой: «И приснимся мы детям на белых конях». Впрочем, почему неожиданной? Ведь и Николай Майоров писал перед войной о себе и своих сверстниках: «Мы были высоки, русоволосы. Вы в книгах прочитаете, как миф, о людях, что ушли недолбив, не докурив последней папиросы».

Потребность в романтическом пересоздании жизни так же неистребима и, по видимому, естественна и закономерна, как естественно и закономерно стремление «докопаться» до самой суровой — ни убавить, ни прибавить! — правды о ней. Это точно уловил и замечательно выразил Алексей Сурков в одном из самых, по моему, сильных стихотворений военной поры:

Умолкнет гром, пройдут года,
Мы постареем вдвое, втрое,
И будет сложена тогда
Легенда-сказка о герое.

Сурков рассказывает, как шел, «топча порошу», настоящий герой — «без нимба светлого на лбу», что ему на самом деле приходилось испытывать, а испытывав — преодолевать. Но когда утихнут бои и пройдут годы, возникнет — никуда не денешься — спрос и на легенду-сказку, тоже воплощающую жизненную правду, но воплощающую по-своему.

Пусть их прикрасят — не беда.
Воображенью любит мощи.
Ведь человечья жизнь всегда
Была грязней, святей и проще.

Эти строки поэт стоит помнить хотя бы для того, чтобы не уподобляться тем мальчишкам из рассказа Ю. Яковлева «Реликвии», что, разыскивая памятные вещи фронтовых лет (и подразумевая под этим нечто непременно даже внешне впечатляющее, значительное, величественное!), с пренебрежением проходят мимо неприметных, неброских, неэффектных, зато подлинных реликвий всенной поры — нехитрых треугольничков солдатской полевой почты под иконным стеклом у старушки, потерявшей на войне сына... Проходят мимо в силу резкого несоответствия настоящих атрибутов войны тем книжным представлениям о ней, с которыми они вышли в поиск... И которые, увы, так напоминают в чем-то наши довоенные представления, жестоко развенчанные при встрече с войной как она есть, а вот, поди ж ты, оживающие и двадцать и тридцать лет спустя... При всем несходстве мальчишек из рассказа Ю. Яковлева с иными молодыми поэтами и критиками, обращающимися сегодня к теме войны, есть, мне кажется, нечто сближающее их: представление, что бытие существует где-то над бытом, поверх его, неумение увидеть бытие войны, высоту человеческих чувств в самом скромном, бытовом их выражении.

5

Переход от мира к войне был не только переходом от книжно-плакатных представлений о ней к суровой реальности. Это было в полном смысле слова смещение мира, вздыбленного войной, перетряска всех прошлых представлений не только о войне, но и вообще о жизни. Легко ли, к примеру, ординарцу командира, в прошлом — мирному алтайскому пахарю, всю жизнь седлавшему коней, понять новое, фронтовое значение термина «оседлать» (т. е. «накрыть седлом огня», взять под огневой контроль) дорогу (А. Вергелис, «Оседлать дорогу»)!

Впрочем, что там дорога, бог с ней, с дорогой, если даже «солнце в огне пожара чадило, как головня» (П. Железнов, «На подступах к Москве»). Меняются местами, вступают в неожиданные сочетания внутри художественной структуры война и мир, земля и небо, солнце над головой и головешки от

костра, труд орастая и ратника, окоп пахнет пашней, пашня — окопом (С. Викулов, «Баллада о хлебе»).

Пожалуй, только труд и на войне оставался трудом, пусть другим по характеру, по цели, по цене, наконец, но все же прежде всего трудом, работой — пехотинца ли, роющего окоп, артиллериста ли, тянувшего пушку по грязи, или сапера, военного строителя, шофера, пахаря, горнового у доменной печи — всех тех, кто не стрелял во врага сам, но без чьего тяжкого, невидимого, адского труда тоже не было бы победы. Это трудовое начало показано в военной поэзии ярко и многообразно — то в момент наивысшего подвига водителя, везущего снаряды и попадающего под обстрел вражеского самолета (П. Шубин, «Шофер»), то в своей бытовой повседневности, как в стихотворении А. Гитовича о солдате, дни и ночи корчующем пни на болоте, чтобы «одно к одному по болоту легли настала тяжелые бревна», и «только на запад бойцов поведет его фронтовая дорога».

Что это — быт или бытие? Кажется, какое уж там бытие — сплошная проза. Но вспомним еще раз — «и если б не было за ним Берлина, мы б ни за что туда не забрели». Земные детали озаряются высокой целью, и это сразу переводит их в иной план, придает им иной, высший смысл.

До войны — что скрывать — стилиевые тенденции «кирсановски-асеевски-сельвинская» и «исаковски-рыленковски-твардовская» сталкивались в нашей поэзии, противостояли друг другу, подчас непримиримо. Возникали отголоски такого противостояния и после войны. Но в час величайшего всенародного испытания обе стиховые колонны воевали в одном поэтическом строю.

Крестьянская, «сельская» интонация звучит у Исаковского и Твардовского, в «Знамени бригады» А. Кулешова или в «России» Прокофьева — произведениях в высшей степени народных. Но разве не народные и стихи, выдержанные в совсем иной интонации: «Мы» Майорова, «Перед атакой» Гудзенко, «Клятва» Ахматовой, «Я это видел!» Сельвинского, «Весь край этот, милый навеки...» Кедрина? Многообразие души народной находит естественное выражение в многообразии его духовной культуры, в ее победе над

убожеством унифицированной духовной «культуры» фашизма.

Когда читаешь в «Знамени бригады» Аркадия Кулешова (перевод М. Исаковского):

Ой, сносили его пулеметы,
Под корень сносили!
Салогамы немецкой работы
Его молотили.

Танки, сталью покрытые,
Жито молולי,
Вражьи ножи копытами
Хлеб замесили на поле.

Тесто кровью враги поливали,
В самом пекле пекли-выпекали,—

отчетливо видишь общерусские фольклорные истоки. Кстати, не только фольклорные: сразу же приходит на память образ битвы — кровавой пашни и пира — из «Слова о полку Игореве»... И тут же рядом щемящие сердце «домашние» подробности развороченного войной быта. Соответственно меняется стиль: разговор идет негромкий, неспешный, от сердца к сердцу, не «во весь голос» — вполголоса...

Но вот мы читаем поэму «Абдулла» казахского поэта Касыма Аманжолова, выдержанную в совершенно ином стилиевом ключе. Ключе, заставляющем вспомнить, если уж прибегать к параллелям из русской поэзии, скорее лермонтовского «Мцыри» («Всю ярость боя в грудь вобрав, как барс, отважен и суров, один в кольце своих врагов остался воин на посту» и т. д.; перевод М. Тарловского). То, что для русского экзотика, для казаха может быть устойчивой системой художественного мышления.

А разве в русской поэзии военных лет не соседствуют, порой сталкиваясь даже внутри одного произведения, самые разные поэтические традиции и интонации? Об этом снова и снова думаешь в связи с многообразием национальных традиций, их перекрещиванием, пересечением, с «выходом» реальных конкретных произведений за пределы того или иного региона — иначе говоря, с развитием в огне войны литературы новой исторической общности.

Вот широко известная «Россия» А. Прокофьева. Как разнится, не «отрываясь» друг от друга, стилистика отдельных ее глав! «Москва, Москва, священная держава» — и «вздремнем на миг по-местному опять за старым пнем». А в «Теркине»: сабантуй — и «смертный бой не ради славы, ради жизни на земле».

Параллели к обоим стиливым вариантам мы находим и в поэзии народов СССР. Вот, скажем, как пишет о родине татарский поэт Фатых Карим, пишет, заставляя прямо вспомнить прокофьевскую «Россию». Вспомнить, разумеется, не по точности прямых цитатных совпадений, их нет, а по доверительности, интимности интонации, раскованности воображения, свободе обращения к природе, ее творческого преобразования.

Мне в подарок стрелу шелковистую,
Дикий гусь, на лету уронил.
Я возьму твоё перышко серое,
В блеск весенней зари окуну,
Песню звонкую с пламенной верою
Напишу про родную страну.

(«Дикие гуси». Перевела В. Потапова)

Здесь романтическая образность — от характера лирического героя, от всеобъёмности его восприятия.

Еще пример. Сквозная тема фронтовой поэзии — преемственность, эстафета, переходящая от павших к живым. Вспомним симоновское «Смерть друга». Внутренняя сверхзадача поэта в этом стихотворении была, как мне представляется, не в том, чтобы с максимальной резкостью прорисовать черты одного погибшего друга, а в том, чтобы, храня горечь потери этого одного в своей душе, создать реквием многим. Недаром именно это стихотворение процитировал в своих воспоминаниях «Малая земля» Л. И. Брежнев в связи с гибелью фронтового товарища.

Но вот другое стихотворение на ту же тему — «Меч», баллада осетинского поэта Хазби Калоева (погиб в 1943 году под Белгородом, стихи датированы 1941 годом). «Мать сына провожала на войну: «Отцовский меч в сраженьях сбереги ты!». «Как птицы, мчались быстрые года»; засохло дерево, поседела мать, по-прежнему ждущая сына, глядя на дорогу. И услышала голос: «Жизнь сберечь не смог твой сын — сберег он честь солдата... Он, падая, мне передал свой меч, и я его храню в сраженьях свято!» (перевод С. Ботвинника). Пускай в этой войне мечами не сражались — перед нами та мера поэтической условности, без которой было бы невозможно обобщение в искусстве.

Едва ли не ярче всего оба стилистических потока — высокий и «низкий», бытийный и бытовой — скрещиваются в замечательном стихотворении Смелякова «Судья» (1942). Апокалиптическая, казалось бы, образность — картина воображаемого страш-

ного суда, на который людей «из всех земель, с грехами всеми, трехкратно трубы призвуют», — высокая стилистика («Он все узнает оком зорким») сливаются в стихотворении с земными, живыми подробностями: с «теплой, сырой землей», которую зажимает в костенеющей руке сраженный пулей «суровый мальчик из Москвы». Именно взаимодействие этих двух начал, их взаимопроникновение и сообщает стихотворению такую действительность, душевность, теплоту. «Горсть тяжелая земли» превращается в «горсть отвоеванной России», которую умирающий, «уходя в страну иную», «захотел на память взять», и эта горсть в день страшного суда «будет самой высшей мерой, какою мерить нас могли». А «за столом судейским» предстанет «не бог с туманной бородой, а паренек красноармейский пред потрясенною толпой».

Он все увидит, этот мальчик,
и ни йоты не простит,
но лезть — от правды, боль — от фальши
и гнев — от злобы отличит...

И будет самой высшей мерой,
какою мерить нас могли,
в ладони юношеской серой
та горсть тяжелая земли.

Стихотворение «закольцовано» не только композиционно, но и стилистически. Мы вернулись — по видимости — все к той же конкретной детали: горсть земли с пашни, зажата умиравшим в руке. Но насколько тяжелее стала эта горсть, сколько вместила в себя!.. Попробуйте освободить стихотворение от любого из двух стиливых потоков, его составляющих, перевести в один стиливой план, все равно — реальный или условный, — не выйдет! Стихотворение сразу же рассыплется, оно потеряет всю свою неповторимость, все обаяние, возникающее именно от сочетания в нем двух планов: высокого и «низкого», реального и условного, конкретно пережитого и обобщенного.

То же можно было бы сказать о многих лучших стихах военной поры, сохраняющих память сердца о самой трагической и самой героической поре нашей истории, передающих эту память, духовный заряд мужества все новым и новым поколениям читателей.

Маяковский когда-то писал о своем стихе, что тот умрет «как рядовой, как безы-

мянные на штурмах мерли наши». Что ж, многие из фронтовых стихов действительно ушли из памяти вместе со своим временем. Но удивляться приходится не этому, а тому, как много стихов военных лет осталось в поэзии, как волнуют нас и сегодня, столько лет спустя, их простые, выстраданные строки.

Впрочем, что значит — осталось? Стихи, если это настоящие стихи, не «остаются» во времени — они живут и движутся вместе с ним; и движущееся время высвечивает все новые и новые грани в старых, казалось бы, до стертости знакомых строчках, и каждое поколение по-новому прочитывает их — в соответствии со своим жизненным опытом... «Ты — вечности заложник у времени в плену», — писал о поэте Пастернак. Стихи военной поры не «в плену» у своего времени, а на добровольной службе у него, они написаны по мандату долга, в них голосует сердце их авторов — солдат великой войны. Но за «неэстетичными» приметами грозного времени, за суровой повседневностью фронтовых дней и ночей, за реалиями военного быта встает не только время, породившее эти стихи и отразившееся в них, не только душа человека, отдавшего свою жизнь, «лишь бы вольной родина была» (Абдулла Алиш), как Алиш и Джалиль, Алтаузен и Лебедев, Коган и Кульчицкий, Занадворов и Суворов, Майоров и Уткин. За сиюминутными приметами бескомпромиссного времени встают извечные вопросы бытия: жизни и смерти, цены человеческой жизни и ее цели. Вопросы, которые героям и авторам этих стихов приходилось решать на полях сражений. Вечность приходила к ним в образе их времени, комбат воплощал в себе и отца, и бога, и родину: «Мы пред нашим комбатом, как пред господом богом, чисты» (С. Гудзенко).

«В философских стихах поэтов военного поколения, — пишет Л. Лавлинский, — конечно, не может не сказаться их фронтовой опыт, но и он запечатлевается своеобразно: не в художественных реалиях, а обобщенно, как главная суть пережитого»².

Да, в сегодняшних стихах поэтов военного поколения реалии фронтовой поры потеснены — тут Лавлинский прав — обобщенно-символической постановкой вечных проблем бытия. Потеснены — но не вытеснены! Бытие вырастает из быта, вечное — из временного, иначе ему неоткуда вырасти. Но и в аскетичных приметах зимы сорок первого года, запечатленных фронтовой поэзией, живут черты вечности, по-новому прочитываемые с высоты времени, в новых исторических обстоятельствах.

Стихи военных лет попадают в новое силовое поле, вступают во взаимодействие с написанными поэже и в этом взаимодействии сами воспринимаются по-новому, поворачиваются не замеченными прежде гранями, раскрывают новые пласты художественной содержательности. С высоты времени, с высоты всего, что пережили с той поры люди 40-х годов — герои фронтовой поэзии, ее читатели и критики, — с учетом того интеллектуального и душевного опыта, который нажит уже не одним новым поколением читателей, возникает потребность вернуться заново к некоторым существенным сторонам ее идейно-творческой проблематики. Сегодняшняя поэзия о войне выросла из старой — из поэзии самой войны, — как ветвь из дерева. Но с вершины (высота времени!) нам порой видно и то, чего мы прежде, стоя вровень, не замечали. Именно здесь секрет долгодействия этих стихов, секрет их долгожития.

* Л. Лавлинский. Не оставляя линии огня. М. «Современник». 1975, стр. 50—51.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Шараф Рашидов. Трудовой подвиг в белую ночь.— Л. Лавлинский. Цена истины.— Ирина Винокурова. «...ищу под видимостью — душу».

ПОЛИТИКА И НАУКА

Феодосий Видрашку. Поэма о Челнах.— П. Чернасов. Конец двуглавого орла.— Дмитрий Жуков. Из глубины тысячелетий.

Литература и искусство

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ В БЕЛУЮ НОЧЬ

Вадим Кожевников, Белая ночь. Маленькая повесть. «Знамя», 1978, № 9.

Поистине непреходящее значение имеет мысль Максима Горького о том, что героем своих произведений мы должны сделать труд. Да, свободный труд в социалистическом обществе является делом чести, доблести и геройства. У нас почетен всякий труд, укрепляющий мощь великой Советской страны. Почетен труд рабочего у станка, шахтера, добывающего руду и уголь, колхозника, выращивающего пшеницу и хлопок. Почетен ратный труд славных воинов, отважных космонавтов, труд научной и творческой интеллигенции.

Так получилось, что новую повесть Вадима Кожевникова я читал незадолго до появления воспоминаний товарища Л. И. Брежнева «Целина», возвеличивающих нелегкий труд хлебороба. Это были дни массового трудового героизма хлопкоробов республики, которые в труднейших условиях 1978 года вели борьбу за высокий урожай белого золота. Капризная, дождливая весна, прохладное лето, ранняя, с непрекращающимися осадками осень — таковы были те сложные природные условия, которые надо было преодолеть несмотря ни на что. И хлопкоробы, все трудящиеся Узбекистана, проявляя выдержку, настойчивость, мужество, выстояли. И не только выстояли, но и победили — выполнили свой патриотический и интернациональный долг.

И в моем сознании тогда картины борьбы за большой хлеб Казахстана и миллионы тонн узбекстанского хлопка как бы слились с делами героев небольшой, но умно и талантливо написанной повести В. Кожевникова «Белая ночь».

И хлебороб, поднимающий целину, и хлопкороб, по колено в грязи собирающий драгоценные граммы хлопка, и шоферы, везущие по бездорожью в полярной ночи нужные народному хозяйству грузы, встали передо мной как живые. Они как бы из трех различных точек вели репортаж об успехах на трудовом фронте в разных концах нашей необъятной родины. Приходилось преодолевать немалые трудности, но их всех объединяла общая мысль, так характерная для советского рабочего человека, — мысль о родине. Их вдохновляло чувство гражданской ответственности за настоящее и будущее страны, понимание того, что дело, порученное им, надо успешно завершить. Ибо от этого зависит экономическая мощь отчизны.

Лучшие черты советского народа — трудолюбие, самоотверженность, инициативность — нашли яркое воплощение в характерах главных героев повести Егора Ефимовича Ползункова и Феликса Фенькина. Много объединяет этих людей, но в то же время, как у каждого по-настоящему талантли-

вого писателя, герои Вадима Кожевникова и глубоко индивидуализированы. Их своеобразие автор выразительно подчеркивает, используя самые различные средства. Он неторопливо, обстоятельно показывает черты их характера, манеру вести себя, возвращаясь к прошлому, знакомит читателя с биографией героев.

Ползунков все еще чувствует себя фронтовиком. И ко всякому делу относится по-солдатски, спокойно, уверенно и серьезно. И трудности жизни он сравнивает с фронтовыми. И рассказы его больше о времени войны.

В повести мы неоднократно встречаемся с проявлением подлинного мужества людей. И нам так и хочется сказать вслед за автором: «Вот, значит, какие властительные над собой существа обитают на планете Земля, коронованной светоносным сиянием, которое они считают только явлением природы, а вовсе не чем-то исключительным, предназначенным светить человечеству в честь человека».

Фенькин тоже имеет свою военную биографию, хотя он гораздо моложе Егора Ефимовича. Маленьким мальчиком-сиротой он попал в воинскую часть. Его усыновила и выходила Феня Сорокина, самая молодая в банно-прачечном отряде, состоявшем главным образом из женщин. После ее трагической гибели Феликс и получил фамилию Фенькин. И всегда с чувством любви и горечи думал об этой не родной, но близкой, как родная мать, семнадцатилетней девушке.

Вспоминая о жизненном пути Ползункова и Фенькина, автор постоянно возвращает нашу память ко временам войны, к конкретным фронтовым эпизодам. Такое многократное обращение писателя к событиям военных лет отчетливо выявляет одну из характерных особенностей его художественного мышления. Оно заставляет вспомнить «Март — апрель», «Щит и меч», «Петра Рябинкина», военные очерки писателя.

В новом произведении Вадима Кожевникова органически сливаются две основные линии его творчества: изображение воинского подвига и трудового героизма советских людей.

Егор Ползунков, как говорит автор, считает себя дважды рожденным, как все люди, которые воевали и остались живы после войны. И поэтому работать он должен за двоих. Движимый этим чувством, в услови-

ях полярной ночи и вечной мерзлоты он мужественно преодолевает невероятные трудности, всюду проявляя смекалку и выдержку. В этом преодолении, собственно, и проявляется советский характер главного героя повести. «Сама природа тут умная, строгая, очень свирепо сторожит свои ценности,— говорит он.— Для кого, спрашивается, сторожит? Да для нас, для Советской власти. Пока достигнем таких возможностей, чтобы все тут аккуратно к рукам прибрать. Как мы против беспощадной эксплуатации трудового человека, то же самое и природа. Пользуясь ею с уважением, тогда — пожалуйста».

Весьма показательны мысли автора, вложенные в уста любимого героя и раскрывающие смысл его философии жизни: «Человек умным или глупым не рождается. Храбрым или трусом, жадным или великодушным, добрым или злым,образительным или хитрым — тем или другим он по обстоятельствам жизни становится. Это правильно. Но на обстоятельства тоже все сваливать нечего. С какими людьми он поведется, от таких и наберется. Эта формулировка точная, хотя считается только ходячей поговоркой. Человек при помощи людей выстраивается. Плохих у нас становится все меньше, а хороших больше, значит, на их стороне сила».

Главный герой прежде всего дорог нам отношением к своему делу. В сущности, фабула повести очень проста. Требовалось срочно разгрузить судно в небольшой бухте, затерявшейся в просторах северных широт. Основной заработок транспортной колонны исчисляется из тонно-километров. То есть чем больше был вес доставленных грузов и километраж пути, тем больше оказывалась и получка. Команда сухогруза должна переместить грузы с судна на машины, а они в несколько ездов доставить их на объект, на что требовалось не меньше недели. Однако судно не могло задерживаться в бухте больше двух суток. При такой ситуации на машины успели бы погрузить только часть грузов, а остальные отправить в ближайший порт. Но часть грузов — это некомплект. А кому нужно на стройке некомплектное оборудование? Каждому ясно, что это просто мертвый металл.

Ближайший порт за сотни километров. И еще под вопросом, позволит ли погода разгрузиться там. Если же этого нельзя будет сделать, то груз потянут дальше, за тысячу километров. Когда помножишь эти

километры на рубли, получается колоссальная сумма. А на Севере время не просто деньги. Это прежде всего поступь страны, шагающей через высокие параллели по вечной мерзлоте буровыми вышками, опорными мачтами электромагистралей, несущими колоннами новостроек.

Так стоял вопрос. Таковы были условия задачи, которую полагалось единолично решить Егору Ефимовичу. И он принимает единственно правильное решение, исходя из государственных интересов. Решение, противоречащее материальным интересам бригады. Он начинает выполнять его самолично и водухеявляет людей на исполнение.

В данном случае мы видим, как могут советские люди ставить государственные интересы выше своих собственных. Ф. Энгельс говорил, что коммунизм начинается там, где на первый план выдвигаются общественные интересы. Автор повести «Белая ночь» зорким взглядом художника-патриота умеет подметить в жизни приметы того, чему принадлежит коммунистическое будущее.

В Отчетном докладе ЦК КПСС XXV съезду партии Леонид Ильич Брежнев высоко оценил произведения на производственную тему, которые ставят и решают важные морально-этические проблемы, раскрывающие богатый внутренний мир нашего современника. В. Кожевников новой своей повестью еще раз доказал, что он принадлежит к числу тех писателей, которые разрабатывают главные темы жизни.

Вадим Михайлович Кожевников всегда находится в гуще жизни, о чем убедительно свидетельствует его богатая творческая биография, накопленный за десятилетия громадный художнический опыт. Вспомним проблемные очерки писателя о Сибири, где были смело подняты серьезные, государственной важности вопросы. Жизнь доказала правоту автора. И если сегодня так успешно осуществляется обширная программа освоения подземных богатств Тюменской области, то и в этом есть большая заслуга художника.

Всей своей жизнью Вадим Кожевников связан с Сибирью. Отчетливее всего приверженность писателя к великому сибирскому материку выявилась в романе «Заре навстречу», рассказывающем о революционном движении в Сибири. В. Кожевников принадлежит к числу художников, чей творческий диапазон очень широк. Для Кожевникова дорого все, что касается Страны

Советов. Он давно и близко связан с Узбекистаном. Его хорошо знают хлопкоробы Ферганской долины и рабочие Самарканда, животноводы Бухары и рыбаки Арала, те, кто осваивал Каршинскую степь, и ученые Ташкента. Знаменателен тот факт, что Вадим Кожевников, являясь народным депутатом, представляет в Верховном Совете СССР трудящихся Самаркандской области. Его основные произведения переведены и на узбекский язык. Узбекистану он посвятил много публицистических статей и очерков, в которых прославлял трудовые подвиги рабочего класса, хлопкоробов, мастеров высоких урожаев.

Именно активная гражданская позиция автора и позволяет глубоко раскрыть характер нашего современника, художественно выразительно показать его отношение к труду, к своему патристическому долгу. Яркое свидетельство тому повесть «Белая ночь».

Персонажей в повести довольно много. Это и Феня Сорокина, и Сергей Мымрин, и водители-шоферы. Но автор выдвигает на первый план троих: Егора Ползункова, Феликса Фенькина и Алену Ивановну. Тундра живет своей жизнью. А люди, как и везде, остаются людьми — работают, мечтают, влюбляются. Автору повести удалось очень хорошо показать красоту души простых советских людей, их подлинно человеческие отношения. Главные герои повести предстают перед нами как люди высокой нравственности, всем своим поведением утверждающие нормы коммунистической морали.

Можно назвать много произведений зарубежных авторов, где описывается, как в жестоких условиях Севера люди теряют человеческий облик и в отношениях друг с другом руководствуются формулой «человек человеку — волк». Здесь картина иная. Замерзшего Ползункова в расщелине на льдине первым нашел Фенькин. Оба они любят одну женщину — Алену Ивановну. И Фенькин вместе с Аленой Ивановной спасает Ползункова, используя все доступные им медицинские средства. Трогательно описанная в повести человеческая забота людей друг о друге. Взаимное доверие, единство интересов, дружба помогают им не только спасти товарища, оказавшегося в беде, но и доставить до нужного места так необходимые строителям нового гиганта грузы.

Хорошо сказал об этом сам автор: «Ценность их грузов и ценность самого времени

составляли для них нерасторжимое целое, они были заняты делом, которое — они знали — называют великой стройкой века».

Горьковская мысль о том, что главным героем мы должны избрать труд, предполагает поэтизацию труда, без чего не может быть создан яркий, впечатляющий образ труженика, раскрыта подлинная романтика труда. В. Кожевников успешно решает эту нелегкую творческую задачу. Он показывает людей, влюбленных в свою работу, рисует героев, которым не страшны никакие трудности. Именно такими мы видим действующих лиц повести «Белая ночь», завершающейся полной лиризма и вдохновляющей силы концовкой:

«Колонна все приближалась к назначенному ей пункту, где возводился новый город, еще не имеющий названия, еще не сверкающий своими собственными огнями. Но придет тот день, когда он засверкает огнями, и в полярной ночи он будет, как остров, возвышающийся домами, корпусами заводов. И сияние его будет видно из самой дальней дали, как великое новое земное созвездие, сотворенное подвигом труда. И ползунковской транспортной колонной тоже».

Произведение В. Кожевникова всей логикой картин и образов утверждает реальность мечты советских людей. И надежной гарантией того, что самые смелые мечты воплотятся в действительность, является самоотверженный труд строителей коммунизма. Поэтому, читая повесть, испытываешь прилив гордости оттого, что ты член великой семьи советских людей, творящих повседневный трудовой подвиг. И хочется сказать словами Маяковского:

Я знаю —
 город
 будет,
я знаю —
 саду
 цвести,
когда
 такие люди
в стране
 в советской есты!

Новая повесть В. Кожевникова свидетельствует и о высоком мастерстве художника. Эпически спокойное повествование и публицистические интонации, умение в нескольких штрихах обрисовать характер, выбрать из множества событий главные, способствующие глубокому раскрытию темы произведения; четко индивидуализированная речь персонажей, изображение характеров в

борьбе, в динамике и многие другие особенности, присущие В. Кожевникову, находят здесь отчетливое выражение.

Мне нравится афористичность его речи, выразительная сдержанность фразы. Вот некоторые примеры:

«Доброта — это вовсе не уступчивость. Доброта в том, чтобы в каждом человеке самого себя в чем-то видеть, люди зотъ и все разные, но по существу, по переживаниям одинаковые. Что тебе в радость, то и другому; что тебе в обиду, то и другому. На такое и ориентируйся, на каждого как на себя, смстри». «В трудную минуту можно организм обогреть и у горячей запаски, но чтобы мозги на морозе работали, веселость помогает», «Север есть север, работа есть работа — в данном климате вполне обычная, нормальная, веди себя только правильно, по правилам коллектива. А без соблюдения правил и лицу поперек переходить жизнеопасно».

«Белая ночь» В. Кожевникова, названная автором маленькой повестью, во многом поучительна. Ценность произведения литературы определяется не количеством страниц, а значительностью заключенного в нем жизненного материала, мастерством его творческого воплощения — тем единством содержания и формы, которое и становится подлинным критерием художественности. Повесть является гимном в честь тружеников, патриотов, людей выносливых, мужественных, духовно прекрасных, чей подвиг, совершенный в белой ночи, не может не вызывать восхищения.

Я давно и хорошо знаю Вадима Михайловича Кожевникова. Знаю не только как писателя, но и как государственного и культурного деятеля, человека щедрой души, верного товарища. Каждой своей строкой, каждым своим словом и поступком, своим неистовым темпераментом он утверждает правду нашей советской действительности, великую жизненную силу идей нашей славной ленинской партии.

Вспоминаю слова Александра Фадеева, сказанные мне в конце 50-х годов, когда я был председателем правления Союза писателей Узбекистана. С большой любовью говорил он тогда о еще молодом Кожевникове: «Несомненно, талантлив, энергичен, думаю, что ему по плечу большие высоты в нашей литературе. — И, чуть подумав, добавил: — Уверен, что он не раз порадует советского читателя высокодейными и высокохудожественными произведениями».

Как все-таки далеко умел смотреть вперед Александр Александрович! Сегодня, когда Вадиму Михайловичу исполняется семьдесят лет, хочется от всего сердца пожелать ему крепкого здоровья, много счастья, писатель-

ской молодости, постоянного вдохновения и, конечно, новых творческих удач и новых книг.

Шараф РАШИДОВ.

Ташкент.



ЦЕНА ИСТИНЫ

Виталий Семин. Нагрудный знак «OST». Роман. Повесть. Рассказы. Библиотека «Дружбы народов». М. «Известия». 1978. 623 стр.

А всего иного пуще
Не прожить наверняка —
Без чего? Без правды сущей,
Правды, прямо в душу бьющей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька.

А. Твардовский.

Виталий Семин, мой сверстник, земляк и давний друг, принадлежит к литературному поколению которое иные критики долго называли не воевавшим. Кто-то дельно заметил, что определение, данное по принципу отрицания качества, едва ли может выявить в предмете нечто существенное. Впрочем, обыкновенно к слову «не воевавшие» еще прибавлялось, что детство этих писателей все же опалила война. Рискну утверждать, что этой опаленности, обусловившей первые шаги семинских сверстников в литературе, писателю хватило на всю жизнь. Конечно, его путь не похож на другие — начало этого пути отличается максимальной насыщенностью трагическими переживаниями. На неокрепшие плечи подростка легли три года фашистской неволи, унижений, побоев, голода, тифа, каторжного труда. Но рано сложившемуся писателю эти годы дали отчетливое сознание уникальности собственного жизненного опыта, что и сделало почти все произведения В. Семина автобиографичными. Так своеобразно преломилась в его работе категория нравственной ответственности: пишу о том, что сам видел, выстрадал, знаю доподлинно. Давние испытания объясняют еще многое в творческом облике ростовского прозаика: острый драматизм внутреннего бытия при внешней сдержанности стиля, выношенную стойкость убеждений (дорого за них плачено) и редкостное постоянство в развитии однажды избранной темы. Быть может, эти испытания в какой-то мере объясняют и повышенную ранимость писателя и даже его раннюю смерть.

Незадолго перед кончиной В. Семин совершил поездку в ФРГ — по тем местам, где провел тяжелейшие годы своей жизни. По тем местам, как сообщал он в последнем письме, «где я с 1942 по 1945 набирал материал для романа». Кто знает, возможно, это душевное потрясение, прячущееся за этой иронической фразой, и подорвало силы писателя.

В беседах со мной В. Семин часто называл себя нелегким автором. Обычно в форме шуточных сетований, иногда с той или иной дозой горькой серьезности. Упоминаю об этом лишь потому, что в известном смысле В. Семин — писатель действительно трудный. Нужна немалая духовная работа, чтобы одолеть многостраничную толщу его главного романа «Нагрудный знак «OST», раскрывающего мрачные бездны фашистского арбайтлагера.

В новом произведении, которое осталось незаконченным, писатель признается, что в его прошлом, в воспоминаниях о войне, «все серо, бесцветно. Какое-то истощение цвета». Тусклый, обезличивающий колорит лагерного быта возникает с первых страниц и в «Нагрудном знаке «OST».

Семин подробен в описаниях — стремится к предельной достоверности. И я догадываюсь, ценой каких творческих самостязаний она давалась автору. Впрочем, однажды я ему признался, что совершенно лишен художнической зрительной памяти. «Ты просто еще не пробовал свою память насилловать», — возразил писатель.

Из серых сумерек, из военного затемнения немецких цехов и барачков встают в воображении автора одна за другой незабы-

ваемые фигуры товарищей по несчастью. Обрывки разговоров, распавшиеся звенья событий. Чтобы их соединить, нужен подвиг писательской памяти. Постепенно некоторые из намеченных характеров проступают все четче и рельефнее, создавая групповой портрет особой среды, в которой складывалось сознание подростка Сергея. По мере того как замедленно разворачиваются картины лагерных будней, получает художественное обоснование и сама неодолимая потребность автора восстановить малейшие подробности пережитого. В громоздких описаниях, несущих читателю и удушливый запах литейки, и шелест сенной трухи в бумажных барачных подушках, ощущаются убийственно-монотонные ритмы какой-то громадной неповоротливой машины. Конечно, это не только ритмы самой лагерной фабрики, где работают полузамученные старики и подростки. Но и ее тоже.

Легко догадаться, что фашистские надсмотрщики и не ждут от заключенных высокой производительности труда: главное для государственной системы нацизма — вбить в головы узников представление об их расовой неполноценности, истребить самую тень мысли о неподчинении порядкам третьего рейха. Но чем более жестоки физические утеснения, чем тяжелее моральное давление, тем упорнее сопротивляются жертвы, в том числе и главный герой романа. И здесь, за колючей проволокой, люди резко делятся на своих и чужих, сгущается гроза, идет незаметное, подспудное преодоление «фашистских обстоятельств». К концу романа иные из товарищей по несчастью близки к тому, чтобы стать соратниками по борьбе. Они сплываются если не в тайную организацию, то в среду достаточно однородную, уплотненную, со своими правилами чести и взаимовыручки, со своими формами коллективного протеста. Ты решил саботировать — вовремя найдется советчик, тебе подскажут, как добиться, чтобы обычная ссадина воспалилась и поднялась высокая температура, дающая возможность уклониться от работы. У заключенных появляются свои вожаки и герои, к которым сперва инстинктивно, а потом и сознательно тянется впечатлительный Сергей.

Еще в пересыльной тюрьме, куда он попал после неудачного побега, подростку встречается человек, открыто презирающий гитлеровцев и их холоуев. Сергей угадывает в нем бежавшего из лагеря смерти советского офицера и все готов отдать за место на

нарах рядом с ним. Сергей так и не узнает настоящей фамилии героя, а память навсегда сохранит образ несломленного бойца под именем Раздражительный — по господствующей в его голосе интонации. Впоследствии, пережив вместе с Сергеем страшные годы арбайтлагеря, читатель узнает других советских патриотов, ставших для героя учителями жизни. Их присутствие создает подростку нравственную опору для того, чтобы выжить и преодолеть испытания.

Тут выявляется, быть может, главная стилевая особенность семинского повествования, автор и герой которого — одно и то же лицо в разные периоды жизни. Неуклонный ревнитель достоверности, В. Семин вовсе не желает предстать перед читателем в героическом ореоле, ничего не приукрашивает в переживаниях Сергея, ничего не прибавляет к ним от своего позднейшего опыта. Но аналитик В. Семин пишет во всеоружии знаний и умений, приобретенных в продолжение всей последующей жизни. Беспощадная честность по отношению к себе позволяет писателю показать взаимосвязи со средой без каких-либо невольных искажений, помогает глубоко и точно разобраться в психологии других.

Кстати сказать, такой нацеленный на полное жизнеподобие стиль почему-то вызывает у некоторых критиков (безотносительно к Семину) тайное или явное сопротивление: он-де старомоден, фотографичен. При этом фантастическая условность сюжета, метафоризм образов выдаются (в обрамлении осторожных теоретических оговорок или без оных) чуть ли не за изобретение современного интеллектуализма. Во всяком случае, за его неотъемлемую принадлежность. Между тем история мировой литературы с давних лет изобилует самыми неожиданными разнообразиями метафорического стиля, а фантастический роман «Золотой осел» написан два тысячелетия назад. Я же смею думать, что истинная современность тех или иных художественных форм (или, точнее говоря, их эстетическая необходимость) зависит прежде всего от жизненного материала, которым они и продиктованы. И конечно же, от личности автора, умеющего почувствовать органическое соответствие формы содержанию.

В глубине и силе социальных обобщений В. Семину никак не откажешь. Это же можно сказать и о его мастерстве психологического портрета. Как тот или иной человек

говорит, плачет, смеется, ходит, жестикулирует и, главное, как он думает и поступает, обрисовано автором столь выразительно и пластично, что, кажется, семинских героев ты легко узнал бы, встреться с ними на улице или невзначай заговори в троллейбусе. Писатель находит в выражении глаз, в голосе своих персонажей, в их манере держаться столь неповторимые оттенки, что в огромной галерее лиц, возникающих в романе, нет и двух, слишком похожих друг на друга. А ведь черты этих лиц, казалось бы, стерты истощением, непосильным трудом, постоянной близостью смерти, необходимостью таить свои мысли. И наконец, по прошествии многих лет они, эти черты, могли попросту истаять в писательской памяти. Но они живы, и неповторимые характеры проявляются во множестве разнообразных эпизодов. Эта нескончаемая череда случаев обязательно содержит и такой, когда лицо высвечивается целиком, когда в забитом доходяге открывается человек.

Внимательное наблюдение за духовной жизнью Сергея объяснит читателю некоторые внутренние предпосылки писательской зоркости. Пятнадцатилетнего узника № 763, жившего до войны обычной жизнью городского мальчишки, каторга потрясла и заставила рано определиться. Она научила его быть ежесекундно готовым к опасности, изоцирила природную наблюдательность, направила ее на неустанный поиск выхода. Подросток остро нуждается в покровительстве старших, в их руководстве, в нравственных образцах. И среда преподносит ему незабываемые уроки.

Белорусский паренек Володя захватывает на несколько минут оставленный полицаем велосипед и бесстрашно раскатывает по двору. Не обращает внимания на предостерегающие возгласы товарищей, на крики выскочивших охранников. Внешне Володя безразличен к последствиям (то есть неминуемым истязаниям). В другой раз тот же парень, истощенный до прозрачности, благородно отдает свою хлебную пайку немецкому подпольщику, попавшему в лагерь. Предметный урок интернационализма в этом заповеднике расовой ненависти! Таких уроков будет еще немало: масса заключенных многонациональна и наряду с советскими людьми здесь есть военнопленные — французы и поляки. Что же, однако, движет поступками внешне беспечного Володи? Почему охранникам не удастся его запугать, сломать или ожесточить, как иных? Обра-

тите внимание на вопросы, которые сторожко, но неотступно задает разным людям Сергей, — эти вопросы всегда направлены к тому, чтобы наиболее полно выявить мотивы человеческого поведения. И в этой пытливости как бы предощущается напряженный интеллектуализм будущего писателя.

Не удивительно, что всей душой (как прежде к Раздражительному) подросток привязывается затем к Аркадию, в голосе которого ему слышится «командирская, учительская, государственная интонация». Влюбленно и послушно следует Сергей и за Ванюшей — следует во всех дерзких предприятиях этого человека, который «как бы не сводил своих неподвижных зрачков со зла» и «расслаблялся только риском». Убийство эсэсовца — лишь эпизод, пусть очень важный, но эпизод в раскрепощающей дружбе подростка со старшим, в обретении того доверия взрослых, которого жаждет и которое столь ценит Сергей.

Какова нравственная цена всех этих уроков, узнаем по напряженным размышлениям, что еще тогда бродили в горячей голове Сергея, но были окончательно сформулированы много позднее, зрелым писателем: «...я, конечно, оценил и невероятную тяжесть обстоятельств, и то, что человек может против обстоятельств (вот всегдашняя внутренняя тема В. Семина! — Л. Л.). И понял собственную слабость. Но человеческая мерка моя от этого нисколько не понизилась. Ведь кто-то эти обстоятельства побеждает! Но даже если бы осуществился самый жуткий бред и только кто-то один на самом краю света ценой жизни победил бы фашистские обстоятельства, то это и было бы человеческой мерой. И, о чем бы ни спорили, я чувствовал, что всегда спорят об этом — какая мера человеку по плечу».

Каторга, ломая узников, старалась их обезличить, озлобить, поработить, а люди продолжали верить в неодолимость высоких истин и человеческого достоинства. Среда выталкивала из себя приспособленцев, всяческих «блатных» и прочее отребье. Пристально, с хладнокровием патологоанатома исследует писатель психику этих уродов, а также и самих церберов нацистского режима. Вспомните, как тщательно выписывает он мимику, жесты, выправку, мундир каждого штурмовика хотя бы в сцене лагерного обыска. «Почву, на которой вырастает фашизм, надо исследовать тщательнее, чем само растение». Перед нами, по сути, самые различные и внимательно изученные худож-

ником ступени человеческого падения. Даже в обрисовке убежденного садиста Пауля писатель избегает сатирической заостренности. Не упускает случая отметить, что и туберкулез не останавливает этого фанатика на пути в лагерное подземелье, не убавляет палаческого рвения.

«Что это было?» — недоумевает Сергей, когда на него самого в присутствии Пауля накатывают приступы слепой, едва сдерживаемой ярости. Каторга ежедневно преподавала подростку науку ненависти. И все же он устоял в своей гуманистической вере, напротив, утвердился в мысли, что «у нормального человека привычка к гнусностям, слава богу, просто не образывается».

Читатель видит, как события, определившие исход войны, косвенно отражаются в лагерном быту, как что-то меняется во взаимоотношениях между полициами и заключенными. Лихорадочно свирепеют одни мучители, другие, напротив, «смягчаются», они уже не прочь показаться простыми исполнителями, чуть ли не жертвами нацистского режима. И нагло предают их теперь «блатные», заискивая перед теми, над кем еще вчера издевались. Наступает Советская Армия, близится час исторической расплаты.

«Потом я много раз рассказывал, как мы с Костином и Саней ехали из Крефельда в Дюссельдорф, как переправлялись через Рейн. Вначале это был хвастливый рассказ о том, что мы не побоялись пройти мимо целой армии раздраженных солдат (немецкая армия, сдавшаяся в плен американцам.— Л. Л.), которым ничто не могло помешать свернуть нам головы. Затем была гордость — вот как хорошо быть гражданином страны-победительницы. Было удивление — традиционное, впрочем, — перед немецкой готовностью соблюдать порядок. Но каждый раз я с тревогой чувствовал, что что-то важное остается неисчерпанным...» Вот эта жадная тяга к полноте истины, невозможность остановиться на полуправде — также одна из основных стиливых особенностей, характеризующих облик писателя В. Семина.

Он стремился к такой исчерпанности самовыражения, когда твой роман или повесть (даже рассказ) вбирают в себя муки, чаяния, судьбы многих и многих. Когда на твои страницы падает ответ истории. Грозные отблески военных зарев так или иначе ложатся на все основные произведения В. Семина. Даже когда автор рисует мир-

ную, обыденную жизнь ростовских дворов и улиц. С предгрозового затишья начинается роман «Женя и Валентина» — семейный праздник готовится в домике на городской окраине. Это происходит в самый канун рокового лихолетья. Замысел произведения (автор успел издать только первую часть) интересен тем, что социально-нравственные поиски В. Семина увенчались образом заводского парня, «живущего с полной нагрузкой — рабочей, общественной, спортивной». Определенно в центральном для этой вещи характере Женя воплотились черты, особенно дорогие автору, — образ излучает теплоту. Правда, Женя немного наивен в своем безоговорочном доверии к техническому прогрессу. Возможно, даже не слишком отличает его от духовного развития общества. Если чего-то недопонимает, ищет истину в научных справочниках. Но и в профессиональном и в житейском смысле он честен, мужествен, острообразителен.

Именно Женя проявляет наибольшую выдержку и решимость в трагический момент, когда коммунисты решают взорвать заводское оборудование — не доставайся, добро, врагу! Роман обрывается на эпизоде, в котором Женя при случайной встрече покалечил немецкого патрульного и ушел из города. Можно только пожалеть, что живо намеченный, цельный характер рабочего парня так и не был сюжетно развернут. Не воевавший Семин отлично знал лучших представителей военного поколения.

При оценке этого семинского образа снова нельзя не сказать о силе критической инерции. По давней привычке многие из нас отождествляют понятие «народ» с огромными массами доверенного колхозного крестьянства, с устойчивой сезонностью земледельческого труда, с деревенским нравственно-бытовым укладом. Но статистика утверждает иную сущность понятия в сегодняшнем, бурно изменяющемся мире: 68 процентов всего населения страны проживает уже в городах и рабочих поселках. Было бы по меньшей мере странно, несправедливо, если бы мы продолжали эту инерцию, считая только сельских жителей (честь и хвала их труду!) наследниками славных традиций прошлого. В. Семин это отчетливо понимал. Коренной горожанин, он, конечно, и персонажей своих искал в близкой, хорошо знакомой среде. И в каждом из них — частицу нашей исторической общности. При этом художник всегда видел конкретную личность, живого выразителя

этой общности. И весьма четко представлял, какие именно черты соответствуют (а какие нет) народному идеалу. В. Семин называл это поисками смысла.

Вполне закономерно, что опытный прозаик написал книгу психологических очерков о строителях КамАЗа — он копил знания о рабочей среде 70-х годов. Возможно, эти очерки послужили бы основой для будущей повести или романа — писатель умел хранить в памяти силу и свежесть впечатлений, любил неоднократно возвращаться к однажды сделанным наброскам. Первые эпюды, вошедшие впоследствии в окончательный текст «Наградного знака «ОСТ», я помню еще по публикациям середины 50-х.

Исследуя внутренний мир современников, В. Семин стремился к тому, чтобы ни один характерный жест, реплика, слово не ускользнули от читательского внимания, чтобы любой предмет обстановки задержался в памяти. В романе «Женя и Валентина» художник столь тщательно выписывает помещение цеха, станки, приборы, что, думаю, и специалисту-инженеру тут трудно что-либо домыслить. Местами эти индустриальные вдохновения кажутся тяжеловатыми (затянутость, переутомление стиля), но, во всяком случае, автора не упрекнешь в поверхностно-скользящем взгляде на вещи.

Герои семинских рассказов часто люди горькой судьбы, их жизни изматы не только войной — болезнями, старостью, одиночеством. Тем искреннее писательское удивление, тем горячее радость, когда в этих людях открывается способность сопротивляться обстоятельствам. Умея жалеть, герой-повествователь не умеет быть жалостливым. Остается суховато-точным в портретных характеристиках. Если речь собеседника корява, бедна, если внешние проявления чувств слабы, Семин ничего не приглаживает и не усиливает — находит иные средства, чтобы впечатляюще передать человеческое состояние. Вот беглый штрих к портрету старого банщика (рассказ «Хозяин»): «Лицо его почти не меняется во время разговора. У него мало сил, и он уже не тратит их на мимику. Не хмурит брови, не морщится, не улыбается — ровное выражение лица. А вообще он волнуется. Бойтся, что квартиру ему не дадут».

Сочувствие чужой беде заставляет В. Семина смотреть ей в лицо, схватывать едва уловимые приметы боли. Впрочем, столь же внимателен он и к людям, в ком

жизнь бьет ключом, кто ярок и деятелен по натуре.

Думаю, гипнотизирующая точность, с которой В. Семин выписал в повести «Семеро в одном доме» образ Мули, несколько заслонила в глазах критиков самого героя-рассказчика. Захватывающая колоритностью образа, критика наша преимущественно о нем и толковала. Отчасти сам автор дал к тому повод, особо выделив этот персонаж и в сюжетных событиях, и в том, что целиком отдал Муле пространство двух глав, позволив ей вести речь от своего лица, как бы нести ответственность за рассказанное. Но характер Мули, типичной жительницы городской окраины и фабричной работницы, бережно и точно разобран И. Дедковым в емкой и обстоятельной статье — послесловии к рецензируемой книге. Думаю, нет нужды повторять здесь ее положения, с которыми я согласен. Напомню только, что из-за этого образа В. Семину в свое время досталось от критики, ибо она сочла Мулу недостаточно идейной и сознательной.

Между тем бойкая энергия, предприимчивость и активность Мули, ее отзывчивость на чужую беду тоже несут на себе мету сложившей их исторической эпохи. В характере Мули нет и капли от слепой покорности судьбе, от начал, воспетых некоторыми прозаиками патриархального толка. Вполне возможно, что другие героини В. Семина, например дочь Мули Ирка или их родственница Валентина (роман «Женя и Валентина»), с течением лет превратились бы в подобных женщин, развернули бы собственный вариант сходной судьбы. Очевидно, сознание своих прав, личной независимости — едва ли не главная черта этого женского характера-типа. По крайней мере, Валентина чувствует свою самостоятельность не менее остро и утверждает ее не менее решительно, чем Тоня, героиня известного новеллистического цикла Василия Белова. Правда, привязанность семинской героини к мужу все-таки удерживает ее от слишком грубых и вызывающих демонстраций независимости. Однако и семинский герой (в названном романе — Женя) в отличие от беловского давно понял и принял этот характер как непреложную реальность. И, любя жену, не устраивает семейного бунта по поводу ее прически. Конечно, он тоже нервничает, наткаясь на непонимание или на слишком острые углы женского самоутверждения, но у него довольно ума и нравственных сил, чтобы со-

хранить семью и собственное душевное равновесие.

Муля — старшее поколение, во время войны она остается с двумя сиротами на руках, потеряв на фронте мужа, — ей много тяжелее, чем Валентине или Ирке. Она вынуждена проявлять неистощимую изворотливость и жизнестойкость, вынуждена в годы оккупации пускаться в рискованные предприятия, чтобы прокормить семью. Что-то покупает, кухарит, перепродает, езда в пригородных поездах (а между делом успевает столкнуть на полном ходу с вагонной подножки прицепившегося немецкого солдата).

Уже после войны пожилая вдова, мать взрослых детей, потом теща и бабка, Муля встает раньше всех и по привычке начинает снова по дому. Правда, сознательности (как считают руководители галантерейной фабрики), а если сказать точнее — образованности, женщине не хватает. Но можно ли винить в этом Мулю? Пединститута она не кончала — зато с ее помощью это осуществила Ирка. Впрочем, Мулиной заботы достанет и на непутевого сына, и на зятя, и на студента-племянника, и на соседей по улице. Достоверность Мулиного характера вне сомнений, и едва ли стоило критикам, уподобясь руководству галантерейной фабрики, отчитывать женщину за отсталость. Тем более как-либо отождествлять ее предрассудки со взглядами автора. Быть может, уместнее было бы отметить утраченное многими коллегами завидное умение В. Семина создавать характеры, знаменующие уровень так называемого массового сознания. Писателю, с отроческих лет вынужденному жить в самом тесном окружении людских множеств, более чем кому-либо свойственно было зоркое внимание к нравам и обычаям среды, к чертам характера и привычкам, которые она вырабатывает.

Но, несмотря на колоритность этого характера, я не буду останавливаться на нем подробно, поскольку меня прежде всего интересует сам герой-рассказчик. Подчеркну: многое из того, что кажется Муле естественным и привычным, журналист Виктор решительно отвергает. В частности, неистребима его вражда с антиобщественной хулиганской стихией, которая — писатель слишком хорошо это знает — связана с шаткой психикой «блатных», с их презрением к человеку, истеричным своеволием и по-

стоянной склонностью к предательству. Еще в ранней повести «Ласточка-звездочка», тоже автобиографичной, В. Семин развивал, по сути, горьковскую мысль о родственной близости между нравами уличной шпаны и фашистской моралью. Молодой журналист, муж Ирки и зять Мули, тоже органически не переносит хулиганства. Когда он случайно становится очевидцем пьяной драки и последовавшего за ней бессмысленного убийства (соседский парень, обороняясь от троих напившихся вместе с ним дружок, забегает домой и, схватив охотничье ружье, укладывает наповал одного из преследователей), он буквально теряет самообладание. «Меня раздражало то, что говорила Муля. Мне не хотелось выяснять, кто тут прав, кто виноват, — все происшедшее, казалось мне, выходило за те пределы, где ищут правого и виноватого. Мне хотелось осуждать. Осуждать все — нравы, улицу, район. Не жаль ни того, кто убит, ни того, кто арестован. Жаль милиционеров, следователей, врачей, Ирку, себя, дядю Васю — всех, кого это дикое убийство затронуло и потрясло. Дичь какая-то! Я давно присматривался к пьяным ссорам на нашей улице, и вот темное прорвалось... Все это я выложил Муле. Она не поняла меня. Она и не должна была понять меня. Я исходил из того, что всего этого не должно быть, а она из того, что это было и есть. Она всю жизнь прожила на этой улице, знала Валерку (убийцу. — Л. А.), его мать и жену».

Вот первая непосредственная реакция нравственно здорового человека на преступление. Правда, скоро герой поймет, что в его жажде тотального всеосуждения улицы есть большая доля горячности, есть то, что внушено возмущенным инстинктом самосохранения. Герою придется пересмотреть свое отношение к конкретному, страшно сорвавшемуся парню и уточнить свои показания следователю. А спустя несколько лет, когда парень отбудет срок, герой даже примет вместе с ним участие в строительстве дома для Иркиного брата, в строительстве, которое ведут по долгу взаимопомощи чуть ли не все жители улицы. Но непримиримость к злу, которое так часто является в пьяном облике распясавшегося хулигана, не покинет героя никогда — насчет этого у читателя не остается заблуждений.

Нет никакого повода считать, что В. Семин видел в Мулиной терпимости этакую соль земли, а в ней самой — образ, претен-

дующий на полное выражение народной философии жизни.

В ранних повестях «Ласточка-звездочка» и «120 километров до железной дороги» уже зримо прорисовывались основные черты самого героя-рассказчика, человека предельно добросовестного и любознательного, не любящего глотать истину в разжеванном виде. Герою второй повести, студенту-словеснику Андрею Горбатых, отнюдь не достаточно институтских лекций, чтобы чувствовать себя теоретически подкованным. Нет, Маркса и Энгельса, Дидро и Гельвеция он должен проштудировать сам, проверить великие идеи собственными наблюдениями и выводами. Самостоятельность мышления тоже, возможно, дана автору тяжелой судьбой, точнее — рано выработанной способностью сопротивляться обстоятельствам. В первых семинских повестях, отмеченных печатью недюжинного таланта, все-таки еще чувствовались издержки специальных студий, некоторый рационализм стиля. Можно поставить это в связь с откровенным признанием автора (см. «120 километров до железной дороги»), что в годы студенчества писатели казались ему расточительными: «...толстенный том для того, чтобы доказать одну простую мысль!»

Андрей Горбатых, герой этой повести, теоретически давно изжил упрощенное представление об искусстве. Тем не менее некоторая упрощенность еще сказывалась в художественной структуре самих произведений Семина — в наивном параллелизме иных сюжетных ситуаций, в прямолинейности контрастных сопоставлений. Но художник в Семине властно брал свое. Повесть «Семеро в одном доме» создана зрелым мастером — он уже вполне владеет тонкостями сюжетостроения, знает цену свободе и естественности ситуаций. Девиз этого писателя — никаких уступок беллетристике и, как говорилось, полное жизнеподобие в целом и частности. Не случайно острое содержание повести вызвало в печати долго не умолкавшие споры, не случайно произведение горячо одобрил А. Твардовский. Как следствие достигнутой высоты — повесть обрекла В. Семина на жизнь писателя-подвижника, не позволяющего себе работать слабее максимальных возможностей.

«День уплотнен до предела, — писал Виталий из Ростова, — машинка, к сожалению, простаивает. Но все же иногда мне удается ударить по клавишам. Строки ползут медленно, поторопить их не удается. Поторо-

пить — завтра все равно переписывать. Вот тоже противоречие, которое никак не разрешить. Сколько раз я пытался увеличить темп — он все равно оставался одним и тем же. И темп этот никак не устраивает меня. Ведь пишут же люди, думаю я, по роману в год. Каждому, конечно, свое. Но трудно, трудно с этим согласиться. Тем более что есть замыслы, есть черновики, но и это не слишком убыстряет работу...»

Большинство авторов, пишущих в год по роману, конечно, и понятия не имеют, ценой каких мук дается настоящему писателю точное слово. Но В. Семин меньше всего хотел создавать увлекательное и скоро забываемое чтиво. Не соблазнили его и самоцельные поиски новых жанровых форм, захватившие иных известных прозаиков. Думаю, творческие муки В. Семина имели мало общего даже с классической «каторгой стиля», которая, по признанию Эдмона Гонкура, убила его младшего брата. Дело это («каторга стиля»), конечно же, серьезное, если стоит человеку жизни. Но то, чем занимался В. Семин, было не столько шлифовкой словесных бриллиантов, сколько поиском точных реалистических соответствий увиденному и пережитому. А эта точность нередко шла вразрез с представлениями о филигранном блеске. Пережитое было настолько весомо, порой страшно, что требовало нового и нового духовного преодоления, а не просто виртуозного владения словом. И мастер бился над тем, как оживить мертвую бесцветность прошлого, как включить в него свет мощной гуманистической идеи. Поэтому в романе «Нагрудный знак «OST» нам не покажется безвкусицей фраза: «И еще какие-то жуткие противоречия между страшными разрушениями и пассивностью этой толпы...» Речь идет о разрушенной фашистской армии, и рваный строй фразы и нагнетание «ужасного» в ее продолжении отнюдь не искусственны. Они передают ощущение краха, конец, разорванность всех коммуникаций гитлеровского рейха, превращение беспощадной дисциплинированной силы в никому не нужную толпу.

Каскады метафор, изысканность архаичной лексики, аллегория, притчеобразность, фантастическая условность — это все стилиевые приметы, свойственные другим современным художникам, подчас весьма значительным. Но не В. Семину. Его повествованию не нужны ни метафорические заострения, ни гиперболы. Напротив, всю жизнь

обдумывая свой непомерной тяжести материал, писатель воспитывал в себе сдержанность. «Взгляд В. Семина,—отмечает И. Дедков,—очень редко заволакивала поволока лиризма или сентиментальности; его герой не идеализирует ни себя, ни родного круга. Но эта жесткая правдивость и склонность к точным, тщательным — порою, кажется, по-научному точным и тщательным — определениям человека и его действий никогда, однако, не лишали авторскую мысль гибкости и доброты».

Истина в искусстве тысячеклика. И пусть семинский стиль только одна из многих и многих возможностей, открывающихся разным художникам в методе советского искусства. Но нельзя не признать, что эта возможность осуществлена В. Семиным со всей полнотой благородной и сосредоточенной самоотдачи. Для большего ему просто не хватило отпущенного срока...

Всю творческую жизнь В. Семин прожил под ношей трагической памяти. Всю жизнь искал правдивые слова и ритмы для ее выражения. Вот почему так глубоко волнует выстраданный им антифашистский роман

и скорбно-торжественно, как надпись на обелиске, звучат заключительные фразы произведения: «Вернулся с ощущением, что знаю о жизни все. Однако мне потребовалось тридцать лет жизненного опыта, чтобы я сумел кое-что рассказать о своих главных жизненных переживаниях». Любой грамотный журналист легко освободил бы эти строки от шероховатостей. Но В. Семин вовсе не стремился придать своей мысли обтекаемые формы. Четырехкратно повторив однокоренные слова, допустив даже тавтологическое сочетание («жизненные переживания»), писатель достиг того эффекта мучительной полноты, той громоздкой весомости итогового вывода, которых не добыть и самыми изощренными средствами стилиевой техники. В этих завершающих словах и невозможность объять жизнь и вечная потребность художника перешагнуть свои пределы. И еще, быть может, в них для Семина — главная формула его жгучего правдолюбия, а для других, более молодых писателей — творческое завещание умного и доброго мастера.

Л. ЛАВАЙНСКИЙ.



«...ИЩУ ПОД ВИДИМОСТЬЮ — ДУШУ»

Новелла Матвеева. Река. Стихи. М. «Советский писатель». 1978. 134 стр.

Когда несколько лет назад в «Литературной газете» речь зашла о нравственном потенциале современной поэзии, автор первой — бьющей тревогу — статьи озаглавил ее наиболее «симптоматичной» цитатой¹. Такой цитатой оказалась строка из поэмы Новеллы Матвеевой «Питер Брейгель-старший». Получалось, что Матвеева — эталон холодного эстетства, равнодушия к боли, безразличия к злу. И никто не оспорил в дальнейшем это резкое утверждение.

Выход новой книги Матвеевой «Река» дал повод вспомнить это давнее обвинение. Между тем дело, думается, обстоит как раз наоборот. Трудно найти сейчас поэта, более поглощенного, вернее сказать, одержимого идеей нравственной, воспитательной, дидактической. «Река» в этом смысле наследует и продолжает традицию, нащупать и проследить которую мы и постараемся.

Искусства беззаботного и в силу своей беззаботности легкого Н. Матвеева никогда не принимала. Даже талантливого:

Да здравствуют художники-французы! —

казалось бы, вполне приветственно начинается она стихотворение.

Рисунок влажен, свеж и полустерт,
Но в этой мгле все так же синевлузы
Рабочие... Все так же полон порт
Волн и гудков... И грязен, словно черт...
Все те же с миром радостные узы...
Все те же ветлы, мельницы и шлюзы...
Но что за странный, сорванный аккорд? —

почуввав неладное, насторожилась вдруг Матвеева. И дальше один сплошной упрек:

Откуда фальшь? Душой неблагодарной
Мне не постигнуть мудрости бульварной,
Не дорасти до двойственной красы,

Мне режут слух неслаженные спевки:
Сколь дик и странен образ грязной девки,
Составленный... из капелек росы!

¹ «Блики на пряжках башмачных» («Литературная газета», № 27, 1975).

Она протестует против готовности художника довольствоваться внешним, ограничиться только им, считать, что это и цель и итог.

В эпоху всеобщего признания, преклонения, наконец моды на импрессионистов отважен этот единственный голос против. И по-своему, безусловно, резонен, ибо видению «художника-француза» Матвеева противопоставляет свое собственное видение мира, свой собственный художнический принцип, когда-то сформулированный ею так:

Но есть и у действительности видимость.
А я ищу под видимостью — душу.

Но если перефразировать ее, сказавшую далее: «Не в соли соль. Гвоздь — тоже не в гвозде», то «душа» человека оказывается вовсе и не в «душе». Ведь слово это, думается, подразумевает в первую очередь некое природное, стихийное начало. Именно в таком значении его употребляют многие лирики, верящие в инстинктивность добра, поэтизирующие в этой связи нераздельность «души» и природы.

Для Новеллы Матвеевой именно это и неприемлемо. Главной опасностью для человека ей представляется «зоологизация» его — утеря разума, растворение в темной стихии.

Ибо путь от Платона к планктону
И от Фидия к мидии — прост, —

убеждает она. И убеждает! Не только непосредственно смыслом, но и фонетическим строем; разница лишь в звуке, звучечке — а какова! А если глазами читать — еще торжественней, угрожающе эти перепады с заглавной буквы на маленькую, это низвержение от имени (вернее, с имени, да еще такого великого!) к аморфной, чуть шевелящейся массе.

Отношение к природе как к философской субстанции у Н. Матвеевой сложное. В первую очередь природа для нее — буйная, беспорядочная и потому страшная стихия. Об этом говорится, в частности, в стихотворении «Лижи льда»: «Сколько ликов у льда! Он подобен, вертясь перед вами, отражению в ложке, в зрачке, в колесе, в самоваре. Но его отражения — сжатей, подавленной, глуше: будто издали, искоса в зеркало смотрятся души, подойти не решаясь и честно в стекло поглядеться...» И здесь для поэтессы некий закон природы, ибо столь же вероломен, изменчив и постоян-

ный атрибут летней ночи — «блуждающий огонек»: «Огонек блуждающий, хитрый, бледнолицый, сколько путников сгубил? Сколько экспедиций?»

Другое дело — надежный свет маяка. Вот уж действительно верный ориентир! Так же как и шпалы в одноименной поэме:

За осинами сыро, овражно.
Тени ночи болезненно впалы...
Только там хорошо и не страшно,
Где высоко проложены шпалы.

«Не страшно» потому, что темная, губительная стихия организована, подчинена человеческим разумом.

Но в этой поэме Матвеева конструирует не только свой образ мироздания. Речь идет, по-видимому, о вещах менее очевидных, хотя и особенно насущных, — о единоростве «природы» и разума прежде всего в душе человека. Отсюда и стремление к особой наглядности, желание как можно ярче, конкретнее передать «ночи большие фаятомы». Ей важно заставить читателя бежать стихии, связав мысль о «спасении», о добре прежде всего со «шпалами», то есть с разумным, четким началом: «Путь по шпалам не может не сбиться»...

Поэтому, ища «душу», то есть подлинную суть человека, Матвеева стремится разгадать прежде всего человеческое в человеке. Для этого она вычитает, как при арифметическом действии, из него «природу», человекообразную обезьяну, скажем, и смотрит, что осталось. А осталось — воля, разум, словом, то, что мы называем дух. Именно этим, считает Н. Матвеева, человек поистине велик, могуч, бессмертен:

..Как волокна огнистого пуха,
Из столетья в столетье
Летят
Звезды разума, сполохи духа,
И страницы в веках шелестят...

Любопытно, что торжественные метафоры «звезды разума», «сполохи духа» обретают в поэзии Матвеевой неожиданную конкретность. Ведь это именно дух человеческий, разум, «расталкивает» темень, бурю и волны светом маяка: «Ты говоришь. Огнем. Настолько внятно, что в мокрой тьме, в прерывистой дали, увидят и услышат и превратно тебя не истолкуют корабли» (стихотворение «Маяк»).

А свет искусства, в сравнении с которым беспомощно бледнеет неодухотворенная «натура»! «Но жизнь — помилуй! —

разве так ярка и так сильна, как выраженный гений?» (цикл «Жизнь и книга»).

Этот свет столь безусловен и ослепителен для Матвеевой, что остальные грани любого явления как бы уходят во мрак.

Отсюда и впечатление, что у Матвеевой нет любовной лирики, как на это робко намекала, не решаясь прямо сказать, критика. И действительно, у нас были бы все основания так считать², если бы не одно стихотворение, сразу обращающее на себя внимание:

Что-то не знаю: спят или дремлют силы...
 Не от весны —
 От стужи фиалки сини;
 Солнце не теплое, даже закат —
 поддельный;
 Вешняя ночь — холоднее реки подземной...

Оно обращает на себя внимание прежде всего своей нехарактерностью для Матвеевой. Обычно бодрая, подтянутая, она брюзжит и жалуется — все не так, не то, — впрочем, время от времени пытаюсь встряхнуться, выпрямиться:

Стыд вам, волшебники, если и вы не
 спецы
 Выслушать песни, которые — пусть! —
 не спеты;
 Днем между рамами зимняя бьетса
 муха —
 Мухина песня и та достигает слуха!

Гнев (не на «волшебников», конечно, а на саму себя, на собственную «немоту») как будто придает сил, голос крепнет, высится — в четверостишии два восклицательных знака! Но затем так же резко падает, становясь по контрасту как бы еще глуше, тоскливее:

Щелкнула почка
 На сероватой иве...
 Я же молчу,
 я с целой землей в разрыве...
 Где-то, вдали от родных берегов кочуя,
 Слышал, как пела, услышишь ли, как
 молчу я?

Две последние строки поэтесса «пробормотала» особенно тихо, неохотно, «сквозь

² Исключение составляют некоторые песни. Но мы ориентируемся в статье только на стихи. Ибо сама Матвеева разграничивает песни и собственно стихи. Она пишет на конверте своей пластинки: «Я вообще очень резко отделяю стихи от песен. Песня у меня потому и песня, что уже с самого начала имеет свою мелодию, которая, как правило, является раньше слов...»

зубы» — так даются лишь очень личные, мучительно сокровенные вещи. И действительно, эти строки все объясняют. Разлука взяла и закрыла собою всю радость, оставив тоску, о непреодолимости которой говорится не только, вернее, не столько словами, сколько интонацией, всеми болезненными ее перепадами.

Едва ли любовь, столь сильно владеющая поэтом, могла вообще не отразиться в его поэзии... Отразилась обязательно, но в соответствии с характером Матвеевой очень по-своему, не так, как мы привыкли.

...Мы привыкли, что любовь во всем величии этого слова понимается поэзией прежде всего как отношения двоих. В стихах Матвеевой эти отношения остаются за кадром. Она их держит, конечно, в уме, но лишь в качестве фундамента, что ли, — вещи необходимой, но глубоко зарытой и никому не видимой. А уж на нем, как мы позволяем себе домысливать, строится величавое здание любви человеческой, и стинно человеческой, сумевшей вырваться за пределы «эгоистического» притяжения друг к другу, сублимировать это притяжение в чистую (духовную) нежность ко всему миру, радостную открытость всем впечатлениям бытия, способность к игре, к фантазии — словом, к творчеству.

Это «счастливая» любовь... А «несчастливая», соответственно, выражается у Матвеевой в мгновенной атрофии лирического дара: «Я же молчу, я с целой землей в разрыве...» — атрофии способности удивляться и радоваться красоте: «Не от весны — от стужи фиалки сини. Солнце не теплое, даже закат — поддельный...»

К счастью, такое редкость. Природу Матвеева ощущает обычно ярко, празднично, остро. Так, что готовый к сопереживанию читатель может порадоваться за нее — ведь стихотворения Матвеевой о природе одновременно и о любви.

Конечно, в позиции Н. Матвеевой ощущим сознательный нажим, довольно-таки жесткое самоограничение. Но Матвеева, не боясь упреков в рационализме, и не думает это скрывать, скорее наоборот — афиширует.

Ведь такая сугубо человеческая «привилегия», как духовность, не есть нечто обязательное, само собой разумеющееся у каждого человека. Духовность надо воспитывать, культивировать, возвращать в себе. Не случайно слово это имеет и другой смысловой оттенок, словарем определяемый

дайся! Дело, видимо, в определенном настроении (о чем свидетельствуют и необычные для нее ласкательно-уменьшительные суффиксы — «лучики», «листочки», «паутинки»), — а главное, веселый, как бы подпрыгивающий ритм рефрена, настроении, позволяющем заметить и оценить всю эту земную красоту, возрадоваться ей.

Но немудреная эта цель, оказывается, не всегда достижима: «Но измогиленно, откуда-то снизу, жизнь поднялась. И под черную ризу спрятала звезды, восход и закат...»

Помеху, внезапно закрывшую доступ к радости, Матвеева назвала, казалось бы, предельно абстрактно — «жизнь». Но в контексте ее поэзии слово это, имеющее в языке такие синонимы, как «природа» и «стихия», обретает определенную конкретность, начинает означать не подвластную разуму своевольную силу! Под напором житейских обстоятельств «лучики» мгновенно теряют всякую прелесть (вспомним, к примеру, цитированное ранее стихотворение о разлуке, там ведь именно об этом).

Однако Матвеева не отчаивается: «Ну, я сказала, раз так, я сказала, что ж! Я сорву с тебя, жизнь, покрывало!..» Характерный бойцовский жест! Ибо Матвеева не хочет допускать и мысли, что человек может растеряться, сникнуть перед обстоятельствами, даже если те кажутся непреодолимыми.

Ее поэзия как раз и учит их преодолевать, преодолевая прежде всего... себя. В борьбе человека с самим собой закаляется слабая «природная» душа, превращаясь в гордый, независимый дух, в бескрайние возможности которого Матвеева свято верит.

Жесткая внутренняя дисциплина, всячески пропагандируемая ею, не самоцель, а единственно надежное средство жить не только достойно, но относительно счастливо.

Так незаметно Матвеева решает сложный вопрос бытия — естественно соединяет желание счастья с нравственной жаждой. И в этом, думается, секрет обаяния ее поэзии — полнокровной, веселой, живой, несмотря на «железный» внутренний стержень, а может быть, именно и благодаря ему.

Каждый поэт рождается, по словам Корнея Чуковского, со своей «длинной фанатичной мыслью». «Мысль» Матвеевой как бы вдвойне «фанатична». Ибо предмет ее веры — величие человеческого духа — ис-

ключает терпимость и снисхождение, предполагает самую суровую шкалу нравственных оценок.

Особенно строга она к художникам и в первую очередь, конечно же, к самой себе. Себя (мы это видели) она «третирует» особенно неумолимо. Ну кто еще из поэтов отказался бы во имя принципа, из чувства «долга» перед читателем от такой лирически «прибыльной» темы, как любовь, от горьких рефлексий о неизбежности конца. Кто стал бы так тщательно скрывать минуты слабости, обаятельные в глазах читателя, порой бессознательно алчущего подобных признаний. А Матвеева позволяет себе лишь подтрунить слегка над собственным максимализмом. Бодрое стихотворение о поисках счастья, о готовности с бою вырвать у жизни радость бытия она неожиданно заканчивает так:

...Что же лежу я под соснами старыми?
Что не встаю обменяться ударами?
Пластырем липнет ко лбу листопад.
Латы росой покрываются мятые.
!Жизни вы стоили мне, растреклятые! —
Тень на тропинке,
Полет паутинки
И роца, где вязы шумят.

Мятые латы и пластырь на лбу воскрешают в памяти незадачливую фигуру Дон Кихота в знаменитых иллюстрациях Доре.

И действительно, в Матвеевой есть что-то донкихотское — отважное, бесхитростное и одинокое, чуточку наивное в век искусственных Гамлетов. Во всяком случае, резкая прямота деклараций не раз навлекла на Матвееву критический гнев.

Но как Дон Кихот, до полусмерти избитый, не падает духом, нимало не сомневаясь в успехе своего предприятия, так и Новелла Матвеева, несмотря ни на какие удары, не изменяет себе, не сходит со своей колеи. Не позволяет себе сойти! Тем более что сражается она отнюдь не с химерами, не с ветряными же, в самом деле, мельницами. И поднятый на щит идеал черпнут ею не из рыцарских романов. Это идеал в высшей степени земной и реальный — человеческое в человеке. Но в то же время он по-настоящему высок. Напоминая о нем, Матвеева ободряет в отчаянье, поощряет в благородстве, заставляет устыдиться в низости.

Ирина ВИНУКОВА.



Политика и наука

ПОЭМА О ЧЕЛНАХ

В этом месяце весь советский народ отмечает пятидесятилетие с того исторического апрельского дня 1929 года, когда 16-я конференция ВКП(б) приняла первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР на 1929—1932 годы. В мае план был утвержден V съездом Советов СССР. Страна Советов стала родоначальницей планового развития народного хозяйства, советские пятилетки утвердились в истории как живое воплощение ленинских идей о преобразовании мира на новых, социалистических началах. В публикуемой ниже рецензии рассказывается о книге первого секретаря Набережночелнинского горкома партии Раиса Киямовича Беляева. Книга эта о том, как на берегах Камы претворяются в жизнь задания десятой пятилетки.

Р. К. Б е л я е в. Подвиг на Каме. Казань. Татарское книжное издательство. 1978. 184 стр.

Под таким заголовком подошло бы вести речь о стихотворном произведении. Но книга Раиса Беляева «Подвиг на Каме» написана не стихами. В ней строгий отбор фактов и последовательная логика изложения истории — да, уже истории! — создания на берегах Камы одного из чудес нашего века, возведения города и завода, объединенных для всех общим единственным в стране названием — **Н а б е р е ж н ы е Ч е л н ы**. И за каждой строкой повествования — глубокое знание автором каждой проложенной строителями на берегах Камы и Челнинки тропы, каждой человеческой судьбы. Рассказ секретаря горкома о людях стройки и завода воспринимается как истинная поэзия созидания. И потому не будет ошибкой, если назовем его книгу поэмой.

«От I съезда Советов Челнинского кантона т. Ленину.

Мы голодаем, на наших руках умирают дети, умирают старики, умирает молодежь, но мы надеемся, что брат-крестьянин урожайных мест и рабочие городов в помощи нам не откажут, а Советская власть эту помощь организует. Мы Европе заявляем, что, холодные, голодные, мы завоеванное в Октябре никогда и никому не отдадим».

Этот тревожащий **память** голос раздался с берегов Камы в 1921 году. Какой силой обладали безвестные авторы приведенных строк! «Мы Европе заявляем...» И каким безбрежным оптимизмом!

О том, как воплощались в дела слова и мечты участников Октябрьской революции и гражданской войны, мечты тех, кто стоял в суровой борьбе ее идеалы, повествует книга Раиса Беляева. Фактические данные, партийные документы, осмыслен-

ные и обобщенные собственные наблюдения за десять лет работы первым секретарем городского комитета партии, — все нашло отражение в этой книге. Подобно тому как в капле росы при ясном восходе отражается все небо, в скромных записках секретаря горкома отражается могущество и сила всей нашей державы, отстоявшей в боях и труде право на свободную жизнь для миллионов и миллионов.

Уходят в историю годы и события, и уже сейчас, когда нет дороги, по которой не мчались бы с грузами автомобили с надписью «КамАЗ», мало кто помнит тот зимний день 13 декабря 1969 года, когда ковш экскаватора Михаила Носкова переместил первый кубометр грунта на площадке будущей базы строительной индустрии. Сколько было после этого перемещено земли, сколько миллиардов кубометров... **Никто** уже сосчитать не сможет. И сколько раз было произнесено за это время слово «первый». Первый кирпич, первый дом, первый новорожденный, первый высаженный в грунт куст роз... Не было дня, чтобы на страницах городской газеты и многотиражки стройки, в рапортах на планерках не звучало бы — **п е р в ы й**. Могучим генератором энергии коллектива стройки это слово усиливалось до той наивысшей точки, когда прогремело на всю страну и на весь мир: **п е р в ы й «К а м А З»!**

Автор книги пришел в Набережные Челны, когда эти два слова очень мало кому были известны. Городской комитет партии размещался в старом деревянном строении, вокруг стояли такие же ветхие домики дореволюционного местечка, которого ветры обновления коснулись в очень малой степени. Нужно было построить все заново — город, завод, сплотить приезжающих со

всех концов страны в единый коллектив, а начинать с себя — суметь собраться с волей, окружить себя штабом бойцов-единомышленников, привыкнуть к мысли, что будет очень трудно. Перед Беляевым стоял один вопрос: как из массы прибывающих людей, еще незнакомых между собой, создать сплоченный коллектив?

«С точки зрения численности коллектив строительства КамАЗа, — пишет Беляев, — рос и развивался стремительно. Если в начале генподрядная организация Камгэсэнергострой имела в своих рядах около 10 тысяч работников, то к концу 1970 года она насчитывала свыше 25 тысяч человек, а в пиковый 1974 год, когда решалась задача закрытия заводских корпусов, подачи в них тепла и разворота работ по сдаче производственных мощностей под монтаж технологического оборудования, на стройке трудилось свыше 100 тысяч строителей и монтажников».

В сложном деле сплачивания огромной массы людей в коллектив колоссальную роль сыграли партийные организации, райкомы партии, направлявшие людей на КамАЗ, ленинский комсомол. Насколько отбор кадров основного костяка строителей автогиганта был продуман, говорит то, что на страницах книги Раиса Беляева читатель встретит многие знакомые имена, о которых наш журнал в течение ряда лет писал в своих материалах под рубрикой «Набережные Челны». Батенчук, Салахов, Фоменко, Новолодский, Филяшина, Наурбиев... Постоянство сложившегося ядра коллектива строителей, инженерно-технического состава работников завода, жесткая борьба с текучестью кадров в любом звене — все это, вместе взятое, обеспечило победу на Каме. Было бы наивно думать, что построить трехсоттысячный город и не имеющий себе равных в мировом автомобилестроении завод можно без трудностей, возведенных на пути не всегда предвиденными обстоятельствами. Но эти трудности преодолевались с ходу. Строительство на Каме находилось и находится под пристальным вниманием руководства нашей партии и правительства. И автор книги пишет о том, что приезды в Челны высших руководителей нашей страны являлись не только вдохновляющими строителей событиями, но и практической помощью во всем. К строительству на Каме были подключены 25 министерств и ведомств, свыше 80 проектных институтов, более 150 строительного-монтаж-

ных управлений. «Фактор времени диктовал ускорение на всех этапах работы, — замечает автор, — задержка на старте могла привести к преждевременному старению нового производства. Поэтому было принято решение одновременно и проектировать, и строить». Своевременный пуск КамАЗа доказал правильность этого решения. Камазовская стройка стала настоящей школой мастерства, академией строительного искусства. Опыт, накопленный на берегах Камы, стал достоянием не только челнинцев, но и строителей многих городов, областей и республик страны. К нему еще не раз будут обращаться везде, где начнет разворачиваться очередная крупная новостройка. Он знаменует собой новую ступень в развитии отечественного капитального строительства.

Чудится мне качанье
Лодочки и волны
В самом твоем звучанье,
Набережные Челны.

Раис Беляев приводит в своей книге эти строки из широко известного стихотворения Ярослава Смелякова и рассказывает, насколько дорого челнинцам тесное общение с деятелями литературы и искусства, связавшими свою творческую судьбу с жизнью героического коллектива. Он пишет о «музах в рабочем строю», о том, как в общении с представителями «столичных муз» мужает талант местных поэтов Евгения Кувайцева, Инны Лимоновой, Николая Алешкова и многих других. Художники слова помогают камазовской молодежи крепнуть духовно, уверенно идти к главной цели своей жизни: нести людям добро, делать мир светлее и человечнее, всегда поступать по совести — и на работе, и в личной и в общественной жизни.

В поэму о КамАЗе добавляются все новые и новые главы. Книга Раиса Беляева уже вышла в свет, когда страна узнала о новой челнинской победе. Сухие телеграфные строки срочной информации, переданной «в номер»: «Набережные Челны, 2 ноября 1978 года. Сегодня в 10 часов утра в Набережных Челнах произошло событие, которое станет приметной вехой в истории создания Нижнекамского гидроузла. Механизированные колонны, ведущие наступление на бурлящую реку с двух ее берегов, соединились в середине протока. Кама покорилась мужеству людей».

По-моему, никто еще не писал о том, что эта заметка опубликована одновременно с сообщением ТАСС о возвращении на Землю В. В. Коваленка и А. С. Иванченкова после завершения беспримерного в истории полета на научно-исследовательском комплексе «Салют-6» — «Союз». Я думаю, что никто специально не планировал совпадения этих двух замечательных событий.

Такова наша жизнь, такова наша история. Мы ее делаем своими собственными руками. Одним из рассказов об этом является книга первого секретаря Набережночелнинского горкома партии Раиса Киямовича Беляева, славящего труд, подвиг, песни и воплощенные мечты своих товарищей.

Феодосий ВИДРАШКУ.



КОНЕЦ ДВУГЛАВОГО ОРЛА

Г. З. Иоффе. Крах российской монархической контрреволюции.
М. «Наука». 1977. 320 стр.

На четвертый день Февральской революции в салон-вагоне царского поезда, метавшегося между Могилевом, Царским Селом и Псковом, восемнадцатый представитель династии Романовых, правивших Россией триста четыре года, император Николай II подписал акт отречения от престола. На следующий день, 3 марта 1917 года, Российская империя юридически прекратила свое существование. Монархический строй, продержавшийся в России более тысячи лет и казавшийся, во всяком случае со стороны фасада, достаточно внушительным, пал в считанные дни. Между тем вопрос о монархии в то время нельзя было считать решенным ни формально, ни практически. Во-первых, будущую форму государственного устройства России должно было определить Учредительное собрание, созыв которого планировался на начало 1918 года. Во-вторых, как предупреждал В. И. Ленин, царская монархия была разбита, но еще не добита. Потерпевшие в февральские дни поражение монархисты отнюдь не сложили оружия, а, напротив, готовились к revanche всеми способами, имея в виду как легальное (через Учредительное собрание), так и насильственное вооруженное восстановление монархии.

Вплоть до окончания гражданской войны и иностранной интервенции вопрос о реставрации монархии в России никогда не снимался ее многочисленными приверженцами из белогвардейского лагеря. В беседе с корреспондентом американской газеты «Нью-Йорк геральд» вскоре после подавления кронштадтского мятежа В. И. Ленин подчеркнул: «Поверьте мне, в России возможны только два правительства: царское или Советское... Учредительное собрание в

настоящее время было бы собранием медведей, водимых царскими генералами за кольца, продетые в нос».

Из ленинской концепции Октября и гражданской войны вытекает необходимость научного исследования правых реакционных сил, стремившихся к ликвидации завоеваний не только Октябрьской социалистической революции, но и многих завоеваний Февральской буржуазно-демократической революции. Нельзя сказать, что за истекшие шесть десятилетий у нас ничего не сделано в этом направлении. Советская историография изучила многие аспекты монархической контрреволюции в России. И все же до последнего времени отсутствовало обобщающее фундаментальное исследование на эту тему.

...Иногда случается, что серьезная историческая работа, ориентированная прежде всего на специалистов, неожиданно находит массового читателя, несмотря на скромный тираж. Именно это произошло с монографией Г. Иоффе, вышедшей издательством «Наука». При этом книгу «Крах российской монархической контрреволюции» менее всего можно отнести к разряду легкого, развлекательного чтения, хотя в ней немало захватывающих сюжетов, прямо напрашивающихся на приключенческий экран. Перед нами прежде всего глубокое научное исследование слабо разработанной историографической проблемы — крушения монархической контрреволюции в России.

Автор мобилизовал огромный документальный материал, почерпнутый из архивов. Специфика данного исследования потребовала привлечения широкого круга источников — публикаций документов, обширной мемуарной литературы, периодической

печати. В этом отношении Г. Иоффе с полным правом можно считать в известном смысле пионером, поскольку советские историки революции и гражданской войны долгое время обходили материалы «противной стороны». В лучшем случае использовались публиковавшиеся у нас в 20-х годах мемуары Деникина и других деятелей белого движения. Монография Г. Иоффе, в значительной степени написанная именно на белоэмигрантских источниках, доказывает правомерность и необходимость их критического использования в арсенале наших историков. Правда, в последнее время наметился определенный поворот в этом направлении.

Работа Г. Иоффе, в которой широко обобщены все «доводы» и «аргументы» американо-английской советологии, убедительно развенчивает мифологическую (иначе ее и не назовешь) концепцию полного краха монархизма в России с отречением Николая II.

...Более тысячелетия просуществовала монархия в России. 50 князей и великих князей, 10 царей и 14 императоров сменилось на русском престоле со времен Рюрика. Идеология самодержавия, православия и народности, проповедовавшаяся теоретиками монархического начала на протяжении длительного периода времени, достаточно прочно осела в головах многомиллионных, политически незрелых крестьянских масс России. Тысячелетняя монархия не могла так или иначе не отразиться и на всем национальном психологическом складе. Лишь 1905 год стал началом подлинного избавления крестьянства от царистских иллюзий.

Даже усиленное капиталистическое развитие, по пути которого Россия пошла с конца XIX века, в малой степени сказалось на российской феодальной монархии, продолжавшей сохранять черты абсолютизма практически до самого своего конца. Это не означало, разумеется, что приверженцы монархии придерживались единого взгляда на ее будущее. Российский монархизм начала XX века проявлялся в различных оттенках — от махрово-черносотенного, представленного Пуришкевичем, доктором Дубровиным и Марковым 2-м, до умеренно-либерального, октябристско-кадетского монархизма Витте, Столыпина, Милюкова...

Г. Иоффе четко различает все эти оттенки и дает краткие, но емкие характеристики разным монархическим течениям и

их лидерам, раскрывая всю непоследовательность и трусость конституционных монархистов, всегда готовых к компромиссу с самодержавием.

Автор последовательно освещает все этапы борьбы монархистов за спасение монархии (конец февраля — начало марта 1917 года), а затем, после ее краха, за реставрацию, на всех этапах революции и гражданской войны. С большим интересом читаются страницы, рассказывающие о метаниях придворной камарильи в дни Февральской революции, пытавшейся предотвратить неминуемое. Автор убедительно опровергает укоренившийся в белоэмигрантской беллетристике и западной историографии тезис о «безучастном» отношении самого царя к судьбе своей и всей династии Романовых. Интересен исторический портрет последнего русского императора, обрисованный Г. Иоффе. Проследившая дальнейшую участь Николая Романова и его семьи, автор на большом, скрупулезно собранном материале подробно рассказывает о многочисленных заговорах монархистов с целью спасения отречшегося царя, предпринимавшихся в период с 2 марта 1917 до 17 июля 1918 года (день расстрела Романовых).

Особенно активизировалась деятельность монархической контрреволюции после победы Великого Октября и перехода государственной власти в руки Совета Народных Комиссаров. В первой половине 1918 года монархисты оформились организационно в лице так называемых Правого и Национального центров. Если первый, ориентировавшийся на кайзеровскую Германию, открыто выступал за реставрацию Романовых, то второй, придерживавшийся проантантовского направления, предпочитал до поры не раскрывать своих намерений, признавая, однако, «жизненное значение для России царской власти». Контрреволюционеры из Правого центра превратили оккупированный немцами Киев в подлинную Мекку всех сторонников реставрации, откуда тянулись нити многочисленных антисоветских заговоров. При прямой поддержке германских оккупантов в Киеве шло сколачивание ударных монархических сил. В это же время на Дону оживился монархист генерал П. Краснов, избранный после контрреволюционного переворота донским атаманом.

Г. Иоффе подробно, буквально по крупным «выявляет» монархические тенденции

и организации в общем потоке контрреволюции, а сделать это нелегко, учитывая осторожность, проявлявшуюся монархистами, вынужденными блокироваться с Другими отрядами врагов советской власти. Автор обнаруживает монархистов и в среде правых эсеров, оказавшихся в мае 1918 года у власти в Поволжье, на Южном Урале и в Сибири при прямой поддержке белочехов. Как известно, В. И. Ленин уже тогда убедительно раскрыл роль эсеров и меньшевиков как пособников монархии. Г. Иоффе аргументированно показывает, что эсеровские областные правительства держались фактически на штыках белогвардейцев, среди которых преобладали монархисты. Последние, подчеркивает автор, «образно говоря, наступали на горло собственной песне и шли под эсеровские знамена, учитывая, что партия эсеров в сложившейся обстановке имела определенное влияние на крестьянские массы. Представители монархической реакции рассчитывали, что, идя за спиной эсеров, они быстрее достигнут главной цели — ликвидации советской власти, после чего реакция, располагая вооруженной силой, сумеет сказать свое «решающее слово». Кстати, монархисты сказали «слово», не дожидаясь падения советской власти. Уже осенью 1918 года они свергли «правительство» «народного социалиста» Чайковского в Архангельске и омскую эсеров-кадетскую директорию. В Сибири была установлена военно-монархическая диктатура адмирала Колчака. Сам «правитель омский» впоследствии признавал на допросе: «Я был монархистом и несколько не уклоняюсь...»

В отличие от колчаковщины, поднявшейся на эсеров-меньшевистских дрожжах, Деникищина, отмечает Г. Иоффе, с самого начала имела собственную кадетско-монархическую основу. В своих мемуарах А. Деникин не скрывал, что правые монархисты-черносотенцы развили столь бурную и открытую деятельность на территории «вооруженных сил Юга», что «царь Антон» вы-

нужден был даже по тактическим соображениям несколько ограничить их активность.

Врангелевщина, которую академик И. Минц метко определил как «последнюю судорогу русской контрреволюции», стала и последним всплеском контрреволюции монархической.

Г. Иоффе удалось создать выразительные портреты предводителей белого движения — Корнилова, Колчака, Деникина, Врангеля, последних Романовых, видных монархистов. Он не пошел по легкому пути ретуширования и оглушения злейших врагов советской власти. Его сжатые исторические портреты-характеристики вместе с тем неотонотны, как неоднозначны были их носители. При этом автор исходит из принципиального классового подхода в оценке лидеров монархической контрреволюции.

«Агония монархической контрреволюции» — так названа заключительная, седьмая глава исследования Г. Иоффе, рассказывающая о деятельности монархистов в эмиграции. В ней читатель узнает о жизни монархистов в изгнании — о соперничестве претендентов на несуществующий российский престол, о деятельности Высшего монархического совета, о подрывной шпионско-террористической, антисоветской «работе кутеповского «Российского общевоинского союза» (РОВС), о самозванцах-лжеромановых и о многом другом. Закономерным итогом деградации русского монархизма явилось его сближение с самой реакционной силой XX столетия — германским фашизмом. Немало русских монархистов-черносотенцев активно сотрудничали с гитлеровцами в период Великой Отечественной войны, нередко вызывая к себе презрение даже в своей эмигрантской среде.

Книга Г. Иоффе — интересное и полезное исследование, несомненно заслуживающее высокой оценки.

П. ЧЕРКАСОВ,
кандидат исторических наук.



ИЗ ГЛУБИНЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Н. Р. Гусева. Индуизм. История формирования. Культурная практика. М. «Наука». 1977. 327 стр.

Книга Н. Р. Гусевой об индуизме вводит нас в мир самобытного общенационального духовного наследия сотен миллио-

нов индийцев, показывает религиозные обычаи и традиции, которые не только получили особое звучание в борьбе за осво-

божество Индии, но и до сих пор сохраняют значение в сложной политической расстановке сил. Даже не отличаясь высокой религиозностью, политические лидеры в пропаганде своих взглядов часто опираются на мифы и предания индуизма, знакомые с детства каждому индусу. А исповедуют индуизм в современной Индии около 83 процентов граждан страны.

Автор книги провела в Индии три года, и личные впечатления во многом помогли ей разобраться в источниках, в громадной литературе по индуизму (только в книге приведен список восьмисот трудов).

Н. Р. Гусева в своей работе не старалась исчерпывающе рассказать о всех сторонах индуизма, который включает философские учения, этико-правовые нормы и религиозно-культовые представления, складывавшиеся у народов Индии на протяжении нескольких тысячелетий. Особенное внимание она обратила на исторические корни индуизма, которые предлагает искать, во-первых, в местной этнической среде доарийской Индии и, во-вторых, «на прародине арьев, в южнорусской степи и лесостепи». Именно это и привело нас к книге Н. Р. Гусевой.

Опираясь на открытия археологии и данные сравнительной антропологии, автор усматривает в протоарьях создателей срубной культуры. Теперь уже общепризнано, что предки индоязычных народов «жили в глубокой древности вместе, на одной общей территории, говорили на близкородственных друг другу арийских диалектах». Территория эта лежала к северу от Черного и Каспийского морей, в междуречьях Днепра — Дона и Дона — Волги.

Единство арьев относится к середине III тысячелетия до н. э. Они появились в Индии крупными массами уже в последней четверти II тысячелетия до н. э., и этим же временем датируется «Ригведа», один из четырех сборников, содержащих религиозные представления (мифы), нормы обычного права и социально-этические представления, принесенные скотоводами-арьями с родины. Все это именуется, как правило, в литературе ведизмом («веды», «ведать»). Арии распространяли в Индии ведизм и воспринимали многие элементы культуры местного населения. Постепенно сложился современный индуизм, а санскрит, развившийся на основе языка вед, стал языком

религиозной, философской и научной литературы Индии.

Одно из основных достоинств книги Н. Р. Гусевой заключается в том, что она практически разрабатывает гипотезу о близости древнеарийских и древнеславянских мифологических представлений, которая могла сложиться на общей прародине. Предполагается, что сословное деление у арьев возникло там же. Отмечено огромное количество сходжений в санскрите и славянских языках. Часть оставшихся на своей прародине арийских племен стала «этногенетическим субстратом славян, сформировавшихся в южной части европейской территории СССР». Как утверждают археологи, «исходная область распространения славян находилась в землях, прилегающих к Среднему Поднепровью (переходной зоне) с юга, в степной полосе, где раньше, чем на севере, сложились племенные союзы восточных славян».

Н. Р. Гусева проанализировала имена богов, вошедших из пантеона ведических арьев в пантеон раннего индуизма (бог — на санскрите бхага). Могущественный Варуна функционально сопоставляется не только с Ураном, но и со славянским Перуном. Мир и все живое, во ведическом поверьях, сотворено Брахмой и существует циклично. Каждый цикл равен по времени одному дню жизни Брахмы, что измеряется 2 160 000 000 лет. Потом все гибнет в огне, и Брахма вновь создает мир. Индусская космогония говорит, что по истечении ста лет жизни Брахмы вся вселенная возвратится в исходное состояние изначальной материи. Возможно, это отражает космогонические представления и наших предков.

Брахма изображается по индуистской традиции многоглавым. На балтийском острове Руяне (Рюген), где жили руны, они же руны и рутены, то есть русские¹, в городе Арконе, славившемся своими несметными богатствами, по сообщениям хронистов начала нашего тысячелетия, был храм с идолом Святовита, единого бога, властвовавшего над другими богами. У идола было четыре головы на четырех шеях. Саксон Грамматик утверждал, что Святовиту поклонялись не только славяне, населявшие все прибалтийское побережье до самого Гамбурга, но и их соседи — датчане. Кстати, в связи с последними раскопками на Рюгене спор о происхождении варягов ре-

¹ См.: Н. С. Державин. Славяне в древности. М. 1945. стр. 104.

шается в пользу жителей этого острова. В другом городе острова, Коренице, было три храма с истуканами бога Руевита, имевшего семь лиц, Юревита — о пяти головах. Трехголовые идолы были в Браниборе (Бранденбурге), Штетине, Волине и других местах... Лингвистические и иные выкладки автора книги убедительно подтверждают ее точку зрения о сходстве этих и других богов у славян и в индуизме.

Арийским богом огня был Агни. «Арьи поклонялись Агни и в доиндийский период своей истории,— пишет Н. Р. Гусева,— слово это с некоторыми отличиями сохранилось в славянских языках (огнь, огонь, огни), в литовском, латышском и т. д.». Индийский бог-змеборец Индра повелевает реками. Гусева, ссылаясь на В. Даля, говорит о древнеславянском мифологическом персонаже Индрике, который «живет под землей и прочищает все ключи проточные». Ведический бог Дакша сопоставим с Дажьбогом, Рудра — с Родом. В санскрите значение «красный» возводится к древнему корню «руд», что сопоставимо со словами «рудый», «рдяный». На санскрите имя Шива означает темно-серый, сивый...

Автор сопоставляет и обряды арьев и древних славян (погребальные обряды, самоубийство или убийство вдов, жертвоприношения). Здесь, однако, вызывают сомнения непроверенные сведения христианских хронистов о человеческих жертвоприношениях. Интересны изыскания Гусевой, касающиеся опьяняющих напитков во время ритуальных церемоний у древних славян и арьев. Вначале напиток сома представлял собой выжимку гриба мухомора определенной разновидности, вызывавшую галлюцинации. Сама санскритская и славянская лексика, связанная с процессом питья, крайне близка: пи — пить, пива — вода, пिति — глоток, пиюща — пьянящий нектар, питух — пьющий и т. д.

Однако кажется совершенно неприемлемым предположение Н. Р. Гусевой о том, что ни арьи, ни древние славяне не строили каменных храмов, а пользовались полами, навесами над идолами. Во-первых, для северных народов уже сами климатические условия исключают «капища шатрового типа». Рассматривая славянскую культуру на рубеже I и II тысячелетий н. э., Гусева говорит о «четырех столбах» и «тканевых навесах» на Рюгене, тогда как очевидец Саксон Грамматик описывал деревянный храм, крытый красной черепицей.

Можно вспомнить К. Шухардта, как о павшего там же каменный фундамент храма Святовита. В языческой Древней Руси, возможно, существовали каменные культовые здания (наряду с деревянными), но с принятием христианства даже память о них была стерта, так как новые храмы строили именно на тех местах, где стояли языческие здания, дабы использовать привычку людей к этим местам. В Древней Руси христианские храмы по своей архитектуре сразу стали отличаться от византийских, что говорит о собственных архитектурных традициях (пока же только раскопки, производившиеся В. В. Хвойкой в Киеве в 1908 году, раскрыли остатки фундамента святилища древнего храма). И во-вторых, существует поразительное сходство ряда зданий в Индии с нашими северными постройками...

Трудно даже перечислить все наблюдения и выводы автора книги. Это фундаментальное исследование, разрабатывающее не только гипотезу о близости древнеарийских и древнеславянских мифологических представлений, близости, которая могла сложиться на общей прародине. Сделана попытка проследить также некоторую общность материальных культур, что еще больше укрепляет родственные связи индийского и славянских народов.

Работа Гусевой наносит удар и нынешним неонацистам, повторяющим басни о превосходстве немцев над славянскими соседями. По сути же дела, некоторая часть самих немцев является онемеченными славянами, а немецкая культура обогащена очень древней и мощной славянской культурой.

Крупный советский антрополог Т. И. Алексеева подтверждает мысль о наличии арийского субстрата в формировании славян и скифов. Она пишет, что «формирование черт, присущих древним славянам, относится к глубокой древности, во всяком случае к III—II тысячелетиям до н. э.». В то же время, сопоставляя комплексы антропологических признаков славян и германцев, она утверждает: «В ряду колебаний этих соотношений германцы и восточные славяне занимают диаметрально противоположное положение»². Это говорит о гораздо более раннем отбытии предков германцев с прародины, о различных смешениях.

² Алексеева Т. И., «Славяне и германцы в свете антропологических данных» («Вопросы истории», 1974, № 3, стр. 60, 69).

Доказывая очевидную древность славянских культур, Н. Р. Гусева как бы опускает «промежуточное звено», и обнаруживается провал в цепи поколений между теми, кто нам известен под именем древних славян, и их предками, которые соседствовали с арьями, ушедшими в далекую Индию. Отсутствие этого промежуточного звена требует непрерывных поисков археологов, историков, лингвистов. Не должна быть упущена возможность заполнить этот провал и при помощи недавно найденной «Влесовой книги», написанной на тридцати пяти березовых дощечках. До сих пор «Влесова книга» не подвергалась серьезному научному анализу. Она изображает совершенно неожиданную картину далекого прошлого славян. Повествует о русах как о «внуках Дажьбога». Рассказывает о передвижениях славянских племен, о древних битвах, о вожде Богумире и его дочерях Древе, Скреве и Полеве и сыновьях Сесе и Русе, положивших начало знаменитым племенам... Подлинность «Влесовой книги» подвергается сомнению, и это тем более требует ее публикации у нас и тщательного всестороннего анализа во избежание ненужных, ненаучных наслоений.

«Махабхарата», созданная за сотни лет

до Библии, содержит в себе многие из легенд, повторенных в этой книге. Эти сюжеты чрезвычайно древние, и к их созданию, возможно, имели отношение наши предки, жившие в Северном Причерноморье...

Рассказывая о современном состоянии индуизма, Н. Р. Гусева отмечает отход индусов от приверженности к тщательному выполнению ритуальных предписаний и возникновение новых отношений. Однако она заметила и еще одно новшество — экспорт индуизма. Правда, он носит весьма странный характер. При поддержке американских миллионеров и, по нашим сведениям, сионистов создано так называемое Международное общество кришнаитского сознания, которое имеет почти неограниченные средства на пропаганду, главный центр в США и филиалы во многих странах. Прозелитам этого течения не рассказывают о богатой мифологии индуизма, а предлагается без конца распевать заунывную мантру «Харе Кришна, харе Кришна...» и отказываться от какой-либо общественно полезной деятельности, забыть о насущных требованиях своей страны и своего народа. Но истоки этого «движения», повторяю, следует искать в США, а не в Индии.

Дмитрий ЖУКОВ.



КОРОТКО О КНИГАХ



СИМ, ДРЕЙДЕН. Спектакли. Роли. Судьбы (Театральные очерки и портреты). М. «Искусство». 1978. 447 стр.

Первая книжка Симона Дрейдена «1905 год в сатире и юморе» вышла в середине 20-х годов, а затем последовали другие книги, сотни статей — сначала газетные рецензии на ленинградские премьеры, затем объемистые журнальные работы о жизни советского театра, о драматургии, о театре кукол, портреты театральных деятелей. Творческие простои никак не угрожали молодому, энергичному, одаренному литератору, влюбленному в сегодняшний театр. В то же время уже в 20-х годах у него появилась неотступная мысль о «совсем другом издании» — о составлении сборника «Ленин и искусство». Сборник вышел в издательстве «Кубуч» в 1926 году. Впоследствии сборник будет значительно расширен, переработан, в него войдут новые материалы, ставшие для нас хрестоматийными, как и предисловие А. В. Луначарского ко второму изданию.

«Ленин и искусство» станет постоянной творческой темой С. Д. Дрейдена. В 1967 году выйдет его книга «В зрительном зале — Владимир Ильич», в 1970 году — вторая часть этого труда. Отдельный том составит «Музыка — революции» (два издания), в 70-х годах отдельными книжками, журнальными публикациями будут выходить новые важнейшие размышления. Часть из них вошла в последнюю книгу. Книга эта составлена из разных по объему и по своим задачам очерков и портретов», как рекомендует их автор в подзаголовке. Они образовали книгу, единую в замысле и в стилистике, книгу продуманной композиции.

Это единство во многом обусловлено точностью, можно сказать — жесткостью отбора материала. В сборник включены работы, отвечающие названиям разделов книги: «Поиски» и «Со сцены — в жизнь». В первой части раздела «Поиски» — подробный и увлекательный в этих подробностях рассказ о том, как праздновалось десятилетие Октября в Ленинграде и как в этом всенародном празднестве выдвинулся спектакль Малого оперного театра «Двадцать пятое» — театральная интерпретация поэмы Маяковского «Хорошо!». Центральная часть раздела посвящена рассказу о том, как в неустанной, непрестанной работе шел автор к книге «В зрительном зале — Владимир Ильич».

В документальных книгах важнейшее значение имеет не только отбор материала,

но и методика этого отбора, проверки, выделения бесспорного среди предположений, также имеющих право на существование. По отношению к данной теме этот отбор, множественность проверки, бесспорность утверждения важны особенно. Ведь С. Д. Дрейден ввел в тему «Ленин и искусство» много новых фактов и уточнений фактов известных. Объединил эти факты в единстве своего рассказа и вовлек читателя в круг постепенных поисков, охватывающих пласты истории. В своих книгах Дрейден воскресил для нас и сами спектакли именно того времени, когда смотрел их Ленин, и жизнь Ленина того года, того дня, когда он пришел в Художественный театр на «Возчика Геншеля» или «Село Степанчиково». В «Поисках» эти пласты и подробности жизни дополняются иной раз штрихом, иной — существенным открытием.

В известных воспоминаниях Н. К. Крупской упоминается, что Ленин с удовольствием слушал игру «знаменитого музыканта» в доме А. Д. Цюрупы. Оказывается, в семейном архиве Цюрупы сохранилось письмо этого музыканта — пианиста Г. Романовского с точной датой этого вечера. А в архиве пианиста И. Добровейна в Осло хранятся его воспоминания о вечере, когда он исполнил «Аппассионату», на обороте этой рукописи — запись беседы с Лениным. В воспоминаниях ветерана партии С. И. Голнер есть сведения, что Ленин смотрел в Париже пьесу Горького «Чудаки» в исполнении любительской труппы. «Летопись жизни и творчества М. Горького» дает примерную дату спектакля: 1911—1912 год. Дата мотивируется изданием пьесы в России и ее постановками: не могли же парижские любители играть пьесу раньше. Но вот в подшивке русской эмигрантской газеты «Парижский вестник» находится объявление: «В Субботу, 3-го декабря 1910 года, в Salle Recamier, 3... артистами и любителями Драматического Искусства... поставлена будет новая пьеса М. Горького «Чудаки»...»

В 1968 году автор беседует с Татьяной Федоровной Людвиной, участницей парижской большевистской группы того времени. Она недоумевает: да, Ленин упоминал о виденном спектакле Горького, но о другом — «На дне». Снова подшивки «Парижского вестника», и найдено объявление о спектакле «На дне», сыгранном любителями через три недели после «Чудаков», в том же декабре 1910 года. Значит, факт спектакля не вызывает сомнения, память не изменила со-

беседнице, перешагнувшей свое восьмидесятилетие. Но факт посещения Лениным именно этого спектакля нужно еще установить. Ведь воспоминания свидетелей и очевидцев всегда подлежат многократной проверке.

Так расширяется, обогащается наше представление об эпохе, предшествовавшей Октябрю, и об эпохе свершившейся революции. «Поиски» продолжают разделом «Сцены — в жизнь». Здесь большой, в сущности, первый труд о жизни и творчестве главы Общедоступного Передвижного театра П. П. Гайдебурова, очерки о «капитане детского театра» А. А. Брянцеве и замечательной актрисе Е. Т. Жихаревой, о выступлениях писательницы А. Я. Бруштейн и знаменитой актрисы Е. П. Корчагиной-Александровской в Новосибирске в военные годы. А в кратком, но емком послесловии к сборнику Софьи Владимировны Гиацинтовой приводятся слова старейшего французского писателя-коммуниста Жана Фревиля, посвященные книгам Дрейдена: «Ничто не вымыслено. Ничто не приукрашено. Все исторически точно, проверено, подлинно, опирается на лучшие источники, подкрепленные неоспоримыми свидетельствами современников, отчего они становятся еще более красноречивыми и патетичными». Читатель последней книги С. Дрейдена, как мне кажется, может повторить эти слова.

Е. Полякова.



Г. БРОВМАН. Труд, герой, литература. Очерки и размышления о русской советской художественной прозе. М. «Художественная литература». 1978. 373 стр.

Разговор о «труде, герое и литературе» Григорий Бровман ведет уже несколько десятилетий. Первая его работа на эту тему появилась в 1936 году. Затем выходили разные книги, журнальные статьи и рецензии, в которых критик глубоко и серьезно исследовал рабочую тему в литературе.

Этой же теме посвящена и его книга очерков о русской советской художественной прозе «Труд, герой, литература», вышедшая в издательствах «Художественная литература» в 1974 году и вторым, переработанным и дополненным изданием в 1978 году. В ней на конкретных примерах из художественной литературы критик прослеживает развитие литературного героя — рабочего человека, изменение его нравственно-психологических качеств под воздействием постоянно изменяющихся социальных условий труда.

Первым, кто сумел поставить «в красный угол» художественного произведения образ передового рабочего, непримиримого борца за дело своего класса, был А. М. Горький. Горький же как никто другой настойчиво вел литературного героя к освобожденному труду, возвысил труд до категории искусства. Уже тогда словами Нила из «Мещан» А. М. Горький заявил: «Хозяин тот, кто трудится...»

В новых условиях нашей жизни человек становится действительным хозяином

средств производства, и литература, пристально всматриваясь в его лицо, отыскивает все новые черты в его характере, осваивает нравственные изменения в самом существе рабочего человека. Приход в литературу этого нового героя рассмотрен критиком всесторонне, на разных этапах жизни советского народа и движения литературы социалистического реализма.

Автор книги анализирует конкретные произведения советской литературы, созданные в разное время, — от «Матери» Горького до последних вещей Д. Гранина, В. Попова, И. Дворецкого, М. Колесникова и других писателей — и стремится определить место литературного героя-рабочего в системе социально-нравственных отношений, характерных для современности.

В последних главах книги Г. Бровмана рассматриваются вопросы НТР и психологии современника, диалектика энтузиазма и рационализма, коллектива и личности, коллектива и руководителя, профессионального и нравственного начал в формировании личности и т. д. Сопоставляются диаметрально противоположные трактовки этих и еще многих других проблем, над художественным освоением которых работают сегодняшние литераторы, приводятся различные мнения авторов литературно-критических работ, щедро представляются высказывания читателей о тех или иных героях художественных произведений в литературе вообще. Последнее очень важно в системе постижения единства эстетических и социологических критериев при рассмотрении той или иной проблемы, того или иного явления литературы, а все в целом важно для достижения истины, созревающей в диалектике мнений.

Книга Г. Бровмана — это раздумья над такими важнейшими вопросами, как освоение нашей литературой «рабочего материка», как роль рабочего класса в жизни нашего общества. И далеко не случайными во всей системе размышлений критика на эту тему мне представляются его слова: «Талантливый писатель, которому близка современность, углубляясь в своеобразие сегодняшнего дня, придет к освещению проблем, конфликтов и характеров, тесно связанных с рабочим классом и его ролью в нынешнем меняющемся мире».

Прочитав книгу Г. Бровмана, воочию видишь, какой большой и славный путь прошел рабочий класс нашей страны, как изменился нравственный потенциал литературного героя от того представителя тульской «мастеровщины», что кричал: «Фершала давай своего!» — до сегодняшнего, например Серафима Рудаева из романов В. Попова или бригадира Потапова из «Премии» А. Гельмана.

Перед нами книга нужная, интересная. Работа о замечательном литературном герое — человеке труда.

В. Парыгин.

Брянск.



АЛЕКСЕЙ ФАЙКО. Записки старого театральщика. М. «Искусство». 1978. 279 стр.

Один из фрагментов этой книги озаглавлен «При чем тут я?». Другой — «Как я не стал ученым». Третий — «И как я не стал дипломатом»... Книга не лишена недостатков, но авторское озорство обезоруживает, берет в плен своим обаянием, лишает критического запала.

Обезоруживает галантностью — особым, редким свойством лишь немногих, не потерявшимся в суматохе нынешнего века. Обезоруживает порой наивно-недоумевающим и всегда радостным изумлением перед людьми талантливыми, на встречи с которыми так щедро была судьба автора. И изящной лепкой фраз, которые перечитываешь, открывая в книге руку мастера.

И еще книга эта обезоруживает... предисловием. Которое само — книга. Умная, тонкая, честная. Случаются такие счастливые встречи, когда авторский текст и предисловие к нему, словно два хороших партнера на сцене, дают, по словам великой русской актрисы Ольги Осиповны Садовской, «ты мне петельку — я тебе крючок», — и ткется единое яркое сценическое полотно.

Так и в этой книге предисловие, написанное доктором искусствоведения К. Л. Рудницким, представляющее подробный разбор творчества А. М. Файко, является тем «крючком», за который цепляется потом рассказ, а вернее — рассказы автора о судьбе своих пьес...

Причем строгий, академичный стиль предисловия, который и приличествует добротному научному труду, контрастирует с легким стилем эссе, в котором написана книга. Она и названа не претендующим на солидность словом «записки». И в этом контрасте живет целостность и гармония: создание единого образа суматошной, щедро разностильной театральной Москвы первых послереволюционных лет.

Но самая главная и, если не бояться громких слов, непреодолимая ценность книги в том, что к портретам людей, составляющих славу и гордость советского искусства, Алексей Файко добавил новые штрихи. Он был их учеником, коллегой, другом. Читая книгу, кажется, что написал он меньше, чем знает. Но и то, что написано, обладает ценностью документа. А вернее — его бесценностью. А написано о В. В. Вишневском и М. А. Булгакове, В. Э. Мейерхольде и Н. П. Акимове, М. Н. Ермоловой и Н. М. Радие...

Причем Файко далек даже от попытки заняться анализом творчества мастера. Он лишь рассказывает о встречах. Они принадлежали ему. Теперь принадлежат еще и читателю.

Записать встречи. Казалось бы — несложная задача: добавить к памяти немного лирики, щепотку юмора и эмоций по вкусу. Ничего не надо ни сочинять, ни анализировать, ни обобщать. Но как сложно найти и сохранить в таких записках этическую меру. Пожалуй, не найти. Ею надо обладать. Как, скажем, седьмым чувством. Алексей Файко, помимо необходимого для литерато-

ра чувств стиля, жанра, фразы, обладает и этим.

Урок этики, который преподносит своей книгой Алексей Файко, заслуживает, право слово, пристального изучения всеми, кто пишет или собирается писать мемуары. И самой глубокой благодарности читателей.

С. Овчинникова.



Ю. АЙХЕНВАЛЬД. Остужев. («Жизнь в искусстве») М. «Искусство». 264 стр.

В книге Ю. Айхенвальда мельком упомянут его дед, известный критик Юлий Айхенвальд, выступивший в свое время со статьей «Отрицание театра». Дед, отрицающий театр, и внук, пишущий книгу об одном из выдающихся актеров Малого театра, едва ли не яростнее прочих отрицавшимся дедом, — такова парадоксальная, но естественная логика времени: кто только не хоронил театр в XX веке, а он жив, здравствует и привлекает к себе все новых поклонников.

Власть театра — это и в наш режиссерский век прежде всего власть актера. Остужев был одним из последних актеров-«звезд» и играл он в театре, который, можно сказать, стоял на «звездах», — в Малом. И его вершина, роль Отелло, была достижением «актерского» театра, завоеванным в известном смысле слова вопреки режиссеру; Ю. Айхенвальд пишет, как Остужев заставил себя полюбить избранный С. Радовым перевод А. Радовой, «хотя его Отелло жил в тональности прежнего перевода».

Жизнь Остужева в книге располагается между двумя полюсами — «крутом Южина», в котором Остужев воспринимался как актер и человек, и ролью Отелло, в которой ему досталось не столь уж частое для актера счастье отдать, воплотить, вышлестнуть все добытое долгими годами жизни и творчества. Ведь нередко актеры уходят со сцены и из жизни, так и не сыграв свою главную роль. Остужев — сыграл. Однако Ю. Айхенвальд показывает, как непросто и непрям был путь актера, сколь резкие сдвиги произошли в мировоззрении Остужева, как артист императорского театра стал народным артистом СССР.

«...что-то новое и потому пока еще зыбкое то возникало, то вдруг сглаживалось, но оно носилось в воздухе и должно было проявиться» — так рисует Ю. Айхенвальд атмосферу «круга Южина» и через него атмосферу русской жизни и русского театра того времени, когда вот-вот должен появиться МХАТ, когда писал свои пьесы Чехов, когда в ореоле славы выступали корифеи Малого театра и юный Остужев учился на актера. Блестящие артисты, либеральные интеллигенты, умные люди, преданные театру и ценявшие его общественную роль, вели Сашу Пожарова в искусство — и «несколько десятилетий спустя народный артист СССР А. А. Остужев напишет, что в основе сыгранных им образов всегда лежала «тема о добре», «борьба за добро», «возвышенный протест во имя добра».

Эта тема преломлялась по-разному. Отелло 1936 года казнил Дездемону во имя добра и во имя добра же убивал себя, узнав, что она невинна. Во имя добра, во имя счастья свободно мыслить убивал себя сыгранный несколько позже Уриэль Ажоста — последняя великая роль актера.

Ю. Айхенвальд впервые выступает в жанре художественной биографии, и дебют получился удачным. Широкая театроведческая эрудиция позволяет автору отобрать наиболее выразительный материал для характеристики актера. Перечитывая старые театральные рецензии, Ю. Айхенвальд извлекает из них не только штрихи к портрету Остужева, но и дает понять, в чем было его художественное своеобразие, чем отличался он от других прекрасных актеров небытового, романтического театра. Очень просто говорил Остужев фразу: «Но как жаль, Яго. О, Яго, как жаль, Яго!» «Но в том-то и дело, — пишет Айхенвальд, — что она была сказана не «просто», а с остужевской интонацией простоты»; формулировка удивительно точная, все ставящая на свои места.

Другое дело... Впрочем, здесь следует сказать о нескольких книгах серии «Жизнь в искусстве», например о замечательной книге А. Мадкина «Орленев». В них замечается при глубине и изяществе театроведческого анализа излишняя сдержанность и конспективность при описании человеческой индивидуальности актера. Не свободна от такого рода сдержанности и книга Ю. Айхенвальда. Нет, я совсем не призываю рассказывать пикантные анекдоты, но актер — это художник особого свойства, материал творчества для него — он сам в своем телесном, человеческом облике, которым многое может быть объяснено в его искусстве. Отсюда наше желание знать как можно больше о нем самом, не о так называемой личной жизни, но именно о нем как субъекте и объекте творчества. Порой чувствуешь, как автор словно останавливается перед этой задачей, хотя отлично мог бы ее выполнить — поручкой тому уровень книги.

Ю. Смелков.



ВАЦЛАВ МИХАЛЬСКИЙ. Печка. Повесть. «Октябрь», 1978, № 7.

ВАЦЛАВ МИХАЛЬСКИЙ. Короткие рассказы. «Дружба народов», 1978, № 2.

Опыт говорит, что писать о войне, не пережив ее, невозможно и, когда это делают, ничего хорошего не получается. Это не значит, разумеется, что человек, не бывший участником войны, не может писать о войне, не может касаться этой темы. Дело тут, я думаю, в том, чтобы не лезть в боевые порядки, а попытаться найти свой собственный угол зрения. Есть, кстати сказать, и примеры, когда, не будучи сам участником войны, писатель создает что-то очень интересное. Подобным удачным примером мне представляется повесть Вацлава Михальского «Печка».

Отец уходит на войну. В последнюю ночь, перед тем как попрощаться с семьей, он ставит в доме печку. Семья его — новорож-

денный сын и жена — живет у чужих людей, в чужом доме, в холодном, мало приспособленном для жилья помещении. И эта печка-временка, тепло воспоминаний об ушедшем на фронт отце дают семье создателя силы выжить, выдержать холод наступающей зимы и долгой войны.

Таков несложный сюжет повести Вацлава Михальского, но содержание ее совсем не такое простое, как и ее построение. Речь эпическая свободно объединена в ней с речью лирической — объективное изображение с рассказом от первого лица. Монолог рассказчика, прорывая описание, позволяет автору перемещать отдельные сцены, нарушать последовательность событий, легко — без «швов» — связывая между собой события разных лет. Это своего рода монтаж, в котором при желании можно увидеть и влияние киноискусства, язык кино, то есть формы сугубо современные. То, что было личным опытом рассказчика, было им самим пережито, входит в рассказ от первого лица. И прежде всего все, что связано с павшим на фронте отцом, с памятью и мыслями о нем. Все остальное, все, что не было в области непосредственного чувственного восприятия, все, взятое рассказчиком со слов других, главным образом матери, и потому, как дает он нам понять, в значительной степени домысленное им, составляет эпическую часть этого повествования — краткие страницы, где передана история любви отца и матери. Речь рассказчика, несущая свои самобытные оттенки, где-то вплотную сливается с речью истинного автора, писателя, который открыто говорит нам о самом творческом процессе: «Хотя сначала в нашей семье все-таки появился я, а потом печка, но как бы я жил без печки... Мне это так же трудно представить, как нелегко заговорить сейчас о себе в третьем лице и свою мать Татьяну Петровну называть Таней».

Повесть В. Михальского — произведение лирическое. Повествование в ней движется одним только сюжетом лирической мысли. Переход от эпического изображения к рассказу от первого лица происходит естественно, незаметно, как бы сам собой. Только при повторном чтении можно понять, как выверена эта точность: неожиданный — почти на полуслове — переход к рассказу от первого лица совершенно обязателен, потому что вызван введением в повествование личного опыта рассказчика. Но если бы только в этом было все дело — в том, что переход логически выверен; нет, порою он просто угадан, и в этом, нам думается, вся суть.

Все угадано верно. Даже те события, которых рассказчик сам запомнить не мог, когда он говорит о них, становятся для него столь сильным переживанием, что говорить о них он может только так — от первого лица, в такой вот взволнованной речи, где органична и эта сгущенность образов и символика. Нота высокой патетики и лиризма здесь вполне уместна, и она, как нам думается, усиливает эмоциональное звучание данной прозы.

В «Дружбе народов» незадолго до повести напечатаны рассказы Михальского — чуть более десяти страниц, десять рассказов, два или три из них всего в несколько строк. Жанр чрезвычайно трудный и неблагоприятный, ничего, кроме удовлетворения в процессе самой работы, не дает. Даже похвала, которая, кстати, в данном случае высказывалась в печати, обычно заключает пожелание: раз такой способный, то пиши роман. Замечание, не лишнее резона...

Рассказы были замечены. Критика справедливо отмечала в них то же поэтическое начало, и нам думается, что удача коротких рассказов Михальского, как и его такой же короткой повести, обусловлена именно этим. Конечно, повесть В. Михальского не о войне, не только о войне, я думаю, а о чем-то большем, общем — общих законах жизни, может быть о законах, связующих людей. В данном случае — в атмосфере военных и первых послевоенных лет.

Детство Вацлава Михальского совпало с войной, и он об этом пишет, пишет и в повести и в рассказах, пишет с полным правом, пишет автобиографически, как свидетель и очевидец пережитого народом и страной.

Одним словом, и повесть эту и рассказы стоит прочесть.

Василий Субботин.



А. С. КОМПАНИЕЦ. Симметрия в микро- и макромире. М. «Наука». 1978. 207 стр.

Представление о симметрии ассоциируется скорее с искусством, а не с наукой. И вместе с тем симметрия, как и красота (простота, законченность), с давних времен выступает в качестве критерия истинности физических теорий. Рецензируемая книга, принадлежащая перу недавно скончавшегося талантливого физика-теоретика и популяризатора науки А. Компанейца, посвящена проблемам симметрии в природе. Такого рода подход к явлениям классической механики и физики кристаллов (глава 1) является традиционным; его плодотворность для познания мира атомов и элементарных частиц (глава 3) с особой отчетливостью показали последние десятилетия развития физики. С позиций симметрии описывает автор и мир теории относительности (глава 2) — ракурс неожиданный, хотя стоит вспомнить, что именно соображениями о симметрии Эйнштейн начинает аргументацию своей исторической статьи 1905 года, которой было положено начало его революционной теории.

Указанный единый подход к столь широкому кругу проблем соответствует глубокой их общности, о которой автор и повествует. Можно было бы привести немало красноречивых примеров образного и живого языка книги. Хотелось бы, однако, поделиться некоторыми общими соображениями и о жанре и об авторе — для того есть тем большие основания, что книга А. Компанейца необычна не только по своему строю. Дело в том, что с выходом ее в свет издательство «Наука» завершило, пожалуй, беспрецедентное издание, своеобразный триптих: прак-

тически полное собрание научно-популярных работ известного советского ученого, выпущенное в трех одинаковым образом оформленных томиках (1976—1978).

Давно уже замечено, что талант популяризатора науки совершенно необязательно сопутствует исследовательскому дарованию. Например, классик научно-популярной литературы, обращенной прежде всего к школьной аудитории, Я. Перельман не был ни физиком, ни математиком. Подавляющее большинство крупных ученых не оставили сколько-нибудь значительного научно-популярного наследия — и не потому, что исследовательская работа занимала все их время.

Популяризатор точных наук должен хорошо владеть словом, быть природным педагогом — тем, что мы называем художественной натурой. Еще он должен обладать развитым чувством юмора: удачная и вовремя вкрапленная в текст шутка — это и необходимая передышка в подчас нелегком чтении, и прием, позволяющий лучше запомнить важное звено в цепи умозаключений. Все это, разумеется, в дополнение к превосходному знанию предмета! Получается довольно широкий спектр независимых дарований: их обладатель словно бы вытаскивал счастливый лотерейный билет «из урны судьбы», как говорили в старину. Таким человеком и был А. Компанец. Блестящий рассказчик, автор тонких и остроумных стихов, незаурядный режиссер и исполнитель импровизированных домашних спектаклей — шарад, он прекрасным русским языком умело и увлекательно делится своим видением мира физики. Ученый, владевший изощренными методами современной математики, ценивший не только идейную мощь новой теории, но и изящный метод представления ее основ и прикладных результатов, он однажды, сопоставляя дарования двух своих старших коллег по профессии, уважительно сказал об одном из них «он был ближе к истокам», то есть к самой сущности физических идей, еще не облаченных в пышные математические одежды. Научно-популярные работы А. Компанейца о физической статистике и ударных волнах (первая часть триптиха, 1976), о квантовой механике (1977) и последняя — о симметрии в микро- и макромире, также отмечены этой близостью к истокам, прозрачны, образны, глубоки. В аннотации к настоящей книге отмечается, что ее читателями могут быть (и, добавим, несомненно есть и будут) учащиеся старших классов и люди, еще не забывшие школьного курса физики, физики — специалисты и студенты, преподаватели и ученые, работающие в других областях знаний. Все они получат прекрасную возможность ознакомиться с миром идей, которыми современная физика живет и оперирует для объяснения и предсказания явлений природы. Постигание ее красоты и гармонии, почерпнутое из мира науки, обогащает духовный мир человека и должно входить в общую систему его эстетического воспитания.

В. Френкель.



ВЛ. ОРЛОВ. Гамаюн. Жизнь Александра Блока. Л. «Советский писатель». 1978. 710 стр.

Книга В. Орлова «Гамаюн» — итог более чем двадцатилетнего изучения Блока, итог долгого и верного служения поэту. Подзаголовок ее, нарушая привычное сочетание «жизнь и творчество», ведет нас к авторскому замыслу построения этого большого труда, воплощенному в полном соответствии с идеей Блока о том, что жизнь поэта — это его творчество. В. Орлов шаг за шагом раскрывает внутренний смысл блоковской мысли о «неслиянности и нераздельности» жизни и искусства. Поэтому его книга и биография, воспроизводящая «потайной рост души» поэта, и тонкое исследование творчества Блока — синтез личного и эпохального.

В 1921 году вскоре после смерти поэта, Ю. Тынянов впервые указал на то, что Блок в представлении читателей соединился с образом его лирического героя, а потому «во всей России знают Блока как человека, твердо верят определенности его образа, и если случится кому увидеть хоть раз его портрет, то уже чувствуют, что знают его досконально». Легенда окружила имя Блока при его жизни, и чем дальше, тем труднее разглядеть черты живого человека за тем, что сотворила легенда. Это было одной из самых трудных задач, стоящих перед автором книги, и В. Орлов сделал все, чтобы открыть истинное лицо поэта, уже более полувека как бы скрытое маской.

Архивные материалы, биографические и мемуарные источники, свидетельства современников — все это по крупинам собрано В. Орловым; организован и приведен в движение и взаимодействие колоссальный документальный материал. За ним встает неповторимая атмосфера эпохи рубежа XIX—XX веков с ее резкими контрастами, странными личными отношениями людей, творящих жизнь по канонам «нового», символистского искусства, эпоха элитарного индивидуализма, жизнетворчества, утонченной духовности и тяжелого, на грани катастрофы упадка духа. Блок в этой книге неотделим от своей эпохи, изображенной рельефно, с подлинным художественным мастерством, а вместе с тем со строгой научной объективностью. Здесь раскрыта трагедия личной судьбы Блока и разрушен не только миф о поэте — рыцаре Прекрасной Дамы, но и тот «лик» Блока, который не раз последние десятилетия мы видели на страницах литературоведческих исследований. В «Гамаюне» отчетливо выступают черты художника, долгие годы в жестокой борьбе с самим собой и временем преодолевавшего «ошибки отцов» и тяготившее над ним проклятие эпохи.

В. Орлов избрал свободный стиль изложения, а потому говорят в этой книге не только документы — мы постоянно слышим голос автора, сочувственный, восхищенный, взволнованный, негодующий. Книга оценочна и эмоциональна: идет ли речь о салоне Мережковских, о собраниях на Башне у Вяч. Иванова, о «Цехе поэтов» — за всем стоит отношение автора к предмету разговора. Согласны мы с ним или нет, мы никогда не остаемся безучастными. Интересны и посвященные Петербургу пронзительно-личные страницы; это своеобразный гимн городу, едва ли не впервые сложенный исследователем литературы.

В совершенстве владея документом, автор извлекает из него и фактическое содержание и раскрывает психологический смысл, добывая ключ к его тайне. Прежде всего это относится к семейной драме Блока и его отношениям с А. Белым. Как часто бывает, личная жизнь поэта оказывается предметом пристального внимания современников и потомков, порой проявляющих к ней значительно больший интерес, чем к творчеству. В литературу о Блоке все чаще просачиваются отрывки из неопубликованных воспоминаний Л. Д. Блок, свидетельствующие о напряженном драматизме ее отношений с поэтом. В. Орлов беспристрастно и убедительно, открыто, без умолчаний, но с редким тактом и деликатностью рассказывает об этих отношениях.

Наряду с биографией Блока, самой полной и интересной из доселе написанных, в книге раскрыты философские и художественные воззрения поэта, показан во всей сложности и противоречивости путь, который прошел художник от «Стихов о Прекрасной Даме» до «Двенадцати» и «Скифов». В. Орлов не расширяет стихи Блока, не вторгается со скальпелем исследователя в святая святых — поэзию, но его биографический и научный комментарий делает понятной «темную музыку» этой лирики, ни в чем не нарушая ее звучания.

Книга написана в тоне размышления; автор не несет читателю готовые, давно сложившиеся у него представления, но исподволь подводит к ним, оставляя простор мыслям, возникающим в процессе чтения. В книге множество интересных параллелей и сопоставлений и с современными Блоку поэтами и с теми, кто пришел на литературную арену после него. Однако некоторые стихотворные цитаты (не блоковские) В. Орлов оставляет нераскрытыми, полагаясь на эрудицию читателя. Это не вполне оправданно, так как «Гамаюн» адресован не только специалистам-литературоведам, но всем, кто любит поэзию Блока.

И. Подольская.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Философские тетради. 752 стр. Цена 1 р. 10 к.

Ленинская аграрная политика КПСС. Сборник важнейших документов. Март 1965 г.— июль 1978 г. 680 стр. Цена 1 р. 40 к.

К. Маркс. Капитал. Критика политической экономии. Т. 3. Кн. 3. Прогресс капиталистического производства, взятый в целом. Ч. 2. Издан под редакцией Фридриха Энгельса. 509—1082 стр. Цена 1 р. 10 к.

Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом. 358 стр. Цена 1 р. 40 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Ю. Балтушис. Пуд соли. Автобиографическая повесть. Кн. 2. Блистательная молодость. Перевод с литовского. 319 стр. Цена 1 р. 40 к.

С. Баруздин. Люди и книги. Литературные заметки. 326 стр. Цена 80 к.

Е. Винокуров. Жребий. Новые стихи. 110 стр. Цена 35 к.

С. Воронин. Деревянные пятачки. Повести и рассказы. 656 стр. Цена 2 р. 30 к.

И. Гофф. Знакомые деревья. Повести и рассказы. 310 стр. Цена 1 р. 10 к.

П. Куусберг. В разгаре лета. — Одна ночь. — Капли дождя. Романы. Перевод с эстонского. 734 стр. Цена 2 р. 70 к.

К. Кулиев. Посол эмира. Роман. Перевод с туркменского. 310 стр. Цена 1 р. 20 к.

Г. Марков. Горизонты жизни и труда писателя. Сборник статей. 575 стр. Цена 1 р. 80 к.

В. Санин. Трудно отпускает Антарктида. Повести. 406 стр. Цена 1 р. 70 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Американская новелла XX века. Сборник. Перевод с английского. 542 стр. Цена 2 р. 90 к.

В. Белшевиц. Апрельский дождь. Избранные стихи. Перевод с латышского. 332 стр. Цена 1 р. 10 к.

П. Воцу. Журавлиное небо. Стихотворения. Перевод с молдавского. 219 стр. Цена 65 к.

Повести современных писателей Румынии. Переводы. 494 стр. Цена 3 р. 40 к.

Г. Пожениа. Избранное. Стихотворения, повмы, песни, речитативы, баллады. 295 стр. Цена 1 р. 50 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. Алексеев. Назидательная проза. Повести. Послесловие С. Чупринина. 256 стр. Цена 1 р. 30 к.

Е. Евтушенко. Утренний народ. Новая книга стихов. 207 стр. Цена 1 р. 20 к.

А. Кулешов. Ночная погоня. Повести. Предисловие Б. Шумилина. 206 стр. Цена 75 к.

Р. Мишвеладзе. Нет аэропорта. Рассказы. Перевод с грузинского А. Абуашвили и А. Эбанондзе. 204 стр. Цена 60 к.

В. Соколов. Спасибо, музыка. Стихотворения и поэмы. 303 стр. Цена 1 р. 20 к.

Г. Эмин. Привет тебе, радость. Стихи. Перевод с армянского. 191 стр. Цена 55 к.

ВОЕНИЗДАТ

В. Бушин. Его назовут Генералом. Страницы жизни Фридриха Энгельса. Повесть. 334 стр. Цена 1 р. 40 к.

А. Дунаевский. Подлинная история Кароя Лигети. — Иду за Гашеком. — Красный Дундич. Документальные повести. 366 стр. Цена 95 к.

А. М. Родригес. Люди молчаливой профессии. Повесть. Перевод с испанского О. Т. Дарусенкова. 182 стр. Цена 1 р. 20 к.

«СОВРЕМЕННОК»

И. И. Акулов. Касьян Остудный. Роман. («Новинки «Современника») 480 стр. Цена 2 р.

Д. Гранин. Обратный билет. Повести. 287 стр. Цена 1 р.

М. Карим. Время — конь крылатый. Стихи, поэма, сказки, трагедия. Перевод с башкирского. 439 стр. Цена 2 р. 80 к.

В. Кожин. Книга о русской лирической поэзии XIX века. Развитие стиля и жанра. 303 стр. Цена 1 р.

Л. Лавлинский. Ключ. Книга стихов. («Новинки «Современника») 111 стр. Цена 35 к.

В. Лихоносов. Когда же мы встретимся. Роман. («Новинки «Современника») 413 стр. Цена 1 р. 60 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Ч. Айтматов. В соавторстве с землей и водою... Очерки, статьи, беседы, интервью. Фрунзе. «Кыргызстан». 406 стр. Цена 1 р. 80 к.

Вечность. Русские поэты — Армении. Сборник стихов. Ереван. «Советакан грох». 198 стр. Цена 75 к.

Между Волгой и Уралом. Произведения писателей автономных республик Поволжья и Урала. Проза, поэзия, драматургия. Йошкар-Ола. Маркнигонздат. 383 стр. Цена 1 р. 70 к.

Г. Тукай. Избранное. Перевод с татарского. Казань. Таткнигонздат. 271 стр. Цена 85 к.

К. Щербанов. Проверка на деле. Критика и публицистика. «Московский рабочий». 208 стр. Цена 55 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. В. Карпов** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 23/1 1979 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 15/III 1979 г.
А 00892. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 печ. л.) Тираж 275.000 экз. Зак. 337.

Отпечатано с матрицы ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5, в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 01348.

Цена 70 коп.

70636